93+83

ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2002

РОМАН АФРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ АХМАДУ КУРУМЫ "АЛЛАХ НЕ ОБЯЗАН" / "РИМСКИЕ СОНЕТЫ" ДЖУЗЕППЕ ДЖОАКИНО БЕЛЛИ / РАССКАЗЫ ЛУИСА СЕПУЛЬВЕДЫ / РОМАН РИЧАРДА ХЬЮЗА "В ОПАСНОСТИ" / БЕСЕДА С ИТАЛЬЯНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ ДЖУЗЕППЕ КУЛИККЬЕЙ / МИЦУЁСИ НУМАНО О ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Основан в 1891 году

## "ИЛ" В 2003 ГОДУ

**"Мао II"** – роман американца ДОНА ДЕЛИЛЛО, повествующий о судьбе писателя в эпоху, когда террористы начинают активно претендовать на роль властителей дум.

**"Поцелуй женщины-паука"** – всемирно известный роман аргентинского писателя МАНУЭЛЯ ПУИГА; исполненная тонкого психологизма история, которая разворачивается в тесном пространстве тюремной камеры.

**"Прелесть"** – шедевр поэтической прозы знаменитого француза ПАТРИКА МОДИАНО.

**"Карандаш плотника"** – удостоенный крупнейших литературных премий роман МАНУЭЛЯ РИВАСА, одного из самых заметных испанских писателей поколения 40-летних.

**"Мой собственный мир"** – последняя книга ГРЭМА ГРИНА, составленная им из записных книжек, которые писатель вел на протяжении всей жизни.

**"Юдифь"** – повесть МИРО ГАВРАНА, одного из мастеров современной хорватской литературы, по-новому трактующая библейский сюжет о Юдифи и Олоферне.

**"Чужие берега"** – размышления южноафриканского писателя ДЖ. М. КУТЗЕЕ о творчестве великих русских писателей.

**"Последний дворник"** – повесть польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО, сатирическая антиутопия, в которой живущий в США автор беспощадно высмеивает идиотизм современного мира.

**"Людское клеймо"** – жестокий, откровенный роман американца ФИЛИПА РОТА, где герои расплачиваются за отказ от собственного прошлого.

**"Театр памяти"** – документальная повесть итальянского писателя ЛЕОНАРДО ШАША, версия разгадки таинственной истории, на протяжении десятилетий не только волновавшей полицию и журналистов, но и вдохновлявшей писателей и кинематографистов.

**"Пражские тетради"** – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, восстанавливающий самую загадочную часть биографии пламенного Че Гевары.

**"На собственной шкуре"** – роман немецкой писательницы КРИСТЫ ВОЛЬФ о разрыве времен, о конце ГДР, о конфликте между индивидом и обществом.

**"Прекрасные души"** – сатирическая повесть восходящей звезды французской литературы ЛИДИ САЛЬВЕР.

**"Вспоминая Лампе"** – роман молодого испанского писателя ХОСЕ ЛУИСА ДЕ ХУАНА, переносящий читателя в спокойный прусский городок XVIII века в дом профессора Иммануила Канта.

**"Андре Мальро, жизнь"** – фрагменты книги ОЛИВЬЕ ТОДДА об известном французском писателе и политике, чья судьба теснейшим образом сплелась с историей XX века.

Эссеистика А. ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ, Ч. МИЛОША, Ш. ХИНИ, Д. Г. ЛОУРЕНСА, Р. БРЮКНЕРА, Р. КАЙУА, Р. КАЛАССО, Э. САИДА.

Тематический номер *"НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ"*, объединяющий авторов, которые родились за пределами США, но в последнее десятилетие приобрели известность как американские писатели.

Специальный номер, посвященный австрийской литературе, куда войдут роман КРИСТОФА РАНСМАЙРА **"Ужас льдов и мрака"**, эссе ПЕТЕРА ХАНДКЕ, **"Письма Фелице"** ФРАНЦА КАФКИ, стихи из наследия ИНГЕБОРГ БАХМАН и другие тексты.

Литературные гиды о творчестве ИТАЛО КАЛЬВИНО и ЭДМУНДА УИЛСОНА.

Постоянные рубрики журнала: "Документальная проза", "Литературная биография", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "ИЛ: истоки и история", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Беседы", "Комментарий", "Курьер ИЛ".

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[8]

2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ахмаду Курума. *Аллах не обязан.* Роман. Перевод с французского Нины Кулиш

64 Форуг Фаррохзад. *Стихи из книги "Новое рождение".* Перевод с фарси и вступление Виктора Полещука

70 Луис Сепульведа. *Рассказы из книги "Невстречи".* Переводы с испанского. Вступление Эллы Брагинской

90 Ричард Хьюз. *В опасности.* Роман. Перевод с английского В. Голышева

Литературное наследие

180 *К 150-летию со дня смерти Гоголя.* Джузеппе Джоакино Белли. *Римские сонеты.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Документальная проза

189 Артур Кёстлер. *Автобиография.* Окончание. Перевод с английского Л. Сумм

Статьи, эссе

242 Мицуёси Нумано. *Граница японской литературы и ее сдвиги в мировом контексте*

249 Татьяна Григорьева. *Путь японской культуры*

Наши гости

258 *"Самоирония – способ защиты от внешнего мира".* Беседа с итальянским писателем Джузеппе Куликкьей. Запись беседы Михаила Визеля

Среди книг

266 Ирина Адельгейм. *Vade tecum.* Мария Горбачева. *Два Шекспира Энтони Бёрджесса.* Елена Гальцова. *Общественный договор о насилии.* Марк Соколянский. *Если бы Свифт писал после холокоста...*

Курьер "ИЛ"

280

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2002

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
*заведующая отделом критики и публицистики*

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

А. М. Зверев
*заместитель главного редактора*

А. В. Михеев
*ответственный секретарь*

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

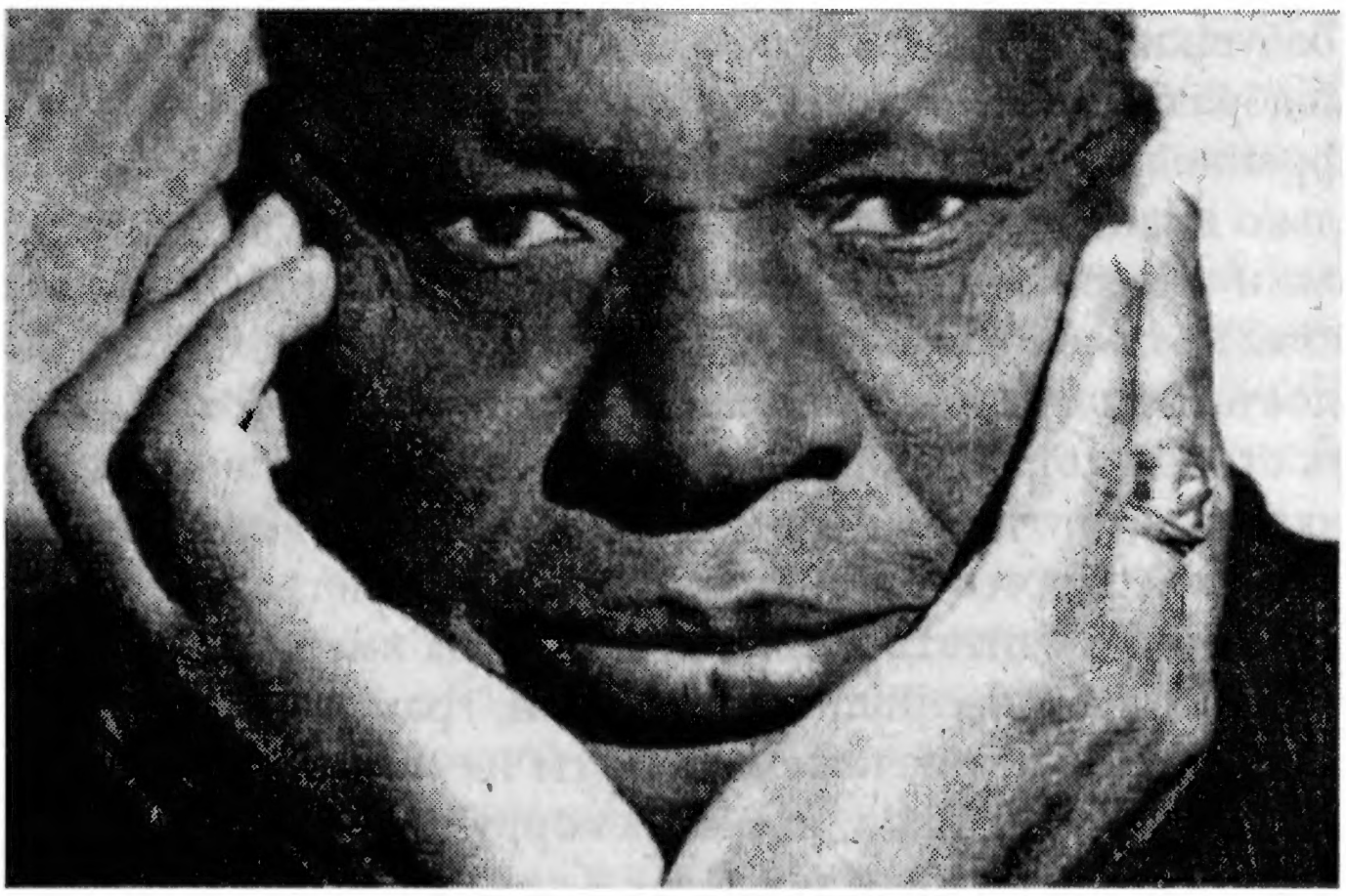
Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

# Ахмаду Курума



# *Аллах не обязан*

Роман

*Перевод с французского* Нины Кулиш

Посвящаю эту книгу вам, дети Джибути:
ведь она была написана по вашей просьбе

А также моей супруге, за ее терпение

## I

Я подумал и решил, что окончательное и полное название моего трепа будет такое: "*Аллах не обязан быть справедливым во всех своих земных делах*". Ну вот. Теперь приступаю.

Ну, значит... во-первых... Звать меня Бирахима. Я негритенок. Не потому, что я черномазый, что я мальчишка. Нет! Я негритенок, потому что с грехом пополам говорю по-французски. Так уж повелось. Будь ты взрослый дядька, будь ты старик, будь ты араб, или китаец, или белый, будь русский или американец, но если ты говоришь по-французски с грехом пополам, люди скажут: он говорит, как негритенок, и ты все равно получаешься негритенок. Это закон разговорного французского языка, тут ничего не поделаешь.

И во-вторых... В учебе я недалеко продвинулся: проучился два класса начальной школы и сбежал. Сбежал потому, что все вокруг мне говорили: школа сейчас — нестоящее дело, как пук старой бабушки. (Так выражаются чернокожие африканцы, когда хотят сказать про какую-нибудь вещь,

© Éditions du Seuil, septembre 2000
© Н. Кулиш. Перевод, 2002
Роман печатается в сокращенном варианте.

что она ничего не стоит. Они говорят так потому, что у дряхлой, еле живой бабушки пук совсем тихий и не сильно вонючий.) Школа — она как пук старой бабушки потому, что даже с дипломом университета ты не устроишься медбратом или учителем в одной из прогнивших банановых республик франкоязычной Африки. (Банановая республика — это такая, где одна только видимость демократии, а на самом деле все определяется корыстными интересами кучки людей и коррупцией.) Два класса начальной школы не сильно помогают в жизни. Ты узнаёшь кое-что, но этого тебе недостаточно; и ты становишься, как говорят африканские негры, с двух сторон поджаренной лепешкой. Ты уже не такой невежественный и дикий, как другие африканские негры у себя в деревнях: ты разбираешь и понимаешь, что говорят образованные негры и тубабы (то есть белые) — если не считать англичан и черных американцев в Либерии. Но ты ничего не смыслишь в географии, грамматике, всяких там склонениях, спряжениях и изложениях; и ты не можешь заработать на жизнь в какой-нибудь паршивой, насквозь коррумпированной республике вроде Гвинеи, Кот-д'Ивуара и так далее и тому подобное.

В-третьих, я нахальный, я неухоженный, точно козлиная борода, и выражаюсь, как последний подонок. Не говорю, как приличные чернокожие африканцы: дерьмо! мразь! сволочь! — а произношу разные слова на языке малинке, например: фафоро! (*Фафоро* означает: клянусь членом моего отца, или просто отца, или твоего отца.) Или: ньямокоде! (*Ньямокоде* означает: паскуда или паскудство.) Или: валахе! (*Валахе* означает: клянусь Аллахом.) Малинке — это мой народ. Это такие чернокожие африканские негры, которых много живет на севере Кот-д'Ивуара, в Гвинее и в других банановых, насквозь прогнивших республиках вроде Гамбии, Сьерра-Леоне, Сенегала там, ну и так далее.

А в-четвертых... Хочу извиниться за то, что обращаюсь к вам вот так, запросто. Я ведь еще ребенок. Мне десять или двенадцать лет (два года назад бабушка говорила, что мне восемь, а мама — что мне десять), и я люблю поговорить. Воспитанный ребенок слушает, а не болтает... Не заводит долгую речь, точно птица-жандарм в ветвях фигового дерева. Это дозволено лишь старикам с густыми седыми бородами, ибо пословица гласит: колено не носит шляпу, пока голова еще на плечах. Таков обычай в наших деревнях. Но мне давно уже наплевать на деревенские обычаи, поскольку я побывал в Либерии, поскольку я убил множество людей из "калаша" (то есть автомата Калашникова) и долго употреблял каниф и другие тяжелые наркотики.

И в-пятых... Чтобы рассказать вам мою поганую, проклятущую жизнь на более или менее понятном, более или менее приемлемом французском языке, чтобы не ошибиться, подбирая нужное слово, я запасся четырьмя словарями. Это прежде всего толковые словари "Ларусс" и "Малый Робер", затем "Словарь лексических особенностей французского языка в Черной Африке" и, наконец, словарь Хэррапа. Словари помогают мне найти нужные слова, проверить нужные слова и главное — объяснить их. Объяснять приходится потому, что этот мой треп будут читать самые разные люди: фермеры-тубабы (то есть белые), чернокожие африканские дикари и вообще весь контингент читающих по-французски (контингент — это означает: все, сколько есть). "Ларусс" и "Малый Робер" помогают мне найти, проверить и объяснить чернокожим неграм Африки значение нужных мне слов французского языка, на каком говорят во Франции. "Словарь лексических особенностей фран-

цузского языка в Черной Африке" объясняет французским тубабам значение африканских слов. А словарь Хэррапа объясняет слова на пиджин инглиш[1] тем, кто совсем не понимает этот язык.

Как я раздобыл эти словари? Это долгая история, и сейчас мне неохота ее рассказывать. Сейчас мне некогда, неохота болтать лишнее. Вот и все. Фафоро (клянусь папиным срамом)!

И в-шестых... Надо признаться: я не был умником и паинькой, я заслужил проклятие, потому что обидел маму. Чернокожие негры в Африке говорят: если ты разгневал мать и она умерла с гневом в сердце, то она прокляла тебя, и теперь ты проклят. Ничего у тебя не будет ладиться, и самому тебе будет неладно.

Я не умница и не паинька, потому что меня преследуют ньямы многих людей. (*Ньяма* – очень важное слово у чернокожих негров в Африке, его необходимо объяснить белым французам. Согласно "Словарю лексических особенностей французского языка в Черной Африке", ньяма – это тень, которая остается от человека после смерти. Такая тень превращается в злую силу, неотступно преследующую того, кто убил ни в чем не повинного человека.) А я убил много ни в чем не повинных людей в Либерии и в Сьерра-Леоне, где я участвовал в межплеменных войнах, где я был маленьким солдатом, где я одурял себя тяжелыми наркотиками. Меня преследуют ньямы, поэтому у меня все скверно, и самому мне скверно. Ньямокоде (паскудство)!

Всего шесть пунктов, и ни единым больше, – и вот я перед вами, такой как есть, и в придаток – моя неправильная и дерзкая речь. (На самом деле надо говорить не "в придаток", а "вдобавок". Слово "вдобавок" требует объяснения: чернокожие негры в Африке такие несмышленые. По словарю "Ларусс", вдобавок – это когда тебе что-то говорят сверх положенного, в довесок.)

Да, вот что я собой представляю; картина не очень-то радостная. Теперь, когда я представился, перейду к делу: расскажу мою дерьмовую, проклятущую жизнь.

Садитесь и слушайте. И записывайте все, что услышите. *Аллах не обязан быть справедливым во всех делах своих.* Фафоро (клянусь папиным членом)!

Перед тем как попасть в Либерию, я был не ребенок, а само совершенство. Я спал где придется, тащил еду где попало и какую попало. Бабушка искала меня целыми днями: это называется "уличный мальчишка". Я был уличным мальчишкой. До того как стать уличным мальчишкой, я ходил в школу. А еще раньше я был билакоро в деревне Тогобала (по "Словарю лексических особенностей", билакоро означает: необрезанный мальчик). Я скакал через канавы, бегал по полям, ловил в зарослях мышей и птиц. Настоящий негритянский мальчик-африканец, дитя джунглей. А до всего этого, в самом начале, я был малышом и жил в хижине у мамы. Малыш бегал от маминой хижины к хижине бабушки. А перед этим я ползал на четвереньках по маминой хижине. Перед тем как ползать, я был в животе у мамы. А еще до этого я, возможно, носился по воздуху, извивался змеей или плавал в воде. Мы всегда бываем чем-нибудь до того, как оказаться в мамином животе: змеей, деревом, быком, муж-

1. Pidgin English (*испорч.* business English) – англо-китайский жаргон. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

чиной или женщиной. Это называется прошлой жизнью. Я жил прошлой жизнью. Ньямокоде (паскудство)!

Первое, что мне приходит в мозги... На правильном французском языке не говорят "в мозги", надо говорить "в голову". Первое, что мне приходит в мозги или в голову, когда я думаю о маминой хижине, это огонь, пламя жаровни, раскаленные уголья. Не знаю, сколько мне было месяцев, когда я пропек себе локоть (пропечь, по "Словарю лексических особенностей", означает: приготовить на угольях). Мама не подсчитала мои годы и месяцы; ей было некогда, она все время мучилась, все время плакала.

Я забыл вам сказать кое-что важное, очень важное, страшно важное. Моя мама ходила на ягодицах. Валахе (клянусь Аллахом)! На ягодицах. Опираясь на руки и на левую ногу. Левая нога у нее была слабая, тонкая, точно пастуший посох. А правая, которую она называла раздавленной змеиной головой, была изуродована, искалечена язвой. Язва, по словарю "Ларусс", — это незаживающая рана, откуда течет гной. Так называется рана на ноге, которую нельзя вылечить и которая убивает больного. Мамина язва была обложена листьями и укутана старой набедренной повязкой (укутана, по "Ларуссу", значит обернута.) Правую ногу мама всегда держала на весу. Передвигалась она рывками, на ягодицах, словно гусеница (рывками — это когда вдруг остановка, а потом рраз — и снова вперед). А я ползал на четвереньках. Я это помню и могу рассказать. Но мне не хочется, чтобы об этом знали все. Потому что это секрет; потому что когда я об этом рассказываю, то вздрагиваю от страха, огонь снова жжет мне тело. Я копошился на полу, она пыталась меня поймать. Но я увертывался, я был проворнее. Она пыталась поймать меня, держа правую ногу на весу, передвигаясь на ягодицах, рывками, опираясь на руки. Я уполз далеко, не хотел, чтобы меня поймали, и упал на раскаленную жаровню. Раскаленная жаровня сделала свое дело, поджарила мне руку. Она поджарила руку бедного малыша, каким я был тогда, потому что Аллах не обязан быть справедливым во всех своих земных делах. На руке остался шрам; он всегда у меня в голове и в животе, как говорят чернокожие африканцы, он у меня в сердце. Шрам всегда у меня в сердце, он во всем моем существе, так же как запахи матери. Ужасающие запахи моей матери пропитали мое тело (ужасающий — значит очень-очень неприятный, а пропитать — значит намочить, наполнить жидкостью, так сказано в "Ларуссе"). Ньямокоде (паскудство)!

Итак, когда я был милым ребенком, самой важной вещью в моем детстве была язва, разъедавшая, убивавшая правую ногу моей матери. Язва управляла моей матерью (управлять — значит вести за собой). Язва управляла моей матерью и всеми нами. Рядом с матерью и ее язвой был очаг. Очаг, который поджарил мне руку. Очаг либо дымился, либо в нем ворошили (ворошить — значит мешать уголья в очаге, чтобы затухающий огонь загорелся снова). Вокруг очага стояли канари. (В "Словаре лексических особенностей" сказано, что канари — это глиняный сосуд, изделие народного промысла.) Повсюду стояли эти канари с целебными отварами (отвар — настой, который получают, заливая растения кипящей водой). Целебные отвары были нужны, чтобы промывать мамину язву. В глубине хижины, у стены, тоже стояли канари. Между канари и очагом лежала моя мама, прикрыв язву циновкой. А еще там сидел я, а рядом со

мной — заклинатель фетишей, охотник и целитель Балла. Балла лечил маму.

Это был замечательный дядька, просто потрясающий. Невозможно представить, сколько стран он повидал, сколько разных вещей знал. Аллах наградил его уймой дарований, редких шансов и невероятных возможностей. Это был вольноотпущенник, так, по словарю "Ларусс", надо называть бывшего раба, которого отпустили на свободу. Это был донсон ба — так называют славного охотника, который уже успел убить одного черного зверя и одного злого духа ("Словарь лексических особенностей"). Это был кафр, то есть человек, отрекшийся от ислама и носящий с собой фетиши ("Словарь лексических особенностей"). Он отказался сжечь своих идолов, а это значит, что он не мусульманин, не молится пять раз в день и не постится месяц в году. Когда он умрет, ни один мусульманин не должен идти за его телом, а мусульманское кладбище не примет его. И никто, абсолютно никто (абсолютно — значит никоим образом, без всяких исключений) не должен есть добытую им дичь.



Балла был единственный бамбара (то есть отступник), единственный кафр в нашей деревне. Все его боялись. Он носил амулеты где только можно — на шее, на руках, в волосах, в карманах. Ни один житель деревни не имел права переступить его порог. Тем не менее все заходили к нему в хижину по ночам, а иногда и днем, потому что он занимался колдовством, традиционной медициной, магией и многими другими экстравагантными делами (экстравагантный — значит далеко выходящий за рамки привычного).

Всему, что я говорю, всему, что я несу (нести — значит говорить глупости), всему, что я бормочу и лепечу, я научился от него. Надо снова и снова благодарить щедрое дерево, под которым ты когда-то насобирал много вкусных плодов. Я никогда не проявлю неблагодарности к Балла. Фафоро (клянусь членом его отца)! Ньямокоде (паскудство)!

В маминой хижине было две двери: одна выходила на участок земли, арендованный нашей семьей, а другая, маленькая — на задний двор. Я бегал на четвереньках, лазил повсюду, на все натыкался. Иногда натыкался на язву. Мама визжала от боли. Язва кровоточила. Мама визжала, словно гиена, попавшая в волчий капкан. Она плакала. Непонятно, откуда у нее бралось столько слез, ее глубоко запавшие глаза никогда не высыхали, а горло всегда сжималось от рыданий, они душили ее.

— Утри слезы, уйми рыдания, — говорила бабушка. — Наша судьба, наши глаза, наш рост, наши беды — все это от Аллаха, создавшего нас. Тебя он создал с язвой, которая причиняет тебе страдания. Он судил тебе прожить всю твою земную жизнь на циновке в хижине, у очага. Надо снова и снова повторять: Алла кубару! Алла кубару! (Аллах велик!) Аллах посылает нам трудности не просто так. Он заставляет тебя страдать на земле, чтобы ты очистилась и заслужила рай, вечное блаженство, которое он даст тебе потом.

Мать утирала слезы, подавляла рыдания. И мы опять начинали играть, гоняться друг за другом по хижине. Однажды утром она от боли прервала игру, залилась слезами, стала задыхаться от рыданий.

— Тебе не плакать надо, а восхвалять Аллаха! Аллах велик! Ты должна благодарить Аллаха за его милость. Он послал тебе мучения здесь, в краткой земной жизни. Эти твои мучения в тысячу раз слабее тех, что

ожидают других людей в аду. Грешники, нечестивцы и злодеи будут мучиться вечно.

Так говорила бабушка и призывала маму молиться. И мама снова утирала слезы и молилась вместе с бабушкой.

Когда я поджарил себе руку, мама слишком много проплакала, у нее распухло горло, стало тесно в груди от рыданий. Пришли вдвоем бабушка и мой отец. Оба они рассердились, оба они стали ругать маму.

— Это новое испытание, посланное тебе Аллахом. (Испытание — то, что позволяет узнать, какая цена человеку.) Аллах готовит тебе дополнительные радости в раю, потому он поразил тебя новым несчастьем здесь, на земле.

Мама утерла слезы, подавила рыдания и помолилась вместе с бабушкой. А потом мы с мамой опять начали играть.

Балла говорил: ребенок не покидает материнскую хижину из-за того, что там разок пукнули. Я никогда не боялся запахов, которые исходили от мамы. В хижине воняло всем, чем только может вонять. Газами из кишечника, дерьмом, мочой, гноем из язвы, едким дымом. И еще были запахи целителя Балла. Но я их не чувствовал, меня от них не мутило. Все мамины запахи и запахи Балла были мне полезны. Я привык к ним. От этих запахов мне лучше спалось, еда казалась вкуснее. Это называется природной средой, которая есть у каждого вида живых существ; хижина мамы со всеми ее запахами была моей природной средой.

Обидно, что мы не можем знать, каким был мир до нашего рождения. Иногда, по утрам, я пытаюсь представить, какой была мама до своего обрезания, как она пела, танцевала, ходила до своего обрезания, когда она была невинной юной девушкой. Бабушка и Балла говорили мне, что она была прелестна, словно газель, словно резная фигурка из дерева. Сам я видел ее только лежащей или ползающей на ягодицах, а стоящей во весь рост — никогда. Но я уверен: прежде она была соблазнительной и неотразимой. Потому что еще и теперь, после тридцати лет, проведенных среди дерьма и вони, в едком дыму, в слезах и страданиях, ее изможденное лицо со впалыми щеками сохранило какую-то чудесную силу. Когда это изможденное лицо не исходило слезами, точно переполненная чаша, оно озарялось лучом света. Ты как будто видел затерявшуюся, выщербленную жемчужину (выщербленная — значит попорченная с краю). Это была красота, тронутая гнилью, как язва на ее правой ноге, это был луч света, который уже нельзя разглядеть в едком дыму и вонючих испарениях хижины. Фафоро! Валахе!

Когда мама была красивой, привлекательной и невинной девушкой, ее звали Бафитини. Балла и бабушка еще и потом называли ее Бафитини, хотя она превратилась в сплошную гниль. А я, видевший ее только в этом жалком состоянии, в последней, махровой стадии разложения, я называл ее Ма и никак иначе. Просто Ма, это у меня шло от живота, как говорят африканцы, или от сердца, как говорят французы во Франции.

Бабушка говорит, что Ма родилась в Сигири. Это была захудалая деревушка, каких много в Гвинее, в Кот-д'Ивуаре и в Сьерра-Леоне, где землекопы и дробильщики камней находят золото. Мой дед скупал и перепродавал это золото. Как всякий богатый торговец, он покупал себе много женщин, лошадей, коров и бубу — длинных, накрахмаленных оде-

яний. Женщины и коровы нарожали массу детей. Чтобы разместить своих женщин, детей, телят, родственников, скот и золото, он покупал много земельных участков и строил дома. У деда были участки во всех деревнях, где находились лагеря золотоискателей — авантюристов, которые готовы были дорого продать свою жизнь.

Моя бабушка была первой женой деда, матерью его первых детей. Вот почему он послал ее в деревню управлять имением нашей семьи. А не оставил в одной из золотоносных деревень, где много воров, убийц, обманщиков и перекупщиков золота.

У бабушки был и другой повод остаться в нашей деревне: без нее мама умерла бы от остановки сердца и окончательно сгнила от язвы. Мама говорила, что наверняка умрет от горя в ту ночь, когда бабушка покинет ее и уедет к этим убийцам женщин, в лагеря золотоискателей, где торговал золотом мой дед.

Бабушка очень любила маму. Но не знала дату ее рождения, не знала даже, в какой день недели мама родилась. Слишком занята она была в ту ночь, когда рожала маму. Балла объяснял мне, что это совершенно не важно, что никому не интересно, в каком году и в какой день родилась мама, поскольку все мы, так или иначе, когда-то где-то родились, а потом когда-то где-то умрем, и всех нас похоронят в одном и том же песке, и мы присоединимся к сонму предков, и Аллах свершит свой суд над всеми нами.

В ночь рождения мамы бабушка была очень занята еще и потому, что повсюду вокруг наблюдались дурные знамения. Слишком много дурных знамений было в ту ночь на небе и на земле: вой гиен на горной круче, уханье сов на крышах хижин. Все это предвещало, что жизнь моей мамы будет ужасно, непоправимо несчастливой. Дерьмовой, страдальческой, проклятущей и так далее.

Балла сказал мне, что в ту ночь были принесены жертвы, но их оказалось недостаточно, чтобы избавить маму от ее злой судьбы. Ведь Аллах и духи предков не всегда благосклонно принимают жертвы. Аллах делает что хочет; он не обязан всякий раз снисходить (снисходить — значит прислушиваться) к молитвам жалких смертных. Духи предков делают что хотят; они не обязаны всякий раз снисходить к усердию молящихся.

Меня, Бирахиму, бабушка просто обожала. Я был ей дороже всех ее внуков. Когда кто-нибудь давал ей кусочки сахара, сладкие и сочные плоды манго и папайи или молоко, она не притрагивалась к ним, оставляла все мне. Она прятала эти лакомства в углу хижины и угощала меня, когда я заходил к ней, вспотевший, усталый, с пересохшим ртом и голодный, — настоящий гадкий уличный мальчишка.

Когда мама еще была юной, невинной и чудо какой красивой, она жила в деревне, где мой дед скупал золото, и было много бандитов, продававших это золото: они насиловали и убивали юных девушек, еще не подвергшихся обрезанию. Поэтому мама не стала ждать долго. Как только задул харматтан, она вернулась в родную деревню, чтобы приготовиться к церемонии женского обрезания: это происходит раз в году, когда дует северный ветер.

Никто в деревне Тогобала не знал заранее, в какой части саванны произойдет церемония. С первыми петухами девушки выходят из хижин. И вереницей (вереницей — значит одна за другой) направляются к зарослям кустарника и в молчании углубляются в чащу. В ту минуту, ког-

да пробивается первый луч солнца, они достигают лужайки, где происходит церемония. Необязательно самому быть на этой лужайке, чтобы знать: там девушкам отрезают кое-что. К несчастью, когда моей матери кое-что отрезали, кровь у нее никак не останавливалась. Кровь текла, как воды реки, взбухшей после грозы. У всех ее подружек кровь остановилась. Значит, мама должна была умереть на лужайке, где свершалось обрезание. Так бывает каждый год: дух леса берет плату за каждую церемонию посвящения — одну из девушек, подвергшихся обрезанию. Дух убивает ее и оставляет себе как жертву. Ее хоронят прямо там, в лесу, на лужайке для церемонии. Она никогда не бывает дурнушкой, это всегда одна из самых красивых, даже самая красивая девушка, принявшая посвящение. Моя мама была самой красивой среди сверстниц: вот почему дух леса выбрал ее себе в жертву и решил убить.

Колдунья, совершавшая обрезание, была из племени бамбара. В нашем краю, в Хородугу, живут люди двух народов: бамбара и малинке. Мы, семьи Курума, Сиссоко, Диарра, Конате и так далее, принадлежим к народу малинке, мы — диула, мусульмане. Малинке здесь не коренные жители: в незапамятные времена они пришли сюда из долины Нигера. Малинке — достойные люди, они вняли слову Аллаха. Они молятся пять раз в день, не пьют пальмового вина, не едят свинины и дичи, добытой кафром-язычником Балла. В других деревнях живут бамбара, кафры, язычники, нечестивцы, идолопоклонники, дикари, колдуны. Их, бамбара, называют еще лоби, сенуфо, кабие и так далее. До колонизации они ходили голышом. Их называли голыми людьми. Бамбара — коренные жители здешних мест, исконно владевшие этими землями. Колдунья, совершавшая обрезание, была из племени бамбара. Ее звали Муссокорони. Увидев, что моя мама истекает кровью, что она близка к смерти, Муссокорони сжалилась над ней, так как мама тогда была необычайно красива. У многих язычников, не признающих Аллаха, злое сердце, но некоторые из них добры. Колдунья была добра, она старалась, колдовала, молилась фетишам, и ей удалось вырвать маму из когтей свирепого лесного духа. Дух услышал заклинания и молитвы колдуньи, и кровь у мамы остановилась. Мама была спасена. Мой дед, моя бабушка, все в деревне были довольны, и всем хотелось отблагодарить колдунью, щедро заплатить ей. Но она отказалась. Отказалась наотрез.

Она не хотела денег, не хотела ни скота, ни орехов кола, ни проса, ни вина, ни одежды, ни каури (каури — это раковина из Индийского океана, которая когда-то имела и продолжает иметь большое значение в жизни африканцев, выполняя, в частности, роль разменных денег). Потому что она находила мою маму необычайно красивой и хотела женить на ней своего сына.

Ее сын был охотник, кафр, колдун, идолопоклонник — словом, язычник, которому ни в коем случае нельзя отдавать в жены правоверную мусульманку, почитающую Коран, какой была моя мама. Вся деревня сказала: нет.

И маму выдали замуж за моего папу. Потому что папа был троюродным братом мамы; потому что он был сыном деревенского имама. Колдунья и ее сын (тоже умевший колдовать) рассердились, очень рассердились. Они поразили правую ногу моей мамы злым заклятием, коротэ (коротэ, согласно "Словарю лексических особенностей", означает: яд, поражающий жертву на расстоянии), напустили на нее джибо (зловредный фетиш), обладавший огромной силой и могуществом.

Когда мама вышла замуж и забеременела в первый раз, у нее на правой ноге появилась совсем маленькая, крохотная черная точка. Точка стала причинять боль. Ее прокололи. Образовалась маленькая ранка; ранку лечили, но она не зажила. От этой ранки у мамы распухла ступня, а потом икра.

Родные, не теряя времени, обратились за помощью к Балла, к другим целителям, к ясновидящим, марабутам; все они сказали, что это колдунья и ее сын наслали на маму заклятие. Тогда родственники мамы пошли в деревню, где жила колдунья со своим сыном. Но было уже поздно.

Колдунья тем временем успела умереть, она умерла от старости, и ее похоронили. Ее сын, охотник, был злой человек, ничего не хотел слышать, ничего не хотел понимать, ничего не хотел брать. Он был и вправду злой, настоящий идолопоклонник, враг Аллаха.

Мама родила мою старшую сестру. Моя старшая сестра начала ходить, потом подросла и стала бегать по маминым поручениям, а рана у мамы все продолжала гнить, и тогда маму повезли в окружную больницу. Это было еще до независимости. В больнице был белый доктор — тубаб с тремя нашивками, врач-африканец без нашивок, военный фельдшер, акушерка и много других чернокожих в белых халатах. Все чернокожие в белых халатах были чиновниками на службе у губернатора колонии, который платил им жалованье. Но для того чтобы чиновник был добр к больному, больной приносил ему цыпленка. Так всегда делалось в Африке. Мама дала пять цыплят пятерым чиновникам. И все они были добры к ней, все они усердно ее лечили. Но от бинта и марганцовки рана у мамы не зажила, а продолжала сильно кровоточить и гноиться. Доктор-капитан сказал, что будет оперировать мамину ногу, отрежет ее у колена и бросит это гнилье на помойку собакам. К счастью, военный фельдшер, которому мама дала цыпленка, пришел ночью предупредить ее.

Он сказал маме, что ее болезнь — не болезнь белых, это болезнь черных африканских дикарей. Медицина белых, наука белых не может победить такую болезнь. "Только колдовство африканского целителя может излечить твою рану. Если капитан будет оперировать тебя, ты умрешь, совсем умрешь, умрешь собачьей смертью", — сказал военный фельдшер. Фельдшер был мусульманин, он не мог лгать.

Дед договорился с погонщиком ослов. Ночью, при свете луны, погонщик и целитель Балла отправились в больницу и похитили маму, словно разбойники. Еще до рассвета они увезли ее в лес и спрятали в непроходимой чаще, под деревом. Капитан рассердился, он пришел в нашу деревню в военной форме с нашивками и привел с собой гвардейцев. Они искали маму по всем хижинам. Но не нашли: никто в деревне не знал, что ее спрятали в лесу.

Когда капитан и гвардейцы ушли, целитель Балла и погонщик вышли из леса, и мама вернулась в свою хижину. И опять стала передвигаться на ягодицах, рывками. Фафоро (клянусь членом моего отца)!

Теперь все убедились, что мамина язва была болезнью чернокожих африканцев, которая не поддастся ни одному белому врачу, а только местному снадобью колдуна-язычника. Родные приготовили орехи кола, двух цыплят, белого и черного, и быка. Они хотели пожертвовать все это добро сыну колдуньи, который вместе с матерью из ревности поразил мамину ногу злым заклятием, коротэ. Хотели попросить у него прощения, уговорить его снять с мамы злые чары, джибо. Они решились сделать это.

Но вот однажды рано утром, ко всеобщему удивлению, явились три старика из деревни, где жила колдунья. Эти старики были настоящие язычники, немусульмане. Их одежды были ветхими и зловонными, сами они были гадкими и грязными, словно дырка в заднице у гиены. Они сгрызли столько орехов кола, что десны у двоих стали совсем голыми, словно ягодицы шимпанзе. У третьего десны тоже были голые, только на нижней торчали два клыка, зеленых, словно фетиши. Они нажевали столько табаку, что бороды у них сделались рыжими, словно шерсть у большой крысы, которая жила в маминой хижине, а не белыми, как у стариков-мусульман, которые молятся пять раз в день. Они ползли, как улитки, опираясь на палку. Они принесли орехов кола, двух цыплят, белого и черного, и привели быка. Они пришли просить прощения у моей мамы. Потому что сын колдуньи, злой, жестокий охотник, умер тоже. Он зашел далеко в лес и хотел убить из своего ружья буйвола, который был духом. Буйвол поднял его на рога, раскачал, бросил на землю, потоптал копытами, убил его совсем, так что кишки и внутренности вывалились в грязь.

Это было так ужасно и так удивительно, что люди пошли за советом к гадателям и ясновидящим, чьим словам можно было доверять. И все эти гадатели и ясновидящие сказали, что свирепый буйвол был не кем иным, как аватарой (то есть иным воплощением) моей мамы Бафитини. Иначе говоря, это моя мама перевоплотилась в свирепого буйвола. Это моя мама убила и сожрала души колдуньи и ее сына (сожрать душу означает извести человека, поглотив его жизненную силу, так объясняет "Словарь лексических особенностей"). Моя мама была самая могущественная колдунья в наших местах: ее чары оказались сильнее чар колдуньи Муссокорони и ее сына-охотника. Она была главной у всех колдунов и пожирателей душ в нашей деревне. Каждую ночь она вместе с другими колдунами пожирала души людей, а также язву у себя на ноге. Вот почему язва никак не заживала. Никто на свете не мог вылечить эту зловредную язву. Это мама сама так захотела: захотела всю жизнь ползать на ягодицах, держа правую ногу на весу, потому что ей нравилось пожирать по ночам души людей и грызть язву на собственной ноге. Валахе (клянусь Аллахом)!

Когда я узнал все это, узнал, что мама занимается колдовством, когда я узнал, что она сама пожирает свою больную ногу, я был так изумлен и потрясен, что принялся плакать и проплакал четыре дня и четыре ночи подряд. Утром пятого дня я вышел из хижины, решив никогда больше не есть вместе с мамой. Такой мерзкой и отвратительной она мне казалась.

И я стал уличным мальчишкой. Настоящим уличным мальчишкой из тех, что спят среди коз и таскают еду с чужих участков и полей.

Балла и бабушка нашли меня в зарослях и привели домой. Они утерли мне слезы; они велели мне охладить сердце (охладить сердце — значит унять охватившие меня гнев и страдание) и сказали, что моя мама не была колдуньей, никак не могла ею быть. Потому что мама была мусульманкой. А старики бамбара, не верившие в Аллаха, были бесстыжими лгунами.

То, что сказали Балла и бабушка, не очень-то меня убедило; было уже слишком поздно. Если кто-то пукнул, обратно в задницу это не загонишь. Я по-прежнему смотрел на маму искоса, со страхом и недоверием в животе, как говорят африканцы, или в сердце, как говорят французы.

Я боялся, что однажды она съест мою душу. Когда кто-то съедает твою душу, ты не можешь больше жить и умираешь от болезни либо от несчастного случая. От любой напасти, ньямокоде (паскудство)!



Когда мама умерла, Балла сказал, что это не колдуны ее сожрали. Потому что он, Балла, был мудрец, заклинатель фетишей, он издали чуял колдунов, он знал все их повадки. Бабушка объяснила мне, что маму убил Аллах и никто больше, убил зловредной язвой и слезами, которых она слишком много пролила. Он, Аллах, пребывает на небе и делает что хочет; он не обязан быть справедливым во всех своих делах на земле.

В тот день я узнал, что причинил горе моей маме, большое горе. Причинил горе калеке. Мама так ничего и не сказала мне, но она умерла с обидой в сердце. Надо мной тяготело материнское проклятие. Никогда мне не сделать ничего хорошего на этом свете. И никогда из меня не выйдет ничего хорошего.

Позже, может быть, я расскажу вам, как умерла мама. Но нет никакой причины или необходимости говорить об этом тогда, когда мне не хочется. Фафоро (клянусь членом отца)!

Я еще ничего не рассказал вам о моем отце. Его звали Мори. Я не люблю говорить об отце. У меня от этого болит сердце, болит живот. Потому что он не дожил до белой бороды, какая бывает у мудрых старцев. Я не могу много рассказать о нем, потому что я мало его знал. Мне недолго пришлось с ним видеться, потому что он убрался с этого света, когда я еще ползал на четвереньках. Целитель Балла — вот с кем я часто виделся и к кому был привязан. К счастью, заклинатель фетишей Балла знал уйму всяких вещей. Он был сведущ в колдовстве и, как охотник, много путешествовал, побывал в Кот-д'Ивуаре, в Сенегале, даже в Гане и в Либерии, где живут чернокожие американцы, и все местные говорят на пиджин инглиш. Так у них там называется английский.

Исса — мой дядя, дядей называют брата отца. После смерти папы мама должна была стать женой дяди Исса. Таков обычай у народа малинке.

Но никто в деревне не соглашался отдать мою маму в жены дяде Исса. Потому что он никогда не заходил проведать маму в ее хижину; он никогда мной не занимался и всегда ругал и поносил моего отца, мою бабушку и деда. Никто в деревне не любил дядю Исса. Никому не хотелось, чтобы мама поступила по обычаю. А дядя Исса, со своей стороны, не хотел такой жены, которая передвигается на ягодицах, держа на весу увечную ногу.

Поскольку Коран и закон не дозволяют благочестивой мусульманке прожить двенадцать лун вне брачного союза, скрепленного орехами кола (орех кола — это съедобный плод дерева кола, который обладает тонизирующим действием. Орехи кола — традиционное ритуальное подношение в африканской деревне), то маме пришлось самой сделать выбор и прямо объявить, чего она хочет.

Она сказала бабушке, что Балла с давних пор часто и подолгу бывает у нее в хижине; она хотела вступить в союз, скрепленный орехами кола, со своим целителем и заклинателем фетишей. Тут все кругом зарычали и залаяли, точно бешеные собаки, все были против, потому что Балла был бамбара, язычник, он не молился пять раз в день, не соблюдал пост. А значит, не мог жениться на благочестивой мусульманке, которая молится пять раз в день в установленное время.

Были долгие споры-разговоры, чтение Корана. Чтобы положить конец этой бесполезной болтовне, решили посоветоваться с имамом. Имамом называют старика с белой бородой, который молится перед всеми по пятницам, по праздникам, а также пять раз в день. Имам попросил Балла повторить несколько раз: "Алла кубару и биссимилаи". Балла сказал один-единственный раз: "Алла кубару и биссимилаи", и все согласились, чтобы он поднес маме орехи кола.

Так Балла стал моим отчимом. Отчим — это второй муж матери. Балла и мама заключили фиктивный брак.

Фиктивным называют такой брак, при котором муж и жена не занимаются любовью. Брак был фиктивным по двум причинам. Балла носил на шее, на руках и на поясе слишком много амулетов и отказывался раздеваться при женщине. Но даже если бы он захотел снять с себя все амулеты, он все равно не смог бы сделать детей моей маме. Потому что не знал того способа, которым пользовался мой отец. Отец не успел научить его, как наклоняться над мамой, чтобы сделать детей: ведь мама передвигалась на ягодицах, держа больную правую ногу на весу.

Папа сделал маме троих детей. Мою сестру Мариам и другую сестру, Фатуму. Мой отец был трудолюбивый земледелец и благочестивый мусульманин, он досыта кормил мою маму. Бабушка говорила, что мой отец мало прожил, хотя и делал при жизни много добра: никто никогда не узнает волю Аллаха, Всевышний сидит на небе, и ему на наши поступки наплевать, он делает что хочет, и он не обязан всегда и всюду быть справедливым в своих земных делах.

Мама умерла потому, что так было угодно Аллаху. Правоверный не должен роптать, не должен противиться воле Аллаха, сказал имам. И добавил, что мама умерла не от колдовства, а от своей язвы. Нога у мамы так и сгнила, потому что после смерти колдуньи и охотника некому было лечить маму, а болезнь ее была не такая, от которой лечатся в больнице у белых врачей. А также потому, что закончилось время, отведенное ей Аллахом для земной жизни.

А еще имам сказал, что грязные старики, пришедшие к нам в деревню, сказали неправду. Неправда, что мама занималась колдовством и по ночам грызла язву на собственной ноге. Это остудило мне сердце, и я начал оплакивать маму. Имам сказал, что я не был хорошим мальчиком. Имам в деревне — это священник с белой бородой, который по пятницам в час дня руководит общей молитвой. Поэтому я стал горько раскаиваться.

И сейчас еще мне больно, сердце у меня разрывается, как подумаю о маминой смерти. Потому что иногда я спрашиваю себя: а может, мама не была колдуньей-пожирательницей душ? — и вспоминаю ночь, когда она умерла.

В ту ночь маме стало гораздо хуже, совсем плохо, и она подозвала меня и сильно сжала мою левую руку выше локтя. Я не мог вырваться, не мог убежать и до утра болтаться на улице, как делал обычно. Я заснул на циновке, а мамина душа отлетела с первым криком петуха. Но утром оказалось, что мамины пальцы так крепко вцепились мне в руку, что Балла смог оторвать меня от нее только с помощью бабушки и еще одной женщины. Валахе (клянусь Аллахом), это правда.

Все в деревне очень горевали и плакали, потому что мама слишком много выстрадала в своей земной жизни. Все сказали, что мама отправи-

лась прямо на небо, в светлый рай Аллаха, потому что все несчастья и все страдания она испытала здесь, на земле, и у Аллаха больше не осталось для нее несчастий и страданий.

Имам сказал, что ее душа будет доброй душой, душой, которая будет защищать живых от бед и напастей, душой, которую нужно будет почитать и просить о помощи. Мама теперь в раю; она больше не страдает, и все в нашем земном мире довольны. Все, кроме меня.

Смерть мамы причиняет мне боль, жестокую боль, и это не проходит. Потому что все обвинения стариков-кафров — грубая ложь, эти люди были отъявленными лжецами. А я вел себя с ней как плохой, гадкий мальчишка. Я обидел маму, и она умерла с обидой в сердце. Это значит, что я проклят, и проклятие преследует меня повсюду, куда бы я ни пошел. Ньямокоде (паскудство)!

На похороны мамы, на седьмой день и на сороковой день (согласно "Словарю лексических особенностей", седьмой и сороковой день — это церемонии поминовения усопшего) приехала из Либерии моя тетя Маан.

Маан — это мама Мамаду. Поэтому Мамаду приходится мне двоюродным братом. Тетя Маан жила в Либерии, вдали от проезжей дороги, в лесу, за рекой. Она сбежала туда со своим вторым мужем потому, что ее первый муж, отец Мамаду, был знаменитый охотник. Этот знаменитый охотник кричал, ругался, гонялся за ней с ножом, целился в нее из ружья. Такие люди называются буйными; и знаменитый охотник, папа Мамаду, был очень буйный. От охотника у тети было двое детей: кузина Ферима и кузен Мамаду. Охотника, отца Мамаду, звали Морифинг. Но Морифинг так ужасно кричал, ругался и гонялся за тетей с ножом, это был такой ужас, что в один прекрасный день тетя взяла и сбежала от него.

Во всем мире считается, что жена не должна покидать ложе своего мужа, даже если муж ругается, дерется и бегает с ножом. Все равно с ее стороны это будет нехороший поступок. Вот к чему сводится то, что называется женскими правами.

Все это было еще до независимости. Тетю вызвали к белому начальнику субдивизиона[1]. Согласно женским правам, детей отняли у матери и передали на воспитание отцу. Чтобы моя тетя не смогла украсть детей или увидеться с ними, отец отправил их в Кот-д'Ивуар. Кузен Мамаду оказался у своего дяди, военного фельдшера. Фельдшер определил Мамаду в школу, которую держали белые.

В то время школ было мало, и образование еще могло пригодиться. Вот почему Мамаду смог стать большим человеком. Он даже сумел выучиться на доктора.

Хотя колониальная администрация, приняв во внимание женские права, развела охотника Морифинга с женой, хотя Морифингу и разрешили оставить детей у себя, буйный охотник не перестал преследовать мою тетю и ее второго мужа. Иногда он просыпался среди ночи, хватал ружье, стрелял в воздух и говорил, что сейчас пойдет и убьет их обоих, подстрелит их обоих как диких коз, если только встретит. Вот почему тетя и ее муж уехали подальше от французских колоний, от Гвинеи и Кот-д'Ивуара, — в леса Либерии, этой колонии американских черноко-

1. Субдивизион — район военного округа.

жих, где не действуют французские законы о женских правах. А почему? Потому что английский язык, на котором там говорят, называется "пиджин инглиш". Фафоро!



Ну так вот, во время похорон моей матери буйного охотника не было в деревне. Он имел привычку пропадать по нескольку месяцев в чужих краях: там, как и у нас, он буйствовал и убивал массу диких зверей, чтобы продать их мясо. Это был его промысел, его работа. Вот почему его не было в деревне, когда тетя приехала, чтобы помочь нам всем — бабушке, Балла и мне — оплакать смерть моей матери.

Через три недели вся родня собралась на большую говорильню в хижине моего деда (говорильня — это такое сборище, на котором регулярно обсуждаются текущие дела и принимаются решения). Там были мой дед, бабушка, тетя Маан, другие тети и дяди. И они решили, что по обычаю народа малинке после смерти мамы тетя станет мне второй матерью. Вторую мать называют еще опекуншей. Вот тетя и стала моей опекуншей, она должна была кормить и одевать меня, и только ей было позволено наказывать меня, ругать и воспитывать.

А еще они решили, что я должен ехать в Либерию с тетей, моей опекуншей, потому что здесь, в деревне, я не ходил ни во французскую, ни в мусульманскую школу. Я шатался по улицам, как бродяга, или уходил в лес на охоту с Балла, который учил меня не чтению Корана, а охоте, поклонению фетишам и колдовству. Бабушка была против, она хотела, чтобы я уехал, расстался с Балла, — она боялась, что я стану бамбара, идолопоклонником, а не истинным малинке, который молится пять раз в день.

Чтобы уговорить меня уехать, убедить меня расстаться с Балла, бабушка сказала, что в Либерии, у тети, я буду каждый день есть рис с мясом и подливкой. И я обрадовался, что уезжаю, я даже запел, потому что мне захотелось вкусного риса с подливкой. Валахе (клянусь Аллахом)!

Но совет старейшин заявил деду и бабушке, что я не могу уехать, потому что я — билакоро. Так называют мальчика, который не подвергся обрезанию и не принял посвящение. Ведь там, в Либерии, — кругом сплошной лес, и люди там — бушмены (по "Словарю лексических особенностей", бушмены — значит лесные люди: это презрительное прозвище, которое люди саванны дали людям, живущим в лесу). Бушмены — это лесные люди, они не принадлежат к народу малинке, у них нет ритуала обрезания и посвящения. И я присоединился к первой же партии билакоро, которым в положенное время года предстояло обрезание и посвящение.

Однажды ночью меня разбудили, мы двинулись в путь и к восходу солнца вышли на опушку леса, где должно было состояться обрезание. Необязательно самому быть на этом месте, чтобы знать: там мальчикам отрезают кое-что. Каждый билакоро выкопал небольшую ямку и уселся перед ней на землю. Из леса вышел человек, который должен был совершить обрезание: он нес столько зеленых лимонов, сколько мальчиков сидело на опушке. Это был высокий старик из касты кузнецов. А еще он был великим колдуном и магом. Каждый раз, как он разрезал зеленый лимон, у одного из мальчиков отпадала крайняя плоть. Он прошел мимо

меня, я закрыл глаза, и моя крайняя плоть упала в ямку. Это очень больно. Но таков закон у народа малинке.

Потом нас поселили в лагере, в густых зарослях неподалеку от деревни, и там мы все вместе прожили два месяца.

За эти два месяца мы узнали много, очень много, но поклялись хранить все в тайне. Это называется посвящением. Я никогда не расскажу непосвященному о том, что узнал во время посвящения. В день, когда мы покинули священный лес, мы пировали и танцевали. Мы больше не были билакоро, теперь мы были посвященными, настоящими мужчинами. И я мог уехать из деревни, не вызывая ни у кого возмущения, не вызывая никаких пересудов.

Моя тетя, которую еще называют моей второй матерью или моей опекуншей, и я, Бирахима, не мальчик, а само совершенство, уже совсем было собрались в Либерию, когда однажды вечером, в час четвертой молитвы, мы вдруг услышали громкие крики, а потом выстрелы в той стороне, где была земля бывшего мужа моей тети, буйного охотника. По всей деревне поднялся крик, все кричали, что охотник вернулся. Тетя испугалась так, что в ту же минуту исчезла в непроглядной тьме, в непроходимой чаще, и не взяла меня с собой. Поэтому, когда через две недели тетя добралась в Либерию, к мужу, бабушка и деревенские старейшины начали искать попутчика, который смог бы отвезти меня к моей либерийской тете.

У нас в деревне все знают имена земляков, которые стали важными людьми и нажили много денег в Абиджане, Дакаре, Бамако, Конакри, Париже, Нью-Йорке, Риме, и даже в холодных далеких странах за Океаном, в Америке там, во Франции и так далее. Эти важные люди называются хаджи, потому что они каждый год ездят в Мекку, чтобы там в пустыне зарезать баранов в большой мусульманский праздник, который называется праздник баранов, или эль-кабейр.

Вот почему все в деревне уже давно знали, кто такой Якуба. Якуба был важный человек родом из нашей деревни, который жил в Абиджане, пользовался там большим уважением как хаджи и носил красивый накрахмаленный бубу.

Как-то утром, на заре, в деревне узнали, что ночью вернулся Якуба. Но каждый должен был держать рот на замке, никто не должен был говорить, что Якуба — в деревне. Все знали, что человека, который вернулся, зовут Якуба, но теперь нужно было забыть это имя и называть его Тиекура. Пять раз в день люди видели, как он идет в мечеть, но никто не должен был никому говорить, что видел его своими глазами. Якуба, он же Тиекура. (Когда по-французски надо дать понять, что у человека есть имя, но его называют как-то иначе, то говорят: "он же".) Якуба, он же Тиекура, пробыл в деревне два месяца, и никто не называл его прежним именем Якуба, и никто не спрашивал, зачем такому важному человеку понадобилось возвращаться сюда.

Поскольку в деревне так и не нашлось никого, кто мог бы отвезти меня к тете, то важный человек хаджи Тиекура, он же Якуба, однажды утром, после молитвы, сказал, что возьмет меня с собой в Либерию. Он хотел отвезти меня потому, что ко всему прочему был еще и множитель денег. Множитель денег — это такой мудрый, ученый человек, которому сегодня дают совсем немножко денег, а послезавтра он возвращает тебе

полный кошелек банкнот, иногда даже долларов. Тиекура был множитель денег, а также мудрец-гадатель и изготовитель амулетов.

Тиекуре надо было срочно уезжать, потому что все говорили, будто в Либерии, где идет война, мудрецы — множители денег, или целители, или изготовители амулетов загребали кучу денег и американских долларов. Они загребали столько денег потому, что в Либерии больше не осталось никого, кроме военачальников и людей, которые слишком боятся умереть. Военачальник — это важный человек, который убил много людей; ему принадлежит целая страна с деревнями, где полно людей, которые подчиняются военачальнику, а он может их легко и просто убить. Тиекура был уверен, что среди военачальников и их подчиненных он сможет спокойно заниматься своим делом и к нему не станут вязаться полицейские, как было в Абиджане. Полицейские постоянно докучали ему, за какую бы работу, за какое дело он бы ни брался, — и в Абиджане, и в Порт-Буэ, и в других городах Кот-д'Ивуара, таких как Далоа, Бассам, Буаке, и даже в Бундиали, на севере страны, где живет народ сенуфо.

Якуба, он же Тиекура, был действительно большой человек, настоящий хаджи. После обрезания он покинул родную деревню и отправился торговать орехами кола в лесной край, где живут бушмены, и занимался этим во многих городах Кот-д'Ивуара, таких как Агбовиль, Далоа, Ганьоа и Аньяма. В Аньяме он разбогател и решил экспортировать орехи в Дакар — морем. Он сумел намаслить бороды таможенникам (это то же самое, что дать бакшиш), и его корзины с орехами грузились в Абиджанском порту, выгружались в Дакаре и поступали на тамошний рынок без единого гроша пошлины или налога. В Сенегале и Кот-д'Ивуаре, если экспортер орехов кола не намаслит хорошенько бороды таможенникам, ему придется платить целую кучу пошлин и налогов правительству и в итоге он ничего не заработает. А орехи Якубы, за которые не было уплачено ни гроша пошлины, разошлись на рынках Сенегала за немалую цену и принесли громадную прибыль. Благодаря этой громадной прибыли Якуба, он же Тиекура, стал богачом.

А став богачом, он сел на самолет и отправился в Мекку, чтобы стать хаджи. Став хаджи, он вернулся в Абиджан и взял себе нескольких жен. Чтобы расселить своих многочисленных жен, он купил много участков земли (по разным направлениям) возле Аньямы и в разных прочих глухих местах, вроде Абобо, где полно абиджанских убийц. На его участках стояли дома, а в домах было много свободных комнат, поэтому родственники Якубы, его друзья, друзья его родственников и друзья друзей, родственники его жен съехались отовсюду, чтобы жить в пустующих комнатах, получать вкусную еду и разводить лишние разговоры. Якуба, он же Тиекура, пожелал направить эти разговоры в нужное русло, а потому весь день, не считая времени, положенного на молитвы, он проводил в беседах под аппатамом (аппатам — это легкий навес на столбиках, сплетенный из пальмовых листьев, чтобы укрываться от солнца). Он сидел под аппатамом в своем широком накрахмаленном бубу, в большом тюрбане мудрого хаджи и беседовал, приправляя свою речь пословицами и сурами Корана.

Однажды он за целый месяц настолько увяз в этих разговорах, настолько замучился с этими говорунами, что забыл хорошенько намаслить бороду таможенникам, а тем временем очередное судно с орехами вышло из Абиджана и прибыло в Дакар.

В Дакаре была забастовка докеров. Докеры и таможенники оставили орехи гнить в трюме, а Якуба, он же Тиекура, все продолжал разглагольствовать под аппатамом. И все орехи в корзинах, все, сколько их было на корабле, сгнили, пропали и теперь годились только на то, чтобы их выбросили в море. Якуба потерял все свои деньги. Французы сказали бы, что Якуба был полностью разорен, разорен дотла.

Когда ты разорен, банкиры приходят и требуют с тебя деньги, которые в свое время щедро одолжили. Если ты не отдаешь долг немедленно, они подают на тебя в суд. Если ты не сумел хорошенько намаслить бороду абиджанским чиновникам, судьям, судебным секретарям и адвокатам, тебе выносят самый суровый приговор. Если тебе вынесли самый суровый приговор и ты не сумел хорошенько намаслить бороду судебным исполнителям и полицейским, у тебя описывают недвижимое имущество — земли и дома.

У Якубы, он же Тиекура, описали все его земельные участки. Чтобы не видеть этого, а также чтобы не дать конфисковать драгоценности его жен, он бежал в Гану.

Гана — это такая страна неподалеку от Кот-д'Ивуара, где хорошо играют в футбол и говорят не только на правильном английском, но и на пиджин инглиш.

В Гане было полно товаров по гораздо более дешевой цене, чем в Абиджане. Хорошенько намаслив бороды таможенникам, Якуба ввез свои товары в Кот-д'Ивуар, не заплатив пошлин, продал их за немалую цену и получил огромную прибыль. Эта прибыль сделала его богачом, он купил большой кусок земли в Порт-Буэ, купил жен, тюрбаны, накрахмаленные бубу и мощные автобусы, чтобы возить пассажиров, которым очень срочно куда-то надо. Да, много мощных автобусов.

Поскольку водитель одного из автобусов все время присваивал деньги за билеты, Якуба, он же Тиекура, сам сел в этот автобус и стал продавать билеты. Но мстительный водитель подстроил тяжелую аварию. Якуба сильно пострадал, попал в больницу, но Аллах исцелил его, потому что Якуба ежедневно пять раз молился, а также часто приносил многочисленные жертвы. (Чернокожие африканцы говорят: если человеку сильно везет, значит, его жертвы были благосклонно приняты.)

Авария и пребывание в больнице возымели для него определенные последствия. Во-первых, он стал хромать, и его прозвали хромым бандитом. Во-вторых, он понял: Аллах в доброте своей никогда не оставляет без пищи ни один рот, созданный им. Фафоро (клянусь членом моего отца)!

Когда Якуба, он же Тиекура, лежал в больнице, его навестил один друг. Друга звали Секу, Секу Думбуйя. Он и Якуба были из одной деревни, принадлежали к одной возрастной группе мальчиков и вместе принимали посвящение — то есть это был очень старый друг. (В африканских деревнях детей разделяют на группы по возрасту. Дети из одной возрастной группы всё делают вместе. Они играют всей группой, всей группой принимают посвящение.) Секу приехал в больницу на "мерседесе". В Кот-д'Ивуаре на "мерседесах" ездят богачи. Секу рассказал Якубе, что у него такая профессия, при которой можно получать кучу денег, ничем не рискуя и ничего не делая. Это профессия марабута. Выйдя из больницы, Якуба, он же Тиекура, продал то, что осталось от разбитого автобуса, а также остальные мощные автобусы, и сделался марабутом — множителем денег, изготовителем амулетов, сочинителем молитв, кото-

рые приносят успех в жизни, и изобретателем жертвоприношений, которые отводят любые удары судьбы.

Дела у него пошли хорошо. Потому что к нему валом повалили разные министры, депутаты, важные чиновники, скоробогачи и другие большие шишки. А когда это увидели бандиты, убийцы и прочие головорезы Кот-д'Ивуара, они явились к Якубе с полными чемоданами краденых денег, чтобы он помог им умножить их добычу.

В Абиджане, когда полицейские видят вооруженного бандита, они не вступают с ним в перебранку, а просто пристреливают, как дичь, как зайца. Однажды полицейские открыли огонь по трем бандитам; двое умерли сразу, а третий, прежде чем загнуться, успел рассказать полицейским, что он и его сообщники хранили награбленное у множителя денег Якубы, он же Тиекура. И к множителю нагрянула полиция.

Благодаря принятым жертвам (то есть, согласно "Словарю лексических особенностей", по чистому везению: чернокожие африканские негры сплошь и рядом приносят кровавые жертвы, чтобы предотвратить несчастья. И если после этого им повезет, это значит, что их жертвы приняты), благодаря принятым жертвам или по чистому везению Якубы не было дома, когда полицейские устроили у него обыск и нашли слишком много чемоданов, набитых краденными банкнотами.

Якуба не стал возвращаться домой. Ночью он покинул Абиджан, взял себе имя Тиекура и укрылся в родной деревне, где все, кому он попадался на глаза, уверяли, что не видели его. Якуба по-прежнему предавался размышлениям, он говорил, что Аллах в безмерной доброте своей никогда не оставляет без пищи ни один рот, созданный им.

Вот каков был человек, который вызвался отвезти меня к моей тете в Либерию. Валахе (клянусь Аллахом), это правда.

Как-то утром он зашел ко мне. Отвел меня в сторону и рассказал по секрету удивительные вещи. Либерия — это сказочная страна. Профессия множителя банковских билетов в тех краях — мечта, а не профессия. Его называли там григримен. Григримен — так у них называется важный человек. Чтобы уговорить меня поехать с ним, он рассказал мне еще много всего разного про Либерию. Фафоро (клянусь членом моего папы)!

Много удивительного, даже невероятного. Там шла межплеменная война. Уличные мальчишки вроде меня там становились маленькими солдатами, которых, согласно моему словарю Хэррапа, на пиджин американ называют small soldiers. У маленьких солдат было все что захочешь. У них были "калашниковы". "Калашниковы" — это ружья, которые изобрел один русский, они стреляют без остановки. Благодаря "калашниковым" у маленьких солдат было все что захочешь. У них были деньги, даже американские доллары. У них были ботинки, форма с нашивками, радиоприемники, фуражки и даже машины, которые называют внедорожниками. Я закричал: "Валахе! Валахе!" Я хотел тут же отправиться в Либерию. Быстро, как можно быстрее. Хотел стать маленьким солдатом, small soldier. Маленький солдат или солдат-ребенок — это ведь одно и то же. У меня на языке только это и было: small soldier. В постели или когда я какал или писал и меня никто не мог услышать, я кричал: small soldier, солдат-ребенок, маленький солдат!

И вот однажды утром, с первым криком петуха, Якуба пришел за мной. Было еще темно; бабушка разбудила меня и накормила рисом под арахи-

совым соусом. Я поел с большим аппетитом. Бабушка пошла проводить нас. Когда мы дошли до края деревни, где мусорная свалка, бабушка вложила мне в руку серебряную монету, наверно, это были все ее сбережения. Еще и сегодня я чувствую в ладони тепло этой монетки. Потом она заплакала, повернулась и пошла обратно. Больше я ее не видел. Такова была воля Аллаха. Аллах ведь не во всех своих земных делах справедлив.



Якуба сказал мне, чтобы я шел впереди. Якуба хромал, его прозвали "хромым бандитом". Перед тем как пуститься в путь, он сказал, что у нас все время будет еда, ибо Аллах в своей безмерной доброте не оставляет без пищи ни один рот, который он создал. С багажом на голове Тиекура и я вышли еще до рассвета и направились в большой торговый город, откуда грузовики развозили людей в столицы Гвинеи, Либерии, Кот-д'Ивуара и Мали.

Но недолго мы топтали дорогу: не успели пройти и километра, как вдруг слева, из высокой травы, громко захлопав крыльями, вылетела сова и исчезла в темноте. От страха я подскочил, вскрикнул "Мама!" и ухватился за ноги Тиекуры. А Тиекура, не человек, а само совершенство, произнес одну из могущественнейших сур Корана, которые знал наизусть. Позже он сказал мне, что сова, вылетающая с левой стороны от путника, – дурное предзнаменование для путешествия (предзнаменование – это знак, по которому можно предсказать будущее). Он сел у дороги и произнес еще три охранительные суры Корана, а вдобавок – три сильных заклинания африканского колдуна. И в ту же минуту справа от нас раздалось пение турако (турако – большая плодоядная птица; "Словарь лексических особенностей"). Когда справа от нас запел турако, Якуба встал и сказал, что пение турако – благосклонный отклик на его молитвы. Это добрый знак, означающий, что в пути нас будет защищать душа моей матери. Душа моей матери обладает очень большой силой, потому что мама очень много плакала в земной жизни. Мамина душа отвела от нашего пути зловещее хлопанье совиных крыльев (зловещий – значит приносящий несчастье, гибель). Хоть я и был проклят мамой, ее душа защищала меня.

И вот мы снова принялись топтать дорогу (топтать дорогу – значит идти; "Словарь лексических особенностей") и шагали, не обмениваясь ни единым словом, потому что каждый ощутил в себе большую силу и бодрость.

Но и на этот раз нам недолго пришлось топтать дорогу: не прошли мы и пяти километров, как слева, из высокой травы, громко захлопав крыльями, вылетела еще одна сова и исчезла в темноте. Я так перепугался, так перепугался, что дважды вскрикнул: "Мама!" Якуба, он же Тиекура, который в марабутстве и колдовстве не человек, а само совершенство, произнес две охранительные суры Корана из тех, что он знал наизусть. Затем он сказал, что, когда сова дважды вылетает слева от путника, это очень, очень плохая примета (примета – знак, по которому вроде бы можно определить будущее). Он сел на дорогу и произнес еще шесть могущественных сур Корана и шесть сильных заклинаний туземного колдуна. И в ту же минуту справа от нас раздалось пение куропатки; тут он встал, улыбнулся и сказал, что пение куропатки означает: мы находимся под защитой души моей матери. Душа моей мамы – очень добрая душа и обладает большой силой, потому что в земной жизни мама слишком много плакала и слишком долго ходила на ягодицах. И снова мамина душа отвела от нашего пути зловещее хлопанье совиных крыль-

ев. Мама была очень добрая, она охраняла меня, хотя я и причинил ей много боли.

И мы снова принялись топтать дорогу, ни о чем не тревожась, очень храбрые и довольные.



Но опять недолго пришлось нам топтать дорогу: не прошли мы и десяти километров, как вдруг слева, из высокой травы, ужасно захлопав крыльями, вылетела третья сова и исчезла в темноте. Я так перепугался, так перепугался, ну так перепугался, что трижды вскрикнул: "Мама!" Тиекура, который не человек, а само совершенство в марабутстве и колдовстве, произнес три охранительные суры Корана из тех, что знал наизусть. И сказал, что, когда сова трижды вылетает слева от путника, это трижды дурное предзнаменование для путешествия. Потом сел на дорогу и произнес еще девять могущественных сур Корана и девять сильных заклинаний туземного колдуна. И в ту же минуту справа от нас раздалось пение цесарки; тогда он встал, улыбнулся и сказал: пение цесарки означает, что с нами — благословение души моей матери. Душа моей мамы — очень добрая душа и обладает большой силой, потому что в земной жизни мама слишком много плакала и слишком долго ходила на ягодицах. И снова, в третий раз, мамина душа отвела от нашего пути зловещее хлопанье совиных крыльев. И мы опять принялись топтать дорогу, и никакие мысли нас не донимали, потому что мы были бодры и счастливы.

Занималось утро, а мы все шагали и шагали. И вдруг все птицы, какие есть на земле, на деревьях и на небе, разом запели, потому что они были довольны, очень довольны. Услышав пение, солнце выскочило нам навстречу и повисло над деревьями. Мы тоже были безмерно довольны, мы смотрели вдаль, на верхушку хлопчатника[1] в деревне, и вдруг слева от нас с земли взлетел орел. Орел летел тяжело, он что-то нес в когтях. Поднявшись на высоту человеческого роста, орел уронил добычу на середину дороги. Это был мертвый заяц. Тиекура несколько раз громко вскричал "Биссимилаи!", а потом долго, долго молился, произносил суры Корана и множество молитв кафра-идолопоклонника. Он был в большой тревоге, он сказал, что мертвый заяц посреди дороги — это плохая, очень плохая примета.

Когда мы дошли до города, то не направились сразу же на автовокзал. Мы уже решили отказаться от нашего путешествия и вернуться в Тогобалу. Слишком много дурных предзнаменований оказалось на нашем пути.

Но в городе мы встретили дряхлую, полуживую бабушку, которая шла опираясь на палку. Якуба дал ей орех кола. Она осталась довольна и посоветовала нам обратиться за наставлением к одному человеку, недавно поселившемуся у них. Этот человек стал самым могучим из марабутов, медиумов и колдунов в городе и во всей округе (медиум — это человек, который, как считается, может вступать в контакт с духами). Мы обошли три земельных участка, две хижины и попали к марабуту. Нам пришлось ждать у двери, потому что там были еще и другие люди, пришедшие раньше нас. Мы вошли в хижину — и вот сюрприз! Этот марабут оказался не кто иной, как Секу, друг детства Якубы, который навестил его в больнице в Абиджане, приехав туда на "мерседесе". Якуба и Секу обнялись. Секу, как и Якуба, был вынужден покинуть Абиджан, бросить там "мерседес" и все имущество из-за одного темного дела с приумноже-

1. Хлопчатник, или бавольник, — очень высокое тропическое дерево семейства мальвовых.

нием банковских билетов (темное дело — значит дело прискорбное, достойное сожаления, так сказано в словаре "Малый Робер"). Когда мы расположились в хижине, Секу ловко, как заправский фокусник, вынул из рукава бубу белого цыпленка. Якуба восхищенно вскрикнул. А на меня оторопь нашла (оторопь — это растерянность, смешанная с испугом, которая находит на человека, так сказано в словаре "Малый Робер"). Секу посоветовал нам принести жертвы, большие жертвы. Мы зарезали на кладбище двух баранов и двух цыплят. Сначала цыпленка, которого Секу вынул из рукава, потом другого.

Наши жертвы были благосклонно приняты. Аллах и духи предков не обязаны были принимать эти жертвы, однако приняли, ибо такова была их воля. Мы вздохнули с облегчением. А еще Секу посоветовал нам не отправляться в Либерию раньше пятницы. Пятница была единственным днем, в который путникам, увидевшим на дороге мертвого зайца, рекомендовалось продолжать путь (рекомендовать — значит настоятельно советовать). Потому что пятница — святой день у мусульман, у покойников и даже у идолопоклонников.

Мы были оптимистами и были полны сил (оптимист — это тот, кто верит в будущее; "Ларусс"). Мы были оптимистами и были полны сил, ибо Аллах в безмерной доброте своей никогда не оставляет без средств к существованию ни один рот, созданный им (средства к существованию — это еда и все необходимое для жизни). Дело было в 1993 году.

Надо еще не забыть сказать, что в долгих беседах Якуба сумел убедить медиума Секу, будто тот должен поехать в Либерию и Сьерра-Леоне. Потому что в этих странах люди мёрли как мухи; а в странах, где люди мрут как мухи, марабуты, которые могут вынуть из рукава цыпленка, получают кучу денег, и сплошь долларами. Секу не сказал "нет". И действительно, мы потом не раз встречали его в негостеприимных джунглях Либерии и Сьерра-Леоне (негостеприимный — значит дикий, суровый).

На сегодня это все. Хватит, надоело. Сегодня продолжения не будет.

Валахе! Фафоро (клянусь членом моего отца)! Ньямокоде (паскудство)!

## II

Когда говорят, что в стране идет межплеменная война, это означает, что бандиты с большой дороги поделили страну между собой. Они поделили богатства этой страны, поделили ее территорию, поделили людей. Поделили все, что только можно, а весь мир видит это и не вмешивается. И позволяет им убивать людей ни за что ни про что, убивать детей и женщин. Но и это еще не все! Самое интересное, что каждый из бандитов с упорством отчаяния защищает свою добычу, и в то же время каждый стремится расширить подконтрольную ему зону (с упорством отчаяния — это, по словарю "Ларусс", на пределе физической выносливости, жизнестойкости).

В Либерии было четыре бандита с большой дороги: Доу, Тейлор, Джонсон, Эль Хаджи Корома и еще уйма бандитов помельче. Бандиты помельче стремились стать крупными бандитами. И все они поделили между собой всё. Вот почему говорят, что в Либерии была межплеменная война. И в эту страну я направлялся. И там жила моя тетя. Валахе (клянусь Аллахом), это правда.

Во всех межплеменных войнах, и в Либерии тоже, small soldiers, маленьким солдатам, детям-солдатам довольствие не выплачивается. Они убивают мирных жителей и забирают себе их добро. Во всех межплеменных войнах, и в Либерии тоже, взрослым солдатам также не выплачивается довольствие. Они истребляют мирных жителей и присваивают себе их добро. А потом солдаты-дети и просто солдаты продают за бесценок все, что они забрали и присвоили, — чтобы прокормиться и обеспечить свои жизненные потребности.

Вот почему в Либерии все можно купить за бесценок. Золото за бесценок, алмазы за бесценок, телевизоры за бесценок, и внедорожники, и пистолеты, и "калашниковы", все, все что хочешь — за бесценок.

А когда в стране все можно купить за бесценок, туда стекаются коммерсанты (стекаться, по словарю "Ларусс", — это прибывать в большом количестве). Коммерсанты и коммерсантки, которые хотят быстро разбогатеть, все приезжают в Либерию, чтобы закупать или выменивать товары. Они предлагают горсточку или две риса, маленький кусочек мыла, бутылку керосина, несколько долларов или франков КФА[1] . Всех этих вещей в Либерии сильно не хватает. Коммерсанты закупают или выменивают товары, продающиеся за бесценок, а потом продают их за немалую цену здесь, в Гвинее и в Кот-д'Ивуаре. Это называется прибыльной торговлей.

Ради этой самой прибыли множество коммерсантов и коммерсанток крутится вокруг гбака, отправляющихся из Нзерекоре в Либерию. (Гбака — это туземное слово чернокожих африканских негров, оно есть в "Словаре лексических особенностей французского языка в Черной Африке". Гбака — значит автобус, автомобиль.)

А еще, если в стране идет межплеменная война, то в эту страну надо въезжать колонной. В Либерию въезжали колонной (когда несколько гбака едут один за другим, то получается колонна). Перед колонной и позади нее едут мотоциклы. На мотоциклах сидят мотоциклисты, вооруженные до зубов, чтобы охранять колонну. Потому что, помимо четырех главных бандитов, есть еще масса мелких, которые перекрывают дорогу и взимают дань с приезжих (взимать дань — значит силой отнимать то, что тебе не причитается; так написано в "Ларуссе").

В Либерию надо ехать колонной, поэтому впереди нас ехал мотоцикл, чтобы не дать нас ограбить. Вот так мы и отправились в Либерию. Фафоро (клянусь отцовским срамом)!

Сопливый мальчишка, просто-напросто кид (по словарю Хэррапа, это значит мальчик, малыш), в общем, малявка, на повороте дороги, на самом повороте. Мотоцикл, который охранял нас и ехал впереди, не успел вовремя отреагировать на команду сопляка и остановиться. Парни на мотоцикле подумали, что это бандитская засада. Раздалась очередь. И малыш, маленький солдат, был убит, сражен, в общем, погиб на месте. Валахе! Фафоро!

Наступила минутная тишина, затишье перед бурей. А потом в лесу вокруг нас затрещали автоматные очереди: тра-тата... тра-тата... тра-тата... Очереди приближались, становились все чаще. Лесные птицы сообразили, что дело принимает скверный оборот, взмахнули крыльями и

1. Франк КФА, или африканский франк, — официальная денежная единица республики Кот-д'Ивуар.

улетели к другим, мирным небесам. Тра-тата... автоматная очередь прошила мотоцикл и двух парней на нем, то есть водителя и парня, который сидел позади и строил из себя фаро со своим "калашниковым". (Вы не найдете слово "фаро" в "Малом Робере", но его можно найти в "Словаре лексических особенностей французского языка в Черной Африке". Фаро значит умник.) Водитель мотоцикла и парень позади него, который строил из себя фаро, погибли на месте, сразу. Но несмотря на это, автоматы продолжали плеваться очередями: тра-тата... динг! Тра-тата... динг! И уже стало видно, что они натворили: мотоцикл загорелся, на дороге валялись два тела, простреленные вдоль и поперек, и кругом была кровь, полно крови. Фафоро! Этому не было конца, не было конца этой жуткой музыке — тра-тата, тра-тата (жуткий — значит мрачный, страшный, ужасный).



Чтобы объяснить, что случилось, начну издалека.

Обычно все происходит не так. Заметив сигнал малыша, мотоцикл и автобус резко тормозят и останавливаются там, где надо, ни на сантиметр дальше. И все происходит очень гладко, очень спокойно. Фафоро! Малыш, маленький солдат, ростом не выше офицерского стека, вступает в переговоры с парнями на мотоцикле, которые едут во главе колонны. Они разговаривают по-дружески, шутят и смеются, как будто вместе пьют пиво по вечерам. Сопляк свистит раз, потом другой. Из джунглей выезжает внедорожник, прикрытый ветками для камуфляжа. Внедорожник, в котором полно детей, маленьких солдат, small soldiers. Детей вот такого роста... не выше офицерского стека. Маленьких солдат, которые строят из себя фаро со своими "калашами". Автоматы висят у них через плечо. Все они одеты в форму парашютистов, слишком широкую и длинную для них, куртки свисают до колен, болтаются на них как на вешалках. Самое интересное, что среди этих детей-солдат есть девочки, да-да, маленькие девочки с "калашами", которые строят из себя фаро. Их не так уж много. Но они — самые жестокие; они могут всунуть тебе живую пчелу в открытый глаз. (Когда чернокожие африканские негры хотят сказать о ком-то, что он очень злой, то говорят: он может всунуть тебе живую пчелу в открытый глаз.) А другие маленькие солдаты, в такой же форме, с автоматами, выходят из леса пешком, заглядывают в автобус, беседуют с пассажирами, как будто это их старые друзья, с которыми они вместе возвращались с церемонии посвящения. (Когда у нас в деревнях говорят о ком-то: он с ним вместе возвращался с церемонии посвящения, то это значит: он его старый друг.) Внедорожник становится во главе колонны, и колонна едет за ним.

Они въезжают в укрепленный лагерь полковника Папы Доброго. Начальники колонны сходят с автобусов и направляются к полковнику Папе Доброму. Весь товар распаковывают, взвешивают или оценивают. Таможенные пошлины начисляются исходя из стоимости товара. Ожесточенный торг, долгие препирательства — и наконец стороны приходят к соглашению. Приезжие платят деньгами или натурой: рисом, маниокой, мелкозернистым пшеном, а то и американскими долларами. Да-да, американскими долларами. Полковник Папа Добрый устраивает экуменическую мессу (в моем "Ларуссе" экуменической называется такая месса, когда молятся Иисусу Христу, Магомету и Будде). Да, полковник Папа Добрый устраивает экуменическую мессу. Там все призывают друг на друга благословение свыше. Затем приезжие покидают лагерь.

Вот так это происходит обычно. Потому что полковник Папа Добрый — проповедник и представитель НПФЛ, Национального патриотического фронта Либерии. НПФЛ — это армия бандита Тейлора, которая наводит ужас на всю округу.

Однако с нами вышло совсем по-другому. Парни на мотоцикле, которым было поручено нас охранять, подумали, что это мелкие, случайные бандиты, собирающие дань на дороге, и выстрелили. И тут началось.

Стоило прозвучать первым автоматным очередям, как после этого кругом только и слышно было, что "тра-тата... тра-тата". Ребята с автоматами прямо озверели, не могли остановиться. И только когда уже ничего нельзя было поправить, стрельба прекратилась.

А мы, все, кто был в автобусе, как с ума посходили. Мы орали во всю глотку, призывая на помощь всех предков, всех духов-покровителей, какие только есть на земле и на небе. Поднялся дикий гвалт. И все это потому, что парень на мотоцикле, парень, который строил из себя фаро со своим "калашом", выстрелил в маленького солдата.

Якуба предвидел это, еще когда мы только садились в автобус. Он сразу понял, что парень на мотоцикле был не в себе. Этот парень и выстрелил первым. Он подумал, что имеет дело с мелкотой, простыми сборщиками дани на дороге. Он выстрелил — и последствия не заставили себя ждать.

Мы увидели, как из леса вышел маленький солдат, ребенок-солдат, ростом не выше офицерского стека. Маленький солдат в форме парашютиста, которая была ему велика. Это была девочка. Двигалась она настороженно (так говорят, когда человек идет боязливо и неуверенно). А потом она посмотрела, что наделали автоматы, посмотрела так внимательно, как будто кто-то еще мог встать, хотя все были мертвы и даже кровь уже устала течь. Солдат остановился, потом свистнул два раза. И отовсюду повалили маленькие солдаты, одетые как первый и строившие из себя фаро со своими "калашами".

Они окружили нас и крикнули: "Всем выйти из автобуса с поднятыми руками!", — и мы стали выходить с поднятыми руками.

Маленькие солдаты были разъярены, от ярости им кровь бросилась в лицо. (Вообще-то про негров так сказать нельзя. Неграм кровь в лицо не бросается: от ярости они делаются насупленными.) Ну так вот, маленькие солдаты помрачнели; они плакали от бешенства. Они оплакивали своего погибшего товарища.

Мы стали выходить из автобуса. Медленно, по одному. Один из солдат занимался драгоценностями. Он срывал серьги и ожерелья и складывал их в сумку, которую держал другой. Маленькие солдаты снимали с пассажиров головные уборы, одежду и обувь. Если у кого-то были красивые трусы, их тоже снимали. Вещи складывали в кучи: в одну — обувь, в другую — головные уборы, в третью — брюки, в четвертую — трусы. Оставшись совершенно голым, пассажир неуклюже пытался прикрыть рукой свой стоящий торчком бангала (если это был мужчина) или (если это была женщина) свою ньюссу-ньюссу (согласно "Словарю лексических особенностей в Черной Африке", бангала и ньюссу-ньюссу — это названия срамных частей тела). Но маленькие солдаты не позволяли им прикрываться. Manu militari[1] они приказывали стыдливым пассажирам

1. Угрожая оружием (*лат.*).

убираться в лес. И каждый со всех ног бежал прятаться в лес, ни о чем больше не спрашивая.

Но когда пришла очередь Якубы, он не подчинился. Он истошно заорал: "Я есть заклинатель фетишей, я есть григримен, григримен..." Маленькие солдаты разок-другой стукнули его и заставили раздеться. Но он не переставал орать: "Я есть заклинатель фетишей, григримен, я есть григримен..." Даже оставшись совсем голым, пытаясь прикрыть бангала, он все еще кричал: "Григримен, заклинатель". Ему приказали убираться в лес, но он вернулся оттуда и опять закричал: "Григримен, заклинатель". "Маку!" – приказали ему дети-солдаты, ткнув в задницу "калашом". (Слово *маку* есть в "Словаре лексических особенностей французского языка в Черной Африке". Оно значит молчать.) Тогда он замолчал и остановился у обочины дороги, прикрывая рукой срамное место.

Очередь дошла до меня. Я тоже им не давался. Я завизжал как испорченный мальчишка: "Маленький солдат, small soldier, солдат-ребенок, я хочу стать маленьким солдатом, я хочу к моей тете в Ньянгбо". Они начали меня раздевать, но я все визжал и визжал: "small soldier, я быть маленький солдат. Я быть солдат-ребенок". Они приказали мне бежать в лес, но я не побежал, я остался там, на дороге, хотя бангала у меня стоял торчком. Плевать мне на правила приличия. Я уличный мальчишка (правила приличия, по словарю "Малый Робер", – это когда ведут себя правильно). Плевать мне на правильное поведение, я визжал и визжал.

Один маленький солдат приставил к моей заднице "калаш" и приказал: "Заткнись, заткнись!", и я заткнулся. Я весь трясся, губы у меня дрожали, как седалище козы, когда она ждет козла (седалище – это то место, где ягодицы и задний проход). Я хотел писать, хотел какать, хотел сам не знаю чего. Валахе!

Но вот настала очередь женщины с младенцем. Она вышла из автобуса с младенцем на руках. В младенца угодила шальная пуля, его продырявило, бедняжку, и он уже не дышал. Мать не поддалась им. Она тоже отказалась раздеваться. Они сорвали с нее набедренную повязку. Она отказалась бежать в лес, осталась стоять рядом со мной и Якубой. На обочине дороги, с мертвым младенцем на руках. Она стала плакать и кричать: "Мой малыш, мой малыш. Валахе! Валахе!" Когда я увидел это, я опять завел песенку испорченного мальчишки: "Хочу в Ньянгбо, хочу быть маленьким солдатом. Фафоро! Валахе! Ньямокоде!"

Концерт становился слишком громким, им пришлось обратить на нас внимание. "А ну заткнитесь!" – скомандовали они. Мы заткнулись. "Не двигайтесь". И мы застыли не шевелясь, точно покойники. Так и стояли втроем на обочине дороги, как полные придурки.

И тут из леса выезжает внедорожник. Битком набитый маленькими солдатами. Не дожидаясь команды, они начали растаскивать все, что было в автобусах. Взяли все, что только можно было взять. И погрузили в свою машину. Внедорожник сделал несколько рейсов в селение и обратно. Покончив с содержимым автобусов, они принялись за кучи обуви, одежды и головных уборов. Побросали все это в машину, которая потом сделала еще несколько рейсов. Последним рейсом из селения приехал полковник Папа Добрый.

Валахе! С ума сойти, как он вырядился, полковник Папа Добрый (вырядиться – значит смешно и нелепо одеться, так сказано в моем "Ла-

руссе"). Во-первых, на полковнике Папе Добром были офицерские нашивки. Так полагается, когда идет межплеменная война. Полковник Папа Добрый был в белой сутане, белой сутане с черным кожаным поясом на черных кожаных подтяжках, которые перекрещивались на спине и на груди. На голове у полковника Папы Доброго была кардинальская митра. Полковник Папа Добрый шел, опираясь на епископский посох с крестом на верхушке. В левой руке полковник Папа Добрый держал Библию. И вдобавок, в довершение картины, поверх белой сутаны у полковника Папы Доброго висел через плечо автомат. Его верный "калашников", с которым он не расставался ни днем ни ночью, где бы он ни был. Так полагается, когда идет межплеменная война.

Полковник Папа Добрый вышел из машины. Он плакал. Я не шучу, он плакал, как ребенок! Он наклонился над телом маленького солдата, малыша, который остановил нашу колонну. И долго молился над ним. Потом полковник Папа Добрый подошел к нам. Подошел к нам в своем чудно́м наряде.

Я стал визжать: "Хочу стать маленьким солдатом, ребенком-солдатом, small soldier, child soldier. Хочу к тете, к моей тете в Ньянгбо!" Один маленький солдат с автоматом захотел оборвать мои рыдания. Но полковник Папа Добрый не позволил; он подошел ко мне, погладил меня по голове, словно родной отец. Я был рад и горд, как чемпион по сенегальской борьбе. И перестал плакать. Полковник Папа Добрый величавым жестом дал понять, что берет меня с собой. Мне дали набедренную повязку, которую я повязал вокруг ягодиц.

Потом он подошел к Якубе, который опять завел свою песню: "Я есть григримен, я есть заклинатель". По его знаку принесли еще одну повязку, и Якуба прикрыл срамное место. Бангала у него уже не торчал.

Полковник Папа Добрый подошел к матери с мертвым младенцем. Он долго разглядывал ее. На ней почти ничего не было, разорванные трусы еле прикрывали ньюссу-ньюссу (ньюссу-ньюссу — это половые органы у женщины). В ней было чувственное очарование, влекущая сексапильность (сексапильность — это то, что вызывает желание заняться любовью). Полковник Папа Добрый уже хотел уйти, но вернулся. Он вернулся потому, что в женщине была влекущая сексапильность. Он вернулся, чтобы приласкать ребенка. И распорядился, чтобы забрали тело.

Принесли самодельные носилки (носилки, сделанные наспех из того, что было под рукой, — словарь "Малый Робер"). Тело младенца и тело маленького солдата положили на носилки и погрузили в машину.

Затем в машину сел полковник Папа Добрый. Рядом с ним уселись четверо маленьких солдат с автоматами. Машина тронулась. Все остальные топтали дорогу следом. Да, топтали дорогу (как я уже говорил вам, топтать дорогу — значит идти пешком).

Мы пошли за ними. "Мы" — это Якуба, мать младенца и ваш покорный слуга, то есть я сам, уличный мальчишка во плоти и крови. Внедорожник направлялся в деревню, медленно и в молчании поднимаясь по склону холма. Медленно и в молчании, потому что в машине были мертвые. Так бывает всегда, так полагается: если в машине везут мертвых, она должна ехать медленно и в молчании. Но мы были оптимистами, потому что Аллах в безмерной доброте своей не оставляет без пищи ни один рот, созданный им. Фафоро!

Вдруг полковник Папа Добрый велел остановиться. Он, а за ним и все остальные вышли из машины. Полковник Папа Добрый запел, очень громко и очень красиво. Лесное эхо подхватило его песнь. Это была песнь мертвых на гио. Гио — язык местных чернокожих африканских туземцев. Малинке называют этих людей бушменами, дикарями, людоедами... Потому что они не говорят на языке малинке, потому что они не мусульмане, как мы. Малинке в своих просторных накрахмаленных бубу кажутся мягкими и приветливыми, а на самом деле они — сволочные расисты.

Песнь подхватили маленькие солдаты с автоматами. Это звучало так красиво, так красиво, что я заплакал. Заплакал горькими слезами, словно впервые в жизни видел большое несчастье. Словно не верил в Аллаха. Это надо было видеть. Фафоро (клянусь отцовским срамом)!

Все жители селения вышли из хижин. Вышли из любопытства, узнать, что случилось. Люди пошли за машиной, на которой везли покойников. Пошли по привычке и еще потому, что люди всегда такие придурки: любят увязаться хвостом.

Убитого маленького солдата звали Кид, капитан Кид. В своей красивой поминальной песне полковник Папа Добрый время от времени повторял: "Капитан Кид", и все, кто ехал с ним и шел следом, подхватывали: "Кид, Кид". Надо было слышать, как они орали. Просто ополоумели.

Мы прибыли в укрепленный лагерь. Как во всех укрепленных лагерях Либерии во время межплеменной войны, вокруг лагеря торчали колья с насаженными на них человеческими черепами. Полковник Папа Добрый поднял автомат и выстрелил в воздух. Все дети-солдаты остановились и тоже выстрелили в воздух. Получилось замечательное представление. Это надо было видеть. Ньямокоде!

Тело Кида положили на землю под аппатамом, где оно оставалось до конца дня (что такое аппатам, я уже объяснял).

И целый день к аппатаму толпами шли люди, склонялись перед убитым и выказывали глубокую скорбь, словно у них в Либерии не убивали с утра до вечера и без разбора, и мирных жителей, и маленьких детей.

Вечером, после мусульманской, а затем католической молитвы, началось погребальное бдение. Никто в точности не знал, какую религию исповедовал Кид, поскольку никто не знал его родителей. Католик он или мусульманин? Никому не было дела до этого. Вся деревня собралась на бдение, люди расселись на табуретах вокруг покойников. Горело множество керосиновых фонарей. Это было феерическое зрелище (феерический — редкое слово из "Ларусса", означает: похоже на сказку).

Две женщины запели песнь, которую хором подхватили все остальные. Время от времени, чтобы не заснуть и не дать себя заесть москитам, люди вставали и обмахивались слоновьими хвостами. Потому что там были женщины со слоновьими хвостами в руках, и они исполняли разнузданный танец. Нет! Нет! Танец был не разнузданный, а неистовый (разнузданный, по словарю "Малый Робер", означает: неприличный, недозволенный).

Вдруг непонятно откуда раздался крик. Это означало, что к танцу присоединился полковник Папа Добрый: тот, кто возглавлял погребальную церемонию, вошел в круг. Все встали и сняли головные уборы, потому что он был командир, полновластный хозяин здешних мест. И мы увидели, что полковник Папа Добрый преобразился до неузнаваемости. Ну совершенно преобразился! Валахе! Это чистая правда.

Голова его была повязана пестрой лентой, он был обнажен до пояса. Он выглядел сильным, как бык, и мне приятно было видеть в голодающей Либерии такого цветущего, здорового человека. С его шеи, плеч и локтей свисали целые гирлянды фетишей. А среди гирлянд висел "калаш". Потому что в Либерии шла межплеменная война и людей убивали ни за что, как если бы любая жизнь значила меньше, чем пук старой бабушки (так говорят у нас в деревне, а что это означает, я уже объяснял). Папа Добрый трижды обошел вокруг покойников, затем сел на место. Все уселись тоже и стали слушать, как полные придурки.

Вначале он рассказал о том, при каких обстоятельствах погиб капитан Кид. В молодых людей на мотоцикле вселился злой дух, и они выстрелили в Кида без предупреждения. Это проделки дьявола. Душа капитана отлетела. Мы будем оплакивать его. Мы не могли изгнать дьявола из сердец всех пассажиров, ехавших в этой колонне, из душ всех, кто повинен в смерти капитана. Это было невозможно. Тогда мы убили некоторых из них, но поскольку Бог велит убивать поменьше, то других мы пощадили, оставив их такими, какими они пришли на эту землю. Мы оставили их голыми. Ибо Господь сказал так: если люди причинили тебе зло, не убивай их всех, но оставь их такими, какими они пришли на эту землю. Все вещи, что они везли в автобусе, и всё, что было на них, мы доставили сюда. Надо бы отдать это родителям капитана. Но поскольку родителей капитана никто не знает, все это добро будет роздано, разделено по справедливости между всеми маленькими солдатами, товарищами капитана Кида. Каждый продаст свою долю и получит доллары. За доллары они смогут купить себе столько гашиша, сколько захотят. А Бог накажет тех, кто злодейски убил капитана Кида.

Затем он объявил нам, что он намерен сделать. Валахе! Отыскать колдуна — пожирателя душ. Пожирателя душ, который съел маленького солдата, капитана Кида, отыскать его джоко-джоко (джоко-джоко означает: во что бы то ни стало, это есть в "Словаре лексических особенностей"). Он разоблачит этого колдуна, под какой бы личиной тот ни скрывался. Он будет танцевать всю ночь, а если понадобится, и весь следующий день. Он не остановится, пока не найдет колдуна. Пока тот не будет полностью изобличен (изобличен — это слово есть в "Ларуссе", оно означает, что колдун вынужден сам признать свою вину).

Чтобы легче было сосредоточиться, полковник Папа Добрый снял с плеча автомат. Но оставил его поблизости, потому что в Либерии шла межплеменная война и люди там мерли как мухи.

И опять зазвучали тамтамы, еще громче, еще зажигательнее, еще неистовее. И полились песни лучше соловьиных. Время от времени всем наливали пальмовое вино, время от времени полковник Папа Добрый пил пальмовое вино, наслаждался пальмовым вином. Но пальмовое вино не очень хорошо действовало на полковника Папу Доброго. Вернее, совсем нехорошо. Он пил всю ночь и выпил столько вина, что под конец был вдрызг пьян и совершенно динг (быть динг — значит ничего не соображать).

И вот часа в четыре утра, вдрызг пьяный, едва держась на ногах, он направился к женщинам, которые сидели в кружок на земле. И крепко схватил за плечо одну старуху, которая уже наполовину спала. Это она, и никто другой, сожрала душу храброго маленького солдата Кида. Это она, валахе! Она, и никто другой, возглавляла вакханалию (вакханалия, по "Ларуссу", означает: оргия).

Бедняга завопила, как птица, попавшаяся в ловушку:

— Это не я! Это не я!

— Ты, именно ты. Это ты, — возразил полковник Папа Добрый. — Ночью мне явилась душа Кида и донесла на тебя.

— Валахе! Это не я. Я любила Кида. Он приходил ко мне поесть.

— Вот поэтому ты и сожрала его. Я видел, как ночью ты превратилась в сову. Я спал, как кайман, приоткрыв один глаз. И я видел тебя. Ты схватила душу когтями. Ты села на ветку высокого хлопчатника. Другие женщины, превращенные в сов, последовали за тобой. И там произошла вакханалия. Ты сожрала череп. Сама сожрала мозг, а остальное бросила твоим сообщницам. Это ты. Это ты! Это ты! — проревел полковник Папа Добрый.

— Нет, это не я!

— Вчера вечером душа покойника явилась и сказала мне, что это ты. Сознавайся, иначе я подвергну тебя испытанию раскаленным железом. (Раскаленный — это такое состояние вещества, когда оно от высокой температуры начинает светиться.) Я приложу к твоему языку раскаленное железо. Да-да, — настаивал полковник Папа Добрый.

Под давлением неопровержимых доказательств старухе ничего не оставалось, как сидеть *маку* — разинув рот. А потом она все подтвердила, она была изобличена. Она созналась (сознаться, по "Ларуссу", — значит согласиться с предъявленными тебе обвинениями).

Старуху, которая созналась, звали Жанна. Ее вместе с тремя сообщницами под усиленной охраной отвели в тюрьму. Там полковник Папа Добрый должен был их расколдовать (расколдовать — значит освободить от колдовских чар). Валахе (клянусь Аллахом)! Фафоро!

Похороны капитана Кида состоялись на следующий день, в четыре часа пополудни. Погода выдалась дождливая. Было пролито много слез. Люди раскачивались и жалобно вопили: "Кид! Кид! Кид!", словно впервые в жизни видели несчастье. А потом дети-солдаты выстроились в шеренгу и выстрелили из "калашей". Только это они и умеют. Стрелять, стрелять, стрелять. Фафоро (бангала моего отца)!

Полковник Папа Добрый был представителем Национального патриотического фронта Либерии, по-английски National Patriotic Front (NPFL), в Зорзоре. Это был самый северный форпост НПФЛ. Здесь можно было контролировать поток товаров из Гвинеи, взимать таможенные пошлины и наблюдать за всеми, кто пересекал границу Либерии туда и обратно.

Валахе! Полковник Папа Добрый был важной шишкой в Национальном патриотическом фронте. Он был большим человеком в группировке Тейлора.

А кем был Тейлор, этот бандит с большой дороги?

Впервые в Либерии услышали о Тейлоре тогда, когда ему удалось с помощью банды грабителей прибрать к рукам государственную казну. Очистив кассу, он изготовил поддельный документ, по которому выходило, будто у правительства Либерии куча долларов в американских банках. А когда его вывели на чистую воду (то есть выяснили, что он за тип) и поняли, что это фальшивка, он убежал и под вымышленным именем поселился в Америке. После долгих и тщательных поисков его обнаружили и привлекли к ответственности (то есть арестовали). И посадили в тюрьму.

Сидя за решеткой, он ухитрился подкупить своих тюремщиков украденными деньгами. И бежал в Ливию, где представился Каддафи как руководитель непримиримой оппозиции кровавому диктаторскому режиму Сэмюэла Доу. Ливийский диктатор Каддафи, давно искавший возможность напакостить Доу, обнял Тейлора и поцеловал в губы. И отправил его вместе с его сторонниками в лагерь, где Ливия готовит террористов. С тех пор как к власти в Ливии пришел Каддафи, там постоянно действует такой лагерь. В лагере Тейлора и его сторонников обучили технике партизанской войны.

Но это еще не все: после обучения Каддафи сплавил его Компаоре, диктатору Буркина-Фасо, с массой похвал и рекомендаций. Компаоре, диктатор Буркина-Фасо, рекомендовал его Уфуэ-Буаньи, диктатору Кот-д'Ивуара, словно примерного мальчика, святого. Уфуэ, который жаждал рассчитаться с Доу за убийство своего зятя, был счастлив познакомиться с Тейлором, обнял его и поцеловал в губы. Уфуэ и Компаоре быстро договорились о том, как каждый из них будет помогать бандиту. Компаоре от лица республики Буркина-Фасо обещал заняться подготовкой кадров. Уфуэ от лица республики Кот-д'Ивуар взял на себя закупку и доставку оружия.

И вот бандит стал важной шишкой. Прославленным военачальником, который дерет три шкуры с населения на огромной территории (драть три шкуры с населения — значит систематически и жестоко его обирать, требовать с него непосильную дань). Тейлор засел в Гбарнеа. Время от времени он со своими маленькими солдатами предпринимал кровавые набеги, стремясь захватить Мэншн-Хаус. В Мэнш-Хаус жил президент Либерии — до того, как бандиты поделили страну между собой.

В сравнении с Тейлором Компаоре, диктатор Буркина-Фасо, Уфуэ-Буаньи, диктатор Кот-д'Ивуара, и ливийский диктатор Каддафи — порядочные люди или по крайней мере выглядят такими. Почему же они оказывают мощную поддержку отъявленному прохвосту, вору и бандиту с большой дороги, хотят поставить его во главе соседнего государства? Почему? Почему? Одно из двух: либо они такие же бесчестные, как Тейлор, либо это большая политика, как ее понимают африканские "отцы народа", основатели варварских, драконовских режимов (драконовский режим — это где душат свободу, так сказано в "Ларуссе").

Так или иначе, но Тейлор всем отравляет жизнь, повсюду дает о себе знать. Либерия оказалась заложницей бандита, и лозунг его сторонников "No Taylor No peace" ("Без Тейлора не будет мира") сейчас, в 1993 году, начинает становиться реальностью. Ньямокоде! Валахе!

Полковник Папа Добрый, представитель Тейлора в Зорзоре, тоже занятная личность.

Начать с того, что у него не было отца или отец этот остался неизвестен. Его мать таскалась по барам в столице Монровии и как-то между делом родила сына, которого она назвала Роберт'с. Когда ему было пять лет, какой-то моряк захотел жениться на этой женщине, но не захотел взять ее с ребенком. И Роберт'са отдали на попечение тети, которая тоже промышляла на панели. Тетя оставляла его дома одного, и он играл с английскими резинками (английские резинки — это презервативы).

Некая организация помощи детям обратила внимание на Роберт'са и поместила его в монастырский приют для сирот.

Роберт'с окончил школу с отличием. Он хотел стать священником, и его отправили в Соединенные Штаты. Там он выучился на священника и вернулся в Либерию, чтобы принять сан. Но он опоздал: в Либерии уже шла межплеменная война. Там больше не было Церкви, не было религиозных организаций, не было архивов. Он решил уехать в Штаты и жить там спокойно в ожидании лучших времен.



Но он увидел массу детей, которые болтались на улицах, и это напомнило ему его собственное детство. Он был глубоко потрясен. Он раздумал уезжать и захотел что-то сделать для этих детей. Надел сутану священника, собрал детей и стал их регулярно кормить. Дети прозвали его Папа Добрый. Да, Папа Добрый, который кормит уличных ребятишек.

Его деятельность получила международный резонанс, многие люди из разных стран захотели помочь ему, все только о нем и говорили. Это не понравилось кое-кому, и в особенности — диктатору Доу, который тогда еще хозяйничал в Монровии. Диктатор натравил на него убийц. Каким-то чудом Папа Добрый спасся и успел найти убежище у Тейлора, заклятого врага Сэмюэла Доу. Тейлор назначил его полковником и наделил большими полномочиями. Он получил под свое командование целую область, а еще ему было поручено от имени Тейлора взимать таможенные пошлины в Зорзоре.

В селении Зорзор было три района. Район начальства, где размещалась администрация полковника Папы Доброго. Район, где в соломенных хижинах жили местные уроженцы (по словарю Хэррапа, это коренные жители), и район беженцев. Беженцам жилось сытнее и спокойнее, чем остальным. Их кормили все: и Неправительственная организация помощи Третьему миру, и Верховный комиссариат ООН по делам беженцев. Но туда пускали только женщин, детей до пяти лет, стариков и старух. Иначе говоря, там были паршивые порядки: меня принять не могли. Ньямокоде (паскудство)!

Район начальства был похож на укрепленный лагерь. Да, укрепленный лагерь, вокруг которого торчали на кольях человеческие черепа, с пятью огневыми точками, загороженными мешками с песком. Каждую огневую точку охраняли четверо маленьких солдат. Маленькие солдаты ели до отвала, сплошную вкуснятину. Это и понятно: если бы у них было мало еды, они могли бы разбежаться, и тогда полковнику Папе Доброму пришлось бы очень скверно. А еще в районе начальства были канцелярии, склад оружия, храм, жилые помещения и тюрьмы.

Главным местом в районе начальства был оружейный склад. Это было что-то вроде бункера в центре укрепленного лагеря. Ключи от бункера полковник Папа Добрый носил на поясе под сутаной. И никогда с ними не расставался. Полковник Папа Добрый никогда не расставался с тремя вещами: с ключами от оружейного склада, со своим верным "калашом" и с амулетом, защищающим от пуль. Фафоро! Он спал, ел, молился и занимался любовью, имея при себе эти три вещи: "калаш", ключи от арсенала и амулет от пуль.

Вторым по значению местом в районе начальства были тюрьмы. Но это были не настоящие тюрьмы. Это был центр перевоспитания. (В словаре "Малый Робер" сказано, что перевоспитание — это когда пере-воспитывают, то есть воспитывают заново. Валахе! "Малый Робер" тоже иногда плюет на всех с высокого дерева.) Там полковник Папа Добрый

отнимал у пожирателя душ его колдовскую силу. Это был центр снятия колдовских чар.

Центр состоял из двух помещений. Одно, для мужчин, было как настоящая тюрьма, с решетками и тюремщиками. Охрану мужской тюрьмы, как и вообще всех важных объектов у полковника Папы Доброго, несли маленькие солдаты, девственники (девственники — это мальчики, которые еще не занимались любовью. Такие, как я).

В тюрьме содержались разные люди: и пленные, и политические заключенные, и правонарушители. И еще одна категория заключенных, не имевшая отношения ни к одной из вышеназванных: мужья тех женщин, которых полковник Папа Добрый захотел полюбить.

Центр снятия колдовских чар с женщин был похож на пансион. Там все было как в роскошном пансионе. Вот только женщины не имели права оттуда выходить.

Женщин там расколдовывали. Сеансы расколдовывания с ними проводил полковник Папа Добрый, наедине, долгими часами. Говорили, будто во время этих сеансов полковник Папа был совсем голый, и женщины тоже. Валахе!

Кроме того, в районе начальства был храм. Храм был открыт для всех религий. Все жители по воскресеньям должны были присутствовать на торжественной епископской мессе. Полковник Папа Добрый называл свою мессу епископской, потому что служил ее с епископским посохом. После мессы все слушали проповедь полковника Папы Доброго.

В проповеди он говорил о колдовских чарах, о злодействах колдунов. Говорил о предательстве, об ошибках других военачальников: Джонсона, Коромы, Роберта Сикиэ, Сэмюэла Доу. Говорил о страданиях, которые терпит либерийский народ под властью ОЛД (Объединенного либерийского движения), ЛСМ (Либерийского совета мира) и партии Коромы, которая, как и армия Тейлора, называет себя Национальный патриотический фронт Либерии.

В этот храм пассажиры нашего автобуса пришли на экуменическую мессу. После экуменической мессы была проповедь. Она не отличалась от тех проповедей, какие бывали после епископской мессы.

И наконец, в районе начальства были домики из соломы и из волнистого листового железа, всего с десяток домиков. Из этого десятка пять домиков были собственностью полковника Папы Доброго. Никто никогда не знал, где он ночует сегодня. Потому что полковник Папа Добрый был важной шишкой, а вокруг шла межплеменная война. Никто не должен знать, где ночует важная шишка, так положено в условиях межплеменной войны.

В пяти других домиках были казармы для маленьких солдат.

Казармы для маленьких солдат, фафоро! Спали мы прямо на земле, на соломенных подстилках. Ели что угодно и где придется.

Поселение местных жителей, уроженцев Зорзора, начиналось за пределами укрепленного лагеря и тянулось примерно на километр. В нем были саманные домики и хижины. Среди жителей были яку и были гио. Яку и гио — это два племени чернокожих африканских негров, обитающие в этой части страны. Яку и гио были потомственными врагами людей из племени гере и племени кран. Гере и кран — два других племени чернокожих африканских негров, обитающие в другой части этой чертовой Либерии. Когда в Зорзор попадал человек из племени гере или кран, его пытали, а потом убивали, потому что так положено в меж-

племенных войнах. Межплеменные войны — это когда не признают людей из другого, не твоего племени.

В Зорзоре полковник Папа Добрый был властелином над жизнью и смертью всех, кто там жил. Он был начальником над селением и над всей округой, а главное, любимцем всех женщин. Фафоро! Валахе (клянусь Аллахом)!



Сразу после похорон маленького солдата, капитана Кида, полковник Папа Добрый занялся нашим устройством.

Меня поместили в казарму для маленьких солдат. Дали мне старую форму парашютиста, на взрослого. Мне она была велика, болталась как на вешалке. Состоялась торжественная церемония, во время которой полковник Папа Добрый самолично выдал мне "калаш" и присвоил звание лейтенанта.

Нам, маленьким солдатам, присваивали звания, чтобы мы выросли в собственных глазах. Среди нас были капитаны, майоры, полковники; низшим из всех было звание лейтенанта. Моим оружием был старый "калаш". Обращаться с ним меня научил сам полковник. Это было просто: нажмешь на спусковой крючок — и тра-тата, тра-тата... И косит всех кругом, живые люди валятся, как дохлые мухи.

Маму убитого младенца поместили к тем женщинам, которых надо было расколдовать. (Каждую женщину, которую надо было расколдовать, запирали голую, совсем голую, наедине с полковником Папой Добрым. Так положено при межплеменной войне.)

Полковник Папа Добрый был прямо-таки счастлив познакомиться с Якубой, счастлив, что у него появился свой григримен, замечательный григримен-мусульманин.

— Какие у тебя амулеты? — спросил полковник Папа Добрый.

— На все случаи жизни, — ответил Якуба.

— А против пуль есть?

— По части защиты от пуль я мастер, которому нет равных. Поэтому я и приехал в Либерию. В Либерию, где идет межплеменная война, где пули летают повсюду и убивают без предупреждения.

— Потрясающе! — воскликнул полковник Папа Добрый.

И поцеловал его в губы. И поместил его в один из домиков, предназначенных для важных шишек. Якуба зажил по-королевски. У него было все, что можно пожелать, а главное, он ел за четверых.

Якуба не мешкая взялся за работу. Он изготовил для полковника Папы Доброго сразу три фетиша. Три очень хороших фетиша. Первый действовал утром, второй — после полудня, а третий — вечером. Полковник Папа Добрый привязал их к поясу, который носил под сутаной. И заплатил наличными. Якуба прошептал ему на ухо — чтобы никто другой не услышал — запреты, которые должен был соблюдать носитель каждого из фетишей.

Якуба также объявил себя предсказателем. Он стал прорицать (прорицать — значит пророчествовать). Он чертил знаки на песке и читал в них будущее полковника Папы Доброго. Полковник должен был принести в жертву двух быков. Да, двух больших быков...

— Но в Зорзоре нет быков, — возразил полковник Папа Добрый.

— Так надо, это жертвоприношение необходимо, оно вписано в твое будущее. Но с ним необязательно торопиться, — сказал Якуба.

Якуба изготовил фетиши для каждого маленького солдата и для каждого взрослого солдата. Он продавал их за немалую цену. Самый могущественный григри достался мне. И притом бесплатно. Фетиши надо было обновлять. И работа у Якубы не переводилась. Никогда! Якуба разбогател, словно какой-нибудь моро-наба. Моро-наба — это состоятельный вождь племени мосси в Буркина-Фасо. Он посылал деньги в деревню Тогобала, своим родственникам, гриотам[1] и альмами (по "Словарю лексических особенностей", альмами — значит духовный лидер), — вот сколько у него было лишних денег.

День не может длиться дольше каких-нибудь двенадцати часов. Очень обидно, очень досадно, потому что для полковника Папы Доброго этого недостаточно. Часть работы всегда приходилось оставлять на завтра. Со стороны Аллаха было бы большой любезностью, если бы для полковника Папы Доброго он продлил день до пятидесяти часов. Да, до пятидесяти, никак не меньше. Валахе!

Он просыпался с петухами — если только накануне вечером не выпил слишком много пальмового вина. Но при этом стоит заметить, что полковник совсем, совсем не употреблял гашиш. Он обновлял на себе амулет, надевал через плечо "калаш" и поверх него — белую сутану. Затем брал епископский посох с крестом на верхушке, крестом, обвитым четками. Вначале он проверял сторожевые посты. Сторожевые посты внутри укрепленного лагеря, на которые ставили маленьких солдат, и посты снаружи, где стояли взрослые часовые.

Потом он шел в храм и совершал литургию (литургия, по "Ларуссу", — это церковная служба). Он совершал литургию, и ему помогали маленькие певчие — это были маленькие солдаты. После службы он завтракал, но без спиртного. С утра спиртное не шло на пользу полковнику Папе Доброму. Весь день мог пойти насмарку.

После завтрака, по-прежнему в сутане, полковник Папа Добрый раздавал женам солдат дневную порцию зерна. Он взвешивал зерно на безмене. Он болтал с женами солдат, а иногда, разражаясь хохотом, хлопал женщин по ягодицам, если они были очень красивые. Это была обязательная программа, программа, которую он выполнял, что бы ни случилось, даже если он лежал с приступом малярии, даже если накануне перебрал пальмового вина. А после раздачи зерна женам солдат и поварам, которые готовили еду для маленьких солдат, программа дня могла складываться по-разному.

Если предстоял суд, если надо было провести процесс, он оставался в храме до полудня. Храм служил также и дворцом правосудия, потому что обвиняемые клялись Богом и фетишами. Для доказательства вины или невиновности применялась ордалия (ордалия — редкое слово, оно означает средневековое, варварское судебное испытание, иначе называемое суд Божий). Суд проходил раз в неделю. Чаще всего по субботам.

Если день был не судебный, то сразу после раздачи зерна полковник Папа Добрый направлялся в санчасть. После утреннего осмотра доктор собирал больных, легкораненых и доходяг в общем зале. И полковник Папа Добрый им проповедовал, проповедовал долго и страстно; нередко случалось, что какой-нибудь больной отбрасывал костыль и с криком

1. Гриот — поэт, музыкант и колдун в Западной Африке.

"Я исцелился!" легко прохаживался по комнате. Валахе! Полковник Папа Добрый был настоящий пророк, мудрый и могучий.

После посещения санчасти полковник Папа Добрый руководил военной подготовкой солдат, маленьких и взрослых. Военная подготовка была такой же учебой, как учеба в монастырской или обычной школе, и здесь тоже надо было слушать проповеди. Если ты всем сердцем любил Господа Бога и Иисуса Христа, пули пролетали мимо и убивали других, ибо один лишь Господь Бог, и никто иной, убивает гадов, придурков, грешников и про́клятых.

И все это успевал сделать один человек, полковник Папа Добрый, он делал все сам. Валахе (клянусь Аллахом)! Слишком много для одного человека.

А ведь еще были автобусы, которые попадали в засаду и их потом доставляли в селение. Иногда полковник Папа Добрый собственноручно взвешивал багаж пассажиров, ожесточенно торговался с ними и рассовывал таможенную пошлину по карманам сутаны.

А ведь еще были сеансы расколдовывания. А еще переговоры... а еще... а еще масса всяких документов, которые полковник Папа Добрый должен был подписывать как полномочный представитель НПФЛ в восточных областях республики Либерия.

А еще были шпионы всех видов и мастей.

Полковник Папа Добрый вполне заслужил, чтобы его день длился пятьдесят часов! Да-да, не двенадцать, а все пятьдесят!

Да, полковник Папа Добрый заслужил право иногда напиваться по вечерам, тоскливым вечерам в селении Зорзор с его беспросветной жизнью. Но он не курил гашиш. Он оставлял гашиш для маленьких солдат, которые от гашиша становились сильными, как настоящие, взрослые солдаты. Валахе!

Когда я очутился в лагере, мне объяснили, кто я такой. Я был мандинго — мусульманин, друг племени яку и племени гио. На языке пиджин инглиш, на котором говорят потомки чернокожих американцев, малинке и мандинго — это одно и то же, один черт, что в лоб, что по лбу. В общем, я был хоро́ший, потому что я был не из племени гере, не из племени кран. Полковник Папа Добрый не очень-то жаловал людей из племени гере и кран. Он их пускал в расход.

Благодаря Якубе меня все любили и ласкали. Именно меня полковник Папа Добрый назначил капитаном вместо погибшего Кида. Потому что я был воспитанник заклинателя фетишей, а значит, фетиши охраняли меня надежнее, чем других.

Полковник назначил меня капитаном и велел мне стоять посреди дороги сразу за поворотом и приказывать едущим мимо грузовикам остановиться. То есть караулить в засаде. За это меня досыта и вкусно кормили. А иногда еще и дарили мне гашиш. Когда я попробовал гашиш в первый раз, то потом блевал, как больная собака. А позже мало-помалу стал привыкать и вскоре от гашиша стал сильным, как взрослый мужчина. Фафоро (клянусь отцовским бангала)!

Я подружился с одним маленьким солдатом, солдатом-ребенком, которого звали майор Жан Таи, или Сорвиголова. Сорвиголова перебежал к нам из армии ОЛД с оружием. Поскольку он пришел к нам с оружием, его назначили майором. Когда Сорвиголова воевал на стороне ОЛД, он выдавал себя за крана, хотя на самом деле был чистокровным

яку. Полковник Папа Добрый, который был представителем НПФЛ, оказал ему радушный прием, потому что он пришел с "калашом", взятым у ОЛД, и не был краном.

Майор Сорвиголова был славный парень. Такой славный парень, какого нечасто встретишь. Валахе! Он врал, как дышал, и даже чаще. Это был мифоман (мифоман — ученое слово, значит: человек, который рассказывает истории, выдуманные от начала до конца, так написано в "Ларуссе"). Майор Сорвиголова был мифоман. Чего только с ним не приключалось. Чего только он не видел. В том числе мою тетю: видел ее и говорил с ней. Мне это было как бальзам на душу. Надо было срочно отправляться туда, на территорию, которую контролировало ОЛД.

Про ОЛД мы узнали от маленького мифомана много всего интересного. Интересного и приятного. Кто его слушал, прямо мечтал попасть к ОЛД. У них там было так здорово, все жили в свое удовольствие. Каждый ел за пятерых, и еще оставалось. С утра до ночи все прохлаждались, а в конце месяца получали заработную плату. Да-да, он знал, что говорил, заработную плату! Там ее аккуратно платили в конце каждого месяца, а иногда даже раньше. Потому что у ОЛД было много американских долларов. Много американских долларов от эксплуатации шахт (эксплуатация — это когда из чего-нибудь извлекают пользу, так сказано в "Ларуссе"). Под контролем ОЛД были шахты, где добывались алмазы, золото и другие драгоценные металлы. Солдаты, которые присматривали за шахтерами, тоже ели досыта и получали американские доллары, как все остальные. А маленьким солдатам жилось еще лучше. У них были кровати, новые формы парашютистов и новенькие "калаши". Валахе!

Майор Сорвиголова жалел, что перестал быть маленьким солдатом ОЛД. Он перебежал к НПФЛ, потому что по происхождению был стопроцентным яку, хотя там он выдавал себя за крана. Кто-то сказал ему, что его родители будто бы здесь, в Зорзоре, среди беженцев. Но их здесь не оказалось. И теперь он только и ждал, когда подвернется удобный случай вернуться к ОЛД. Да, там, у людей из ОЛД, было здорово... Там все жили в свое удовольствие.

Полковник Папа Добрый проведал о том, какие разговоры ведет Сорвиголова (проведать — значит узнать о чем-то, так сказано в "Малом Робере"). Полковник Папа Добрый проведал о наглом вранье майора Сорвиголовы. Он рассердился, вызвал Сорвиголову к себе и отругал его последними словами. И пригрозил ему тюрьмой, если он не прекратит расхваливать ОЛД, будто ОЛД — это какой-то земной рай.

Но эта взбучка не помогла. Сорвиголова продолжал потихоньку охмурять нас (охмурять — значит вводить людей в заблуждение, так сказано в "Ларуссе").

Полковник Папа Добрый по доброте своей устроил пансион для девочек. Девочек, чьи родители погибли во время войны. Там жили девочки младше семи лет. Девочки, которым было нечего есть и у которых еще не выросла грудь, чтобы они могли выйти замуж или стать маленькими солдатами. Это было проявлением великого милосердия по отношению к девочкам младше семи лет. Пансионом управляли монахини, учившие девочек чтению, письму и Закону Божию.

Монахини носили свои белые чепчики для отвода глаз; они занимались любовью, как все женщины, они занимались этим с полковником

Папой Добрым. Потому что полковник Папа Добрый был первый петух в курятнике, потому что так повелось в жизни.

И вот однажды утром у тропинки, которая вела к реке, нашли одну из этих девочек: она была изнасилована и убита. Семилетняя малышка, изнасилованная и убитая. Это было такое удручающее зрелище, что полковник Папа Добрый заплакал горькими слезами (удручающий — значит причиняющий глубокую скорбь; "Ларусс"). Такой уйя-уйя, как полковник Папа Добрый, — и плакал горькими слезами. На это стоило посмотреть, такое не каждый день увидишь (уйя-уйя — значит непутевый, бродяга, так сказано в "Словаре лексических особенностей").

Погребальное бдение самолично организовал и провел полковник Папа Добрый, в сутане, с нашивками, запрятанными под сутаной амулетами, "калашом" и епископским посохом. Полковник Папа Добрый много танцевал, но пил умеренно. Потому что спиртное не идет на пользу полковнику Папе Доброму. Когда танец был окончен, он куда-то пошел и при этом трижды обернулся, чтобы четырежды взглянуть на небо. Перед ним оказался один из солдат, он взял его за руку, солдат встал. Полковник Папа Добрый вывел его на середину круга. Солдата звали Земоко. На Земоко была какая-то вина: он либо сам убил девочку, либо знал, кто это сделал. Полковник Папа Добрый опять проделал тот же трюк и указал на еще одного солдата. Этого солдата звали Вуруда. Вуруда либо сам убил девочку, либо знал, кто это сделал. Полковник Папа Добрый повторил свой трюк в третий раз и вывел на середину круга майора Сорвиголову. Сорвиголова либо сам убил девочку, либо знал, кто это сделал. Получалось, что в убийстве замешаны трое: Сорвиголова и еще два солдата. И они были немедленно арестованы, несмотря на их протесты и уверения в собственной невиновности (уверения в собственной невиновности, по "Ларуссу", — это когда человек говорит, что он невиновен).

На следующий день состоялся суд над убийцами девочки.

Полковник Папа Добрый был в сутане, при нашивках. Библия и Коран были у него под рукой. В общем, все было при нем. Публика сидела в храме, словно на мессе. На экуменической мессе. И в самом деле, хоть это была и не месса, церемония началась с молитвы. Полковник Папа Добрый велел троим обвиняемым поклясться на священных книгах. Они поклялись.

Полковник Папа Добрый спросил:

— Земоко, это ты убил Фати?

— Клянусь на Библии, это не я, это не я.

— Вуруда, это ты убил Фати?

Вуруда ответил, что это был не он.

Тот же вопрос был задан Сорвиголове, и ответ был опять отрицательный.

Тогда приступили к ордалии. На жаровню с горящими углями положили нож. Лезвие ножа раскалилось. Обвиняемые открыли рты, высунули языки. Полковник Папа Добрый несколько раз провел раскаленным лезвием по языку Земоко. Земоко не шелохнулся, закрыл рот и сел на место. Под аплодисменты публики. Настала очередь Вуруды. Вуруда под гром аплодисментов невозмутимо закрыл рот. Но когда полковник Папа Добрый с раскаленным ножом направился к Сорвиголове, майор Сорвиголова попятился и побежал к выходу. По церкви прокатилось изумленное "О-о!" (это значит: все, кто там был, хором сказали "О-о!", так в "Ларуссе"). Майора Сорвиголову тут же поймали и скрутили.

Это он был преступником, это он убил бедняжку Фати. Сорвиголова во всем сознался и объяснил: в него вселился дьявол, который направлял все его поступки.

Его приговорили к расколдовыванию. Сеансы расколдовывания должны были длиться два сезона дождей. Если бы дьявол, вселившийся в Сорвиголову, остался непобежденным, убийцу ждала бы казнь. Публичная казнь. Его бы расстреляли из "калаша". Если дьявол будет изгнан, полковник Папа Добрый простит Сорвиголову. Потому что полковник Папа Добрый с его епископским посохом — это сама доброта. Но... Но Сорвиголова потеряет звание маленького солдата. Потому что, если маленький солдат совершил изнасилование и убийство, он уже не девственник. А кто не девственник, тот уже не может быть маленьким солдатом у полковника Папы Доброго. Вот так оно бывает; и тут нечего возразить. Он становится просто солдатом. Настоящим, взрослым солдатом.

Взрослым солдатам не полагается ни еды, ни жилья, они не получают никакой заработной платы. Быть маленьким солдатом, валахе! — это давало определенные преимущества. Солдат-ребенок был на особом положении. А Сорвиголова, даже если бы ему сохранили жизнь, не смог бы оставаться маленьким солдатом, потому что он больше не был девственником. Ньямокоде (паскудство)!

Фафоро (клянусь бангала моего отца)! Сейчас мы были уже далеко от Зорзора, далеко от крепости полковника Папы Доброго. Солнце выпрыгнуло на небо, как кузнечик, и дони-дони поднималось все выше (дони-дони — значит мало-помалу, так сказано в "Словаре лексических особенностей французского языка в Черной Африке"). Надо было проявлять осторожность. Передвигаться не спеша, углубившись на несколько метров в лес. Увертываться от солдат НПФЛ (увертываться — значит ловко избегать встречи). За нами могла быть погоня. Ночью, при лунном свете, быстрым шагом, мы успели уйти далеко, мы вырвались на волю.

Накануне, около полуночи, мы покинули Зорзор и пустились в путь. Около одиннадцати часов вечера полковник Папа Добрый был убит. Он умер. Скончался, несмотря на все свои фетиши. По правде говоря, мне было немного грустно оттого, что он умер. Я считал его бессмертным. Потому что полковник Папа Добрый был добр ко мне. И ко всем остальным людям. И потом, полковник был феноменальным явлением (феноменальное явление — это что-то необыкновенное или кто-то необыкновенный).

Его смерть была как удар гонга, она стала сигналом к освобождению для всех заключенных. И тех, кто попал в тюрьму за колдовство, и тех, кто попал туда из-за своей женщины. Сигналом к бегству для всех, кто хотел бежать, — взрослых солдат, маленьких солдат. Многие маленькие солдаты не нашли своих родителей в районе, который контролировал НПФЛ, и надеялись, что смогут их найти в районе расположения ОЛД. А кроме того, в лагерях ОЛД сытно кормили. Там ели рис с пряной, жирной подливкой. Там давали заработную плату. Удобный случай сам свалился нам в руки, точно спелый плод манго в апреле. Фафоро (клянусь отцовским срамом)!

Но нам пришлось нелегко. Пришлось сражаться с теми уйя-уйя, которые остались верными НПФЛ. Со всеми этими придурками, считав-

шими, что у полковника Папы Доброго живется лучше, чем в лагерях ОЛД. В конце концов мы победили. А потом все разграбили, все разнесли и подожгли. И сразу пустились наутек. Пошли топтать дорогу, быстро-быстро, скоро-скоро.



Мы шли, и каждый тащил на себе награбленное. У некоторых было по два и даже по три "калаша". Автоматы должны были стать залогом разрыва с НПФЛ (то есть доказательством того, что мы плохо, очень плохо расстались с НПФЛ). Доказательством того, что мы всерьез хотим перейти к парням из ОЛД. Мы все разграбили, а потом подожгли.

Когда полковник Папа Добрый был убит, в темноте раздались крики солдат: "Полковник Папа Добрый убит... Папа Добрый убит. Полковника убили... Убили!" Поднялась ужасная кутерьма (кутерьма — значит большая суматоха, большая неразбериха перед началом чего-то). Солдаты начали грабить. Разграбили деньги; разграбили сутаны; разграбили зерно; а главное, разграбили запас гашиша... разграбили все что можно до того, как солдаты, оставшиеся верными, стали стрелять.

Валахе! Надо рассказать все с самого начала.

Однажды, разбирая багаж какого-то пассажира, полковник Папа Добрый наткнулся на множество бутылок виски "Джонни Уокер" с красной этикеткой, хорошо укупоренных. И вместо того чтобы взыскать большую таможенную пошлину, полковник Папа Добрый взял себе три бутылки. Спиртное никогда не шло на пользу полковнику Папе Доброму. Он знал это и позволял себе напиваться только изредка, вечерами, когда был очень, очень усталый и плохо соображал. Он пил, уже лежа в постели, и наутро просыпался поздно, совсем разбитый. Но это было не страшно. Потому что полковник никогда не курил гашиш: гашиш он отдавал маленьким солдатам, им это было полезно, они становились сильными, как настоящие взрослые солдаты. В тот вечер, когда полковнику Папе Доброму попались эти бутылки, он был чересчур усталый и еще до того, как лечь в постель, выпил виски, слишком много виски. От спиртного полковник Папа Добрый делался сумасшедшим.

Под воздействием винных паров полковник Папа Добрый направился в тюрьму (под воздействием винных паров означает: под влиянием спиртного). Под воздействием винных паров он пошел в тюрьму один, совсем один, хотя обычно его сопровождали туда два вооруженных до зубов маленьких солдата.

Он пришел туда один, ночью, беседовал с заключенными, хохотал без удержу вместе с ними и особенно веселился, разговаривая с Сорвиголовой.

Потом болтовня и шутки вдруг приняли скверный оборот (принять скверный оборот — значит плохо кончиться). Полковник Папа Добрый заревел, словно дикий зверь, как умел только он один. Полковник Папа Добрый стал шататься, как больной, он чуть не падал, он несколько раз выкрикнул: "Я сейчас вас всех убью. Я сейчас вас всех убью... — и завыл, словно гиена в ночи. — Да, вот так... вот так... я сейчас вас убью". Он выхватил из-под сутаны "калаш" и дал две очереди в воздух. Заключенные в первый момент разбежались в стороны и попрятались по углам. Стоя на том же месте и пошатываясь, он выстрелил еще дважды. А потом вдруг затих, его сморила дремота. Один из заключенных в полутьме тихонько обошел его сзади, бросился ему под ноги и опрокинул на пол. Автомат выпал из рук полковника Папы Доброго и откатился далеко,

очень далеко. Сорвиголова схватил "калаш" и — он ведь чокнутый, этот парень, совсем чокнутый — выстрелил в полковника Папу Доброго, лежавшего на полу. Выпустил в него всю обойму.



Фафоро! Фетиши Якубы не помешали пулям прошить насквозь тело полковника Папы Доброго. Якуба потом объяснил почему: полковник нарушил запреты, связанные с фетишами. Во-первых, нельзя заниматься любовью, пока на тебе григри. Во-вторых, после того как ты занимался любовью, надо сначала помыться, а потом уже надевать григри. А полковник Папа Добрый занимался любовью когда и где попало и помыться не успевал. Была и еще одна причина. Полковник не принес в жертву двух быков, хотя так ему было назначено судьбой. Если бы он принес в жертву двух быков, то никогда бы не рискнул пойти в тюрьму без охраны. Жертвоприношение не дало бы случиться такому обстоятельству. Фафоро! (Обстоятельство — это один из фактов, в совокупности составляющих определенное событие.)

Когда полковник Папа Добрый умер, умер скверной смертью, один из заключенных перевернул его тело и взял ключ от оружейного склада. Полковник Папа Добрый никогда не расставался с этим ключом. Для заключенных и для солдат, которые хотели уйти к ОЛД, это стало сигналом к восстанию, это означало свободу. Но другие солдаты не хотели уходить, они остались верными НПФЛ и полковнику Папе Доброму. Между ними и восставшими завязался бой. Тем, кто хотел к ОЛД, удалось смыться.

Мы двое, Якуба и я, хотели к ОЛД потому, что под их контролем был Ньянгбо, а в Ньянгбо жила моя тетя. Раньше тетя каким-то образом сообщила Якубе, что находится в Ньянгбо, а майор Сорвиголова сказал, что видел ее там. Правда, майор Сорвиголова был мифоман, а словам мифомана доверять нельзя.

Мы пошли за Сорвиголовой, он знал самый короткий путь в расположение ОЛД. Нас было тридцать семь: шестнадцать маленьких солдат, двадцать взрослых солдат и Якуба. У нас было с собой много оружия и боеприпасов. И очень мало еды. Сорвиголова убедил нас в том, что расположение ОЛД — совсем близко, за поворотом. Но это оказалось неправдой. Парень был мифоманом. Чтобы добраться до ближайшего блок-поста ОЛД, надо было идти два-три дня. А солдаты НПФЛ наступали нам на пятки (наступать кому-то на пятки — значит преследовать). К счастью, до расположения ОЛД можно было добраться несколькими путями, и враги не знали, по какой дороге мы пошли. Все мы происходили из разных народностей, но знали, что ОЛД принимало только людей из племени кран и гере. Поэтому каждый взял себе имя, принятое у кранов. Мне не пришлось менять имя, потому что я был малинке, или мандинго, как говорят у себя в Либерии потомки чернокожих американцев. Малинке, или мандинго, — всюду желанные гости, потому что они ловкачи, каких мало. Они свои в любом лагере, им годится к еде любая подливка.

Дорога была долгая, мы взяли с собой слишком много оружия и боеприпасов и не могли справиться с этой ношей. Мы бросили лишние автоматы и патроны.

У нас был гашиш, но еды не хватало. От гашиша голод не проходит. Сначала мы ели лесные плоды, потом стали есть корни, а потом листья. Но Якуба сказал: Аллах в безмерной доброте своей не оставляет без пищи ни один рот, созданный им.

Среди маленьких солдат была одна девочка по имени Сара. Красивая девочка, красоты у ней хватило бы на четверых, а гашиш и травку она расходовала за десятерых. В Зорзоре она потихоньку от всех стала подружкой Сорвиголовы. Поэтому она и пошла с нами. С тех пор как мы двинулись в путь, эти двое то и дело останавливались, чтобы поцеловаться. И каждый раз она пользовалась этим для того, чтобы покурить гашиш и пожевать травку. Гашиша и травки у нас было в изобилии (в изобилии — значит в большом количестве). Да, в изобилии, потому что мы очистили склады Папы Доброго. Она бесперебойно курила и жевала (бесперебойно, по "Ларуссу", значит все время). Она стала совершенно чокнутая. На глазах у всех копалась в своей ньюссу-ньюссу. И просила Сорвиголову заняться с ней любовью прилюдно. А Сорвиголова постоянно ей отказывал, потому что мы очень торопились и были очень голодны. В какой-то момент она захотела отдохнуть и села, прислонившись к дереву. Сорвиголова сильно любил Сару. Он не мог бросить ее вот так. Но за нами была погоня. Мы не могли задерживаться. Сорвиголова хотел помочь ей встать, заставить ее идти с нами дальше. И она выпустила в него всю обойму. К счастью, она была совсем одуревшая, ничего не видела. И пули пролетели мимо. Но Сорвиголова в приступе гнева тоже схватился за автомат. Он выстрелил ей по ногам, и она уронила "калаш". Она завизжала как свинья, которую режут. А Сорвиголова был в отчаянии, в полном отчаянии.

Надо было оставить ее, бросить на произвол судьбы. И Сорвиголова никак не мог решиться. Она истошно вопила, звала маму, ругалась, несла всякую чушь. Сорвиголова подошел к ней, обнял ее и заплакал. Мы ушли, мы снова стали топтать дорогу, а они там все еще возились, обнимались, плакали. Вскоре нас нагнал Сорвиголова, он был один и плакал. Он оставил ее у этого дерева, в одиночестве, израненную, в крови. Эта негодница (нехорошая, злая девка) была не в состоянии идти. Вот будет пир для муравьев, маньянов и стервятников (пир — это великолепное угощение).

Если верить "Ларуссу", надгробное слово — это речь, произнесенная в честь какой-нибудь умершей знаменитости. Маленький солдат — самая большая знаменитость конца двадцатого века. Значит, когда маленький солдат умирает, надо произнести в его честь надгробное слово, то есть рассказать, как его угораздило стать маленьким солдатом в этом огромном, окаянном мире. Я произношу надгробное слово, когда мне хочется, я не обязан это делать каждый раз. Сейчас я делаю это для Сары, потому что у меня есть время, есть желание и потому что это будет интересно.

Отца Сары звали Буаке; он был моряком. Он плавал и плавал, только этим и занимался, непонятно даже, когда он ухитрился засадить Сару в живот ее матери. Мать Сары торговала вонючей рыбой на большом рынке в Монровии и только изредка занималась дочерью. Саре было пять лет, когда ее маму сбил насмерть какой-то пьяный водитель. Отец, уходя в плавание, доверил ее одной своей родственнице, которая поместила девочку к мадам Кокуи. Мадам Кокуи была коммерсантка и мать пятерых детей. Она сделала из Сары служанку и продавщицу бананов. Каждое утро, вымыв посуду и постирав белье, Сара шла продавать бананы на улицах Монровии и возвращалась домой ровно в шесть, чтобы по-

ставить котелок на огонь и искупать младенца. Мадам Кокуи была очень дотошна в денежных делах и очень придирчиво следила за тем, чтобы Сара возвращалась домой вовремя (дотошная, так же как и придирчивая, означает: строгая, требовательная).

Однажды утром какой-то маленький уличный воришка схватил гроздь бананов и удрал со всех ног. Сара побежала за ним, но не смогла догнать. Когда она пришла домой и рассказала, что случилось, мадам Кокуи была очень, очень недовольна. Мадам Кокуи накричала на Сару и обвинила ее в том, что она продала бананы, а на выручку купила себе сладостей. Напрасно Сара уверяла ее, что бананы стащил маленький воришка. Мадам Кокуи никак не могла успокоиться, ничего не хотела слышать. Она здорово отметелила Сару, заперла ее и оставила без ужина. А еще пригрозила: "В следующий раз отколочу тебя еще сильнее и запру на весь день без еды".

Следующий раз случился назавтра. Как всегда по утрам, Сара вышла из дому, неся на продажу бананы. Но тот же маленький воришка пришел опять с целой оравой приятелей, сцапал гроздь бананов и удрал. Сара бросилась его догонять. Его приятели, такие же маленькие воришки, только этого и ждали. Стоило Саре отойти, как они наложили лапу на все ее бананы (наложить лапу — значит завладеть, забрать себе, так сказано в "Ларуссе").

Сара была в отчаянии. Целый день она проплакала, а когда увидела, что солнце склоняется к горизонту и скоро пора будет купать младенца, она решила просить милостыню. Чтобы отдать мадам Кокуи деньги за бананы. Но, на ее беду, люди в автомобилях оказались не очень-то щедрыми, и денег набралось слишком мало. Когда стемнело, она нашла себе место для ночлега среди тюков под навесом лавки Фара.

Назавтра она опять стала просить милостыню и лишь к концу следующего дня собрала достаточно, чтобы рассчитаться с мадам Кокуи. Но было уже слишком поздно: она отсутствовала два дня и две ночи и теперь не могла вернуться домой. Мадам Кокуи просто убила бы ее, да-да, наверняка убила бы. Она продолжала просить милостыню и уже начала привыкать к своему новому положению, и ей казалось, что так жить лучше, чем у мадам Кокуи. Она даже нашла место, где можно было помыться, придумала, где хранить собранные деньги, а ночевала она по-прежнему среди тюков с товаром, под навесом лавки Фара.

Там ее заметил один господин и вскоре пришел с ней познакомиться. Он был очень ласковый и сострадательный (сострадательный — это значит, что он делал вид, будто сочувствует бедам Сары). Он угостил ее конфетами, разными другими сладостями. И Сара доверчиво пошла с ним в безлюдный район портовых складов. Там он вдруг сказал, что сейчас будет заниматься с ней любовью, но аккуратно, чтобы не причинить ей вреда. Сара испугалась, закричала и попыталась бежать. Но он был проворнее и сильнее, он догнал ее, схватил, бросил на землю и изнасиловал. Он так старался, что Сара потом осталась лежать на земле, как мертвая.

Ее отвезли в больницу, а когда она очнулась, стали расспрашивать о родителях. Она рассказала об отце, но не стала упоминать мадам Кокуи. Отца Сары стали искать и не нашли. Он был в плавании; как всегда, он был в плавании. Сару поместили в сиротский приют, который держали монахини, на западной окраине Монровии. Она была там, когда в Либерии разразилась межплеменная война. Пять монахинь были убиты, ос-

тальные, не дожидаясь продолжения, быстренько смылись. Чтобы не подохнуть с голоду, Сара и четыре ее подружки занимались проституцией, а потом стали маленькими солдатами.

Вот и вся история Сары, которую мы бросили на съедение муравьям, маньянам и стервятникам (согласно "Словарю лексических особенностей", маньяны — это очень-очень прожорливые черные муравьи). Их ожидало великолепное угощение. Ньямокоде (паскудство)!



Все деревни, какие встречались на нашем пути, были пустые, совсем опустевшие, брошенные жителями. Так всегда бывает при межплеменных войнах: жители бросают деревни, людское жилье, и прячутся в лесу, где живут дикие звери. Диким зверям живется лучше, чем людям. Фафоро!

Входя в одну такую брошенную деревню, мы заметили двух парней, которые сразу пустились наутек, точно воры, и скрылись в лесу. Мы погнались за ними. Так полагается при межплеменной войне. Когда видишь кого-то и он вдруг убегает, значит, этот "кто-то" хочет тебе навредить. Надо его поймать. Мы побежали за этими парнями, стреляя на бегу. Но они не показывались. Мы стреляли долго и без перерыва. Грохот был жуткий, можно было подумать, что это Самори вернулся и опять воюет (Самори — это был такой вождь малинке, в давние времена он долго сопротивлялся французским завоевателям, и его солдаты очень много стреляли). Валахе (клянусь Аллахом)!

Среди маленьких солдат был один чудной парнишка, которого все называли Хитрюга Кик. Капитан Хитрюга Кик все делал по-своему. Мы остановились у обочины и стали ждать, а капитан Хитрюга Кик зашел в лес и повернул налево, чтобы отрезать беглецам путь в деревню. Хитро придумано. Но вдруг мы услышали взрыв, и Кик закричал. Мы прибежали к нему. Он подорвался на мине. Зрелище было удручающее. Кик визжал как свинья, которую режут. Звал маму, звал папу, ругался и плакал. Правая нога у него превратилась в месиво и держалась на лоскутке кожи. Смотреть было страшно. Он весь был в поту, он скулил: "Я сейчас сдохну. Сдохну, как муха". Нерадостно было видеть, как такой вот парнишка собирается на тот свет. Мы наспех соорудили носилки.

Кика отнесли в деревню. Среди солдат был один бывший фельдшер. Он решил, что раненую ногу надо срочно ампутировать. Кика уложили на солому в одной из хижин. Троим здоровым парням с трудом удавалось держать его. Он орал, отбивался, звал маму, но несмотря на это ему отрезали ногу до колена. Да, до самого колена. Ногу бросили собаке, которая пробегала мимо. А Кика прислонили спиной к стене хижины.

А затем мы начали обыскивать хижины. Одну за другой. И очень основательно. Жители разбежались еще раньше, когда услышали непрерывные автоматные очереди, которыми мы оглашали лес. Мы были голодны, надо было найти еду. Мы увидели цыплят, погнались за ними, поймали, свернули им шеи и зажарили на углях. По деревне бродили козлята. Мы и их убили и зажарили. Мы брали все, что только можно было жевать. Аллах не оставляет без пищи ни один рот, созданный им.

Мы обшаривали все углы и закоулки. Мы думали, что в деревне никого не осталось, совсем никого, но, к нашему изумлению, обнаружили в кустах двух славных малышей, которых мама не успела захватить с собой, когда убегала без оглядки (то есть поспешно и не раздумывая, как

объясняет "Ларусс"). Она упустила их, и они спрятались за изгородью, в кустах.

Среди маленьких солдат была одна девочка по имени Фати. Как все девочки-солдаты, Фати была очень злая, чересчур злая. Как все девочки-солдаты, Фати злоупотребляла гашишем и постоянно ходила обкуренная. Она вытащила малышей из их укрытия за изгородью. И велела им показать, где у жителей деревни спрятана еда. Но дети не понимали, чего от них хотят, они вообще ничего не понимали. Они были еще слишком малы: шестилетние ребятишки, близнецы. Фати решила их припугнуть. Она хотела выстрелить в воздух, но она была совсем обкуренная и прошила малышей автоматной очередью. Один умер сразу, другой был ранен. У Фати вырвали из рук автомат. Она разрыдалась. Нельзя причинять зло близнецам, особенно детям. Ньямы близнецов, особенно детей, – очень свирепые ньямы. Они никогда не прощают (ньямы – это души умерших, их тени, жаждущие возмездия). Это было большое, очень большое несчастье. Теперь ньямы маленьких близнецов будут гнаться за Фати, будут преследовать ее по всей окаянной стране Либерии, где бушует межплеменная война. Фати была обречена: ей предстояло умереть ужасной смертью.

Якуба сказал Фати, что амулеты больше не смогут ее защитить: они потеряли силу, это сделали ньямы маленьких близнецов.

Фати плакала горючими слезами, плакала как сопливая девчонка; она хотела, чтобы ей дали новые, сильные амулеты. Но сколько бы Фати ни плакала, она все равно была обречена; ведь она осталась без амулетов. Вот такая история.

После того как мы совершили такую глупость, убили двух невинных детей, нам нельзя было оставаться в этой деревне. Надо было уходить оттуда по-быстрому, ньона-ньона (это слово есть в "Словаре лексических особенностей", означает быстро-быстро). Мы прислонили Кика к стене хижины и быстро стали топтать дорогу.

Мы бросили Кика на милость людей, жителей деревни, а Сару оставили диким зверям и насекомым. Кому из двоих повезло больше? Конечно не Кику. Так всегда бывает во время межплеменной войны. Звери относятся к раненым лучше, чем люди.

Ладно! Поскольку Кик должен был умереть, можно считать, уже умер, полагается произнести над ним надгробное слово. И я сделаю это, потому что Кик был славным парнишкой, а его жизненный путь оказался недолгим (жизненный путь – это срок, который каждый человек проводит на земле, так сказано в "Ларуссе").

В родную деревню Кика межплеменная война пришла в десять часов утра. Дети были в школе, родители – дома. Кик был в школе, его родители – дома. Когда раздались первые автоматные очереди, дети убежали в лес. И Кик убежал в лес. Все время, пока в деревне был шум, дети сидели в лесу. И Кик сидел в лесу. Только утром, когда шум стих, дети решились выйти из леса и вернуться в родительские дома. Кик тоже вернулся в родительский дом: его отца зарезали, брата зарезали, мать и сестру изнасиловали и размозжили им головы. Все его близкие и дальние родственники погибли. А если у тебя больше никого на свете не осталось, ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, и если ты ребенок, славный такой малыш в этой окаянной, свирепой стране, где все истребляют друг друга, то что ты будешь делать?

Понятно, что: ты станешь маленьким солдатом, солдатом-ребенком, child soldier, чтобы не умереть с голоду и чтобы, в свою очередь, убивать самому; ничего другого тебе не остается.

Потихоньку-полегоньку (согласно "Малому Роберу", это означает: постепенно переходя от одной мысли, от одного слова или же действия к другому), Кик стал маленьким солдатом. Маленький солдат был хитрюга. Хитрый маленький солдат решил срезать путь. Срезав путь, он подорвался на мине. Мы отнесли его в деревню на самодельных носилках. Мы прислонили его, умирающего, к стене хижины. Мы бросили его там. Мы бросили его одного, умирающего, в послеполуденный час, в паршивой деревне, отдали на расправу местным жителям (отдать на расправу — значит объявить виновным перед лицом толпы). Отдали им на расправу, потому что Аллаху было угодно, чтобы бедный мальчик закончил свои дни. Аллах ведь не обязан, ему нет надобности быть справедливым во всем, во всех своих творениях, во всех своих деяниях на земле.

Я тоже не обязан болтать с вами, рассказывать вам мою поганую жизнь, рыться то в одном словаре, то в другом. Обрыдло мне это; на сегодня с меня хватит. Пошли все в задницу!

Валахе (клянусь Аллахом)! Фафоро (клянусь отцовским срамом)! Ньямокоде (паскудство, паскудство)!

## III

ОЛД (Объединенное либерийское движение), или Движение за единую Либерию, — это банда сторонников прежнего режима, наследников президента-диктатора Сэмюэла Доу, которого разрезали на части. Да, его разрезали на части, и было это пасмурным днем, в страшном городе Монровии, столице Республики Либерия, республики, получившей независимость в 1860[1] году. Валахе (клянусь Аллахом)!

Диктатор Доу начал свою карьеру в звании сержанта либерийской армии. Сержант Доу и некоторые из его товарищей не могли спокойно смотреть на то, как заносчиво и пренебрежительно потомки американских негров (их еще называют конгос) относятся к коренным жителям Либерии. Эти афроамериканцы, потомки освобожденных рабов, вели себя в либерийском обществе как колонизаторы. (Все эти определения я взял из словаря Хэррапа). Итак, Сэмюэл Доу и некоторые из его товарищей не могли спокойно смотреть на то, какие несправедливости терпят коренные жители Либерии в независимой Республике Либерия. По этой причине коренное население возмутилось, и два его представителя стали во главе заговора коренных жителей против заносчивых афроамериканских колонизаторов.

Эти два коренных жителя, два чернокожих африканских негра, которые возглавили заговор, были Сэмюэл Доу, из народности кран, и Томас Кионкпа, из народности гио. Кран и гио — два наиболее многочисленных племени из тех, что населяют Либерию. Вот почему считается, что вся независимая Либерия восстала против пришлых афроамериканцев, этих заносчивых колонизаторов.

К счастью (для восставших), или благодаря принесенным и милостиво принятым жертвам, заговор увенчался полным успехом. После это-

1. Независимая Республика Либерия была провозглашена в 1847 г.

го полного успеха оба вождя со своими сторонниками на рассвете вломились ко всем видным деятелям, всем сенаторам — афроамериканцам. Их привезли на берег моря. Там их раздели до белья и привязали к столбам. С наступлением дня в присутствии журналистов со всего мира их расстреляли как зайцев. Затем заговорщики вернулись в город. В городе они перебили жен и детей расстрелянных, потом устроили большой праздник, со страшным гвалтом, стрельбой, безудержным пьянством и так далее.

А потом два вождя восстания поцеловались в губы, как воспитанные люди, и поздравили друг друга. Сержант Сэмюэл Доу присвоил сержанту Томасу Кионкпа звание генерала, а сержант Томас Кионкпа присвоил звание генерала сержанту Сэмюэлу Доу. Но главой государства мог быть только один из них, поэтому Сэмюэл Доу провозгласил себя президентом, бесспорным и неоспоримым руководителем единой и демократической Республики Либерия, независимой с 1860 года.

Сразу после этих событий, по удачному совпадению, начался саммит Организации западноафриканских государств, ОЗАГ, в которую входит и Либерия. Сэмюэл Доу, генерал и глава государства, в форме парашютиста и с револьвером на боку, быстренько сел в самолет. Чтобы в качестве президента Либерии присутствовать на саммите ОЗАГ, вместе с другими главами государств. Встреча проходила в Ломе, столице Того. В Ломе все осложнилось. Когда он прибыл на саммит, вооруженный до зубов, главы государств Западной Африки испугались. Они приняли его за сумасшедшего и не допустили на переговоры, а совсем наоборот — заперли в отеле. На все время саммита, со строгим запретом выходить за дверь и пить спиртное. Когда переговоры закончились, они посадили его в самолет и отправили обратно, в его столицу Монровию. Словно какого-нибудь уйя-уйя (то есть бродягу, непутевого парня, — я вам уже объяснял это слово).

Вернувшись в свою столицу Монровию, Сэмюэл Доу спокойно пробыл у власти пять полных сезонов дождей. И повсюду он появлялся в форме парашютиста, с револьвером на боку, как настоящий революционер. Но вот однажды он вспомнил о Томасе Кионкпа... вспомнил — и сразу помрачнел, сразу почувствовал себя неуютно в своей форме парашютиста. Не надо забывать, что Сэмюэл Доу совершил переворот вместе с Томасом Кионкпа и Томас Кионкпа все еще был жив и здоров. Даже мелкие воришки, которые тащат цыплят с птичьего двора, знают и говорят: если ты провернул хорошее дельце вдвоем с приятелем, то не сможешь вполне насладиться добычей, пока не устранишь этого приятеля. После пяти лет пребывания у власти существование Томаса Кионкпа все еще создавало проблемы для Сэмюэла Доу, угнетало его моральный дух, сковывало речь и поступки.

Чтобы решить эти проблемы, Сэмюэл Доу придумал надежную стратагему (стратагема означает хитрость, так написано в "Малом Робере"). Тут даже не надо было ворочать мозгами, дело было простое и ясное. Демократия — вот ключ ко всему. Демократия, голос народа, воля народа — властителя своей судьбы. И так далее и тому подобное...

Как-то в субботу, с утра, Сэмюэл Доу устроил представление. Он созвал к себе всех высших офицеров либерийской армии, всех высших чиновников, руководителей кантонов со всей республики, всех религиозных лидеров. Перед этим ареопагом (ареопаг — значит собрание ученых людей) он произнес такую речь:

— Я был вынужден взять власть силой оружия, потому что в этой стране царила несправедливость. Теперь, когда все у нас равны, когда справедливость восстановлена, армия больше не будет управлять страной. Армия передает бразды правления гражданским лицам, народу — властителю своей судьбы. И первым делом лично я торжественно слагаю с себя воинское звание, снимаю военную форму, отказываюсь носить оружие. Отныне я — гражданское лицо.

Он снял с пояса кобуру с револьвером, снял форму парашютиста — красный берет, гимнастерку с погонами, брюки, ботинки, носки. Остался в одних трусах. Потом щелкнул пальцами — и появился его адъютант с костюмом-тройкой, галстуком, туфлями и фетровой шляпой. И под аплодисменты всех присутствующих он надел гражданскую одежду. И стал обычным гражданским, таким же, как последний уйя-уйя, никчемный тип, слоняющийся по улице.

Дальше все пошло очень быстро. За три недели по его приказу была составлена конституция, которая во всем его устраивала. За два месяца он объездил всю страну, объяснял, как хороша эта новая конституция. И однажды, воскресным утром, за конституцию проголосовали девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента избирателей. Именно девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента, потому что результат в сто процентов выглядел бы как-то несерьезно. Как-то уйя-уйя.

Теперь, когда страна приняла новую конституцию, ей нужен был новый, гражданский глава государства. Полтора месяца он разъезжал по стране и объяснял, что стал гражданским, на словах и на деле. И вот, еще одним воскресным утром, в присутствии международных наблюдателей, за него проголосовали девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента избирателей. Именно девяносто девять целых и девяносто девять сотых, потому что сто процентов — это было бы уйя-уйя. Это вызвало бы пересуды (пересуды — это когда люди болтают попусту, лишь бы сказать гадость о других, так написано в "Ларуссе").

И вот он стал самым настоящим, законно избранным, почтенным и всеми почитаемым президентом. Первым распоряжением, которое он издал в качестве президента, было распоряжение об отрешении от должности генерала Томаса Кионкпа как неблагонадежного (отрешить важного человека от должности — значит уволить. Отрешить от должности как неблагонадежного — то есть такого, который собирается устроить заговор). Но тут возникли трудности. Томас Кионкпа не захотел подчиниться. Совсем напротив!

Вместе с высокопоставленными офицерами и чиновниками, принадлежавшими, как и он сам, к народности гио, Томас Кионкпа устроил самый настоящий заговор. И только чудом, каким-то чудом этот заговор не достиг цели. Только чудом, каким-то чудом Сэмюэл Доу остался жив. Сэмюэл Доу ответил на удар жестоко и беспощадно. Теперь у него были доказательства, был удобный случай, которого он так долго ждал. По его приказу Томаса Кионкпа подвергли ужасающим пыткам, а потом расстреляли. Люди из личной охраны Доу рассыпались по городу и перебили почти всех высших офицеров и чиновников Республики Либерия, принадлежавших к народности гио. А также их жен и детей.

Сэмюэл Доу был счастлив, он торжествовал, у него больше не было соперников, и теперь его окружали только краны, только люди из его племени. Республика Либерия стала государством кранов, одних только

кранов. Но это продлилось недолго. К счастью, человек тридцать чиновников из племени гио сумели ускользнуть от убийц. Они бежали в Кот-д'Ивуар и выплакали свое горе местному диктатору Уфуэ-Буаньи. Уфуэ-Буаньи успокоил их и отослал к ливийскому диктатору, господину Каддафи, у которого имеется постоянно действующий лагерь для подготовки террористов. Целых два года Каддафи обучал тридцать чиновников из племени гио обращению с оружием и терроризму. Потом отправил их в Кот-д'Ивуар. В Кот-д'Ивуаре хорошо подготовленные гио попрятались по деревням на границе с Либерией. И сидели там тихо до роковой даты (роковой — значит отмеченный судьбой), 24 декабря 1989 года, до кануна Рождества 1989 года. В канун Рождества 1989 года, ночью, они дождались, пока пограничники в Буторо (это такой город на границе) напьются до беспамятства, а затем напали на них. Они быстро захватили пограничный пост в Буторо, убили всех пограничников и взяли их оружие. После этого они позвонили оттуда в Монровию, в генеральный штаб. Выдав себя за пограничников, они доложили генеральному штабу, что недавно отбили нападение на пост и просят прислать подкрепление. Генеральный штаб прислал подкрепление, солдаты попали в засаду, все до единого были убиты и кастрированы, а их оружие победители забрали себе. Теперь у повстанцев гио было оружие, много оружия. Вот почему принято говорить, а у историков — писать, что межплеменная война пришла в Либерию этим вечером, в канун Рождества 1989 года. Да, война началась 24 декабря 1989 года, ровно за десять лет, день в день, до того, как произошел военный переворот в соседнем государстве, Кот-д'Ивуаре. И с этого дня неприятности у Сэмюэла Доу пошли крещендо, и так продолжалось до самой его смерти (крещендо — это значит, что они нарастали как снежный ком). Да, пошли крещендо, и так было до самой смерти, когда его убили, разрезав на куски. Об этом мы поговорим позже. А сейчас мне некогда. Ньямокоде (паскудство, паскудство)!

Чужаков в ОЛД встречали неласково. Так положено во время межплеменной войны. Оказавшись там, мы произнесли заранее заготовленную речь про Сэмюэла Доу. Мы говорили о его патриотизме и щедрости. О том, сколько добра он сделал всему либерийскому народу. О том, как он всем жертвует ради родины. Они слушали нас долго, внимательно, в благоговейном молчании. А потом попросили сдать оружие. Мы с готовностью отдали все оружие, какое у нас было. Они принесли Библию, Коран и фетиши. И мы торжественно поклялись, что мы не воры, что ни один из нас не вор. Потому что у них и так было достаточно воров, более чем достаточно, они устали от воровства. А затем они посадили нас в тюрьму. Щелк-щелк.

В тюрьмах ОЛД кормили мерзопакостно, а главное, очень скудно (мерзопакостно — значит отвратительно). Первым на плохие условия пожаловался Якуба. Он стал громко вопить: "Я григримен, я делаю самые сильные амулеты от пуль, чтобы пули свистели мимо!" Никто его не услышал. Он заорал громче: "Выпустите меня отсюда! А то я наложу на вас заклятие. Наложу заклятие на всех вас!" Тогда за ним пришли, но он сказал, что не уйдет без меня, и попросил разрешения взять меня с собой.

Нас отвезли в штаб генерала Бакли, Оники Бакли Доу. Генерал Бакли — это была женщина. (Полагалось бы сказать "генеральша". Но, если

верить "Ларуссу", генеральша – это только жена генерала, а не сам генерал.) Итак, нас представили Онике Бакли Доу. Генерал Бакли рада была видеть Якубу. У нее уже был свой григримен, заклинатель фетишей. Но он не был мусульманином. Иногда она начинала сомневаться в познаниях и возможностях своего григримена. Но теперь, вместе с Якубой, их будет двое, и это должно пойти ей на пользу.



А меня отправили к маленьким солдатам. Мне показали мой "калаш". У нас был один "калаш" на пятерых, и тот, что достался моей пятерке, был новее того, который был у меня в НПФЛ.

В ОЛД хорошо относились к маленьким солдатам. Мы ели досыта, и притом еще могли заработать доллары, нанимаясь охранниками к золотоискателям. Я решил прикопить немного денег. Не стал весь мой заработок выбрасывать на наркотики, как делали другие дети-солдаты. На скопленные деньги я купил золота и спрятал его в одном из фетишей. Я хотел принести хоть что-нибудь моей тете, когда доберусь до нее. Фафоро (клянусь членом моего отца)!

Генерал Бакли – это была не просто женщина, скажу я вам. Это была женщина редкая, своеобразная, непохожая на других. Она расстреливала всех воров, без каких-либо различий, будь то мужчина или женщина, укради он иголку или быка. Вор – это вор, и все тут, поэтому она расстреливала их всех подряд. Это было справедливо.

Санникели, столица вотчины генерала Бакли, была сплошным воровским притоном. Все воры Республики Либерия сбежались в Санникели. Маленьким солдатам здорово доставалось от воров. Очень часто они засыпали, одурманенные наркотиком, и очень часто просыпались голыми, совершенно голыми. Воры снимали с них все, даже трусы. И они лежали голые рядом со своим "калашом".

В будни воров, пойманных на месте преступления (то есть прилюдно уличенных в краже), заковывали в цепи и сажали в тюрьму. Они могли проголодаться – такова человеческая природа. Но что поделаешь, в тюрьмах Бакли задержанные не имели права на еду.

В субботу, в девять утра, задержанных выводили на рыночную площадь, где к этому времени собирались все местные жители. Суд происходил тут же, на площади, при всех. Сначала у задержанного спрашивали, украл он или нет. Если он отвечал "да", то его приговаривали к смерти. Если он отвечал "нет", то его уличали свидетели, и его все равно приговаривали к смерти (уличить – значит убедительно доказать чью-то вину). И в итоге получалось то же самое. Так или иначе, но задержанного приговаривали к смерти. И приговоренных безотлагательно уводили на место казни (безотлагательно – значит сразу, немедленно).

Им приносили миску горячего риса с пряной подливкой, с большими кусками мяса. Они набрасывались на еду как хищники, потому что им очень-очень хотелось есть. Еда выглядела очень-очень заманчиво, у многих зрителей даже возникало желание оказаться на месте приговоренных. Приговоренные ели жадно и много. Наедались досыта, до отвала. Словно на празднике. Приходил священник и соборовал каждого приговоренного, даже если это не был католик. Потом их привязывали к столбам, завязывали им глаза. Некоторые плакали, как сопливые детишки. Но таких было немного. Большинство, подавляющее большинство облизывались и весело, от души смеялись: они были очень-очень довольны, что вкусно и досыта поели. А потом их расстреливали под аплодисменты довольной, счастливой толпы.

Но несмотря на это, несмотря на все это, некоторые зрители с удивлением обнаруживали, что, пока они аплодировали, воры обчистили их карманы (обчистить -- значит вытащить бумажник, так написано в "Ларуссе"). Да, обчистили: в Санникели столько воров, что казнь одних не могла послужить уроком для других. Фафоро (клянусь папиным срамом)!

В смысле семейных связей и родства Оника была сестрой-близнецом Сэмюэла Доу. В те времена, когда готовилось восстание коренных жителей против афроамериканцев, она промышляла на панели. (Когда про девушку говорят, что она промышляет на панели, это означает, что она шляется по улице и занимается проституцией.) Тогда ее звали Оника Докуи. После победы восстания брат назначил ее сержантом либерийской армии, и она обзавелась новой фамилией. Теперь ее звали Бакли, словно она была афроамериканкой. Что ни говори, а в Либерии быть афроамериканцем считалось престижным. Это было почетное положение, гораздо лучше, чем у коренных жителей, чернокожих негров-туземцев.

Вернувшись из Ломе, с конференции глав государств Западной Африки, Сэмюэл Доу назначил сержанта Бакли лейтенантом и прикомандировал ее к своей личной охране. После неудавшегося заговора гио Сэмюэл Доу назначил ее майором президентской гвардии. А после смерти Сэмюэла Доу, после того как Сэмюэла Доу разрезали на куски, Бакли назначила сама себя генералом и начальником над районом Санникели. Так что генерал была женщина смышленая, она не позволяла мужчинам, этим отъявленным уйя-уйя, вылизывать подливку со дна своей канари. Валахе!

Генерал Оника была женщина небольшого роста, волевая и энергичная, словно коза, у которой забрали козленка. Она лично присматривала за всем, повсюду появлялась со своими генеральскими нашивками и "калашом". Носилась на внедорожнике, набитом вооруженными до зубов телохранителями. Управление районом было построено по семейному принципу. Текущие дела Бакли доверила своему сыну. Сына звали Джонни Бакли Доу. Он был полковником и командиром самого опытного и обстрелянного полка. У Джонни Бакли Доу было три жены. Все три были майорами, и им были поручены три самых важных участка: финансы, тюрьмы и маленькие солдаты.

Ту, что ведала финансами, звали Сита. Она была из народности малинке, или, по-афроамерикански, мандинго. Раз в три месяца она взимала арендную плату с золотоискателей. Она была мусульманка, но человеколюбия в ней не было ни на грош. Она считала, что старатели, работающие без разрешения, -- это воры, которые воруют у нее землю, она сажала их в тюрьму, и по субботам их приговаривали к смерти. Их расстреливали, а она громко смеялась.

Женщину-майора, которая управляла тюрьмами, звали Монита. Она была протестантка, отличалась человеколюбием, и сердце у нее было золотое. Она кормила задержанных, которым полагалось сидеть голодными. Она доставляла удовольствие тем, кому оставалось жить всего несколько часов. Аллах видит такие дела и вознаграждает их у себя на небе.

Ту, что командовала маленькими солдатами, звали Рита Бакли. Рита Бакли любила меня недозволенной любовью. Она называла меня сынком григримена Якубы, и сынок григримена получал все, что хотел, и

мог позволить себе все, что хотел. Иногда — чаще всего, когда Бакли куда-то уезжал, — она приводила меня к себе, потчевала меня каким-нибудь вкусным блюдом своего приготовления (потчевать — значит угощать кого-то, кому хотят сделать приятное). Я наедался досыта, и все время, пока я ел, она повторяла:



— Бирахима, малыш, ты красивый, ты милый. Ты знаешь, что ты милый? Ты знаешь, что ты красивый?

После еды она всегда просила меня раздеться. Я раздевался. А она нежно, очень нежно гладила мой бангала. У меня вставало, как у осла, и я все время шептал:

— Если бы нас увидел полковник Бакли, нам бы не поздоровилось.

— Ничего не бойся, он далеко, — шептала она в ответ.

Она покрывала поцелуями мой бангала, а потом заглатывала его, как змея заглатывает крысу. Она превращала мой бангала в зубочистку.

Я уходил из ее дома, весело насвистывая, до отвала наевшийся и довольный. Ньямокоде (паскудство)!

Санникели — большой приграничный город, в окрестностях которого добывают золото и алмазы. Несмотря на межплеменную войну, приезжие перекупщики, пренебрегая опасностью, добирались до Санникели, прельщенные невероятно низкой ценой на золото (пренебрегая опасностью — значит сильно рискуя, а прельщенные — значит привлеченные). В Санникели все подчинялись генералу Бакли. Генерал Бакли была властелином над жизнью и смертью всех, кто находился в Санникели. И она охотно употребляла эту власть. Даже злоупотребляла ею.

В Санникели было четыре района. Район коренных жителей, район иностранцев; эти два района разделял рынок, где по субботам расстреливали воров. На другом конце города, у подножия холма, жили беженцы, а на холме располагался военный лагерь, где жили мы. Вокруг военного лагеря торчали колья с насаженными на них человеческими черепами. Так положено при межплеменных войнах. Вдалеке за холмами, на равнине, — река и золотоносные шахты. Всю эту местность охраняли маленькие солдаты. Шахты и река, где промывали руду, — это было нечто, сплошная суета и возня. Я не буду их вам описывать, потому что я уличный мальчишка и делаю что хочу, и плевать мне на всех. Я расскажу о представителях золотодобывающих компаний, настоящих хозяевах шахт и всей округи.

Представители компаний — главные начальники в этих местах, они здесь решают все. Они живут там же, где работают, и жилье у них — настоящая крепость. Эту крепость охраняют маленькие солдаты, вооруженные до зубов и всегда обкуренные. Совсем обкуренные. Где маленькие солдаты — там и черепа на кольях. У представителей компаний много денег. Каждый старатель прикреплен к представителю компании.

Когда старатель начинает работу, у него нет ничего, кроме трусов. Ему все оплачивает представитель компании. Он дает старателю возможность купить кирку, корзину, жратву, раз в месяц вносит за него полдоллара за пользование землей.

Если старателю посчастливится, то есть если он найдет золотой самородок, он выплачивает представителю компании все, что задолжал. Но такое случается редко, потому что к тому времени, когда он найдет самородок, он уже по уши в долгу у представителя компании. То есть навсегда попадает к нему в кабалу. Представителями компании часто быва-

ют ливанцы, и понятно, что их часто и жестоко убивают, ведь это кровососы (кровососы — это люди, которые наживаются на чужом труде, так написано в "Малом Робере").

Когда старатель находит самородок, это надо видеть. Невозможно сказать, что тут начинается. Он орет во всю глотку, зовет маленьких солдат, которые должны его охранять. Прибегают маленькие солдаты, как всегда обкуренные, окружают его и ведут к представителю компании. Представитель компании вычитает из стоимости самородка все долги старателя, платит за него все налоги, платит маленьким солдатам, которые охраняют его за работой. А то, что осталось — если что-то остается, — отдает старателю. И у старателя сильно осложняется жизнь, он вынужден держать телохранителя, пока все не потратит, а телохранителем всегда бывает маленький солдат, зависимый от наркотиков. Валахе! Наркотики нужны маленькому солдату постоянно, а гашиш даром не дают, он стоит денег, и немалых.

Как-то ночью в Санникели проникли вооруженные до зубов бандиты с большой дороги. Они воспользовались темнотой и прокрались между хижинами, как воры. Они пришли в район, где жили представители компаний, и взяли в кольцо два дома (взять в кольцо — значит полностью окружить, отрезать от внешнего мира). Это было легко сделать: маленькие солдаты были совсем обкуренные, взрослые солдаты — тоже. Бандиты застигли хозяев спящими, разбудили их и под угрозой оружия потребовали ключи от сундуков. Представители компаний отдали им ключи. Бандиты с большой дороги порылись в сундуках, как следует порылись. Они уже собирались уйти, захватив с собой хозяев, один из которых упирался и не хотел идти, — и в этот момент случилась беда. Один маленький солдат проснулся и выстрелил. Они ведь только это и знают: стрелять, стрелять, стрелять. И тут началась кутерьма. Ожесточенная перестрелка, а в итоге — убитые, много убитых. Валахе! Бандиты угробили пятерых маленьких солдат и троих взрослых. Сундуки стояли пустые, совсем пустые, деньги исчезли, бандиты с большой дороги смылись и увели с собой двух представителей компании. Это надо было видеть! Удручающее зрелище. Кругом трупы, взрослые солдаты, маленькие солдаты, сундуки выпотрошены, два представителя компании похищены. Погибшие маленькие солдаты не были моими друзьями. Я мало их знал, поэтому не буду произносить над ними надгробное слово. Я ведь не обязан. Ньямокоде!

Оника Бакли явилась на место происшествия. Она не могла сдержать слезы. Это надо было видеть. Такая закоренелая преступница, как Оника, рыдающая над покойниками, — на это стоило посмотреть. Крокодиловы слезы! На самом деле она оплакивала не мертвых, а ущерб, который могла понести из-за этих бандитов.

Вся политика Оники строилась на том, что ее группировка защищала представителей золотодобывающих компаний. Не будет представителей компаний — не будет старателей, не будет работы на шахтах и приисках, а значит, не будет и долларов. Оника похвалялась, что обеспечивает представителям компаний полную безопасность. И вот двое из них исчезли, были похищены среди ночи в самом центре Санникели. Все представители компаний решили уехать, прикрыть свою лавочку. Система Оники рушилась на глазах.

Оника прямо обезумела. Это надо было видеть. Надо было видеть, как эта пигалица, увешанная оружием, вопила: "Не уезжайте! Не уезжайте! Я найду их, я их верну. Они сейчас в Ньянгбо. Я точно знаю. Они в Ньянгбо. В Ньянгбо".

Первый раз за все время я услышал это названиe: Ньянгбо. В Ньянгбо жила моя тетя. Два бандита с большой дороги были из Ньянгбо.



Через два дня после похищения они потребовали выкуп. Десять тысяч долларов за каждого похищенного, ни больше ни меньше.

— Это слишком много, десять тысяч долларов, слишком много. Где я их возьму? Где достану? — вопила генерал Оника.

Начались переговоры. Бакли утверждала, что может дать только по две тысячи долларов за каждого похищенного. Бандиты проявляли понимание, они готовы были снизить сумму до восьми тысяч за каждого, но ни долларом меньше, иначе они перережут глотки обоим.

Переговоры проходили трудно и долго — не надо забывать, что Ньянгбо находится в двух днях ходьбы от Санникели.

Ньянгбо был открытым городом, он не подчинялся ни одной из враждующих группировок. Он должен был соблюдать нейтралитет. Он не должен был допускать такие акции, как взятие заложников. Однако допустил. Это была ошибка, за которую жители Ньянгбо должны были заплатить. Они за это дорого заплатят, без конца твердила Оника.

Пока шли переговоры, генерал Оника втайне готовилась к штурму города Ньянгбо. Мы, маленькие солдаты, начали марш на Ньянгбо на четвертый день после похищения. Шли мы ночью, а днем прятались в лесу. Чтобы мы по дороге не наделали глупостей, нас оставили без гашиша. Из-за этого мы были вялые, как дождевые черви, мы совсем ослабели. Шли, ничего не соображая, не зная, что делать, и непрерывно просили гашиш. Но за все время марша, за два дня и две ночи, запрет ни разу не был нарушен.

И вот наконец воскресным утром мы, к нашей несказанной радости, подошли к Ньянгбо. Для нас разбили лагерь и выдали нам по огромной порции гашиша. Мы были первые, авангард, мы были разведчики. Нам прямо не терпелось вступить в бой. От гашиша мы стали сильными, как буйволы, и мы всецело полагались на помощь наших фетишей. За нами следовал полк взрослых солдат, а чуть подальше — штаб генерала Оники и она сама, собственной персоной. Генерал командовала операцией. Она настаивала на том, что жители Ньянгбо должны быть наказаны. Рядом с ней были ее григримены, Якуба и ее прежний заклинатель фетишей по имени Согу. Согу был заклинатель фетишей из племени кран. В любое время года он носил на голове и на бедрах связки перьев. Тело у него было выкрашено белой глиной.

Штурм начался на рассвете. Мы просочились на окраину города, где стояли первые дома. У маленьких солдат был один "калаш" на пятерых. Первая группа пошла в атаку. К нашему изумлению, в ответ на наши автоматные очереди раздались другие. Жители и солдаты Ньянгбо ждали нас. Мы не застали их врасплох. Парнишка с автоматом упал. Его заменил другой, он тоже упал. Затем подстрелили и третьего. Четвертый подобрал автомат и стал отходить. Мы отступили, бросив убитых на поле боя. Весь стратегический план генерала Оники оказался на грани срыва. На линию огня вместо нас выдвинулись взрослые солдаты. Они подобрали тела убитых.

Нам, маленьким солдатам, пришлось идти в штаб, проверять надежность наших амулетов. Наверно, мы наделали глупостей, вот амулеты и не сработали: первые автоматные очереди — и сразу трое убитых. В самом деле, проверка показала, что маленькие солдаты нарушили запреты, которые обуславливают действие амулетов (обуславливают — значит создают необходимые условия для чего-то). Мы нарушили запреты, когда зажарили и съели козленка. Так нельзя делать во время войны, когда носишь на себе военные амулеты.

Я прямо покраснел от гнева. Хотя нет... я же негр, а покраснеть может только белый. Негр от гнева чуть не задыхается. Так вот, я чуть не задохнулся от гнева, я был в бешенстве. Эти заклинатели фетишей, они же просто шарлатаны (шарлатан, как написано в "Ларуссе", — это несерьезный человек, врун). Честное слово, шарлатаны! Надо же выдумать такое: трое наших погибли из-за того, что мы поели козлятины. Это же бред сумасшедшего. Просто в голове не укладывается!

Я плакал и думал об их матерях. Оплакивал все то, чего им уже не суждено увидеть в жизни. Среди убитых я узнал Страшилу Секу.

Секу Уэдраого, по прозвищу Страшила, сгубили школьные деньги, это из-за них он угодил кайману в пасть, из-за них стал маленьким солдатом (школьные деньги — это плата за обучение в школе).

Его отец был сторожем на вилле у одного богача, в шикарном районе Абиджана. Виллу ограбили бандиты с большой дороги, и богач обвинил сторожа в том, что он — сообщник бандитов. На земле нет справедливости для бедных, поэтому отца Секу подвергли пыткам и посадили в тюрьму. Плата за обучение Секу не поступала один месяц, второй. Когда истек третий месяц, директор школы вызвал Секу и сказал ему: "Секу, ты исключен, возвращайся, когда у тебя будут школьные деньги".

Маму Секу звали Бита. Бита сказала сыну: "Не огорчайся, подожди, я достану тебе школьные деньги, достану". Она продавала рабочим на стройке вареный рис, и они ей задолжали пятнадцать тысяч африканских франков. Этих денег хватило бы, на школу нужно было пять тысяч в месяц. Но Секу прождал одну неделю, другую, а денег все не было. Тогда Секу вспомнил, что у него есть дядя в Буркина-Фасо. Отец много рассказывал ему об одном из своих братьев, Букари. Букари работал шофером, у него был мотоцикл и участок земли где-то возле Уагадугу. Секу подумал, что дядя может дать деньги на школу, и решил поехать к нему. До Уагадугу он добрался на поезде, зайцем (то есть без билета). Но на вокзале его забрали полицейские и отвезли в центральный комиссариат Уагадугу.

— Где твои родители?

— Моего дядю зовут Букари. У него есть мотоцикл и участок земли.

Но найти в большом городе Уагадугу какого-то Букари с мотоциклом и участком земли — все равно что найти зернышко в мешке проса. Секу неделю проторчал в центральном комиссариате, дожидаясь, пока найдут его дядю. Пошла вторая неделя, поиски все продолжались; однажды полицейских, которые присматривали за Секу, что-то отвлекло, он воспользовался этим, задал стрекача и растворился в большом городе Уагадугу (задать стрекача — значит поспешно скрыться). И пошел куда глаза глядят (то есть наугад, не выбирая пути). Он бродил по городу и вдруг увидел грузовик с абиджанскими номерами. Шофер был в машине один: его ученик и помощник сбежал, потому что давно не получал денег. Се-

ку тут же заявил шоферу, что готов работать на него бесплатно. Они договорились, и Секу стал учеником и помощником шофера, которого звали Мамаду. Мамаду отвел Секу за грузовик и шепотом сообщил ему, что грузовик выполняет секретное задание. Очень секретное задание, о котором Секу никому не должен говорить. Грузовик тайно доставлял оружие в Либерию, сторонникам Тейлора. Так что на нем нельзя было сразу попасть в Абиджан.

И действительно, ночью пришли какие-то военные в гражданском, устроили Мамаду и Секу в гостиницу, а сами уехали на их грузовике. В четыре часа утра они вернулись на том же грузовике, но уже доверху загруженном. Груз был тщательно упакован. Военные разбудили Мамаду и Секу. Один офицер сел в кабину рядом с Мамаду, другой устроился рядом с Секу в кузове, на тщательно упакованном багаже. Пункт назначения — граница Кот-д'Ивуара и Либерии. Доехав до границы, они остановились, и из леса к ним тут же вышли герильерос (герильерос — это те, кто ведет герилью, партизанскую войну). Один из партизан сел за руль вместо Мамаду, двое других влезли в кузов. И уехали вместе с офицерами, а Секу и Мамаду велели подождать неподалеку, на заросшем кустарником участке земли.

Хозяин участка был развеселый пьяница. Он громко хохотал, хлопал гостей по плечам и время от времени звучно пукал. Пока он дурачился, из леса выскочили четверо в капюшонах с прорезями для глаз (на самом деле это не капюшоны, а вязаные шапочки, но так почему-то принято говорить). Под угрозой оружия они забрали с собой Секу и Мамаду. Уходя, они сказали хозяину, дрожавшему как лист:

— Мы берем их в заложники. Вернем, если правительство Буркина-Фасо заплатит пять миллионов африканских франков. Ждать выкупа будем пять дней и ни днем больше. Не заплатите в срок — принесем вам головы заложников на вилах. Понятно?

— Да, — ответил хозяин, стуча зубами.

Секу и Мамаду с завязанными глазами увели в лес, потом они очутились перед маленькой соломенной хижиной, где их привязали к кольям. Первые три дня их стерегли трое — и не спускали с них глаз. На четвертый день остался только один, и ему вздумалось поспать. Секу и Мамаду удалось отвязаться, и они убежали в лес. Секу из леса выскочил на дорогу. Дорога была прямая. Он пошел по этой дороге, не глядя ни вправо, ни влево. Дорога привела его в деревню, где был лагерь маленьких солдат. Он попросил отвести его к начальнику: "Я Секу Уэдраого, — сказал он, — я хочу стать маленьким солдатом".

Как Секу заработал прозвище Страшила — это уже другая, очень длинная история. Мне неохота ее рассказывать, потому что я не обязан, но тогда мне было грустно, очень грустно. Глядя, как Секу лежит мертвый, прошитый автоматной очередью, я плакал горькими слезами. А эти шарлатаны, заклинатели фетишей, еще выдумывают, будто все случилось из-за какого-то козленка. Фафоро (клянусь папиным срамом)!

Рядом с убитым Секу лежал Пантера Соссо.

Пантера Соссо — это был мальчик из города Салала в Либерии. У него были папа и мама. Папа был сторожем и подручным в лавке у одного ливанца, он выполнял там всякую работу, а главное, пил много пальмового вина и много виски. Каждый вечер он приходил домой совсем пьяный. Настолько пьяный, что не мог отличить сына от жены. Он выл, как

шакал, разносил все вдребезги, а главное, избивал жену и единственного сына. Каждый вечер, когда солнце только начинало клониться к закату, Соссо и его мать уже дрожали от страха, потому что скоро должен был вернуться глава семьи, как обычно пьяный, пьяный настолько, что не смог бы отличить буйвола от козы. И тут им придется круто.

Однажды вечером, еще издалека услышав его пение, громкий смех и богохульство (богохульство — это грубая брань), Соссо и его мать подумали о том, что их ждет, и спрятались в углу кухни. Когда он вернулся и не обнаружил ни жены, ни сына, то рассвирепел еще больше обычного и стал крушить и ломать все в доме. Мать Соссо, дрожа и плача, вылезла из укрытия, чтобы остановить этот разгром. Папа швырнул в маму котелком, и у мамы пошла кровь. Соссо заплакал, схватил кухонный нож и воткнул его в отца, который завыл, как гиена, и умер.

Теперь Соссо-отцеубийце (так называют человека, который убил своего отца) не оставалось ничего другого, как пойти в маленькие солдаты.

Если у тебя нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни тети, ни дяди, если у тебя никого и ничего нет, то самое лучшее для тебя — это стать маленьким солдатом. Маленький солдат — единственно возможная участь для тех, кому больше нечего делать на земле и на небе у Аллаха.

Как Соссо заработал прозвище Пантера — это уже другая и очень длинная история. Мне неохота ее рассказывать, потому что я не обязан, но тогда мне было грустно, очень грустно. Глядя, как Соссо лежит мертвый, прошитый автоматной очередью, я плакал горькими слезами. А когда я думал об этих врунах, заклинателях фетишей, об их бредовых выдумках, будто все случилось из-за того, что мы не вовремя съели козленка, я еще больше ярился. Фафоро!

Мы похоронили их в одной общей могиле. Закопали, а потом дали несколько очередей из "калашей". На фронте не бывает пышных похорон.

Оника с готовностью поверила в глупые выдумки заклинателей, будто трое наших погибли из-за того, что мы не вовремя съели козленка. Надо было заново наделить силой наши фетиши, фетиши маленьких солдат. Заклинание фетишей должно происходить на берегу ручья, и нужно было определить, какого именно, но это оказалось делом нелегким. Стоило одному из григрименов выбрать ручей, как другой тут же отвергал его выбор. Григримен-язычник и григримен-мусульманин никак не могли договориться, пока не вмешалась Оника и не припугнула обоих.

Оника с сыном и невестками расположилась на берегу ручья, другие начальники устроились рядом. Привели маленьких солдат, всех, сколько было, человек тридцать. Я, как и некоторые мои товарищи, не очень-то верил в глупые выдумки григрименов, и во время церемонии мы не переставали исподтишка смеяться (исподтишка — значит тайком, так написано в "Ларуссе"). Нас выстроили в шеренгу. Потом все мы по очереди должны были прочесть короткую молитву:

> Духи предков, духи всех моих предков,
> Духи воды, духи леса, духи горы,
> все духи, какие властвуют в природе, я смиренно признаю, что согрешил.

Я прошу у вас прощения и днем и ночью. Я ел мясо козленка в разгар войны.

Мы сняли с себя все фетиши и сложили в кучу. Кучу подожгли, и все фетиши сгорели дотла. А пепел бросили в ручей.

Потом все маленькие солдаты разделись догола. Это было не очень прилично, потому что на берегу ручья сидели женщины. Там были Сита Бакли, Монита Бакли и Рита Бакли. Эта последняя, увидев нас голыми, увидев меня голым, наверняка вспомнила приятные минуты, которые мы с ней провели вместе. Ньямокоде (паскудство)!

Заклинатели пошли вдоль шеренги, останавливаясь перед каждым из нас. Они плевали на макушку каждому маленькому солдату и растирали плевок. Потом нам приказали броситься в воду, что мы и сделали с большим удовольствием, с шумом и криками. Затем нам велели обрызгать водой друг друга и при этом посильнее шуметь и наконец велели вылезать из воды. Мы все вылезли на правый берег ручья. Обсушились и, как были, голые, пошли вниз по ручью до маленького мостика, по которому перешли на левый берег, где осталась наша одежда и наше оружие. Там мы оделись и опять построились в шеренгу. Нам выдали новые амулеты. Я и те из моих товарищей, кто сомневался в волшебной силе этих шарлатанских штучек, исподтишка посмеивались. Ньямокоде (паскудство)!

Вся операция длилась сутки. Мы заставили жителей Ньянгбо поверить, что мы отступили, унося убитых, что мы исчезли в лесу. А следующим утром, очень ранним утром, началась потеха. Непрерывная перестрелка, шквальный огонь. Но и на этот раз мы не застали их врасплох. Та-та-та-та — они ответили на нашу пальбу сплошными автоматными очередями. Мы лежали, распластавшись на земле. Двое наших погибли, хотя у каждого были эти дурацкие амулеты, языческие и мусульманские. Один был убит на месте, другой смертельно ранен. Это были взрослые солдаты: маленьких солдат тем утром не послали на линию огня. Но ведь мы атаковали с юга, со стороны ручья, а не с севера, как прошлый раз. Выходит, они расставили солдат с "калашами" вокруг всего города. Опять мы были отброшены назад.

Надо было кончать эту дурацкую возню с фетишами и разработать новую стратегию. Но Оника, вместо того чтобы пошевелить мозгами, опять обратилась за помощью к этим придуркам-заклинателям. Заклинатели собрали нескольких взрослых солдат и нескольких маленьких солдат, в числе которых был Сорвиголова, и стали совещаться с ними насчет того, какую стратегию выбрать. Совещание продлилось до вечера.

Внезапно откуда-то возник Сорвиголова, обвешанный гроздьями амулетов, с "калашом" в руках, и двинулся к первым домам города. Он шел вперед и жарил очередями как ненормальный, беспрестанно, словно у него был десяток автоматов (беспрестанно — значит без остановки). Да, беспрестанно и не обращая внимания на солдат противника, которые на каждую его автоматную очередь отвечали своей. Кто этого не видел — Валахе! — тот не поверил бы, что такое бывает. Он шел вперед под шквальным огнем так спокойно, так смело, что автоматчики противника дрогнули и стали отступать. Они смывались в такой панике, что побросали оружие.

Наши только этого ждали. Они издали победный рев и пошли в атаку, обстреливая первые дома. И к полному изумлению наших, из домов стали выходить перепуганные жители с поднятыми руками и белыми флагами. По всему городу открывались двери, жители выходили с поднятыми руками и выбрасывали белые флаги (выбросить белый флаг — значит заявить, что сдаешься).

Так Сорвиголова, благодаря собственной отваге в бою и амулетам, взял штурмом город Ньянгбо. Когда противники увидели, как храбро он шагает под огнем, то подумали, что у Сорвиголовы амулеты сильнее, чем у них. Они запаниковали и бежали, побросав оружие.

И тогда я совсем перестал что-либо понимать в этом окаянном мире. Что-либо смыслить в этом большом бардаке. Хоть сколько-то соображать в этом поганом человеческом обществе. Сорвиголова только что захватил Ньянгбо с помощью фетишей! Выходит, вся эта чушь про гри-гри — на самом деле правда; или все-таки нет? Кто мне может ответить? Где мне искать ответ? Нигде. Возможно, это правда — насчет григри... а возможно, это вранье, надувательство, выдумка шарлатанов, обманувших всю Африку, вдоль и поперек. Фафоро (клянусь отцовским срамом)!

Оказалось, что весь город Ньянгбо был захвачен четырьмя бандитами с большой дороги. Теми четырьмя, которые похитили представителей компании в Санникели. Здесь, в Ньянгбо, они взяли в плен мэра и всех влиятельных жителей. Четыре бандита заняли оборону на северной, южной, восточной и западной окраинах города. Это они убили маленьких солдат. И как только они исчезли в лесу, все жители вышли из своих домов.

Они устроили праздник в нашу честь. Ведь мы были их освободителями. На городской площади начались танцы.

Надо было видеть, как эта шлюха Оника изображает из себя освободительницу. На это стоило посмотреть! Сама она заняла место посредине, по правую руку усадила сына, по левую трех невесток и восседала, словно первый богач, словно золотопромышленник. Барабанщик с тамтамом подошел к ней, поклонился до самой земли и сыграл в ее честь. Тут Оника издала дикарские вопли и бросилась в круг танцующих. Во всем своем прикиде: в военной форме с нашивками, с "калашом", амулетами и прочим. Ее сын и невестки сделали как она, тоже вошли в круг танцующих. Женщины Ньянгбо подняли ее руки. Каждую руку поддерживали две женщины. И все стали аплодировать как ненормальные, петь и смеяться, как беззаботные дурачки. Невестки и сын Оники вышли из круга танцующих. Она осталась там одна и начала танец обезьяны. Надо было видеть, как эта полоумная Оника в своей генеральской форме скачет по-обезьяньи, кувыркается, точно уличный мальчишка: она была пьяна, совсем, совсем пьяна. Она была довольна и горда одержанной победой. И выпила много пальмового вина.

После танца она села на место, невестки и сын уселись вокруг нее. Они поцеловали ее в губы. Шум и смех затихли. И Оника произнесла речь.

Она вызвала на середину круга двух своих григрименов: Якубу и Согу. И поздравила их перед всеми. Это благодаря их мудрости и умению Ньянгбо удалось взять без больших потерь. Григримены были довольны

и горды собой. Они прошлись по кругу, выделывая всякие дурацкие штуки с фетишами.

Потом она вызвала на середину круга двух представителей компании, которые были в плену у бандитов. Оника объяснила, почему бандиты не смогли их убить. Потому что их спасли фетиши и жертвоприношения! Еще она сказала, что четверо бандитов, захвативших город Ньянгбо, будут найдены и арестованы. Их разрежут на куски, и эти куски выставят на обозрение повсюду, где они совершали свои злодейства: чтобы задобрить фетишей, которых они разгневали. За ними в погоню уже послали солдат. Рано или поздно их поймают. Разумеется, если на то будет воля Божья... если на то будет воля Божья... Аминь!



Вдруг из толпы вышли два мандинго в грязных бубу, подошли к Якубе и завопили так громко, что было слышно всем вокруг:

— А я тебя знать. Ты раньше жить в Абиджане, ты экспортер орехов, множитель денег, ты целитель... Валахе! Я тебя узнал, ты есть Якуба...

— Болван! Болван! — зашипел Якуба, не давая ему договорить. — Вы так орете, что даже глухой услышит. — Потом отвел его в сторону и сказал: — Ну допустим, ты меня знаешь... Но незачем кричать об этом на весь мир. Если Оника услышит, мне туго придется.

Якуба не хотел, чтобы Оника узнала обо всем, чем он занимался в этой поганой жизни.

В одном из двух мандинго Якуба узнал своего друга Секу, того самого, который когда-то приехал на "мерседесе" в абиджанскую больницу навестить его. Секу так исхудал, что Якуба не мог узнать его сразу. Якуба и Секу обнялись. А потом стали произносить нескончаемые приветствия, какими обычно обмениваются мусульмане в наших краях: "Как поживает кузен невестки твоего брата?" и так далее и тому подобное.

После этого они ненадолго умолкли, а потом Секу и его спутник заговорили о жителях нашей деревни, которые оказались в этой проклятой Либерии. И приятель Секу сказал, что здесь, в Ньянгбо, живут Маан и ее муж.

— Но ведь Маан — это моя тетя! — закричал я.

И тут мы оба запрыгали, как гиены, которых поймали, когда они хотели утащить козу.

— Маан! Маан! — завопил Якуба, показывая на меня пальцем. — Маан — тетя этого мальчика, я ее ищу. Где она живет? Где ее дом?

И мы помчались, как будто у нас была диарея (диарея — значит понос). Надо было видеть, как мчался Якуба, этот хромой бандит. Мы осмотрели, обшарили участок за участком, хижину за хижиной. Перед некоторыми хижинами валялись трупы, трупы мужчин, женщин, детей, иногда с открытыми глазами, как неумело забитые свиньи. Мы обшаривали участки в северной части города, в южной части города, пока... пока не устали... И мы уже были деморализованы (деморализованный — значит упавший духом, потерявший способность к действию). Стояли молча и смотрели, как мухи летают. Но вдруг приятель Секу остановился, вгляделся, завернул на ближний участок, подошел к хижине и заревел, как буйвол: "Валахе! Валахе! Хижина Маан — вот она. Маан живет тут".

Дверь была неплотно прикрыта. Якуба толкнул ее, и мы вошли. Но в хижине никого не оказалось, мы продолжили поиски в огороде, и там, ньямокоде (пусть мать моя будет шлюха!), увидели тучи мух, здоровен-

ных, как пчелы, тучи мух, облепивших труп. Мухи улетели, гудя, как истребитель на бреющем полете, и теперь мы могли разглядеть труп, валявшийся в луже крови. Над ним здорово поработали: размозжили голову, вырвали язык, аккуратно отрезали член. Это был, фафоро (клянусь отцовским срамом), муж тети Маан. Мы застыли на месте и заплакали, как плачут сопливые детишки, которые еще писают в постель. Стояли там и плакали, как дураки, но тут к нам боязливо подошел какой-то человек. Это был коренной житель Либерии, африканский туземец. Он все еще дрожал, словно лист в бурю.

— Это сделали краны, — объяснил он. — Они не любят мандинго. Не хотят видеть мандинго в Либерии. Краны пришли сюда. Они размозжили ему голову, потом вырвали язык, отрезали член и забрали их, чтобы придать силы своим фетишам. Его жена, добрая Маан, видела это, она успела убежать и спряталась у меня. Когда краны ушли, ушли насовсем, я отвел ее на опушку леса. И она убежала в лес. Она направлялась на юг... Она такая добрая, Маан, она очень, очень добрая.

И этот парень тоже заплакал.

— Куда, куда она ушла? — закричал Якуба, готовый броситься вдогонку.

— Она ушла два дня назад. Вам ее не догнать, вам ее больше не найти.

Мы застыли на месте, ошеломленно раскрыв рты (ошеломленно — значит в удивлении и крайней растерянности). Мы были деморализованы. Тетя попала в беду, оказалась на грани гибели (на грани гибели — значит в смертельной опасности, так написано в "Ларуссе").

Мы вернулись на площадь, где Оника еще совсем недавно кувыркалась, изображая обезьяну. Какая неожиданность! Праздник прекратился. Кругом была паника, суета, кутерьма. Люди вопили, ругались, бегали туда-сюда.

Онике только что сообщили, что люди из НПФЛ, воспользовавшись ее отсутствием и отсутствием ее штаба, атаковали Санникели. Они беспрепятственно завладели укрепленным городом и всеми его богатствами (беспрепятственно, как написано в "Малом Робере", означает без труда). Без труда, не встречая никакого сопротивления, они вошли в Санникели. Город и окружающая местность перешли под их контроль. Оника прямо обезумела. Эта коротышка с генеральскими нашивками и автоматом, увешанная амулетами, бегала с места на место, орала, ругалась и отдавала приказы.

Люди из НПФЛ давно мечтали завладеть золотоносным городом Санникели. Много раз они пытались штурмовать его, но каждый раз несли потери и отступали.

— А теперь они воспользовались моим отсутствием и нанесли удар в спину. Это подло. Люди из НПФЛ — подлецы. Они не мужчины, а подлые трусы! — вопила Оника.

Что ей теперь было делать? Ее база захвачена врагами, ее организация обезглавлена. У нее больше не было оружия. Не было армии, кроме горстки людей, которых она привела для операции в Ньянгбо. А в распоряжении людей из НПФЛ теперь было все оружие, хранившееся в Санникели, и они наверняка отобьют любое нападение. Все достояние Оники, все золото Оники попало в руки врага.

Оника отошла в сторону, села на землю, сын и невестки сели рядом. К ним присоединились взрослые и маленькие солдаты. Они расселись в

кружок, и тут начался концерт. Все они дружно зарыдали. Шайка бандитов с большой дороги, закоренелые преступники — и рыдают в голос. На это стоило посмотреть, такое не каждый день увидишь.

Проплакав полдня, они почувствовали, что хотят есть и пить. Тогда они опомнились и встали. Маленькая армия построилась в две шеренги, Оника скомандовала — и они стали топтать дорогу. Зашагали на север, туда, где можно было встретить части ОЛД. На севере ОЛД контролировало обширные территории.



А мы (хромой бандит Якуба и я, уличный мальчишка) повернули на юг. Потому что в ту сторону ушла Маан, моя тетя. У нас не осталось средств к существованию, кроме наших "калашей": Аллах ведь не оставляет без пищи ни один рот, созданный им.

Сегодня 25 сентября 199... года, и мне все это обрыдло. Обрыдло рассказывать вам мою жизнь, обрыдло копаться в словарях, все обрыдло. Катитесь вы к дьяволу. Я закрываю рот, я больше ничего не скажу сегодня... Ньямокоде (пусть моя мать будет шлюха)! Фафоро (клянусь членом моего отца)!

# Форуг Фаррохзад

## *Стихи из книги "Новое рождение"*

*Перевод с фарси и вступление* Виктора Полещука

Форуг Фаррохзад прожила всего тридцать два года (1935—1967). Но прожила их на одном дыхании, так, как под силу только необыкновенно одаренной личности. В переводе на понятийный язык имя "Форуг" означает "блистательная", и она вполне оправдывает его. За двенадцать лет творческой жизни Ф. Фаррохзад стала одним из самых читаемых и любимых поэтов Ирана.

Первые три книги Фаррохзад — "Пленница" (1955), "Стена" (1956), "Бунт" (1958) — сопровождались скандалами: она подвергалась злобным нападкам со стороны клерикальных кругов и других "блюстителей нравственности", в Иране многие ее считали "аморальной", "падшей" женщиной. А в 1963 году после выхода книги "Новое рождение" пришло международное признание. Ее стихи были переведены на несколько европейских языков. По решению ЮНЕСКО — еще при жизни Ф. Фаррохзад — о ней был снят документальный фильм.

Фаррохзад успела проявить себя и на кинематографическом поприще: ее короткометражный фильм "В доме темно" получил первую премию на фестивале в Эберхаузене. Киноопыты Фаррохзад высоко ценил Бернардо Бертолуччи. Кроме того, она прекрасно рисовала, переводила, знала немецкий, французский, итальянский и английский языки.

Последний фильм, который Фаррохзад сняла, был о прокаженных. Из лепрозория она взяла на воспитание мальчика; собственного сына у нее отняли после развода, когда ей было двадцать.

"Новое рождение" — книга, где в кровавой схватке сошлись любовь и смерть. Восторженная упоенность жизнью, вызывающая эротика, бьющая ключом эмоциональность лирической героини так и не находят ответного отклика,

© В. Полещук. Перевод, вступление, 2002

и тогда начинает звучать гул отчаяния. В суфийской поэзии "друг", "возлюбленный" — то же Божество, слияние с которым равносильно озарению, ведь любовь имеет не только телесно-ощутимое, но трансцендентное выражение. Любовная катастрофа становится катастрофой всего мира, как внутреннего, так и внешнего, "Новое рождение" — это не только песнь страсти, но и пляска смерти.

Ф. Фаррохзад как-то призналась сестре Пуран: "Знаешь, я думаю, настоящий мастер умирает на вершине молодости и таланта. Лучшая смерть — такая смерть. Я всегда молила Бога, чтобы без страданий покинуть этот мир... И в смерти, как и в жизни, есть свое совершенство".

Форуг Фаррохзад погибла в автомобильной катастрофе. Это было похоже на самоубийство.

На ее похороны вышел весь Тегеран.



## *Зеленый кошмар*

Целый день, целый день я плакала, глядя в зеркало.
Весна хлынула в мои окна
зеленым кошмаром деревьев,
и тело уже не умещается в коконе одиночества,
и пожухла моя бумажная корона
в этой поверженной стране
без солнца.

Я не могу, я больше уже не могу.
Эта разноголосица улицы, щебет птиц,
и глухие удары тряпичного мяча,
и возгласы ребятишек,
и танец воздушных шаров,
которые, как мыльные пузыри, взвиваются на нитках вверх,
и ветер, и ветер, ходящий ходуном,
как расплавленная магма страсти...
Будто осажденная крепость,
уже безнадежно
обороняется моя вера,
и взывает из старых трещин сердца
честь.

Целый день, целый день смотрела я
в глаза моей жизни,
и они, устрашась этой стойкости,
словно лгунишки,
находили убежище
под ресницами.
Где мой приют?

Неужели все дороги,
как бы ни петляли они,
все равно приводят
в пропасть?

Грош вам цена — вам, словечки наивной лжи!
И тебе — воздержание плоти!
Но если я розу вложу в свои косы,
обрету ли я среди всех бумажных корон
ту высоту, где не будет фальши?

Почему меня заполонил дух пустыни
и магия месяца отдалила меня от верований стаи?
Почему мое сердце не заполнено
и нет во всем мире мне половины?
Почему я стою как вкопанная, хотя чувствую,
что земля уплывает из-под ног?
Почему, почему ожиданья опустошенного тела
не исполнятся огнем любви?

Где мой приют?
Приютите меня — вы, беспокойные светильники!
Вы, дома в утреннем мареве,
когда ароматный дым очага
окутывает солнце над крышами!
Приютите меня — вы, безыскусные женщины!
У вас даже пальчики шевелятся
в согласии с тельцем
благоденствующего зародыша,
а в разрезе рубашки всегда
запах свежего молока.

Где мой приют?
Приютите меня — вы, пылающие очаги, вы, подковы удачи,
вы, перезвоны посуды в оживленной кухне,
вы, завораживающие аккорды швейной машинки,
вы, ежедневные междоусобицы веника и пола,
приютите меня — вы, объятья жаркой любви,
после которой на ложе остаются
капли крови и млечной росы!

Целый день, целый день,
словно утопленницу,
несет меня к огромной туманной скале,
к глубоким морским пещерам,
к внимательным безмолвным рыбам,
и мой позвоночник
натягивается, как тетива, от предощущения смерти.

Я не могу, я больше уже не могу
и пускаюсь в дорогу,
и мое отчаяние только усугубляется моей стойкостью.
И эта весна, и этот зеленый кошмар,
которые хлынули в мое окно,
как бы говорят мне:
“Знай, ты уже никогда не выплывешь,
ты —
утонула”.

## *Оплакивание сада*

Никому нет дела до цветов,
никому нет дела до рыбок,
никто не хочет поверить в то,
что сад погибает.
Что сердце сада давно иссохло от солнечного жара,
что разум сада давно угас
и не помнит свежести,
что помыслы сада —
о чем-то далеком и непонятном.

Жить в нашем доме тоскливо,
жить в нашем доме
в ожидании хоть какой-нибудь тучи и дождя —
скучно.

Отец говорит:
“Мне все надоело!
Довольно с меня!
Я уже отошел от дел”.
И читает с утра до вечера в своей комнате
либо исторические хроники,
либо “Шахнаме”.
Отец говорит:
“Будьте прокляты все эти рыбы и птицы!
Какое мне дело,
умрет этот сад или нет,
если завтра я сам умру!
Пенсии мне вполне хватает”.

Мама — ее всю жизнь
преследуют призраки ада —
расстилает молитвенный коврик,
подозревает во всем

греховные помыслы
и думает, что трава желтеет
из-за нечистой силы.
Мама днями и ночами твердит молитвы,
и дует[1] на цветы,
и дует на рыбок,
и дует на саму себя,
и все ожидает спасения свыше.

Брат говорит про наш сад: могила.
Он и не собирается забивать себе голову мятой травой
и вонючей рыбой,
которая разлагается в протухшей воде
и уменьшается
в численности.

Брат — он большой философ:
для брата исцелить этот сад
значит его уничтожить,
и поэтому он пьянствует,
и стучит кулаками о стены и двери,
и пытается быть
печальным и скорбным,
и несет свою тоску —
как паспорт, календарь, носовой платок или авторучку —
на улицу и базар,
и все же тоска его
не безмерна,
ибо каждый вечер она растворяется
в чаду кабака.

Но моя сестра — она так любит цветы!
И какое у нее доверчивое сердце!
Она и семейство рыбок
кормила когда-то,
она и душу отводила у цветов,
если получала нагоняй от мамы.
Теперь дом ее на другом краю города.
Дом, где весь интерьер — искусственный,
где плавают красные рыбки — искусственные,
где супружеское ложе — искусственное,
где под ветками яблони — искусственной —
она поет песни — искусственные,
а детей плодит — настоящих.
И всякий раз, когда сестра приходит, чтобы свидеться с нами,
она, выпачкав в саду подол,
непременно почистит его одеколоном.
И всякий раз, когда сестра приходит, чтобы свидеться с нами,
она беременна.

1. По поверьям персоязычных народов, чтобы отогнать злой дух от какого-либо предмета или человека, надо на него подуть. (*Прим. перев.*)

Жить в нашем доме тоскливо,
жить в нашем доме тоскливо.

Весь день
за этими стенами раздаются выстрелы
и взрывы снарядов.
Наши соседи не разводят в садах цветы,
они держат там пулеметы и мины;
наши соседи устраивают в облицованных бассейнах
пороховые склады
и укрывают их брезентом.
И дети с нашей улицы
набивают школьные сумки
не учебниками, а гранатами.

Голова идет кругом от жизни в нашем доме.

Мне страшно в этом бездушном времени.
Мне страшно из-за бессмыслицы всех этих игр
и дурного воплощения многих затей.
Я одинока, как тот ученик,
который помешался на геометрии.
И я думаю о нашем ветхом саде,
и думаю,
и думаю,
и думаю...
И сердце сада давно иссохло от солнечного жара,
и разум сада давно угас
и не помнит свежести...

پر کرده‌ای که فروغ از چهره‌ی خودش کشیده است

*Ф. Фаррохзад. Автопортрет*

# Луис Сепульведа

# *Рассказы из книги "Невстречи"*

*Переводы с испанского*

*Вступление* Эллы Брагинской

## Навстречу невстречам

Когда в 1999 году чилийскому писателю Луису Сепульведе исполнилось пятьдесят лет, он сообщил, закончив в седьмой раз править рукопись своей новой книги (про последнюю картину знаменитых американских комиков Лорела и Харди), о твердом намерении навсегда бросить писательство ровно через пять лет, стало быть в 2004 году. "...Я думаю, что поработал достаточно, и мне хочется жить у моря, ловить рыбу, растить внуков и спокойно стариться рядом с женой". В России Луиса Сепульведу не публиковали ни разу, и мы с ним встречаемся впервые почти в канун его отказа от литературного творчества, если он не переменит своего решения. Как знать? Луис Сепульведа в расцвете творческих сил, на вершине успеха, один из самых публикуемых, читаемых и переводимых в Европе латиноамериканских авторов, настоящая звезда современной литературы, а звезды, как мы знаем, непредсказуемы.

У Луиса Сепульведы, человека очень деятельного, биография насыщена событиями: он сидел в тюрьме после прихода к власти Пиночета, затем покинул Чили, жил в разных странах Латинской Америки и Европы, и теперь дом его — в астурийском городе-порте Хихон на Бискайском заливе.

Все, о чем рассказывает Луис Сепульведа, этот странник по судьбе и по призванию, происходит, проживается и переживается на разных географических широтах: чилийская Антарктида, тропическая сельва Южной Америки, Гамбург, Мадрид и т. д. Географический разброс виден и в сборнике рассказов "Невстречи", составленном из четырех циклов с пронзительными названиями: "Невстречи в

© Э. Брагинская. Вступление, 2002

дружбе", "Невстречи с самим собой", "Невстречи в быстротекущем времени", "Невстречи в любви". Рассказы этих циклов разнятся по темпераменту, ритму, сюжетной проясненности, манере письма, но все объединены непривычным словом "невстреча". Это слово не принимает компьютер, его нет в толковых словарях — русских, испанских, — а в словаре латиноамериканизмов оно производно от глагола "разминуться". "Невстреча" Сепульведы вызывает в памяти ахматовские строки: "Несказанные речи / я больше не твержу, / но в память той *невстречи* / шиповник посажу". В цикле "Невстречи в любви" у Луиса Сепульведы та же тоника этого слова, что у Ахматовой, но в целом у чилийского писателя слово "невстреча" приобретает более емкий смысл. Обреченность на невстречу, на загадочное стремление ей навстречу Сепульведа угадывает в какой-то внутренней логике сцеплений и обстоятельств в жизни отдельного человека или целого народа, в самых внятных или невнятных поворотах человеческих чувств, намерений и поступков. Судьба стучится в дверь по-разному в его рассказах, но везде звучит эта тема непопадания, несовпадения, невстречи и наконец — утраты. И в каждом рассказе о такой встрече-невстрече есть изысканное умение при внешней эскизности сюжета многое сказать и объяснить особой выразительной деталью. А главное — есть тонко выраженное сочувствие человеку, загнанному в трудную ситуацию; сочувствие, порой вроде бы и неоправданное, нежданное. Поэтому рассказы Сепульведы длятся в нас самих и дают возможность откликнуться памятью, узнать свое.



## *Последний факир*
## *(Из цикла "Невстречи в дружбе")*

ТУТ не может быть спору. Никто не скажет, что были у тебя друзья получше, чем тот, кто сейчас говорит с тобой, глотая слезы. Такого, как я, у тебя никогда не было, никогда. У нас не очень уж много хороших знакомых, но думаю, все давно убедились, что я к тебе относился с огромной нежностью, какую не сразу поймешь, ведь мужская дружба — вещь особая, тут ни к чему громкие слова, просто наливаешь другу стакан вина, аккуратненько, так, чтоб и капли не пролилось.

Мужская дружба — это когда молча кладешь пачку сигарет на стол, чутье, оно само подсказывает, что другу надо закурить. Мужская привязанность — это когда слушаешь и слушаешь, не перебивая, о нескончаемых невзгодах и бедах, которые обрушиваются на человека, а потом молча похлопаешь его по спине. Да, вот она, бескорыстная мужская дружба, которую видели все, почти все, кроме тебя самого.

Ну припомни... Мы же друг другу как родные, правда? Разве не я сказал тебе однажды, что ты должен добиться признания, стать артистом, выступать как они, по два раза в день. Ну вспомни, вспомни, разве не я говорил, что пора показать людям, чего ты стоишь, хотя бы из уважения к той пригоршне таланта, который вдруг возьмет и появится в нас то ли с голодухи, то ли с горя. А еще вспомни, кто прибежал к тебе с афишей, кто ее написал на белом картоне! Здорово у меня получилось! Как сейчас помню:

© Э. Брагинская. Перевод, 2002

"Прочь все сомнения! В нашем мире сплошного обмана наконец-то верх взяла правда. Пресса и телевидение уже показали это тысячам разуверившихся людей. Али Касам – воистину последний из настоящих факиров, какие еще остались на земле. Али Касам съедает электрические лампочки, словно это вафли, и глотает бритвенные лезвия, как анальгин. Али Касам творит такие удивительные подвиги благодаря вегетарианскому образу жизни, которому он следует не хуже любой лошади. Али Касам – худой, как тростинка, но у него отменное здоровье, и он приносит благодарность уважаемой публике, которая затаив дыхание с восторгом следит за его выступлениями. Дважды в день Али Касам будет глотать на ваших глазах битое стекло и металлические предметы, а затем уйдет со сцены, чтобы передохнуть и поразмышлять о жизни, сидя на табурете, утыканном гвоздями.

Мы приглашаем вас вместе со всей семьей посмотреть на Али Касама, последнего настоящего факира, который чудом уцелел в этом мире, где царят шарлатаны и жалкие подражатели. Али Касам будет выступать в вашем городе всего несколько дней, затем он продолжит свой путь, начавшийся с берегов далекой и загадочной Индии, с тем, чтобы обрести истину и покой".

И прости, что напоминаю, но кто как не я нашел такое славное имя, не будь меня рядом, ты бы со своей придумкой насчет "Гран Маурисио" не завернул бы и за угол собственной улицы. Да и тюрбан смастерил тебе опять же я, кто еще, и он получился точь-в-точь как в журнале "Селексионес", так что чтение приносит какую-никакую пользу. А тюрбан получился на славу, как для настоящего султана, – ну правда, друг, разве сравнишь его с этими клейкими полосками, которые накручивают на голове у циркачей.

И если я сейчас все это тебе говорю, то вовсе не из какой-то корысти. Нет! Что сделано, то сделано, чего уж! Просто еще раз хочу напомнить, что без меня ты бы не вышел в артисты и не видать тебе своего имени в газетах.

Вспомни лучше, что в цирке тебя под конец сделали уборщиком и ты менял львам опилки, чтобы мочой не воняло. Потому что, когда на самой середине представления тебе вдруг свело руки судорогой, всем стало ясно, что для человека-змеи ты никак не годишься. И кто заметил твою редкостную худобу в те самые минуты, когда ты – весь в резиновом зеленом костюме – дергался и никак не мог вытащить руку из-под затылка? Я, твой друг, кто же еще! Вспомни, как я к тебе бросился и под хохот уважаемой публики и брань нашего импресарио помогал стягивать с тебя этот чертов костюм и говорил: "Знаешь, приятель, если взглянуть на все с хорошей стороны, то по внешности ты самый что ни на есть факир". А ты, бедный, смотрел на меня своими глазищами, как у бычка, которого привели на заклание, и думать не думал, что я тебе уготовлю такое потрясающее будущее.

Кто тебе дал почитать книги Лобсанги Рампы[1], чтобы ты имел хоть какое-то представление об Индии? Я, твой друг, кто еще!

1. Лобсанга Рампа – псевдоним английского автора (наст. имя и фамилия Сурил Генри Хоскинс, умер в Канаде в 1981 г.), выдававшего себя в середине XX века за буддийского монаха и чудотворца; его книги, особенно "Третий глаз", пользовались огромной популярностью у массового читателя. Впоследствии был разоблачен авторитетными востоковедами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Кто смолчал, когда ты, не прочитав ни единой страницы, променял эти книги на пару бутылок дрянного вина?

Кто все это стерпел? Опять же я, твой друг!

Вспомни, кто тебе показал, что исхитряются делать матросы с торговых судов, чтобы жевать стекла до тех пор, пока они не перемелются в белый порошок, и как прячут их под языком. И не я ли раздобыл пузырьки с краской, которые так называемые маги держат в шляпе, когда показывают фокус с сырыми яйцами, и вспомни-ка, кто не пожалел денег на бутылки самого крепкого спирта, что идет на выделку кожи, и все для того, чтобы десны у тебя стали совсем сухими и твердыми, как камень. Поройся в памяти, милый, и скажи, не я ли научил тебя просовывать бритвенные лезвия меж зубов, тихонечко, очень медленно, не касаясь десен, чтобы затем, двигая языком, разламывать их пополам. И не забывай, сколько моих денег ухлопано на ампулы для заморозки! Ведь без уколов ты бы и думать не смел о номере, где протыкают острыми булавками руки.

И дело не в том, что я на тебе зарабатывал, дорогой, мы же как братья, ну правда! Одного хочу: чтобы ни ты сам, ни кто другой не говорили, что вовсе не я был тебе самым лучшим другом в жизни. Я был настоящим другом, который тебя вылепил, взял за руку и повел по дорогам таких успехов, что ты пьянел от одних аплодисментов. Стало быть, мой милый, именно я, сделавший из тебя артиста, и есть твой самый настоящий друг.

Но ты, дорогой — и уж прости, что говорю это сейчас, при таких страшных обстоятельствах, таких нелепых, — всегда был упрямым, хуже осла.

Сколько раз я тебе говорил: "Друг, талант талантом, но человеку надо знать, где край". Только говорить с тобой становилось все труднее и труднее, сейчас я понимаю — у тебя от славы крыша поехала.

Но вспомни, как я негодовал, думал, умру от злости, когда ты безо всякой репетиции выходил на арену, да еще пьяный, и не мог сделать ничего путного. А мне — объясняй уважаемой публике, что ты спотыкаешься на ровном месте вовсе не с перепою, а наоборот — блюдешь пост, как любой уважающий себя факир. И уж грех не вспомнить, чего мне стоило добиться твоего выступления на телевидении, а ты накануне ночью, не сказав ни слова, оставил в залог шелковую накидку факира в одном из портовых борделей. Пришлось оббежать все публичные дома в порту, чтобы выкупить эту роскошную накидку, в которой ты всегда выходил на арену. И вот так, расспрашивая всех тамошних путан, я нашел наконец ее в борделе — она лежала вместо скатерти на засаленном столе. "Да я куплю у вас эту занавеску", — сказал мне их разнаряженный педик; откуда ему знать, что я двадцать ночей не спал, все пальцы исколол, вышивая знаки зодиака на твоей накидке в том самом порядке, в каком они указаны в альманахе "Бристоль"[1].

Сколько раз тебе было говорено: "Не ходи пить в цирковом костюме, подумают, что ты полоумный". А ты — ноль внимания, только радовался, что тебя принимают за пакистанского посла.

1. Альманах "Бристоль" — популярный в Латинской Америке середины прошлого века ежегодник, содержащий сведения по всем аспектам истории, культуры, религии и т. д. Предназначался для массового чтения.

Ох, друг! Дружок, прости, что повторяюсь, но ты был упрямей, чем осел.

И вот теперь сижу здесь, выкурил чуть не целую пачку сигарет и все думаю, думаю, голову сломал, но не могу представить, где ты взял эту чертову саблю! Если верить нашему карлику, ты, набравшись как следует, сказал: "Пришел час для Али Касама, теперь он сумеет показать такое, чего никто не видывал в этом сраном цирке. Хватит Али Касаму, лучшему факиру на земле, глотать гвозди, он проглотит саблю, всю целиком. Кавалерийскую саблю, без соли и по самую рукоятку!"

Когда мне позвонили, друг, я сидел себе за рюмочкой моего вина, ты-то знаешь, я люблю эти некрепкие вина, от них в душе покой, тишина и никаких скандалов. Наоборот — собираешься с мыслями и придумываешь новые номера, которые приносят бешеные аплодисменты. И сказать по правде, дружище, я как раз обдумывал один потрясающий номер, невиданный-неслыханный, для него надо лишь удвоить дозу заморозки — и все дела; к тому же во мне прибавилось веры в тебя. Я уже готов был совсем довериться тебе, а иначе разве оставил бы тебя без пригляда на трех последних представлениях, но Бог правду видит. А публика, она никогда не любила тебя по-настоящему, ты нет-нет да и допустишь какой-нибудь промах под занавес.

Когда мне позвонили, дорогой, я помчался сломя голову. Ты же знаешь, я всегда спешил тебе на выручку, только прости, друг, честно говоря, меня смех разобрал, когда увидел, как тебя выносят на носилках: сидишь, скрестив ноги, рот распялен, и оттуда торчит половина сабли.

Нет, когда увидел все это, у меня ноги подкосились, но под конец стало смешно от такого дикого зрелища, хоть глаза у тебя были закрыты и две струйки крови текли изо рта. Мне стало смешно оттого, что санитары скрутили тебе руки, ведь с тебя станет, запросто мог бы вытащить саблю или, наоборот, засунуть ее еще глубже, чтобы выиграть спор.

Прости, что говорю все это теперь, но тебя, милый, как ни бейся, ничто не брало.

Санитар сказал, что саблю вытащили и скоро мне все отдадут. Я спросил, что значит "все" — саблю? А он в ответ: и саблю, и тебя. Как зашьют, так вы и получите вашего покойничка, сказал.

А на улице, дружище, какая-то женщина плачет в голос. Ну почему бы не сказать раньше, что ты женат! Она меня такими проклятьями осыпала. Грозила тюрьмой — мол, я один в ответе, втемяшил тебе в голову чушь насчет факира. Я всю ее брань проглотил молча, ты меня знаешь. Сказал только: "Я, сеньора, выучил его цирковой профессии, я, между прочим, его менеджер и, главное, его настоящий друг". А она кричит и кричит, что это я виноват, что из-за меня ты умом рехнулся.

И вот каково мне тут! Сижу жду, когда тебя вынесут, может завернутого в накидку, которую я собственноручно вышивал, она, помнишь, сразу принесла нам удачу. А может, ты уже завернут в простыни или засунут в пластиковый мешок. Да какая разница! Вот он я, здесь, твой настоящий друг, от тебя ни на шаг до последней минуты, как в лучшие наши времена.

Не знаю, что будет дальше, но главное, чтобы все уверились: я, а не кто-то там, был тебе настоящим другом, я, не кто-нибудь, научил тебя трюкам, от которых люди сидели с разинутым ртом, я расшил шелком твою накидку, я покупал тебе талисманы на счастье и сижу теперь рядом

с тобой, хоть нас разделяет эта белая стена, я сам заплачу за гроб, свечи и священника, я добьюсь венка от имени синдиката циркачей, я положу все силы, чтобы признали где надо, что ты погиб в результате несчастного случая на работе, я сегодня объявлю в цирке минуту молчания и помолюсь за упокой души Али Касама.

Ну вот, открываются двери. Двое парней в белых халатах несут носилки, и я узнаю одну из твоих остроносых туфель.

Санитар спрашивает: "Кто забирает мертвяка?"

"Я, господа!" – отвечаю.

"Вы родственник?" – спрашивает санитар.

"Нет, его лучший друг", – говорю я, потому что так оно и есть.



## "My Favorite Things"[1]
## *(Из цикла "Невстречи с самим собой")*

ОН сидит, уставившись в неподвижность вечера, и пытается уловить рисунок в бликах воды на стекле, в лучиках света за окном, которые просачиваются сквозь кусты. Порой он бросает взгляд на часы без всякого желания узнать о времени, потому что оно ему ни к чему.

Как неподвижны эти вечера с их рутинной чередой умирания, которое угадывается и в плотных шторах на окнах, и в последних отблесках света, обрисовывающих все подробности притихшего домашнего интерьера, и в темных решетках, отбивающих всякую охоту выйти из дома за спичками, и в тусклом освещении на улице, и в длинных тенях-обелисках на брусчатой мостовой. Вечер вбирает в себя дым сигареты, топит все в густой, как бы отвердевшей синеве, а на самом деле до того зыбкой, что она сразу куда-то рассеивается, едва он возвращается мыслями к только что прочитанному сообщению о смерти Телониуса Монка[2]. Как глупо, думает он, что в человеке все может перевернуться от заставшей его на улице вести о смерти того, кого он ни разу не видел, потому что их всегда разделяло огромное расстояние. Если он сейчас примется подсчитывать какое, заглянув предварительно в энциклопедию "Эспаса", то вечерние тени совсем застынут и с улицы еще сильнее потянет запахом мочи.

Он помнит, что у него есть пленка с записью квартета Телониуса Монка, что там на сопрано-саксофоне играет сам Джон Колтрейн[3], что с той поры, как он слушал "My Favorite Things", прошла целая вечность, и теперь поздно листать календарь памяти.

Встав на четвереньки, он сдувает с магнитофонных пленок пыль и, лениво пробегая глазами надписи, сделанные цветными чернилами, от-

1. "Мои любимые вещи" (*англ.*) – основная мелодия мюзикла "Звуки музыки" американского композитора Роберта Роджерса. Стала музыкальным бестселлером в 60-е гг. после записи альбома Джона Колтрейна с тем же названием.
2. Телониус Сфир Монк (1917–1982) – американский джазовый пианист, композитор и руководитель квартета, один из зачинателей джазового стиля "боп", сложившегося в 40-е гг.
3. Джон Колтрейн (1926–1967) – знаменитый американский саксофонист, яркий представитель направления "фри-джаз".

мечает мысленно, что они уже выцвели от времени. Вот она, эта пленка, — "My Favorite Things"!

А Телониус Монк умер на другой стороне планеты, и, быть может, последнее, что он вдохнул, — это дым сигарет, тех самых, чей запах сейчас наполняет комнату, где над всем нависла тяжесть недвижного вечера. А ему помнится чувственное дыханье Колтрейна в сопрано-саксофоне.



Он открывает бутылку вина, собираясь выпить в память человека, о чьей смерти кричит развернутая страница газеты. Он ставит бобину на магнитофон и усаживается рядом, чтобы не пропустить ни одной ноты, но вместо музыки раздается механическое шипенье, точно внутрь забился кот-астматик.

Плохая запись, проносится в голове, и немудрено, ведь первые записи делались безо всякого опыта, второпях, лишь бы присвоить себе эту музыку, заключить в ленту все богатство ее звуков, когда-то заполнявших концертные залы. Присвоить, чтобы не забылось, — вот главная цель! Эта музыка — свидетельство тех дней, где было начало и очевидный конец всего, но без преждевременных, а может, уже запоздалых оценок и выводов. Меж тем минуты проходят одна за одной, и это уже невыносимо, что тут думать — пленка испорчена. Слишком давно ее не слушали, столько было отъездов-переездов. А что, если закапать туда оливкового масла?

Он идет на кухню, возвращается с хлебным ножом, пробует вытащить из магнитофона ленту и видит, что она порвалась, вернее надорвалась, ну это еще полбеды!

И вот он снова на четвереньках, весь напрягся, точно хирург перед неотложной операцией. Даже вспотел, и пальцы кажутся слишком большими, неловкими для такой тонкой работы, но в конце концов ему удается склеить место разрыва. Натянув ленту с помощью карандаша меж двух бобин, он снова вставляет ее в магнитофон. Вот теперь — да, теперь через несколько секунд "My Favorite Things" разгонит все тягостные мысли об этом застывшем во времени вечере. И чтобы должным образом отметить свою победу, наливает себе бокал вина до краев.

У него сжимается сердце от первых звуков музыки. Может, думает, так уже было, но затерлось в памяти, ведь это плач, да-да, это плач женщины, еле слышный, сдерживаемый, а сквозь плач пробиваются голоса, это слова утешения, которые в чем-то убеждают, но они приглушены, невнятны, и невозможно разобрать их смысл. Тогда он встает с колен, усиливает звук, приникает ухом к динамику и наконец узнает — это плачет его мать! Голос сквозь слезы говорит о мечтах и надеждах, там, на другом берегу огромного океана, и плач такой тихий, но безутешный, а поверх утешающих голосов он наконец схватывает значение некоторых слов, что-то вроде: я всегда ожидала этой вести, так горько не быть там, рядом с тобой; и вот тут проступает голос брата, более сильный и решительный, знакомый голос, который временами с яростью сплевывает слово "дерьмо"; а затем его перебивают голоса теток, дядьев и самых дальних родственников, которые вдруг всплыли в памяти. Родственники, друзья — сколько раз он обещал написать им, но бросал начатые письма на первой строке, а потом они оказывались в корзине для бумаг, вместе с пробками и бесчисленными окурками сигарет, выкуренных ночами ожидания, полудремы и невольно излившейся спермы.

Теперь он слушает стоя, уткнувшись лбом в стекло, а за окном ничего, кроме теней умирающего вечера. Голоса сменяют друг друга, и слышится звяканье фарфоровых чашечек, и чей-то шепоток предлагает рюмку коньяка, а следом кто-то, не различить кто, говорит, что надо дать рюмочку и старухе, а затем паузы, которыми незамедлительно воспользовался наглый кот-астматик, чье хрипловатое сипенье протискивается меж голосами, этот кот-невидимка живет во всех магнитофонах мира, вот и сейчас он мешает голосу дяди Хулио, а тот почти радостно говорит, что в той стране система социального страхования действует безотказно, и дальние родственники тут же наперебой расхваливают порядок в европейских учреждениях, и вот уже все согласным хором подхватывают, что горевать не надо, удар, само собой, страшный, но если подумать, бедняжка наконец-то обрел покой, мы же все знаем, каким он вышел из тюрьмы, совсем больной, и хоть бы кому пожаловался, мужество его не покидало до последней минуты, это говорит человек, который берется все оформить в консульстве, завтра же он непременно справится насчет цен в "Люфтганзе", но как знать, может, ему хотелось навсегда остаться в той земле?

Ну да, именно этого ему и хотелось, и он нажимает кнопку stop. Затем смотрит в окно на улицу, которая кажется еще пустыннее и неподвижнее, чем всегда. Теперь он собирается выйти, но на сей раз без ключей, поскольку знает, что больше не войдет в этот подъезд, не будет жить в этой квартирке одинокого человека и никогда не услышит "My Favorite Things" в исполнении квартета Телониуса Монка, где Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне.

## *Краткая биография одного из великих*
### *(Из цикла "Невстречи в быстротекущем времени")*

В этом поезде, который приближается сюда через болота, в этом поезде, который мы пока не видим, но знаем — он все ближе, и уже слышны проклятья пассажиров, отбивающихся от москитов, — так вот, в этом поезде, как всегда, везут нам жизнь и смерть.

Вы это знаете, но из-за упрямства делаете вид, что вам это без разницы, и глаза у вас совсем пустые. Вы это знаете, потому как именно по вашему приказу протянули сюда железную дорогу, которая из чужих широт принесла нам страшное опустошение, доставила в своем стальном чреве беды, неведомые доселе в здешних краях.

А я все говорю и говорю с вами, мой генерал, коли мне велено занимать вас разговорами, пока не прибудет поезд, пока не остановится, пока не сойдут на перрон правительственные чиновники с официальными бумагами, в которых будет сказано, кто вы — герой или подонок. Но, вижу, вы меня не слушаете. Все смотрите на улицу, уставившись в одну точку. Вы меня не слушаете, я знаю, уперлись глазами в край синей жестянки, где указано название улицы.

Улица Короля Дона Педро[1]. Откуда взялся этот король? — задались однажды вопросом очередные члены муниципального совета. А у родины всегда столько героев, терпеливо ждущих случая в архивах забвенья, что извлеки наугад любого, дай его имя какой-либо улице и не ошибешься, как, к примеру, с этой, которая начинается с борделей, примыкающих к вокзалу, и заканчивается белыми стенами тюрьмы.

"Это кастильский король, дубины. Его имя есть в любом издании альманаха "Бристоль".

После вашего указания, мой генерал, учителя истории каждый день толклись у почты в ожидании книг канцлера Лопеса де Айялы[2] и графа де ла Рока Хуана Антонио Вера-и-Фигероа[3]. Но, как оказалось, в их книгах столько страшного понаписано о жизни этого жестокого испанца, что ученикам лучше не рассказывать. А мы — черт побери! — уже дали этой улице его имя.

При всем почтении к вам, мой генерал, я скажу, что вы сейчас похожи на подбитую птицу.

Когда я открыл дверь камеры, чтобы впустить сюда хоть немного дневного света, вы на меня так уставились, будто ждали, что вам объяснят наконец, за что вас сунули в такое непотребное место. Я уверен, что вы вспомнили другую комнату, тоже темную, без окон, провонявшую крысами и мочой ночных тварей, ту, в которой вас заперли в день вашего рождения, когда вам исполнилось пятнадцать годков. К тому времени вы устали бродяжничать по деревням, выпрашивая кусок юкки, чтобы хоть как-то обмануть голод.

В эту темную комнату вас бросили, мой генерал, измолотив изрядно за то, что вы оставили на растерзание стервятников бездыханное тело вашей святой матушки. И когда дверь наконец открыли, человек с надменным лицом торжественно представил вам девять юношей, которые смотрели на вас с изумлением, не в состоянии поверить в силу ваших крестьянских мышц. "Посмотрите, да это обезьяна! Посмотрите, это настоящая обезьяна!" — кричали они каждый раз, глядя, как вы ловко залезаете на высоченные агуакате[4], растущие во дворе, чтобы сорвать самые сладкие, самые спелые плоды. Эти юноши были "другими", мой генерал. Они спали в прохладных комнатах большого дома с окнами, защищенными, как положено, от жужжанья слепней, они безмятежно отдыхали за белым вздохом тончайшей тюлевой сетки, ограждавшей их от туч песчинок, от этих проклятых москитов, которые по ночам залезают в волосы и мучат укусами даже самые добрые мысли. А вам, мой генерал, пришлось спать в той сырой комнатенке рядом с хлевом, потому как вы народились незаконно, но, по счастью, были взяты в дом к вашему сеньору отцу, который сделал это, усовестясь, в приливе чувств, схожих с теми, что он испытал после того, как самолично выпорол вас прямо на месте преступления, то есть там, где вы лежали, зарывшись в грудях кухарки, выпорол, а потом обнял и,

1. Имеется в виду Педро I Жестокий (1334–1369) — король Кастилии и Леона. Был предан союзниками и казнен.
2. Перо Лопес де Айяла (1332–1407) — кастильский военный и политический деятель, писатель времен короля Кастилии Педро I Жестокого. Автор исторических хроник.
3. Хуан Антонио Вера Суньига-и-Фигероа — испанский историк, получил титул графа де ла Рока от испанского короля Филиппе IV. Умер в 1658 г.
4. Агуакате — вечнозеленое дерево, произрастающее в Америке. Достигает десятиметровой высоты и дает мясистые душистые плоды.

глядя в ваши глаза, сказал, что позволил себе такое исключительно ради вашего блага. И что, мол, этот хлыст всевластного всадника, от щедрот которого вся ваша задница превратилась в сплошной синяк, — тоже для вашего блага. И что он понимает — вам приспичило пустить в ход ваше мужское хозяйство, но так ли сяк ли, все равно негоже для начала заваливать служанок, которых он держит под своей крышей. И еще сказал, что мужской пыл в первые годы надо тратить по-умному, мол, взять к примеру меня — однажды во мне взыграло и я нахрапом одолел ту, которая и стала твоей драгоценной матушкой, обрюхатил, бедную, сам того не желая. Запомни раз и навсегда, сказал он, простые крестьянки могут забеременеть от одного твоего взгляда, и с какой радости плодить детей повсюду, если ты еще не научился вытирать сопли.



И вы, мой генерал, все поняли как надо. Поняли среди прочего, что в этой жизни есть такие грозные пропасти, к которым лучше бы не приближаться. Поняли, что ваша грива, жесткая как у мула, никогда не станет послушной, как волосы у ваших сводных братьев, что ваша темная в желтизну кожа никогда не обретет матового блеска, который есть у тех, кто в охотку греется под солнечными лучами на лужайке собственного дома. Вы поняли, мой генерал, что вашей коже на роду написано быть задубелой, как у барабана, а уж цвет ее определят дожди и голод, которые выпадут на вашу долю. К тому же, мой генерал, вы еще поняли по улыбчивым отказам служанок, которые сперва говорят "нет, нет!", а потом "ну ладно, только где-нибудь в уголочке", — поняли, как приятно чувствовать, что держишь в своих руках бразды власти, пусть и небольшой, но она будет возрастать, набирать силу с годами и мудростью ваших решений и поступков. Вы поняли, мой генерал, что эта жизнь для людей, твердых характером. Для тех, кто способен пригнуть голову, когда это нужно, и спрятать руки, чтобы другие не углядели четки ненависти, которые медленно перебирают их пальцы.

Все это вы уразумели, мой генерал. И в комнате, провонявшей крысами и мочой ночных тварей, дождавшись наконец, когда ваш сеньор папаша покончит с ужином и выйдет, по обыкновению, на пользительную для пищеварения прогулку со своими любимыми собаками, вы подбежали к нему и со всем почтением сказали, что мечтаете стать военным.

Вам вроде нравится, что я с вами говорю, мой генерал. А мне велено, мне приказали занимать вас разговорами, пока мы с вами ждем этого поезда, который пересекает болото за болотом. Это ваш поезд, генерал. Тот самый поезд, что подарила нам Company после того, как вы решились навсегда заткнуть глотки всем этим бандитам, поэтам и учителям начальной школы за то, что они нам до смерти надоели — таскаются по городам, будоражат народ своими речами, мол, бананы — это зеленое дерьмо, которое только марает столы бедняков.

Еще дымятся костры памяти, те самые, на которых по вашему приказу жарили на медленном огне всех безбожников, либералов, всех тех, кто своими подстрекательными речами норовил заступить дорогу прогрессу нашей родины.

Словом, вы у нас стали генералом, и каким! Любо-дорого смотреть! Это вы однажды поутру самолично выпихнули из правительственного дворца всех гражданских, вступивших в заговор против инте-

ресов нации, и вы сказали тогда, что пора наконец навести порядок в этой клоаке, что обстоятельства вынуждают вас надеть мундир военной власти и что все это ненадолго. И какие настали времена, мой генерал. Веселые времена, когда то и дело оглашали торжественные приказы и не умолкала хвастливая трескотня гражданских лиц, призывающих к проведению демократических выборов, а меж тем тайные руки власти искусно подсовывали сокровища национального достояния под кровать оппозиционеров. Тех самых, кто позднее был безжалостно вышвырнут из окон дворца руками оголтелой черни, этого осмелевшего сброда, разгоряченного спиртными напитками в ваших кабаках. Бедняги эти оппозиционеры! Их волокли по земле и пинали ногами, сколько было сил, они же, пока их рты не закрылись навсегда, все клялись, что знать ничего не знают о картинах из церкви Непорочного Зачатия, оказавшихся вдруг под ковровой скатертью в столовой, когда в дом ворвался народ, возмущенный таким бесстыдным разграблением священных алтарей своей родины, и не смог сдержать праведного гнева. Потому что украсть в конце концов можно все, черт подери, но не национальную гордость: ее не запрячешь ни в один мешок, как говорили непреклонные прокуроры Военного суда, перед тем как просить у суда высшей меры наказания для виновных с конфискацией их имущества, а также подвергнуть их всеобщему позору. Этот приговор вовсе не был вашей жестокой шуткой, ибо то, что не доели собаки, тут же склевали ястребы, поселившиеся в мангровых лесах, и от казненных не осталось ничего, кроме их имен.

Вы быстро взяли всю власть в свои руки, ну а нам — пожалуйста, чего беспокоиться. Ведь именно этот поезд, который торопится сюда, пересекая болота, увез вас, мой генерал, вместе с вашей безупречной армией в самые дикие края сельвы, которых не было даже в воображении картографов. Поезд отправлялся забитый пеонами и стальными рельсами, которые двигали прогресс, и возвращался груженный самыми мелкими зелеными бананами и людьми, которые безо всякой музыки безостановочно плясали, обезумевшие от малярийного жара.

"А теперь куда вы собрались, наш генерал?" — кричала вам толпа, теснившаяся у станции. А вы ей в ответ: "Доберемся до волшебного Затерянного Города Цезарей[1], где дома сложены из брусков настоящего золота, а небосвод над ними увешан самородками изумрудов, которые падают наземь, когда дуют добрые ветры астрологических перемен. Я вернусь в доспехах самого Понсе де Леона[2], и вы это увидите, сукины дети!"

Ух, как вы все это нам пели, мой генерал! Черт возьми! Говорили из своего личного вагона, зароняя в нас надежду о жизни в богатстве, а рядом с вами — мистеры из Company. Вы нам говорили, что когда поезд доедет до другого края непролазной сельвы, вы устроите такой порядок, при котором все граждане по очереди смогут есть рыбу из обоих океанов на святую пятницу. Вы нам обещали такие огромные хлебы, что придется издать президентский декрет об ограничении их размеров, иначе эти хлебы не внести в дом. Вы нам сулили, что у нас будет уйма денег, а

1. Один из мифологических городов, якобы расположенных в Южной Америке. Версия города Эльдорадо.
2. Хуан Понсе де Леон (1460?–1521) — испанский конкистадор, исследователь Пуэрто-Рико; открыл Флориду в 1512 г. Был одержим идеей открытия источников вечной молодости. Умер на Кубе.

все проигрышные билеты лотереи заранее повытаскивают дети-подкидыши. А мы радостно отбивали ладоши, мой генерал, до тех пор, пока ваш поезд не скрывался в горных лесах.

Вы помните, генерал, тот день, когда ваш поезд остановился с диким скрежетом и уже без мистеров из Company? Ваш поезд заполнил тогда наши улицы солдатами, потому что вы согнали нас, как скот, на главной площади, чтобы сообщить, что нам объявили войну, что спокойная праздная жизнь закончилась и настало время показать, что мы могутные мужики.



В одно мгновенье по вашей воле звуки гитар сменились жалостными криками тех, кто вас молил устами, почерневшими от ненависти и пороха: "Позволь умереть нам сразу, генерал, посмотри, посмотри — снаряд отнял у меня обе ноги, либеральную и консервативную, теперь уж мне не дойти ни туда ни сюда. Посмотри, генерал, я теперь кусок дерьма, пусти в меня пулю, здесь, на месте, пусти эту пулю прямо промеж моих глаз, которые угасли намного раньше, прежде чем узнали вас на портрете, нарисованном на бумажках в сто песо, сделай милость, генерал!" А вы в ответ: "Не притворяйся увечным, дубина, раз есть руки, — значит, можно показать всю мужскую оснастку".

И вот, вы нас одели в солдатскую форму, мой генерал. В вашем поезде был вагон, где хирурги с пилой в руках осматривали умирающих и именем родины наспех отпиливали конечности и прочие члены, которые, по их разумению, могли пригодиться. Поезд вез нас пока еще целехоньких к полям сражений, но мы больше не надеялись остаться с руками-ногами и всем прочим, если вернемся.

Поезд уже был не в радость. Женщины теперь не выходили к его прибытию, чтобы вы стали крестным отцом их седьмого ребенка, как в добрые старые времена, когда вы брали младенцев на руки, не разбирая, зачаты они по закону на белых простынях или стали плодом греха во время карнавального разгула.

Вы помните то утро, когда поезд не сдвинулся с места и вы в закрытом вагоне били по лицу инженеров, которые подсунули вам фальшивые географические карты. Это был тот самый день, когда, еще толком не проснувшись, мы узнали, что наш город в осаде.

Нам оставалось лишь положиться на судьбу и надеяться, что как-то вылезем из беды. И чего нам это стоило! Мы спалили лес и все, что было посажено нашими руками. Мы свели огнем поля зеленого ячменя и плантации самых сладких бананов, мы не пожалели эвкалиптовые леса, исцеляющие от чахотки, и луга, где паслись коровы наших помещиков. Мы все свели огнем. Языки его пламени можно было видеть с берегов двух океанов, и клубы дыма сделали черными бараньи личики ангелочков в этих окаянных небесах, которые оставили нас, беззащитных и сирых. Мы свели огнем священного патриотизма всё и засеяли наши поля четырехлистным клевером. Мы переловили всех зайцев и у каждого отрезали все четыре лапки; остались миллионы шариков, пушистых и окровавленных, которые пытались бежать, опираясь на свои длинные уши, и все это для того, чтобы ваши солдаты, генерал, прицепили к воротникам не одну, а четыре заячьи лапы, которые служат оберегом. Мы раздали всем скапулярии[1], на ко-

1. Оплечье из грубой ткани, которое носят члены монашеских орденов (в частности, кармелиты).

торых были изображены все до единого святые, указанные в альманахе "Бристоль". Это были огромные скапулярии, и самые отъявленные еретики кутались в них как в одеяла, когда их до потрохов пробирала дрожь тропической лихорадки. В то самое время, мой генерал, вы, сидя в своем кресле безраздельной власти, издали чрезвычайный президентский указ военного времени, согласно которому горб — это добрая примета, и всем горбунам, проживавшим на нашей территории, назначили пожизненную пенсию, размер которой пропорционален величине горба; одновременно, мой генерал, по вашему приказу немедленно изгнали из страны всех чужестранцев, кроме горбунов. В скором времени мы увидели, что нашу страну наводнили горбуны, прибывшие со всех широт секстанта; к этому нашествию прибавились еще и тысячи увечных, когда вы, генерал, своим президентским декретом военного времени объявили всех одноруких достойными гражданами, которые принесут удачу стране, всех одноруких, что осмелились поднять руку на своих драгоценных папаш и мамаш, всех хромых, что пошли по тропам зла и порока, всех слепцов, что пели "жизнь моя, ты не покинь меня", играя на старых разбитых аккордеонах, и пытались заглянуть за пределы дозволенного в Священном Писании, и еще всех, кто лишился ушей за то, что слушал россказни цыган, всех близняшек, всех сросшихся спинами (оттого, что они — дети греха кузенов с кузинами, жившими по соседству), и еще всех, кто родился на седьмом месяце, а это дети неведомых отцов, которые слишком торопливо занимались любовью с их будущими матерями, печальными женщинами, в чьих глазах застыли галактические облака, оттого что они долго вздыхали, глядя на небо в свои критические дни.

Все понаехали, генерал. Понаехали тысячи и тысячи увечных. Их стало так много, что наша осажденная республика превратилась в огромное скопище уродов, суливших нам удачу. Царство ужаса и увечий. Место, где человек, у которого руки-ноги целы, воспринимался как изменник, как тягчайшее преступление против родины. Это было такое место на земле, где никто не мог подладиться к ритмам оркестра, и музыканты с горя вешались на струнах своих скрипок.

И судьба смиловалась над нами, мой генерал. Когда мы уже в полном отчаянии взирали на все немыслимые ошибки, что совершила Ямилет, дочь Талаганте дель Сур[1], ясновидящая девушка, которая сделала так, чтобы к слепцу никогда не вернулось зрение, но зато наделила его невероятной скоростью в беге, и бедняга помер от удара, наскочив на камень, который он не видел и не мог видеть, и еще Ямилет сделала так, чтобы хромой никогда не смог ходить ровной походкой, но зато видел все, что творится за горизонтом, и он, несчастный, оказался под вашим поездом, генерал, потому что в те минуты зачарованно следил за воздушным гимнастом, который шел по тонкому канату с повязкой на глазах над Ниагарским водопадом, — и вот в это самое лихое время явились вы, мой генерал, снова в сопровождении мистеров из Company, и сказали, обращаясь к нам, что пора взяться за работу, хватит бездельничать и ждать у моря погоды, что

1. Ямилет — имя молодой чилийской женщины, жившей в 70-х гг. XX века в Талаганте дель Сур, неподалеку от Сантьяго. Она считала себя провидицей и колдуньей; впоследствии ее объявили шарлатанкой.

пора сажать бананы и выдать немедленно всех провокаторов, которые снуют повсюду со своими баснями о том, что мы слишком долго воевали.

И вот так, генерал, все события страшной кровавой бойни быстро стерлись в нашей памяти благодаря усердию и хитроумию официальных историков, а также нотариусов в длинных сюртуках, которые ловко уничтожили все записи в церковно-приходских книгах: да опомнись, женщина, какого хрена ты мне плетешь о своем покойнике, ведь он никогда не рождался! А стало быть, с чего бы ему помирать, возьми в толк, женщина, все это наговоры и сплетни предателей родины, чтоб их разорвало, чего только не придумают, сволочи. А вам, мой генерал, было наплевать на казармы, забитые трупами в ожидании адского поезда. Вам было наплевать на проклятья вдов, которые похоронили своих мужчин с парой ног, украденных у других трупов (эти ноги, возможно, и пригодились бы их мужьям, чтобы сплясать на карнавале, но они стучали по полу, наводя ужас в безлунные ночи), или с синим глазом моряка, который очень бы даже подошел к их лицу, но не переставал моргать, вспоминая своего хозяина.

Время скатывалось в прошлое, мой генерал. И мы вас видели несколько раз в вагоне поезда, который летел мимо банановых плантаций. А позднее нам сказали, что вы находитесь на севере и вооружаете живущих в горах партизанок, что гражданские, эти бандиты из бандитов, взяли и вытолкали вас из правительственного дворца. Потом они явились к нам с вашим знаменитым портретом, где на вас президентская лента через плечо, а на следующей неделе полицейские поснимали все ваши портреты с государственных учреждений да еще сокрушались, что бумага такая плотная — никак задницу не подтереть. И вот — нате вам, вчера вы заявились сюда собственной персоной, без всяких отличий и знаков вашей сиятельной власти былых времен, явились, провонявший мочой и ослиным потом.

В этот час, генерал, ваш поезд уже проезжает через болота. Уже заметно, что народ просыпается после сиесты. Я-то не сплю, генерал. Я уже стар, как и вы, и берегу сон для беспробудной ночи смерти. Вот почему мне поручили быть с вами и занимать вас разговорами. Мне еще велели смотреть в оба, и даже очень. И вот я перед вами, все говорю и говорю, а вы делаете вид, что не слушаете меня и лишь смотрите на кусок жестяной полоски с названием улицы. А я могу и дальше говорить. Мое дело — занимать вас разговором, пока не прибудет поезд; но вы, мой генерал, ведите себя тихо, ведь у меня на случай ружье на изготовку, и если вы вдруг взбрыкнете, я, мой генерал, при всем моем почтении к вам, спущу курок.

Ждать уж недолго. Сами увидите, через несколько минут поезд остановится, и когда из вагонов выйдут чиновники с государственными бумагами, они нам скажут, остаетесь ли вы у нас по-прежнему национальным героем или совсем наоборот: объявят, что вы — последняя сволочь.

*Переводы* Эллы Брагинской

# *История немой любви*
## *(Из цикла "Невстречи в любви")*



Мне не нужна тишина,
ведь уже не о ком думать.
Атауальпа Юпанки

С Мабель меня свела новая мода; я, правда, не большой ее приверженец, но иногда все-таки хочется одеваться прилично и носить брюки более широкие или более узкие, как она того требует. Но дело не в моде, а в Мабель, о которой я хочу рассказать, хотя ее образ удаляется от меня все дальше и дальше, превращаясь в расплывчатое и грустное воспоминание.

Она была младшей из трех сестер, немых от рождения, которые владели маленьким ателье в одном из небогатых районов Сантьяго. Оно же служило им и жильем. Тяжелая темная штора отделяла гостиную от мастерской, куда заходили клиенты, и, когда я впервые переступил их порог, мне показалось, что я очутился в каком-то ином мире, населенном карликовыми пальмами и папоротниками, в уютной атмосфере покоя и умиротворенности.

Мабель и ее сестры зарабатывали на жизнь шитьем, в основном перешивая галстуки и шляпы. За несколько минут своими чудесными руками они превращали пестрый широченный галстук в изящную красивую вещь, которая подошла бы и к вечернему итальянскому костюму. Кроме того, они совершенно бесплатно показывали клиенту, чаще всего толстому и потному, как красиво (а не треугольным, уже немодным, узлом) завязать галстук, чтобы он был похож на галстук наследника английского престола. Иногда к ним заходил человек в широкополой шляпе, а через несколько минут он получал тирольскую шляпку, которую охотно надел бы сам австрийский канцлер.

Понимать сестер, особенно Мабель, было очень легко: они умели говорить губами, слышали же довольно хорошо, а если клиент четко произносил слова, могли читать их по его артикуляции.

Мне понравился их дом сразу, и я начал носить им мои галстуки. У двух старших сестер были очень энергичные жесты, характерные для немых. Мабель, наоборот, была спокойной, неторопливой, и все, что она произносила губами, читалось в выразительном блеске ее глаз. Чем-то она притягивала меня к себе. Нет, о любви речь не шла, по крайней мере вначале. Мне просто приятно было сознавать, что Мабель принадлежит к тому молчаливому миру, где для меня тоже есть место. Она казалась мне волшебной феей, которая появлялась из-за тяжелой темной занавески, когда я заходил в помещение для клиентов, и я сразу чувствовал, что жизнь имеет какой-то смысл. Не знаю, как это объяснить — я ощущал себя там в безопасности.

Когда все мои галстуки были уже перешиты, я начал покупать их в магазинах старых вещей. На этих невероятных экземплярах, которые вышли из моды раньше, чем я родился, красовались деревенские пейза-

© М. Жердиновская. Перевод, 2002

жи с коровами, памятники национальным героям, звезды спорта, портреты певцов. На меня смотрели, как на сумасшедшего, и старались всучить весь товар, что годами валялся в витринах.

Мабель очень быстро разгадала мои трюки. Ни у одного мужчины не могло быть такого количества галстуков, да еще таких экстравагантных. Однажды вечером глазами, губами и жестами она сказала мне, что не нужно разоряться, покупая старые галстуки, а если мне приятно приходить к ним, то она будет этому очень рада.

Жизнь моя совсем переменилась. Я перестал играть в биллиард, перестал пить пиво с приятелями. Каждый вечер после работы, делая большой крюк, чтобы не встретить своих дружков, я направлялся к дому немых сестер. Мы пили чай с печеньем и разговаривали обо всем на свете, после чая включали радио и молча слушали музыку или песни знаменитой тогда певицы Мабель Фернандес. Потом выпивали немного вина и включали популярную передачу "Третье ухо", которая рассказывала много всякой интересной всячины.

У сестер стоял большой радиоприемник, к которому Пепе, местный электрик, подключил три пары наушников с очень короткими проводами, так что женщины вынуждены были склонять головы к самому радиоприемнику. Было забавно смотреть, как они стискивали руки, когда преступнику удавалось настичь свою жертву, и облегченно вздыхали, когда главный герой спасал девушку.

Истории чикагских гангстеров, сухой закон на западе Соединенных Штатов, разнообразнейшие версии "Ромео и Джульетты", подвиги Геракла, а с приближением Рождества обязательные рассказы о жизни и смерти Иисуса – все это слушали сестры.

Очень скоро я стал их постоянным вечерним посетителем, и после короткой дискуссии, затеянной мною, они согласились на то, чтобы я приносил хотя бы вино к ужину, а в воскресенье – торт.

Так прошло несколько месяцев. Однажды, прослушав очередной рассказ из "Историй зловещего доктора Мортиса", Мабель проводила меня до дверей. Там мы немного постояли, глядя, как проезжают редкие машины. Я курил, а она тянула лимонад. Неожиданно, уже попрощавшись, она сказала, что хотела бы поговорить со мной наедине, и предложила встретиться завтра в полдень возле магазина "Немецкое белье", куда она ходила покупать разные принадлежности для шитья. Так мы и договорились.

Я шел на эту встречу, как на тайную нелегальную сходку. Я боялся столкнуться с кем-нибудь из старых друзей, представляя себе, о чем они будут потом говорить за игрой в биллиард. Поэтому я повел ее в кафе подальше от центра города. Мы заказали кофе с молоком, и я сказал, что готов ее слушать.

Она придвинула ко мне стул и молча начала говорить. Я прекрасно понимал ее. Она сказала, что очень уважает меня как друга. Ведь мы друзья? Сказала, что знает, какая она некрасивая, правда не такая уж некрасивая, как некоторые женщины, которых она видит на улице, но она слишком худая, не умеет ходить так, как это нравится мужчинам, и знает, что я отношусь к ней не как к женщине, а как к другу. Потом, помолчав немного, добавила, что я первый друг в ее жизни.

Я взял ее руки в свои и вдруг почувствовал, что удивленные взгляды официантов мне абсолютно безразличны. Мабель впервые сидела в кафе не с сестрами, а с чужим человеком и чувствовала себя счастливой.

Она доверяла мне — эти слова она повторила несколько раз. Постоянно сидеть дома и шить, выходя только в магазин за материалами для работы, — вот из чего состояла ее жизнь. Иногда она позволяла себе полакомиться мороженым да еще раз в месяц ходила платить за электричество. Ей уже тридцать пять, а кроме того, о чем она мне рассказала, у нее в жизни больше ничего не было.

— Подожди, ты что, никогда не ходила в школу?

— Нет. Для родителей большой трагедией была немота всех трех дочерей, и они держали нас дома, даже прятали от соседей. Посылать в обычную школу боялись, ведь дети жестокие — будут обижать нас, а специальная школа была далеко, да и не по карману.

— Но ты еще не сказала, о чем хочешь попросить меня.

Чтобы я немного показал ей мир. Она понимает, что у меня могут быть подруги, может, даже невеста, потому что я человек симпатичный и воспитанный. Но она хочет, чтобы я как-нибудь сводил ее в кино, где она никогда не была. И шутя добавила, что на танцы она тоже не прочь сходить. Конечно, все затраты она берет на себя, сейчас она неплохо зарабатывает.

Я был поражен.

— Ты никогда не ходила в кино, цирк, театр?

Она покачала головой и вопроси́тельно посмотрела на меня, ожидая ответа.

Я сказал, что сделаю для нее все что смогу, что я давно хотел пригласить ее в кино, но как-то не решался. Не выпуская ее рук из своих, я добавил, что неправда, будто она некрасивая и что ей даже нельзя дать тридцати пяти лет. Она нежно посмотрела на меня, наклонилась к моему лицу и тихонько поцеловала в щеку.

Мабель и я. За короткое время мы обошли все кинотеатры в нашем районе. Особенно ей нравились картины с участием Сариты Монтьель. Мексиканское кино казалось Мабель слишком грустным и плаксивым, кроме фильмов Кантинфласа. После сеанса мы шли в бар Баамондес полакомиться ананасами, а потом подымались на холм Санта Лусия посмотреть на панораму города. Мабель заметно повеселела и стала гораздо красивее, а старшие сестры просто не понимали, что с ней происходит.

Однажды она попросила, чтобы я проводил ее в парикмахерскую, где ей сделали модную прическу. Потом она укоротила свои платья. Потом в один прекрасный день Мабель пришла, закрывая рот руками, и, только оставшись со мной наедине, опустила руки — ее губы были накрашены красной помадой. Она менялась к лучшему на глазах, и это мне очень нравилось. И однажды я решился пригласить ее на танцы.

Столица Чили, Сантьяго, шестидесятые годы. Каждую субботу в разных районах города устраивалось по меньшей мере несколько десятков праздников. Праздник по случаю выдвижения кандидатуры королевы красоты; другой праздник, чтобы собрать деньги для сирот; еще один праздник, чтобы помочь жертвам землетрясения, — в общем, бесконечные праздники.

Мабель надела красивое розовое платье, такого же цвета туфельки, в руках у нее была маленькая блестящая сумочка. В перерывах между танцами мы пили пунш из маленьких бутылочек и обсуждали участниц грядущего конкурса красоты. Я не отходил от Мабель ни на минуту, опасаясь, как бы кто-нибудь не пригласил ее на следующий танец. Я не умел

хорошо танцевать, а Мабель вообще была впервые на танцах, и все-таки мы танцевали как могли и пасодобль, и танго, и кумбию, и все, что играли музыканты. Где-то в полночь оркестр сделал перерыв и начали крутить диски с Полем Мориа, Адамо и Элвисом Пресли. Было очень жарко, и пот градом катился с нас.

— Ты очень красивая, Мабель, очень красивая, — успел сказать я раньше, чем почувствовал чью-то руку на своем плече.

Обернувшись, я побледнел. Это был Сальгадо, мой дружок и постоянный партнер по биллиарду.

— Так вот почему ты исчез, теперь я понимаю, ну так представь меня твоей невесте.

Я не знал, что ответить, а Сальгадо, самоуверенный как всегда, отодвинул меня и взял Мабель за руку.

— Очень приятно познакомиться. Гильермо Сальгадо. А вас, лапочка, как зовут?

Мабель смотрела на меня широко открытыми глазами и улыбалась.

— Что с вами, душечка? Вам отгрызли язык мыши или этот тип, что сопровождает вас?

Мабель перестала улыбаться, а я наконец выдавил из себя:

— С ней все в порядке. Ты уже представился. А теперь оставь нас в покое, исчезни.

Сальгадо энергично взял меня за локоть. Я оскорбил его в присутствии девушки, с которой он пришел, а такое не прощается.

— Послушай, разве так разговаривают со старыми приятелями? Если твоя подруга немая, это ее проблемы, и нечего мне хамить.

Я ударил его в лицо и разбил ему нос. Это была большая ошибка с моей стороны, так как Сальгадо был гораздо сильнее меня, выше и крепче. Сначала он остолбенел не столько из-за удара, сколько из-за крови, которая капала на его костюм, потом выпрямился, и я получил страшный удар в глаз. В помещении поднялся крик, нас начали разнимать и в результате выставили с танцев.

Глаз у меня распух и закрылся, мне было больно и стыдно. Я пытался извиниться перед Мабель, но она приложила пальцы к моим губам, чтобы я не разговаривал. Она крепко держала меня за руку, гладила по голове, и не знаю, как ей это удалось, но, пока мы ждали такси, она забежала в кафе и вернулась с целлофановым кулечком, наполненным кусочками льда.

В такси она положила мою голову себе на колени, а к глазу приложила кулечек со льдом. Мне казалось, что я — странствующий рыцарь или один из грандов, что служили при дворе короля Артура. Я ощущал себя настоящим мужчиной и жалел только о том, что у меня мало денег и я не могу сказать таксисту, чтобы он ехал до тех пор, пока я не велю ему остановиться.

— Ты прощаешь меня?

— Тсс!

Платье Мабель было тонким, и я чувствовал тепло ее тела.

— Ты прощаешь меня?

— Тсс!

Ее тело было теплым, ее руки гладили мои волосы, ее грудь касалась моего лица.

Я обнял ее за шею и притянул к себе ее голову.

Сначала Мабель испугалась, как-то напряглась, потом, почувствовав мои губы на своих губах, закрыла глаза, и мы стали целоваться. Мы целовались долго, даже не знаю, сколько времени, и очнулись только тогда, когда услышали тактичное покашливание таксиста. Я посмотрел на улицу, весь мир показался мне пустым и лишенным смысла. Красный светофор остановил нас в совсем незнакомой части города.

— Мы тут выйдем. Сколько с меня?

Мы шли обнявшись и останавливались каждые пять-шесть метров, чтобы поцеловаться, и целовались столько, сколько хватало сил, чтобы не дышать. Так мы дошли до маленькой безлюдной площади. Укрывшись под густой акацией, я крепко обнял Мабель, поднял ее платье и начал гладить ее ноги, живот, твердые ягодицы и шелковистые волосы лобка. Вдруг я почувствовал, что она плачет. Я испугался, но Мабель уже сама крепко прижалась ко мне. Все произошло очень быстро. Гостиница в полутьме, невидимые лица портье и горничной, вручившей нам полотенца, большая постель, зеркало на стене, тихая музыка, ненужный телефон на тумбочке, розовое платье Мабель на стуле, ее маленькая грудь, аромат французских духов, глухой стон и слияние наших тел.

Потом я провалился неизвестно куда, а когда проснулся уже утром, глаз снова болел. Я искал руками Мабель, но ее не было, и я лежал один в незнакомой комнате.

Я посмотрел в зеркало и увидел, что глаз представлял из себя сплошное синее пятно, которое покрывало почти треть моего лица. К счастью, было воскресенье, да еще раннее утро, когда на улице никого нет. Я взял такси и поехал домой, надеясь, что к вечеру опухший глаз откроется и я смогу войти в дом, где за тяжелой темной шторой скрывается волшебный мир.

Но к вечеру проклятое пятно стало еще больше, а из глаза потекла какая-то беловатая жидкость. Целый день я пролежал в постели и назавтра не смог пойти на работу. Знакомый врач дал мне справку, выдумав обострение гастрита, и я еще три дня провалялся дома, прикладывая к глазу компрессы из воды с горчицей, не переставая курить и думать о Мабель.

На третий день мне стало легче, и вечером, нацепив на нос темные очки, я отправился к дому немых.

Меня встретила старшая из сестер и пригласила, как всегда, в гостиную. А где Мабель? Сестра угостила меня чаем с печеньем. А где Мабель? Жестами она объяснила, что Мабель поехала на юг к родственникам, так как неожиданно заболела бронхитом, а степной воздух полезен в таких случаях.

Этот вечер показался мне очень долгим. Две сестры с наушниками, музыка, радиопередача "Убийство на улице Морг", наконец, ужин: суп, омлет с рисом, вино. А где же все-таки Мабель?

У нас нет адреса. Это далекие родственники, и только Мабель поддерживала связь с ними. Она не сказала, когда вернется.

Второй, третий, четвертый день. Те же самые ответы. А в какой город она поехала? Мы не знаем. Только Мабель знает, где живут те родственники. Она ничего не сказала? Ничего. А если с ней что-то случилось? А что может случиться? Может быть, вы знаете, в какую провинцию она поехала? Нет, мы уже все вам сказали.

Я перестал проводить вечера с немыми, просто стоял около их дома, и, когда клиенты заходили или выходили со своими галстуками и шляпами, я заглядывал внутрь, надеясь увидеть Мабель.

Потом я перестал стоять у дома. За несколько монет мальчишки приносили мне информацию о жизни сестер. Ничего. Никаких следов Мабель. Никаких известий о Мабель.



В конце концов пришлось смириться с ее отсутствием. Я снова вернулся к биллиарду, к пиву. Сальгадо ждал меня, и я снова разбил ему нос, а он мне глаз. После этого мы помирились, решив, что дружба иногда требует драки.

Мабель...

Со временем я научился не вспоминать ее глаза, ее губы и нежные руки. Все исчезло: та улица, ателье немых, широкие галстуки и шляпы. Уже давно сошел тот синяк с моего лица, но остался синяк в душе, и мне чего-то не хватает. Не хватает тебя, Мабель, и поэтому я ползу по жизни, как ящерица, потерявшая хвост, или как мотылек с одним крылышком.

*Перевод* Маргариты Жердиновской

# Ричард Хьюз

# В *опасности*

Роман

*Перевод с английского* В. Голышева

## Уведомление

События этой повести я старался по мере сил держать в границах научно допустимого, в границах того, что случалось или могло случиться. Тем не менее это — вымышленная история, а не исторический труд, и ни в одном из персонажей я не пытался изобразить кого-либо из реальных людей.

*Р. Х.*

## *Начало*

### Глава I

СРЕДИ людей, с которыми меня сводила жизнь, одно из самых ярких впечатлений оставил некий мистер Рамсей Макдональд. Старший механик; дальний родственник, по его словам, мистера Джеймса Рамсея Макдональда, государственного деятеля. Он действительно очень напоминал своего "родственника" — и лицом, и усами; я был изумлен, когда увидел нашего премьер-министра в комбинезоне, с важным, сосредоточенным, решительным видом выползавшего из разобранной машины.

Ибо это было в 1924 году, при первом лейбористском правительстве, и увидел я мистера Макдональда на "Архимеде", одновинтовом паротурбоходе водоизмещением чуть больше 9000 тонн.

Это было отличное судно. Чисто грузовое (если вы согласитесь считать грузом мусульманских паломников, которых оно иногда перевозило). Владельцы его, одна из самых знаменитых бристольских компаний, располагали большим флотом; но они любили каждое судно и добивались от него максимума, как от своего ребенка, — глубокая, искренняя, эгоистичная любовь, а не просто сантименты. Они строили суда по собственным проектам. Держали их в безупречном порядке, избавляясь от всего устарелого и ненадежного. Никогда их не страховали. Если поте-

© В. Голышев. Перевод, 2002

ря — то их собственная, так же как прибыль. Поэтому с фанатической решимостью ограждались от малейшего риска — все, от президента компании до корабельного кота.

Осторожность не знала границ. Взять, например, штаги дымовой трубы на "Архимеде". Они могли выдержать натяжение в сотню тонн! Но откуда взяться такому натяжению на штаге? Ветер скоростью в 75 миль не оставит ни одного клочка парусины на паруснике; но даже такой ураган, считали конструкторы, навалится на трубу "Архимеда" с силой всего лишь десять-пятнадцать тонн. Труба (она состояла из внутренней и внешней, скрепленных скобами) была достаточно жестка, чтобы выдержать такую нагрузку самостоятельно, без растяжек. А когда ее закрепили штагами, она стала надежна, как Английский банк.



## 2

Кажется, я сказал уже, что мистер Макдональд был старшим механиком. Царем машинного отделения, котельного отделения и прилежащих территорий.

В сухопутной архитектуре нет ничего подобного машинному отделению. Это пространство колоссальной высоты — от днища до, можно сказать, самого верха судна. Огромное. Но, в отличие от большинства архитектурных пространств (за исключением, возможно, ада), входишь в него через маленькую дверку наверху.

Эта пустота заполнена разумно размещенными машинами: турбинами высокого и низкого давления, редуктором, конденсаторами, насосами и так далее. Но посетитель, конечно, не видит устройства этих машин — каждая прочно застегнута в стальной кожух с сотнями тяжелых стальных болтов вместо пуговиц. Их соединяют большие трубы разной толщины — иные холодные, из запотевшей ясной меди, иные в толстой белой одежде, сохраняющей тепло.

Вы видели на кусте в туманный день паучьи мостики между ветвями? Вот и в машинном отделении на разных уровнях тянутся металлические мостики и паутинные стальные лесенки, чтобы вы могли подобраться к любому месту этих громадных железных глыб; а над головой у вас краны и рельсы для перевозки инструментов и запасных частей — инструменты и части могут весить несколько тонн.

Отполированные стальные поручни — скользкие от масла и влаги. А воздух не такой, как свежий морской воздух наверху: он теплый и мягкий от пара (пар непременно где-нибудь просачивается), и в отделении стоит умеренно громкий шум механизмов.

Кочегарка (или котельное отделение), куда вы попадаете обычно через низ, через низенькую дверь на дне машинного отделения, — место совсем другое. Воздух здесь еще жарче, но сухой. И симметрии здесь больше, как в наземной архитектуре: ряд одинаковых топок, узких внизу и расширяющихся кверху, так что они сходятся над головой наподобие готических сводов в крипте (или стен комнаты во сне).

Перед вами, когда входите из машинного отделения, ряд как бы печных дверок, и в каждой — глазок, за которым видно яркое пламя. Когда смотришь в глазок на бушующий огонь, трудно поверить, что рождает его тонкая струйка нагретого мазута, бьющего из трубочки, способной уместиться в жилетном кармане! А сбоку от топочной дверцы подставка

вроде той, куда ставят зонты. Только стоит в ней факел, длинный железный прут с навернутыми тряпками, погруженными в мазут. Чтобы снова зажечь топку (если она еще не остыла), надо лишь осторожно повернуть два крана — через один подается горячий мазут, а через другой под напором — воздух, — а затем китаец поджигает факел, сует его через дырку в камеру топки, и пары горячего мазута мгновенно превращаются в ревущее пламя.

Понятно, что здесь, в котельном отделении, вы находитесь прямо под дымовой трубой. Стальная лесенка ведет в пространство вокруг ее основания — котельный кожух; а оттуда кочегар, если ему пришел черед подышать свежим воздухом, через дверь попадает прямо на палубу. Гость же, которому показывает свои владения мистер Макдональд, обычно возвращается в машинное отделение.

И там, за громадами топок и шумных механизмов, вы найдете тихую простую вещь, ради которой все это сделано: гладкую стальную колонну, лежащую в уютных прохладных подшипниках и вертящуюся, вертящуюся беззвучно, — гребной вал. По коридору, где нельзя выпрямиться во весь рост, длинный вал уходит к корме судна.

Вообразите дерево. Корни дерева, сложным образом пронизывающие землю, извлекают из нее разные необходимые вещества. Это питание соединяется в простой колонне ствола и выбрасывается вверх в бесчисленное множество листьев. Вот так же разнообразные силы, нагрузки, сопротивления множества механизмов соединяются в простом вращении этой горизонтальной колонны и по длине ее спокойно передаются в море, а там распускаются вдруг белой и стеклянно-зеленой кроной вихрей, упругих потоков, могучего бурления теснимой воды — попутной струи судна.

## 3

Все это принадлежало исключительно мистеру Макдональду — и, кроме того, еще кое-какие механизмы на судне. Например, рулевое устройство на корме. Это массивная машина: однако ее могучие силы, аккуратно движущие тяжелым рулем, приводит в действие маленькая рука китайца-рулевого на мостике, легко поворачивающая штурвал. Если штурвал на мостике по какой-то причине перестанет действовать, подсоединят запасной штурвал на корме. Но если выйдет из строя сама рулевая машина, тогда беда. Потому что вручную тяжелый руль не повернуть. Вся судовая команда не сдвинет его ни на дюйм.

Что еще рассказать вам, чтобы дать представление об "Архимеде"? Не стану говорить ни о великолепной его окраске, ни об изяществе его обводов: я хочу, чтобы вы узнали его не как влюбленный свою подругу, а скорее как студент-медик. (С влюбленностью пока подождем.)

Вот что еще. Корпус судна двойной, и пространство между двумя оболочками разделено на отсеки. Эти отсеки в стенах корабля называются цистернами. Они служат нескольким целям. Одни содержат топливо, мазут ("Архимед" работает на мазуте). Другие, если впустить в них морскую воду, действуют как балласт, регулирующий остойчивость судна. В-третьих — пресная вода. Доступ в эти резервуары — через люки, некоторые из них находятся в полу машинного отделения; кроме того, цистерны вентилируются (пары мазута взрывчаты) через те загнутые

трубы, которые вы, возможно, замечали на прогулочной палубе лайнера, возле поручней. Промеривать эти цистерны каждую вахту и точно записывать глубину их содержимого — обязанность судового плотника.

Но довольно о владениях мистера Макдональда. В его подчинении семь механиков, чья принадлежность к преисподней обозначена красным лоскутком на золоте рукава; а под ними — разумная и умелая команда китайцев-кочегаров и смазчиков. Остальное на судне — корпус, палубы и, самое главное, грузовые трюмы — принадлежало мистеру Бакстону, старшему (иначе — первому) помощнику капитана.

Любопытно, как мало интереса испытывают помощники капитана и механики (старой школы) к владениям друг друга. Не то чтобы они тактично избегали вступать на чужую территорию — они ее просто игнорируют. Механик должен приводить в действие определенные машины, но ему совершенно все равно, для чего их используют. Ему так же безразлично, куда они его привезут, как желудку человека безразлично, куда отнесут его ноги. Помощник капитана, со своей стороны, едва ли даже помнит, на теплоходе он или на пароходе (разница только в количестве грязи на палубах). Он не может объяснить устройство тех простых механизмов, которыми пользуется ежедневно. И в быту они разделены, как мальчики и девочки в британских школах.

Даже на "Архимеде", где старались их сблизить, это, в общем, не получалось. В опрятном, обшитом благородным красным деревом салоне они обедали за разными столами, и барьером между ними был стол практикантов. Каюты их тоже располагались отдельно. Даже китайцы-кочегары спали в одном конце судна, а китайцы — палубные матросы в другом!

Есть, конечно, такие места на судне, где границу провести трудно, — но и там она существует. Внутренность трубы, например, — хозяйство мистера Макдональда, а снаружи ее хозяин — мистер Бакстон. Паровым свистком ведал мистер Макдональд, а туманный горн находился в безраздельном владении мистера Бакстона. Эта последняя деталь — не такой пустяк, как может показаться. Дело в том, что у мистера Бакстона был ленивый лемур, "мадагаскарский кот", по кличке Томас, и днем он обыкновенно спал в туманном горне. Спал с полным правом, ибо знал, что горном распоряжается его хозяин. Это был его заповедник.

Маленький Томас спал весь день и даже ночью не проявлял особенной энергии. Ему нравился человеческий глаз, и он считал неправильным, что глаз закрывают. Когда он приходил в каюту к мистеру Бакстону, а тот спал, Томас тихонько вспрыгивал на койку и нетерпеливыми, но мягкими движениями длинных пальцев приподнимал спящему веки, так чтобы глазное яблоко полностью открылось. То же он проделывал ночью с другими помощниками капитана, если находил их (к своему огорчению) с закрытыми под каким бы то ни было предлогом глазами. Им, конечно, приходилось мириться с Томасом (если ночь была жаркая и невозможно было закрыть дверь): это был вопрос дисциплины. В английском обществе положение женщины определяется положением мужа; в море чин животного соответствует чину его хозяина. Оскорбить лемура старшего помощника — значит оскорбить старшего помощника.

А про механиков Томас отлично знал, что не смеет даже приблизиться к их жилью; зато и его никто не осмеливался тронуть в туманном горне.

В конце лета 1929 года (через пять лет после моего знакомства с мистером Макдональдом) "Архимед" взял разнообразный груз в нескольких портах на атлантическом побережье и отплыл на Дальний Восток. За размещение груза отвечал, разумеется, мистер Бакстон (помощник капитана должен думать о грузе больше, чем о волнах). В Нью-Йорке он сложил на дне мешки с воском. Кроме того, везли несколько тонн старых газет, из которых китайцы любят строить себе дома. Эти были размещены по большей части в твиндеке, то есть сверху, поскольку они сравнительно легкие. В Норфолке (Виргиния) взяли груз низкосортного табака, тоже для Китая, где из него наделают дешевых сигарет. Его тоже разместили в твиндеке.

Норфолк был последним портом погрузки, и там немного задержались. Никто, впрочем, на это не сетовал. Филадельфия, несмотря на вонь в доках, встретила их радушно — у многих здесь были приятели, — однако Норфолк даже ее превзошел в гостеприимстве. Капитан и первый помощник (таковы правила) не должны сходить на берег одновременно. Но в Норфолке было столько вечеринок, что оба смогли поразвлечься вволю. Даже мистер Макдональд, когда его удавалось сманить на гуляние, становился веселым — или, по крайней мере, слегка веселел.

Младшие посещали другие, более непринужденные вечеринки и открывали там для себя много нового. Мистер Уотчетт, например, уроженец трезвого торгового города Фейкенема в восточной Англии, однажды вечером встретился с ватагой девушек и парней, южан. Он сказал им, что прибыл из Норфолка в Англии, — и для знакомства этого оказалось достаточно. До этой минуты он в глаза их не видел, но они сразу стали относиться к нему с ласковым безразличием старых приятелей. Где-то он натанцевался с ними до упаду; потом они вдруг погрузились в машины и поехали в ночь. Горячий запах битумных дорог; очень высокие деревья, почти смыкавшиеся над головой; гомон лягушек и насекомых. Приехали к красивому дому колониальных времен и в комнате с вычурной мебелью, похожей на викторианскую и пахнувшей плесенью, стали угощать Дика Уотчетта кукурузным виски.

Все были очень воспитанные. Среди них находился мужчина постарше, бывший солдат. К вечернему костюму он надевал ногу с бронзовой позолотой — поскольку, сказал он, простая рабочая нога, которую он носит днем, не идет к смокингу. Еще была в компании очень миленькая белокурая девушка с невинными глазами. Она только-только вступала в пору цветения, еще школьница. Она рассказала Дику, что происходит из необыкновенно аристократической семьи, с особым свойством крови, передающимся из поколения в поколение: укусившая их блоха сразу становится буйно помешанной. Эта особенность, между прочим, стала причиной их разорения. Ее отец из-за пустякового и легкомысленного пари свел с ума самых ценных исполнителей в блошином цирке; суд определил колоссальный ущерб, и, чтобы оплатить его, пришлось заложить семейную плантацию. По крайней мере, так она сказала Дику.

Так Дик Уотчетт впервые узнал, что в Америке, как и в Европе, есть древние аристократические фамилии, гордящиеся своей кровью.

Мужчина с позолоченной ногой все время пытался овладеть девушкой (которую звали Сюки). Она этим возмущалась, будучи такой же невинной на самом деле, как и с виду; поэтому она избрала Дика своим за-

щитником и угнездилась у него в руках, как птичка. Дик не замечал, что она пьет гораздо больше чистого кукурузного виски, чем даже он. И больше, чем она сама привыкла, поскольку была совсем юной и в такой вечеринке участвовала первый раз; однако, начав, она забыла остановиться. Виски подавали в пятилитровых банках, хватало на всех.



Позже она поведала Дику, что у нее очень умный кот: сперва он наестся сыру, а потом дышит сыром в мышиные норы, приманивает сырным духом мышек. Глаза у нее дико блестели, а иногда, лежа на руке Дика, она вздрагивала всем телом. Дик не старался много говорить, но ему было приятно, что она близко. У него самого чуть кружилась голова; компания то приближалась, то снова отдалялась, и слушать ему было трудно. Сюки к тому времени, должно быть, выпила добрых пол-литра чистого контрабандного виски, а для девушки шестнадцати лет это много; постепенно виски ею завладело. Она вдруг вырвалась из рук Дика и вскочила на ноги. Глаза ее расширились еще больше и, кажется, ничего уже не видели, даже его. Девушка дернула лямки платья, еще какие-то два или три шнурка, и в следующий миг вся одежда, какая была на ней, спала. Несколько секунд она стояла совсем голая. Дик никогда не видел ничего подобного. Потом она без чувств упала на пол.

Дик отставил свой стакан; в груди у него застучало от нового, более буйного опьянения. Она была красивой в одежде, но гораздо красивее так, в податливой позе, лежащая, как лужа; столько белой кожи; несчастное личико с закрытыми глазами, уже сморщенное в тоске подступающей тошноты. До Дика внезапно дошло, что в комнате никого не осталось; и так же внезапно он понял, что любит эту девушку больше, чем небо и землю. Испугавшись, что она простудится, он дрожащими руками закатал ее в каминный коврик, пристроил как мог удобнее на диване и, дрожа, вернулся на судно.

Несколько часов он не мог заснуть, не мог даже притушить яркий образ Сюки в ее пьяной невинности. Но в конце концов уснул, и в снах мелькало ее милое лицо и голое тело. Он проснулся от ощущения, что чьи-то тонкие пальцы силятся разлепить его тяжелые веки, и сквозь пелену сновидения на него уставились большие, тревожные, светящиеся глаза, в каком-нибудь дюйме от его глаз; но это не были глаза Сюки. В панике он ударил по электрическому выключателю.

Это был Томас с его мягкой шерсткой и большим хвостом; на неестественно длинных лапах он поскакал прочь, нервно складывая и поднимая уши.

*

На следующий вечер — накануне отплытия в Колон, к Панамскому каналу, — капитан Эдвардес устроил прием на борту с танцами под патефон. Патефон принадлежал второму помощнику, мистеру Фостеру. Дамы были приятельницы капитана: по большей части родственницы агента компании или грузоотправителей. Приглашены они были по обязанности. Среди них не было ни молодых, ни красивых, и, не принадлежа к аристократии, в отличие от знакомых Дика, они держались строго и даже с несколько грубой чинностью. Сам капитан Эдвардес, мистер Бакстон и мистер Макдональд были веселы и игривы, как дети, и танцы продолжались допоздна — почти до половины двенадцатого.

Единственным, кто не участвовал в веселье, был мистер Рабб. Мистер Рабб не состоял в команде "Архимеда" и не значился в списке. Он был с "Декарта" – другого судна в философском флоте компании "Сэйдж лайн" – и перейти на него намеревался в Колоне.

Мистер Рабб был строгих христианских правил и танцы не одобрял ни в каком виде. И тем более считал это ошибкой старших, когда на их попечении находились восприимчивые юнцы. Не говоря уже о четырех практикантах, тут был, например, Дик Уотчетт. Танцы с дамами вполне могут возбудить в нем те самые страсти, спасением от которых Бог положил морскую жизнь. Внешне Уотчетт почти не проявлял возбуждения, держа в объятиях своих партнерш; но на самом деле это было бы против природы – и кому это лучше знать, чем мистеру Раббу? К тому же молодые – такие обманщики.

Впрочем, это не его дело; это даже не его судно. Но он надеялся, что капитан "Декарта" Теобальд окажется более серьезным человеком.

Дику Уотчетту нравился мистер Рабб – так же как всем младшим, которые с ним соприкасались. Практиканты его обожали. Он и в самом деле был привлекательным человеком – с решительным энергичным голосом, неиспорченным умом, любезный с младшими и бедными, – прекрасный тип англичанина.

## Глава II

На другой день в четыре часа "Архимед" отплыл из Норфолка и по реке Элизабет спустился в пролив Хамптон-Роудс. Маяк на острове Крейни, подумал Дик Уотчетт, выглядел как французский шале на ходулях. Низменный и плоский берег желтел песчаными пляжами; пролив был оживлен: пароходы из Чесапикского залива, вереницы лихтеров.

В половине шестого, обогнув мыс Генри, высадили лоцмана.

Суда, следующие на юг, проходят близко к мысу – между ним и банкой. Странное это побережье – отсюда до мыса Гаттерас: плоская коса отделяет внутренние воды от океана; для такого большого континента граница довольно нерешительная. Все это время капитан Эдвардес вел судно вдоль берега. Но южнее мыса Гаттерас берег уходит к западу; поэтому в три часа ночи "Архимед" распрощался с Северной Америкой и взял курс на вест-индский остров Сан-Сальвадор.

Погода была отличная, ясная. Небо и море – синие, редкие облака – белые и кудрявые. Хотя стояла поздняя осень, казалось, что снова пришло лето. Как только пересекли Гольфстрим, сильное солнце южных широт, выпроставшись из облаков и тумана, одолело позднюю осень. "Архимед" был один в море, суша снова забыта – самое радостное время на судне.

Вернее – один, не считая дельфинов. Нос судна взрезал фиолетовое стекло и разваливал на два бугра сверкающей пены; а в глубине стекла танцевали дельфины, и ничего красивее в жизни я не видел. С дюжину, громадные, гораздо длинней человека: спины оливковые, а бока и животы светлые, с зеленым блеском; тела их – воплощенная скорость. Ост-

рый нос и выпуклый лоб легко прошивали воду, и она снова смыкалась за пружинистым хвостом, как будто ее ничто и не потревожило.

Чаще они танцевали парами, носясь перед форштевнем из стороны в сторону, словно пара конькобежцев; потом менялись местами — один проплывал сверху, другой снизу; потом поворачивались вверх животами, блеснув серебристой зеленью в глубине; поднимались на поверхность, так что спинной плавник резал воздух, вздымая белый султан; выпрыгивали из воды — могучие русалки, которым не лежится от радости, — переворачивались в воздухе, по двое, по трое, а то и вчетвером, впятером. Или двое вдруг отваливали и расставались с судном; откуда ни возьмись, появлялись двое других и присоединялись к изумительным водным играм.

Первое время Сюки пылала в сознании Дика, озаряя каждый его уголок, но за эти два дня она отдалилась и уменьшилась, как вход в тоннель; сияние ее стало неземным, ярче света дня, но очень далеким, маленьким и ясным. Теперь же, когда он смотрел на дельфинов, этот ласковый свет как будто снова разлился в его сознании, затопил темные места, а потом потускнел, окрасив все приятной грустью.

И в эту ночь он увидел опять нечто очень красивое — редкое явление (которое увидишь скорее в китайских морях): фосфоресцирующий участок в океане и отсвет от него в небе. Когда подошли к нему, вся вода искрилась как звезды, и все, что двигалось в ней, одето было холодным пламенем. А из глубины какая-то рыба слала вспышки, как маяк.

Это было редкое и великолепное зрелище, но тронуло его не так, как голые дельфины.

## 2

До Сан-Сальвадора шли четыре дня.

Маленький оазис лета остался позади: он сменился серой зыбью с юго-востока и свежим ветром; погода была пасмурная, иногда ливни. Ожидать по-настоящему плохой погоды оснований не было: сезон ураганов закончился по крайней мере две недели назад, и волна была не той длинной и маслянистой, какая предвещает тропический шторм, и тучи не выглядели зловещими. Бодрящая погода, только и всего.

На судне снова воцарился твердый порядок. За едой с капитаном никто не заговаривал первым. Сам по себе капитан Эдвардес не был человеком суровым или хотя бы внушающим почтение — должность его была такой.

Капитан Эдвардес не обладал природной величавостью, свойственной многим морякам. Он был мал ростом, вида несколько херувимского, хотя и черноволос. Глаза блестели, но блеск этот говорил скорее о возбужденности, чем о силе; видно было, что человек он по натуре приветливый и помехой ему только должность. Он был уроженцем Кармартеншира, и уроженцу Норфолка Дику Уотчетту почитать валлийца было трудновато. А вот мистер Бакстон, первый помощник, был его земляком: Дик предпочел бы служить под его началом.

Да и второй помощник, мистер Фостер, солидный северянин, он тоже производил впечатление умелого моряка. Но если бы непредубежденный физиономист окинул взглядом салон, ища, на кого можно положиться без колебаний, он почти наверняка выбрал бы невысокого худого девонширца, сверхштатного мистера Рабба: крепким подбородком, твердым взглядом ярких голубых глаз он напоминал моряка скорее военного, чем служащего в торговом флоте.

Одна была неприятная черточка у мистера Рабба: ногти, скусанные чуть не до мяса.

Огни Сан-Сальвадора показались в два часа ночи. "Архимед" прошел в двадцати милях к западу от острова, между ним и Рам-Ки — два его белых утеса показались уже на рассвете. Теперь они плыли среди островов, не приближаясь к ним; вскоре после завтрака замаячила на траверзе голубая башня Бёрд-Рока. Погода по-прежнему стояла дождливая, с умеренным ветром и волнением, и до четырех часов дня, когда над горизонтом встала высокая башня Касл-Айленда, они ничего не видели.

Дик впервые попал в Вест-Индию и огорчался, что совсем не видит этих безмятежных островов — лишь изредка какой-нибудь маяк да смутное пятно над морем за пеленой дождя.

В девять вечера миновали мыс Майси, восточную оконечность Кубы, и вошли в широкий пролив между Кубой и Гаити, прозванный Наветренным проливом. Самого́ низменного мыса не разглядеть было в темноте, но на фоне более светлого неба смутно виднелись ярусы гор Пуриал.

В пять утра, на рассвете, прошли восточнее острова Навасса: голая известковая губка между Ямайкой и Гаити. Это была последняя суша, которую им предстояло увидеть до Колона, у входа в Панамский канал (где мистер Рабб пересядет на свое судно). Их ожидал короткий переход по пустынному Карибскому морю, переход примерно в сорок восемь часов.

Весь этот день дул крепкий северо-восточный ветер, и черное море было неспокойно. Но что значит бурное море и крепкий ветер для такого прекрасного современного судна, как "Архимед"? Возможность показать свои хорошие качества, не больше; нарушить расслабляющую монотонность жизни на борту. Ветер свистел в тросах, брызги обдавали палубу на носу, иногда осыпая неблагоразумного китайца, пытавшегося перейти кокпит в своей бумажной робе. А Дик Уотчетт на мостике мог почувствовать себя мореходом и расстаться с печальной мыслью, что жизнь моряка нынче — это зубрежка перед экзаменом да подсчет провианта.

К вечеру сделался сильный шторм. Ничего худшего ожидать не приходилось — сезон ураганов закончился. Море разгулялось, "Архимед" испытывал килевую качку и валился с боку на бок; будь на борту пассажиры, они лежали бы безмолвно и неопрятно в каютах или в шезлонгах на палубе, с бледным видом, или же (немногие из них) очень быстро расхаживали бы взад-вперед по палубе, приветствуя друг друга мужественными улыбками, как хворые викинги.

Но пассажиров на "Архимеде" не было, даже паломников; единственным страдальцем был Томас, и страдал он приватно и смирно внутри туманного горна.

Причина ветра стала ясна, когда получили по радио сводку погоды. В нескольких сотнях миль к востоку находился центр "тропического возмущения" — другими словами, область низкого давления, окруженная циркулярной системой штормов, которые в более ранее время года могли бы достигнуть ураганной силы.

Но в сводке говорилось, что возмущение это малой интенсивности, незначительное по площади и сдвигается к западу очень медленно. За последние пятьдесят лет не было зарегистрировано в ноябре ни одного значительного урагана: депрессии всегда заполняются, и ветер стихает. А сейчас была уже середина ноября. Тем не менее, поскольку девизом компании "Сейдж лайн" была осторожность, капитан Эдвардес, вместо того чтобы следовать прямо на юг, взял курс чуть западнее — береженого Бог бережет. И урагана не ожидалось, и "Архимеду" ураган был нипочем, но, как ни мал риск, долг судоводителя — сделать его еще меньше.

За ночь шторм должен был выдохнуться, а следующей ночью они прибудут в Колон. Поздним вечером легкий подъем барометра решительно подтвердил, что вскоре шторм должен остаться позади.

Но нет — в шесть утра барометр снова стал падать, и ветер очень усилился. Уходить от непогоды на запад было уже неразумно: там подстерегали рифы, а избегать рифов еще важнее, чем избегать бури. Колон был уже не очень далеко, а сводки оттуда обещали гостю слабый ветер и ясную погоду. Так что курс теперь лежал прямо на юг, дабы уйти от маленькой области возмущения, которую они, со всей очевидностью, зацепили.

В восемь часов утра мистер Бакстон решил обойти судно, дабы привести все в порядок и все закрепить — на случай если их немного потреплет. Обычная предосторожность, ничего больше: на таком судне, как "Архимед", не прибегают к особым мерам — вроде установки протекторов люка, — необходимым на меньших, уязвимых посудинах.

Но оказалось, что его опередил мистер Рабб — он уже за всем проследил по собственной инициативе. Тем не менее мистер Бакстон проверил все сам — не потому, что не доверял мистеру Раббу, но ответственность все же лежала на нем, первом помощнике капитана. Улучшений никаких не потребовалось: можно было только восхищаться дотошностью и умелостью проделанной работы. Хороший моряк, подумал он — и неожиданно для самого себя добавил: хотя странный фрукт.

Пока мистер Бакстон занимался конкретными делами, капитан Эдвардес напряженно решал заковыристую задачу. Ибо теперь он должен был рассчитать, в соответствии с определенными метеорологическими правилами, как поведет себя возмущенная атмосфера.

Ушли в прошлое дни Конрадова "Тайфуна" — дни, когда ураган набрасывался на мореходов, как кошка на мышь. Прежде всего, мыши теперь лучше знали анатомию кошки — законы, управляющие ее движением, — и вдобавок кошке повязали колокольчик.

К началу века метеорологическая наука сильно шагнула вперед. Пути штормов долгое время изучались, были нанесены на карты, и выяснилось, что они удивительно постоянны. Теперь каждого моряка учили, какими путями обычно движутся вест-индские ураганы и где находятся невидимые препятствия, отклоняющие эти пути к северу.

Таким образом, он, как правило, мог совсем избежать урагана. Если же он оказывался на краю возмущенной зоны, то имелись дополнительные правила, с помощью которых он мог рассчитать, наблюдая за барометром и изменениями направления ветра, где расположен в данный момент центр вихря и, следовательно, находится ли судно в том квадранте, где ураган его засосет, или в том, откуда его выбросит, — то есть в какую сторону надо уходить. Ибо как стремительно вращающийся волчок лишь еле ползет по полу детской, так и вся система перемещается не очень быстро, хотя скорость ураганного ветра огромна. За час она редко проходит больше двадцати миль — когда ураган в разгаре, — а иногда всего две-три.

И все же ураган, до сих пор случается, застигает суда. Какой-нибудь тихоходный парусник или нагруженный пароход; либо необычное поведение шторма толкнуло капитана на неверный шаг, либо он слишком поздно узнал об опасности и не успел уйти. Но теперь, с появлением радио, даже такое маловероятно. Теперь, когда возникает ураган, все суда поблизости следят за ним и телеграфируют на береговую станцию. И чтобы он больше не нападал врасплох, метеоролог на берегу наблюдает, словно воочию, за всеми перемещениями урагана и изменениями его силы: малейшее отклонение от прогнозируемых пути и скорости немедленно регистрируется, и эти новости дважды в день передаются на суда.

Вот что я имел в виду, говоря, что кошке повязали колокольчик. Дважды в день вы слышите его звон. Вы слышите приближение урагана, когда он еще далеко.

В наши дни от урагана чаще страдают закрепленные предметы, например банановые деревья, не корабли. Корабли (которые могут бежать) безопаснее в этих широтах, чем правительственные учреждения (они не могут).

## 3

Об атмосфере надо помнить, что она большая. В малых количествах воздух так легок, так неуловим, он утекает так быстро, что условия, порождающие ураган, нельзя воспроизвести в малом масштабе. Поэтому, если мы хотим объяснить ураган, надо описывать само большое явление, а не его модель. Только когда думаешь об огромности воздушного одеяла над миром, о больших перемещениях воздушных масс, необходимых для того, чтобы уравнялись давления, — только тогда начинаешь понимать, как медлен и тяжел воздух в больших масштабах. Происходит это так. Воздух над теплым участком океана, где-нибудь около Канар, нагревается; тогда он устремляется вверх и замещается более холодным, более тяжелым воздухом. В натопленной комнате он спокойно и непрерывно струится вверх, а на смену ему тихо идет холодный воздух из-под двери — никакого волнения. Но в большом масштабе это невозможно, вот в чем разница. Воздух поднимается сплошной массой, словно заключенный в гигантский аэростат, — на самом деле причиной тому его относительная инертность. Холодный воздух хлынет понизу ему на смену не спокойной струей, но мощным ветром — из-за того, что ушла наверх такая громадная масса.

Воздух устремляется со всех сторон к центру, а в центре он поднимается — это начало. Затем происходят две вещи. Вращение Земли[1] приводит к вращению эту воздушную систему — сперва не быстрому, по плавной спирали. А теплый воздух, насыщенный влагой у морской поверхности, поднявшись, остывает. Охладившись наверху, влага выпадает в виде дождя. Когда водяной пар конденсируется, он выделяет энергию — с той же неукоснительностью, с какой выделяет ее при вспышке бензин. Там, в высоте, высвобождаются миллионы лошадиных сил. И, как в бензиновом моторе, эта энергия превращается в энергию движения: еще выше взлетает гигантский аэростат, еще стремительнее раскручивается вихрь.

Так что вращение Земли лишь поворот заводной рукоятки: сам ураган — это громадный мотор, вращаемый энергией конденсации в восходящем потоке воздуха.

Теперь вспомните вот что. Всякий вращающийся предмет стремится улететь прочь — или по крайней мере, как планета на своей орбите, достичь равновесного состояния, когда она не может притянуться к центру. Ветер, вращающийся вокруг центра урагана, вскоре разгоняется до такой скорости, что уже не может устремиться к центру, каково бы ни было там разрежение. Само вращение создает пустотелую трубу, такую же непроницаемую, как если бы она была сделана из твердого материала.

Вот почему в центре урагана часто бывает затишье — ветер не может туда ворваться.

Так эта исполинская машина в пятьдесят или больше миль шириной, построенная из уплотненного скоростью воздуха, питаемая энергией Солнца и проливающегося дождя, кружится над Атлантикой, иной раз неделями, все набирая силу. И только когда ее основание коснется, наконец, суши (или очень холодного воздуха), закроется дроссель: влажный воздух больше не подсасывается, и через несколько дней, самое большее — недель, она расплывается и замирает.

## 4

Но в ноябре условия в этих широтах редко бывают подходящими для всех стадий формирования настоящего урагана. Иногда процесс начинается; но потом затихает, замирает, превращается всего лишь в "депрессию" (большинство депрессий, достигающих Англии, являются именно такими мертвыми или несостоявшимися ураганами).

Первые метеосводки явно подразумевали, что это возмущение не поведет себя как-то иначе. Впрочем, "Архимед" давно оставил позади прогнозируемую траекторию шторма. Такие шторма, кстати, обычно отклоняются вправо, а не влево. Да, по всем правилам игры никакие неприятности "Архимеду" не грозили.

Но в девять часов ноябрьским утром 1929 года ветер все еще усиливался; ясно было: творится что-то необычное. Во-первых, шторм перерастал в настоящий ураган; во-вторых, развивался он совсем не там, где

1. Земля — шар, вращающийся вокруг оси; поэтому точка на ее поверхности, расположенная вблизи экватора, движется быстрее, чем точка, удаленная от него. Поэтому граница воздушной системы, ближайшей к экватору, будет отставать от той, которая находится над более медленно движущейся частью земной поверхности, и если система ограничена, это приводит к ее вращению. (*Здесь и далее прим. автора.*)

его могли ожидать умные головы. Либо он сильно изменил свой путь, причем в неправильном направлении, либо — осенило капитана Эдвардеса — это не одиночный ураган, а два: второй стремительно нагонял и был гораздо более мощным, совсем не тем, возникновение которого заметили.



Еще час назад капитан сказал старшему помощнику, что, если барометр будет и дальше падать, они встанут против волны. Судно, конечно, могло и не менять курс, но незачем подвергать его лишним испытаниям. Лучше встать против ветра и дать машинам такие обороты, чтобы не сносило назад, — пропустить ураган мимо себя. Процесс будет недолгим: жуткий ветер из одной четверти, затем короткое затишье, пока проходит "глаз" бури, а затем ветер с другой стороны, слабеющий по мере того, как шторм уходит дальше.

Итак, поскольку в девять часов барометр продолжал падать и постоянное направление ветра говорило о том, что они находятся прямо на пути шторма, капитан Эдвардес взял курс на норд-остен-норд, чтобы пробиться сквозь шторм.

**Среда**

## Глава III

Дик Уотчетт был очень занят и возбужден. Первый ураган в его жизни — а он его так ждал. Кроме того, капитан — поскольку капитаны, помимо всего прочего, еще и учителя — сделал его воображаемым командиром судна, заставил повторить, на основе показаний барометра и направления ветра, те же расчеты, которые проделал сам, и сказать, какие необходимы действия. Это было интересно, но он волновался (потому что рапорт капитана о нем после плавания будет зависеть от его ответов).

Когда все кончилось, он почувствовал себя как школьник после уроков. Он надеялся, что ураган сделает что-то эффектное, что ветер согнет крепкие железные поручни или как-то еще засвидетельствует свою осязаемую силу — ярко, чтобы написать домой. Но трудно было ожидать ярких эффектов на таком большом и хорошо оснащенном судне, как "Архимед". Не повалятся мачты. Не застынет прибитый волнами к штурвалу рулевой с солеными брызгами на бороде. Нет: прочная рулевая рубка посреди мостика — высоко над волнами, и толстое стекло полностью защищает тебя от непогоды. И за штурвалом вовсе не викинг, а стоит на старой циновочке маленький рулевой-китаец с лицом как печеное яблоко.

В восемь, отправившись на обход, мистер Бакстон взял Дика с собой. Идти по палубе против ветра было все равно что идти в гору: те же усилия, тот же наклон тела к земле. Как будто судно стояло не против ветра, а на корме, когда ты шел на бак; а когда шел обратно, ты будто падал с лестницы.

Громкий сиплый визг шторма сменился оглушительным ревом. Воду, летевшую на бак, ветер превращал в пыль, а за корму она уносилась туманом. На поручнях она стояла маленькими блестящими веерами. Даже смазку из лебедок несло с брызгами на верхнюю палубу.

За бортом — не привычное море, а холмистая водяная страна. Ветер сдирал шкуру с волн, оставляя мелкие белые оспины. Волны обламывались, глотали собственную пену: ее видно было глубоко под поверхностью. Вдруг налетел дождь. Капли прыгали по воде, она зашерстилась легким росным ворсом, как луг. Как будто голое море отращивало шерсть.



И сразу Дику стало радостно, что Сюки здесь нет. Ветер лучше женщин. Одни мужчины на судне, и ни один — по крайней мере на время шторма — ни в кого не влюблен: все помыслы только о предстоящей борьбе с воздухом. Это самое лучшее.

Вслед за Сюки вспомнился вкус кукурузного виски; сознание решительно оттолкнуло его. Внезапно Дик ощутил уверенность, что больше никогда не прикоснется к спиртному: это отвратительная штука. Стакан пива от силы. И не курить. Его это немного удивило; обычно он получал от спиртного и табака удовольствие, как все. Это было вроде обращения — не духовного, потому что оно не имело ничего общего ни с моралью, ни с решимостью. Просто вдруг переменились вкусы — и так круто, что обратная перемена представлялась невозможной. Отвращение к девушкам, табаку и питью; и все — от ветра. Потом от восторга перед штормом закружилась голова, и морская болезнь настигла его.

## 2

В девять часов, когда судно повернуло носом к волне, сила ветра составляла всего 7 баллов (по шкале Бофорта), а барометр стоял на 751. К полудню он упал до 746, и сила ветра достигла 10 баллов. Это очень сильный ветер, такой у нас в Англии редко бывает, даже когда кажется, что небо лезет из кожи вон; а тут он еще усиливался.

Ясно: шторм разыгрался не там и не той силы, как предсказывалось. Счастье еще, что они загодя принайтовили все незакрепленные вещи. Теперь это было бы трудно. Даже заняться этим было бы трудно.

Волны, громадные глыбы с острыми вершинами, бежали во всех направлениях, целеустремленно и стремительно. Они были величиной с дом и двигались со скоростью поезда. Иногда налетали друг на друга и вместе выбрасывались вверх. А иногда вдруг били в борт и разлетались веером брызг, на мгновение заслонявшим весь мир. Окна мостика высоко над палубой были совершенно слепыми от брызг; разглядеть что-нибудь можно было только через "смотровое стекло" (быстро вращающийся стеклянный круг, на котором вода не удерживается). А стоило отойти на край мостика, где не было стекол, как глаза сами закрывались от ветра.

Прямо под мостиком были каюты помощников капитана — у каждого своя каморка; там же, внизу, прямо позади салона — каюты механиков. По обеим сторонам от кают — короткие коридоры, через них проходят рулевые тяги от мостика. Каюта мистера Макдональда выходила в правый коридор, в левый — каюта врача.

Доктор Франгсон, пожилой человек, никогда не говорил о своем прошлом. Работа судовым врачом — едва ли предел мечтаний для медика, и пожилых на этой должности встретишь редко. Единственным

ключом к его прошлому (если это можно назвать ключом) была коробка с медалями, хранившаяся в ящике с нижним бельем. Никто их толком не видел: одни говорили, что медали – с бурской войны, другие – что это иностранные награды; а стюард утверждал, что получены они на флоте. Еще доктор Франгсон коллекционировал старинные музыкальные инструменты – лютни, серпенты, рекордеры и тому подобное. Он брал их с собой в море, в запечатанных стеклянных ящиках для защиты от сырости. Утром он проложил эти стеклянные ящики корпией и перевязочными материалами, чтобы они не стукались при качке.

В два часа мистер Макдональд, человек довольно старый, отправился к себе в каюту отдохнуть; Дик Уотчетт тоже пошел к себе, посмотреть, не осталось ли чего-нибудь бьющегося там, где оно могло разбиться. В шумном машинном отделении распоряжался четвертый механик. Капитан Эдвардес с мистером Бакстоном были на мостике и намеревались остаться там. Ветер все усиливался. Рев его в ушах грозил запугать мозги до беспамятства. Атмосфера теперь почти целиком состояла из водяной пыли; сквозь нее ничего не было видно. Лишь иногда в мгновения затишья удавалось разглядеть море или хотя бы палубу. Лишь по содроганиям судна можно было почувствовать, какие обрушиваются на него валы – да еще по немыслимому грохоту ударов. Увидеть ничего было нельзя. Из мокрой штурманской рубки сквозь стекло можно было разглядеть маленького рулевого-китайца на циновке; но снаружи – ни зги; да и чтобы услышать друг друга, приходилось кричать прямо в ухо.

Однако чем свирепее ураган, тем меньше (как правило) его площадь, а значит, тем скорее он кончится. Если повезет – к вечеру. То есть если не случится чего-то неприятного.

Но в два часа неприятность случилась, и большая. В два часа машины на среднем ходу перестали справляться – удерживать судно носом к ветру. И капитан Эдвардес протелеграфировал полный вперед. Но ничего не изменилось: винт уже не мог удержать судно и лишь беспомощно ревел в молоке под кормой.

Судно поворачивалось. Зыбь била в правую скулу. Ветер задувал справа.

Рулевой отчаянно жестикулировал за стеклом, показывая, что с рулем неладно. Так вот оно что! Но исправить ничего было нельзя, оставалось только наблюдать, как ползет по картушке стрелка компаса. К тому времени, когда приведут в действие запасной штурвал на полуюте, "Архимед" станет к ветру бортом, и тут уж никакими силами не вернуть его на курс, пока не спадет ветер. Все произошло минут за пять; теперь судно стояло бортом к ветру, сильно накренясь, беспомощное; и мистер Бакстон, отметив время, записал это в журнал.

Но он с удовлетворением отметил, что качка – короткая, резкая. Неуютно, само собой, но с точки зрения устойчивости – удовлетворительно. Однако крен был так велик, что стены и потолок с равным правом могли претендовать на звание горизонтали.

В рулевой рубке маленький китаец повис на бесполезном штурвале, как озябшая обезьянка на шее хозяина. Внезапный рывок отбросил его от штурвала. Циновка под ним поехала по наклонному полу мостика. Моментальный снимок (из штурманской рубки): китаец с сосредоточенным видом проносится на своих неожиданных санках в дальний конец

и там врезается в поручни с такой силой, что они сгибаются, а колпак ходового огня, кувыркаясь, летит в море. Китаец лежит неподвижно на самом краю, пока Бакстон с капитаном не вытаскивают его обратно. Мертв или жив? Железные поручни просто так телом не согнешь. Но, как ни странно, он жив.



Четвертый механик Гэстон, молодой темноволосый выходец с Нормандских островов, временно распоряжавшийся в машинном отделении, по телеграфу запросил помощи. Светлый люк машинного отделения сорвало ветром, отделение наполнилось водяной пылью, и электричество погасло — короткое замыкание, — а при таком крене управлять машинами и без этого было бы трудно. Пришли второй и третий механики, но без мистера Макдональда. Выходя из своей каюты, он увидел, что коврик из кокосового волокна забился под рулевую тягу; теперь он стоял на четвереньках и ногтями выковыривал коврик.

Рулевые тяги были его, и, хотя коврики относились к хозяйству мистера Бакстона, он понял, что нельзя было оставлять их вблизи тяг. Он не обратил на них внимания — и вот они заклинили руль.

Почувствовав, что судно поворачивает, Дик Уотчетт хотел выйти из каюты, но не смог. Ветер прижал дверь. С ней не справился бы и слон — Дик оказался в тюрьме. И не выйдет, пока не наступит затишье.

Капитан протелеграфировал в машинное отделение: самый малый; если на полных оборотах машина не справляется, лучше ее поберечь.

Ветер продолжал усиливаться. За сплошным его ревом ничего не было слышно — даже грохота волн. Капитан Эдвардес пережил несколько ураганов, но такого не видал. Он попробовал прикинуть его скорость, но сравнивать было не с чем. На шкале Бофорта для такого ветра просто нет числа. Не сделано такого анемометра, чтобы мог измерить ярость этого урагана. Любой из существующих анемометров был бы им смят. Капитан высунул руку под брызги и тут же убрал — с кровью на кончиках пальцев; рука онемела, как от электрического удара. Потому что ветер дул теперь со скоростью миль двести в час. Ураганом он зовется начиная с семидесяти пяти, а при двухстах его напор в семь раз больше. Очутиться на таком ветру — все равно что сидеть на голом крыле взлетающего самолета.

*

Когда ураган срывает крышу дома, происходит это обычно не потому, что он ворвался в дом и взорвал его изнутри. Поток воздуха создает разрежение с подветренной стороны крыши — и всасывает ее. Когда "Архимед" накренился под ветром, его палуба встала под таким же примерно углом, как подветренный скат крыши: значит, всасывающая сила ветра была чудовищна. Но палубы, разумеется, очень крепки. Крышки люков — иное дело. Это самая уязвимая часть судна, и на большом судне такая же уязвимая, как на малом, потому что на всех судах, когда-либо плававших, от лайнера до маленького рыболовного снака, они делаются совершенно одинаково. Это ряд продолговатых деревянных секций стандартного размера (такого, чтобы ее без натуги могли переместить двое матросов), свободно лежащих на балках. Все это накрыто брезентовым чехлом, туго натянутым и закрепленным по периметру клиньями.

Эта конструкция способна противостоять огромным силам, приложенным сверху, выдерживать стотонные массы воды. Но не давление снизу — она не для этого сделана. Никто не рассчитывает, что на палубе создастся вакуум.

Вскоре после трех часов ветер, нисколько не утративший напора, стал более порывистым; поэтому в брызгах иногда появлялись просветы, и через них можно было увидеть море. Через такой просвет капитан и увидел на воде какие-то обломки. Он сказал:

— Кто-то еще терпит бедствие кроме нас.

— Не кто-то, — отозвался мистер Бакстон, знавший каждый болтик на судне. — Это наши люки номер два.

## 3

Брызги прорезали брезент как нож, а ветер выдернул люки, как пробку из бутылки. Хотя волны не захлестывали палубу, брызги представляли собой почти сплошную воду, и очень скоро сотни тонн ее должны были набраться в трюм.

Тут мистер Бакстон вспомнил с нехорошим предчувствием, как он разместил груз. Все газеты и табак — повыше, в твиндеке. А вода хлынет вниз; плохо, конечно, что она будет постепенно наполнять трюм, — но процесс будет долгим, ее можно откачивать паровыми помпами, и, по крайней мере, это не скажется на устойчивости. Однако газеты и табак поглощают влагу. Намокнув, они станут во много раз тяжелее, и такой высоко расположенный груз вполне может опрокинуть судно. Он взглянул на клинометр: крен увеличивался — тридцать пять градусов, и раскачивало до сорока. Люки надо закрыть во что бы то ни стало, покуда вода собирается только на дне.

## 4

Дверь у Дика так и не открывалась. Он был заперт в тесном железном кубе, поставленном на ребро и мотавшемся, как гнездо грача в бурю. Да и без этой качки оглушительный вопль ветра был бы невыносим. Он попробовал лечь на койку, но не удержался там: она его вышвырнула. Попробовал лечь на наклонный пол, забиться между ним и стенкой, но и пол его отшвырнул — на него падали мелкие вещи, как будто он очутился внутри аттракциона в Луна-парке, где хозяйничал дьявол. Удержаться на месте можно было, только расставив ноги и уцепившись за что-нибудь обеими руками. Но взаперти оказался не один Дик Уотчетт: не открывалась и дверь каюты практикантов. Их освободило то же непостоянство ветра, благодаря которому удалось увидеть в море крышки люков; Дика, правда, не освободило. Ребята вырвались и сразу полезли на мостик: сумасшедшее дело — взбираться по перекошенной лесенке, когда половина твоего веса приходится на локоть, упертый в стену.

При виде троих юнцов, выскочивших на мостик, в груди у капитана стало тепло: ему казалось, что он стоит здесь вечность, один с мистером

Бакстоном, и больше никого нет на судне. И вот они появились, тесня друг друга, — высокий, толстый и худой черноглазый; они смотрели на него с безмолвным доверием, и капитан ощутил прилив энергии и гордости.

В ответственные минуты капитан с помощником думают не порознь. Намокший табак и газеты занимали сейчас Эвардеса так же, как Бакстона.

— Постарайтесь закрыть люк номер два, — сказал он, — возьмите всех, кого можно. Вы, Беннет (худому черноглазому), поднимите матросов на полубаке и ведите туда.

Остальных Бакстон позвал за собой и полез вниз по трапу, вмиг ослепнув и оглохнув, как только очутился вне мостика, передвигаясь с трудом, как слабый младенец.

А молодые впервые покинули укрытие. Ураган оглушил и ослепил их еще на мостике. Беннет все же расслышал приказ капитана и отправился исполнять; другие двое и не услышали слов помощника, и не заметили, как он ушел. Они набухали воздухом, словно его накачивали в легкие; от избытка воздуха безалаберно кружилась голова, разбирал смех.

Помощник этого не знал, он думал, что они с ним. Добраться бы только до передней колодезной палубы — на прочее его не оставалось; те, кто сзади, пусть сами о себе думают. И лишь спустившись туда, Бакстон обнаружил, что он один. Не страшно. Скоро подоспеет Беннет с китайцами.

Уцепившись за косяк, он выглянул наружу. И не увидел почти ничего, кроме подвижных столбов и полотнищ водяной пыли, — ток воздуха стал плотен и зрим. За каждым препятствием темнело что-то вроде тени, а на самом деле это было укрытием, конической полостью в потоке брызг, обтекавшем и очерчивавшем предмет; а там, где неподвижное препятствие отражало ветер, водяная пыль обтягивала его каймой будто из короткой тонкой шерсти. Да, можно было действительно видеть разрывы в ветре и, просовываясь в них, добраться до открытого люка! Бакстон, не дожидаясь помощи, решил попробовать и стал перебираться от укрытия к укрытию, как скалолаз с уступа на уступ. И, как скалолаз, ни разу не подумал вернуться. Через минуту-другую он был у цели, стоял согнувшись под защитой комингса и вздрагивал от каждого пролетавшего низом заряда брызг, словно тот бил его прямо по нервам.

На хорошем уступе человек может закрепиться и передохнуть; но убежище под комингсом было не так безопасно. От ветра оно защищало, но первая же волна, хлынувшая через поручни — а налететь она могла в любую минуту, — унесет его с собой. Она Ниагарой низвергнется с наклонной палубы, и тут не удержишься никакими силами. Даже если он привяжет себя веревкой, волна размажет его по железу, как яйцо. А она может налететь в любую минуту. И сделать ничего было нельзя — даже с помощниками. Крышки смыло за борт. Сколько бы ни было рук, пронести большие доски по узким ходам, заслоненным от ветра, невозможно. Придется ждать затишья в центре, а устоит ли судно до тех пор — решать небу. Ему же надо возвращаться, пока не накрыло волной. Крышки смыло в море, но брезент, как ни странно, уцелел и лежал кучей, прижатый к палубе. Только Бакстон повернул обратно, как брезент взвился черной стеной. Он сшиб

его и накрыл, придавив к палубе своей жесткой тяжестью. И тут пришла волна. Хлынула через фальшборт — бог знает сколько тонн. Она помчалась по палубе, в сажень глубиной; своей тяжестью она чуть не раздавила Бакстона под брезентом: жесткая просмоленная ткань облепила его тело, как литейная форма. Волна прокатилась к подветренному борту и ушла через другой фальшборт; судно будто споткнулось и приподнялось. Бакстон под брезентом не только остался жив — он почти не намок.

Помятый и обалделый, забыв осторожность, он выполз, и на него обрушился ветер. Это было все равно как если бы оступился и упал со скалы альпинист. Только вместо земного притяжения действовал ветер, и ветер швырнул его к средней надстройке, где Бакстон врезался в ту же дверь, из которой недавно вышел.

## 5

Ничего нельзя было сделать на носовой части палубы, но оставались еще кормовые люки. Их тоже могло разворотить. Колодезная палуба там лучше защищена от ветра; возможно, там удастся что-то сделать — если надо и если он наберет достаточно народу.

Сперва мистер Бакстон зашел в салон — и нашел там мистера Рабба; ясными голубыми глазами тот смотрел в пространство перед собой, словно самый свирепый шторм не мог нарушить его спокойствия. Для человека, отчаянно нуждавшегося в помощи, это было утешительное зрелище. Мистер Бакстон позвал его.

В коридоре он встретил мальчика Беннета с одним лишь китайцем-боцманом: остальные китайцы не захотели идти. Сидят кучкой на полу, ни за что не держатся, ездят от качки и только тихо блеют, когда стукаются о стену.

Потом появился высокий практикант, Филлипс. Итого пятеро. Впятером можно что-то сделать. Они двинулись к юту. И из укрытия за средней надстройкой увидели, что́ нужно сделать. Шестой люк тоже разворотило. Но доски в море не унесло. Если удастся хотя бы некоторые вернуть на место, их можно привязать — воды будет поступать меньше. И место не такое открытое. Должны справиться.

А там уже был мистер Фостер, возился с талрепом мачтовой оттяжки — несмотря на стопор, талреп начал развинчиваться. Но Фостер слишком занят своим делом и не сумеет им помочь.

Теперь — броском туда.

Броском туда — немедля. Но почему-то ноги не хотели слушаться мистера Бакстона. Тело подалось вперед, а ноги будто уползали из-под него назад, как кролики, норовили шмыгнуть в норку. Здесь полегче, чем на носу, сказал он себе, гораздо легче. Безопасно, как в доме. "Пошли!" — крикнул он и бросился вперед.

Беннет и Филлипс рванулись за ним, как собаки, спущенные с поводка. Им, новичкам, еще в голову не приходило бояться. Они увидели, что пошел мистер Бакстон, — и они пошли. И рухнули прямо на него.

Бакстон мигом выбрался из-под них и принялся за работу раньше, чем они успели сообразить, что к чему. Одну за другой они перетащили секции крышки, лежавшие с подветренной стороны у шпигатов.

Затем Бакстон с Филлипсом оседлали балки люка над зияющим трюмом, а Беннет подавал доски с палубы. Это было самое трудное — поднимать крышки, когда их не подпирает ветром. Ни мистер Рабб, ни боцман не появились. Для помощника капитана и двух юнцов это была тяжелая работа. Они уложили три секции и привязали. Когда они взялись за следующую, ветер ударил с удвоенной силой. Мистер Бакстон и Филлипс повисли под своими балками, как два ленивца. Доска, вырвавшаяся у них из рук, сшибла беднягу Беннета, отбросила к шпигату, и он затих там, в пене.



Мистер Бакстон подтянулся и хотел идти за ним, но в это время разбуженный водяными затрещинами Беннет сел. Первым, что он увидел, была его нога — отогнутая в сторону под прямым углом над щиколоткой. Господи, подумал он, ногу сломал; скоро очень заболит. Скорее выбраться отсюда, пока не начала. Он неуверенно двинулся, и она отвалилась. Сидя в воде, он покраснел от стыда: какой же осел! Вообразить, что сломал ногу! Да, это был всего лишь башмак, — он наполовину слез, пока тащило по палубе, и, пустой, согнулся. Беннет натянул его и ждал момента, чтобы броситься к комингсу.

Бакстон между тем размышлял. Ноги его к этому времени осмелели, но на душе было неспокойно. По правилам, конечно, они должны оставаться здесь, пока не закрепят последнюю секцию. Но он не хотел губить ребят. Они настоящие львята. Позор, если мальчики погибнут, а блеющие китайцы останутся живы. В этот раз Беннет чудом уцелел. Так или иначе, путь воде в шестой люк они в основном преградили. "Пошли", — снова крикнул он, и все трое бросились к юту. Они прижались к выступу, под которым была расположена рулевая машина.

И вовремя: тут же ветер задул в полную силу, и с колодезной палубы их просто снесло бы.

Все хорошо, пока ты из последних сил исполняешь приказ; но сидеть без дела — другая история. Теперь молодые огляделись, и им стало страшно; они решили, что конец близок. Холодная вода в их одежде начала медленно ощупывать теплую кожу. Этого не выдержит ни одно судно. Оба стали молиться про себя — надеясь, что другой об этом не догадается. "Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться, — звучало у Беннета в голове. — Он насытит меня на злачных пастбищах и приведет меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла: Твой жезл и Твой посох, они успокоят меня". Дальше он не помнил; поэтому начал снова: "Господь — Пастырь мой..." Это была детская магия: она охраняла его от диких зверей темноты, когда его отправляли одного наверх. С тех пор он не прибегал к ней.

Но сейчас было трудно сосредоточиться на ней полностью. В промежутках он ощущал холодный обруч, сжимавший желудок; сверлящую боль сожалений. Зачем он, дурак, пошел в море — сколько дел ожидало его в долгой жизни, на теплом безопасном берегу! Бесконечно долгие годы детства наконец-то позади, и всё — зазря, не пожить ему взрослым.

Филлипс, странным образом, не так огорчался. Один раз он сказал молитву Господню и на этом кончил. Сознание его разделилось на две половины. Одна — даже радовалась. Ибо юный Филлипс впервые полюбил девушку всей душой; она им пренебрегла. Если он погибнет в море,

ей скажут; она погрустит немного — хотя жизнь его была ей безразлична. Иначе как в ее мыслях, казалось ему, подлинной жизни у него нет: значит, только смерть сделает его живым, пусть всего на несколько минут, которые возлюбленная уделит мыслям о нем. Подобно многим молодым влюбленным, он путал девушку с Богом и почти воображал, как она наблюдает за ним с неба — наблюдает его гибель и жалеет его. Но была и другая половина — непоколебимо уверенная. Эта половина не рассуждала, даже не облекала мысли в слова: она знала, что мысли эти верны, но знала также, что на них наложено табу, что, если она выскажет их, они перестанут быть верными. Она знала, что он — единственный в своем роде: человечество делилось на него и на всех прочих. Смерть — для прочих: он не умрет, никогда не умрет. Бог создал его в этом смысле другим — он не смертен и предназначен для сверхчеловеческой цели.

Но из-за табу эту уверенность ни в коем случае нельзя превратить в слова, даже мысленно. Пусть работает другая часть сознания, без помех рисует жалостные картины его трагической смерти — что она и продолжала делать.

В этом отношении он не ошибался — он не погиб тогда. Никто из них не погиб. Они прождали там, не в силах выбраться, вдыхая слабый запах смазки, больше двух часов — до половины седьмого.

## 6

Когда мистер Бакстон с практикантами бросился к шестому люку, мистер Рабб предусмотрительно остался: он знал, что, если даже последует за ними, толку от него будет немного, поскольку он слишком напуган.

Страх часто заставляет человека перенапрягаться. Если вас впервые послали работать на высоте и она вас пугает, вы станете хвататься за вещи что есть силы — с такой силой, что она удержала бы троих, а не одного; вы быстро устанете, и у вас совсем не останется сил на то, чтобы сделать работу, ради которой вас послали. Если бы мистер Рабб в состоянии такого испуга и отправился с ними к люку, он уцепился бы за комингс так, что через несколько минут сделался бы слабым, как новорожденный ягненок, и при первом же толчке полетел за борт. Что в этом пользы? Только мудрый человек знает, когда он слишком испуган, чтобы успешно справиться с опасностью, — так же, как только мудрый человек понимает, что слишком пьян и нельзя садиться за руль. А мистер Рабб достаточно пережил страхов на своем веку и мог оценить свой страх трезво, взглядом постороннего. Ясно, что самое правильное сейчас — избегать большого риска, пока он не притерпится к этой ситуации и страх его сам собой не растает. А он непременно растает немного погодя.

Поэтому мистер Рабб решил отправиться на мостик. В конце концов, там и надлежит быть лицу командного состава в чрезвычайных обстоятельствах.

Впрочем, где-нибудь по дороге он, может быть, остановится передохнуть.

# Глава IV

Было уже почти семь, когда мистер Бакстон вернулся на мостик, — а практиканты все не могли выбраться с юта. Может быть, сейчас это самое лучшее для них место.



Мистер Фостер остался с ними.

Капитан Эдвардес простоял на мостике весь день; теперь помощник должен был сменить его, и он решил, что пора самому посмотреть, что происходит на судне. Барометр упал до 675. Такого низкого давления на море еще не отмечалось. Динамика этой депрессии не поддавалась расчетам. Прецеденты, сведения из книг, опыт уже ничем не могли тут помочь. Атмосфера могла выкинуть такое, чего не видывал ни один живой моряк.

Оставив на вахте помощника, он отправился в машинное отделение.

Там было темно, механики работали с фонарями. Разбитый светлый люк загородили, но водяная пыль все равно летела внутрь. Механизмы скрежетали: все подшипники лежали под непривычными углами. Китайцы-смазчики, сами перемазанные, скользили между ними как рыбы в иле. На маленькой железной платформе у телеграфа капитан нашел мистера Макдональда; по его умному старому лицу и седым усам стекало масло с водой. Он был сердит и жаловался: его машины не приспособлены для того, чтобы работать с таким наклоном, а светлый люк надо было своевременно укрепить.

Второй механик, рыжий шотландец с мучнистым лицом, беспрерывно обходил машины, проверяя показания манометров и других приборов. Третий механик — своенравный коротышка с неизменно лягушачьим выражением лица — и четвертый (Гэстон) стояли рядом со старшим. Они согласились, что вряд ли машины и люди долго протянут в таких условиях. Господи, может, там на мостике все-таки что-нибудь сделают?

— Сделать что-нибудь можете только вы, — сказал капитан. — Ваша первая обязанность — держать пар. Держите пар и о мостике не беспокойтесь. Мы уже, наверное, близко к центру. Через несколько часов самое худшее будет позади. Терпеть осталось недолго. Если будете держать пар, все обойдется — повреждений нет. Откачивайте второй трюм и шестой: тогда в затишье судно выпрямится, мы восстановим управление и спокойно встанем против ветра. Заполните вторую балластную цистерну левого борта — это поможет нам выровняться. Без пара нельзя рулить и нельзя откачивать — держите пар, что бы ни случилось. Осталось недолго.

Ну, начальству было виднее. Если затишье в центре на самом деле близко, машины могут и продержаться. Приободрившийся Гэстон пошел наполнять балластную цистерну. Ничего катастрофического пока не случилось; а машины надежные. Четыре часа работают, несмотря на крен, и ничего не сломалось. Он заглянул в кочегарку: в топках порядок. Ветер не нарушил тягу — по крайней мере вентиляторы искусственной тяги внизу с ним справлялись. Топливные насосы работали исправно.

Не взбодрился только мистер Макдональд. Он был стар, борьба его не увлекала. Сомнение не возбуждало его, а вселяло дурные предчувствия. Он был стар, он любил определенность, приличные усло-

вия, чтобы прилично нести в них службу. Кроме того, настоящий механик чувствует напряжения в больших машинах так, как будто эти машины — его тело. Для кого-нибудь скрежет подшипников — внешний звук; а у мистера Макдональда он вызывал боль, словно это были его суставы.

Капитан Эдвардес, несмотря на мешковатую комплекцию, сновал по этим мало знакомым помещениям с чисто моряцким проворством — моряк не теряет его до преклонных лет, пока совсем не одряхлеет. С китайцами он не стал говорить, как с механиками; но они на него поглядывали. Вид у него был очень радостный: глядя на него, любой мог понять, что все идет как надо. Войдя в котельное отделение, он постоял минуту в двери, и при свете топок на лице его можно было прочесть, что он чем-то очень доволен.

Потом он вышел, вернулся на палубу. Тут уже было черно, как в машинном.

## 2

Едва он вышел в темноту, воздух забил ему рот, прервал дыхание. Он пытался вдохнуть, но не мог: легкие наполнились чем-то жгучим, они отказывались дышать, сжимались судорожно, их выворачивало. И ветер хлестал его горячими масляными зарядами. Вода потекла из его незрячих глаз, их драло, как от горчичного газа. Наверное, на него сносило дым, но он, конечно, не мог его видеть: ночь была чернее черного. Он не представлял себе, откуда может идти этот дым — из котельного кожуха? Главное теперь — найти дорогу до мостика — если выдержат легкие. Только не терять головы: усилием воли преодолевая опасное искушение побежать и задержав в груди воздух (сколько его там было), он ощупью двинулся вперед.

Люди внизу тоже не понимали, что происходит; ясно было одно: что-то неладно. Как только капитан ушел, из котельного отделения донесся громкий хлопок. Лопнул пароперегреватель, подумал мистер Макдональд: ничего страшного. Но тут же из дверки, как испуганные кролики, повыскакивали кочегары. И правильно сделали — утечка пара, сказали они (пара под давлением 14 атмосфер, разогретого до 300 градусов). Искать утечку некогда — только успеть убраться: за полминуты кочегарка стала непригодной для жизни.

А в машинном отделении манометры показывали, что давление пара падает, падает. Пароперегреватель сам по себе не мог дать такую утечку. И выяснить ничего было нельзя. В воздухе, разогретом выше ста градусов, голый человек может двигаться, не испытывая особенных неудобств, — при условии, что воздух сухой: пот быстро испаряется и охлаждает кожу. Но если в воздухе есть влага, замедляющая это испарение, человек мгновенно погибнет. В присутствии пара воздух убьет его уже при вдвое меньшей температуре. Теперь представьте себе кочегарку, полную пара с температурой на 200 градусов выше точки кипения! Если зайти туда, он мгновенно ошпарит вас насмерть, а через несколько минут вы, возможно, лопнете.

Капитан Эдвардес добрался до мостика, сопровождаемый дымными вихрями. Мистер Бакстон был, конечно, на своем посту. Он заметил дым, но так же не мог объяснить его причину, как капитан. Капризы ве-

тра — сбивают дым на палубу, а может... но этим вряд ли объяснить такую его густоту. Они до боли в глазах вглядывались в темноту. Но глаза были бессильны.

Рев урагана стал настолько сплошным и ровным, что его можно было сравнить с мертвой тишиной — в том смысле, что он уничтожал все обычные звуки. Нельзя было понять, внутри он вас или снаружи — как боль в ушах глухого.



Из машинного отделения сообщили: что-то сломалось, давление пара продолжает падать.

Падало давление, и, естественно, стали отказывать все механизмы, работающие на пару. Помпы стали вялыми, замерли. Динамо-машины замедлились. Вентиляторы, создававшие в топках искусственную тягу, остановились. Вентиляторы остановились, и огонь стало задувать обратно — со взрывами, которые распахнули дверцы топок и озаряли тьму машинного отделения как вспышки молний. Из-за утечки пар уже охладился настолько, что можно было зайти по крайней мере в какую-то часть кочегарки — но теперь этому препятствовало пламя из топок. При каждом задувании из открытой дверцы вырывался десятиметровый язык огня.

Капитану доложили, что давление пара упало настолько, что остановились помпы, остановились вентиляторы и останавливаются динамо; из топок выбивает пламя. Было восемь часов.

Но если и остановились вентиляторы, рассуждал он, труба сама должна обеспечивать тягу для работы топок, пусть и недостаточно сильную. Из-за того только, что встали вентиляторы, обратная тяга не должна возникнуть. Через разрывы в водяной пыли капитан и мистер Бакстон светили электрическими фонариками на дым, пытаясь понять его происхождение. Он шел как будто из основания трубы. Наверное, шел из основания и, должно быть, заслонял трубу: трубы не было видно.

С упавшим сердцем Эдвардес и Бакстон заставили себя поверить в то, о чем недвусмысленно сказали глаза: дым валил из большой овальной дыры в палубе. Труба исчезла: укатилась за борт, наверное, час назад, но таков был шторм, что мистер Бакстон не увидел и не услышал этого с мостика.

И не укатилась — улетела по воздуху, потому что шлюпка с подветренной стороны была цела.

Труба с оттяжками, способная выдержать поперечную нагрузку в сотню тонн! Ураганный ветер при скорости 75 миль в час навалился бы на нее с силой в 15 тонн. Но давление воздушного потока растет пропорционально квадрату скорости: значит, при 200 милях в час оно будет примерно в 7 раз больше. Получается... впрочем, можете сосчитать сами, как сосчитал в уме капитан Эдвардес, пока мистер Бакстон бежал к машинному отделению, крича, словно безумец: "Трубу снесло! Трубу снесло!"

## 3

Труба парового свистка была скреплена с дымовой трубой: их снесло вместе. Вот и утечка пара — из разорванного паропровода. Всем механикам это стало ясно в ту же секунду, когда они услышали новость.

Но есть аварийный кран, закрывающий доступ пара к свистку, и добраться до него можно двумя путями. Один — со шлюпочной палубы возле бывшей трубы, с наветренной стороны. Но это был путь по чужой территории, и о нем они почти не думали — предположив только, что в таких условиях по палубе двигаться нельзя. Задним числом можно сказать вот что: если бы они указали на этот путь капитану или вахтенному помощнику, тот нашел бы способ туда добраться; хотя мог и провалиться через трубу в дымовую коробку; тогда еще кто-нибудь попытал бы счастья.

Другой путь к крану — по верху котлов, близко к самому месту разрыва.

Только об этом пути они и думали. Но как им воспользоваться? Близко от разрыва — к крану не подпустит горячий пар. Да и к котлам не подойти — топки выбрасывают пламя.

Первая обязанность механика (даже без всяких капитанских приказов) — любой ценой держать пар. Но в топках возникала обратная тяга, и некоторые уже задуло: из патрубков через открытые дверцы брызгал горячий мазут и растекался по полу кочегарки. Первым инстинктивным побуждением мистера Макдональда было: снова разжечь. Он и второй механик стояли перед дверью котельного отделения — настолько близко, насколько позволяла осторожность, — и в это время из ближайшей топки снова вырвалось пламя.

— Ага, факел! — взревел мистер Макдональд. — Зажечь кормовую центральную!

Мокрый насквозь кочегар-китаец выдернул факел из подставки, поджег в соседней топке и кинул в горячее чрево погасшей.

Раздался взрыв, напрочь оторвавший дверцу топки. На мгновение весь воздух стал огнем, и в самой середине его — черный предмет, китаец, поднявший руки, чтобы заслонить лицо. Огонь лизнул обоих механиков, опалив кожу. Они услышали вопль китайца. Затем — чернота, такая черная, что Макдональд и Сутер стояли беспомощно, и огонь еще вспыхивал в их слезящихся глазах.

Что-то черное выползло из кочегарки и проползло между ног Макдональда. Он в ужасе схватил этот предмет — оказалось, китаец.

— Ты ранен? — крикнул мистер Макдональд.

— Моя совсем холосо, — тихо отозвался китаец.

Тут мистер Макдональд счел нужным сходить в свою каюту и переодеться; и ушел, оставив за себя Сутера.

Как только старший удалился, Сутер подозвал Гэстона.

— Надо остановить утечку, закрыть кран.

— Да, — сказал Гэстон, — но мы не сумеем, пока из топок бьет пламя.

— Значит, надо погасить, — сказал Сутер, — погасить, чтобы подойти к котлам.

Тут Гэстон заметил, что огонь не касается пола — языки его загибались кверху. Сутер и Гэстон взяли по метловищу и, прижимаясь к полу, вползли в кочегарку под огнем, как отбивные в газовом гриле. Там, с перепачканными в мазуте лицами и поджариваемые сверху, они изловчились закрыть палками краны нескольких топок. Теперь можно было подобраться почти вплотную к котлам. Но одна топка им не далась. Она была сдвоенная — две топки с одной камерой сгорания. Заднюю им удалось погасить, но передняя продолжала выбрасывать пламя, и они не могли обогнуть ее, чтобы закрыть кран.

Оставалось только одно — перекрыть главный трубопровод. Это означало погасить все топки. А снова разжечь их без трубы и без искусственной тяги будет нелегко.

Не только пар упадет — огня тоже нигде не останется.

Однако это представлялось неизбежным. Покуда не перекроют утечку, пар поднять не удастся, и от огня никакой пользы, а только опасность. Прежде всего — перекрыть утечку. Когда она будет устранена, можно будет подумать о том, каким образом снова разжечь топки.



В отсутствие старшего механика мистер Сутер под свою ответственность перекрыл подачу топлива и погасил все топки. Было уже десять — меньше трех часов прошло с тех пор, как капитан призвал их держать пар любой ценой; а теперь и пара не стало, и огни погасли.

Таким образом, в десять часов "Архимед" сделался совсем мертвым. Здесь все работало на пару или на электричестве — на современном судне сила человека играет ничтожную роль. Не стало пара, не стало и электричества. Темно было повсюду, если не считать нескольких булавочных головок света — электрических и керосиновых фонарей. Вода по-прежнему лилась в раскрытый носовой люк, а помпы бездействовали. Радио, работавшее от электросети, онемело. Винт замер, руль не двигался. "Архимед" был мертв, мертв как бревно, носимое волнами, он больше не был судном. Конечно, на нем оставались люди, но людям нечего было делать, потому что, раз отказавшись от мускульной силы, суда уже не могут прибегнуть к ней в час нужды.

Хорошо оснащенная шхуна водоизмещением в каких-нибудь двести тонн, выдержи она этот шторм, не окоченела бы, как "Архимед". Помпы на ней качали бы воду, потому что они ручные — качали бы, пока жива команда. Мачты, конечно, снесло бы, но утихнет шторм, и дело за плотниками: нарастить новое дерево на обломках, поставить временный парус, починить руль — и можно ковылять домой. Насколько ушел вперед большой современный пароход от маленькой шхуны, настолько сложнее его команде, когда он лишился энергии. Капитан Эдвардес, теперь командир безжизненного бревна, начальник усердной, но поневоле праздной команды, отлично это сознавал.

Мистера Макдональда он нашел в его каюте, все еще (полчаса спустя) переодевавшегося, и они вместе вернулись в машинное отделение.

**Четверг**

## *Глава* V

В полночь капитан Эдвардес зашел в салон. Горела керосиновая лампа на кардановом подвесе. Салон являл собой картину разрухи. Он был наклонен под крутым углом, в нижнем краю плескалась вода, там плавали разломанные стулья и мелкий мусор, и вода иногда докатывалась до верхнего края. Помощники капитана, практиканты и несколько механиков — наконец-то вперемешку — сгрудились позади стола, стоя. Никто не думал о сне — даже если бы спать было возможно, — все ждали затишья, которому давно полагалось наступить. С ними был главный стюард, кругленький человек, похожий на дворецкого. Те небольшие запасы

продовольствия — по большей части сухари, — что хранились в буфете, он до капитанского распоряжения запер: их предстояло разделить между начальством и матросами, англичанами и китайцами. Кладовую затопило, ничего больше он достать не мог, пока не заработает помпа. Единственное, чем богат был буфет, — алкоголь, но, как ни странно, никто его не хотел, даже приложиться.

Пахло затхлым морем, затхлой пищей, затхлым помещением; но к этому примешивался и другой душок: горький, аммиачный. Слабый, но он был знаком капитану. Его не забудешь, если раз услышал. Это был запах страха. Дисциплинированные люди могут управлять своими мускулами, даже выражением лица. Но они не могут управлять химией своих потовых желез. Капитан Эдвардес втянул носом воздух и понял, что люди нуждаются в ободрении. Он их ободрил: глаза его блестели, кустистые брови торчали, как рога, толстое тело стояло прочно, как маяк на скале. Он был полон сил, он чувствовал себя пророком, способным разносить мужество по всему судну полными черпаками.

*

Когда начался шторм, он был встревожен: дело в том, что он не впервые угодил со своим судном в тропический шторм. Однажды, еще молодым человеком, на своем первом судне он попал в тайфун. Шторм был, конечно, не такой страшный, как этот, и они вышли из него без ущерба; но нынче, говорят нам учебники, вообще нет нужды попадать в тайфун: это твоя оплошность. А владельцы верят учебникам. Вдобавок то, что он сделал тогда, он сделал намеренно: намеренно повел судно туда, где ожидался шторм, хотя, если бы остался там, где был, шторм миновал бы их. Да, но там, где он находился, было хитросплетение проливов и островов. Один шанс из десяти, что шторм застиг бы его там. Но если этот один из десяти выпадет, при том что нет пространства для маневра, судно считай погибло. С другой стороны, если он выйдет в открытое море, девять шансов из десяти, что его настигнет шторм. Да, но на просторе это не слишком опасно. Так он рассудил: пошел в открытое море, попал в шторм и вышел невредимым. Однако оправдать свое решение перед владельцами оказалось трудно. В конце концов, они простили его — но не забыли. Владельцы не забывают. А если и забудут, им стоит только заглянуть в папки, чтобы все вспомнить.

Так что неудача подстерегла его не в первый раз, имелась предыстория, и второй раз его могли не простить. Правда, в этот раз он не пошел против учебников, он сделал все, что они рекомендовали, — и все же попал в шторм. На этот раз — не сознательный риск, просто невезение. А он отлично знал, что, если умный, рассчитанный риск могут иногда простить, невезение никогда не прощается.

Да, он был встревожен. Но только вначале. Ибо скоро шторм достиг такой силы, что стало ясно: дело решается уже не между ним и владельцами, а между ним и Создателем. Это все меняло. Это больше его устраивало. С этой минуты он стал подобен художнику в приливе вдохновения. Поворотной точкой стал приход ребят: когда они влезли на мостик, и сами храбрые, и уверенные в нем. Они его воспламенили. Потом, когда шторм достиг немыслимой мощи, ярче разгорелось и это пламя: ум его и тело охвачены были необыкновенным возбуждением. Не ос-

талось места для мыслей о владельцах. Ни для чего не осталось места, кроме переполнявшей его радостной энергии и сознания, что сейчас все его способности на пределе.



*

Но вернемся в салон. Капитан говорил о близком затишье.

— ...Понадобятся все рабочие руки, — предупреждал он. — С китайцами могут быть сложности. В этом я полагаюсь на вас, джентльмены. Вы знаете не хуже меня, что, если мы все выполним свои обязанности, судну ничего не грозит. До вечера все закончится: мы выйдем и увидим солнце. Но китайцы этого не знают: они думают, что мы тонем. Они невежественны, они взвинчены и дрейфят. А когда китаец дрейфит, он сидит на заду и ни черта не делает. Вы должны показать им пример, джентльмены. Пусть увидят по вашим лицам, что бояться нечего. Тогда они сделают все, о чем их попросите. Веселее. Вы знаете, что мы в полном порядке: так пусть китайцы увидят, что вы это знаете.

Минуту спустя он снова высунул голову в салон.

— Когда стихнет, всем помощникам явиться на мостик.

Все это ему пришлось прокричать, чтобы его услышали.

## 2

Только около двух часов ночи погода стала слегка меняться. До сих пор ветер дул с северо-востока, непрерывно и с постоянной силой. Теперь он стал порывистым. Он обрушивался с разных сторон, словно вокруг них рвались тяжелые снаряды. Порывы были, как и прежде, очень сильны, но совершенно непредсказуемы по направлению.

Некоторые из них, с прежде подветренной стороны, ударяли в борт как взрывные волны, и почти казалось, что они могут поставить судно снова на ровный киль. Но тяжесть намокшего груза держала его неумолимо; а другие порывы, опять с севера и востока, накреняли его еще сильнее.

Капитан Эдвардес знал, что область этого бурного хаоса находится обычно на рваной границе мертвого затишья, в центре урагана. Значит, центр должен быть близко. Передышка может оказаться недолгой, и они должны быть к этому готовы. Он вбежал в салон вызвать помощников. Он отправил Бакстона к китайцам.

Бакстону пришлось перебежать колодезную палубу, чтобы попасть в носовой кубрик. Это было довольно большое помещение с койками по одной стороне и по обоим торцам, каждая с занавесками другого цвета (моряки-китайцы не любят, чтобы нарушали их уединение). В кубрике обычно чистота и порядок; запаха практически никакого; на переборке — китайский календарь. Но сейчас все было не так. Все было смыто. Ни занавесок, ни постелей, ни календаря — водовороты и одиноко плавающий, разорванный соломенный тюфяк; голые койки.

И ни одного китайца.

Напротив были каюты младших командиров. При постройке судна они предназначались для европейцев и потому были чуть комфорта-

бельнее, чем, вероятно, требовалось их нынешним обитателям, китайцам (младшим командиром, грубо говоря, считался любой специалист). И эти оказались пустыми, кроме каюты плотника. Плотника там, правда, не было. Был мистер Рабб.

Он стоял как будто в задумчивости и держался за койку. Мистер Бакстон сказал ему, что капитан вызывает на мостик, и Рабб молча вышел. Давно ли он здесь? — подумал Бакстон и вдруг сообразил: давно — он давно нигде не видел мистера Рабба.

Мистер Бакстон бросился через колодезную палубу назад, к средней надстройке. Здесь на открытом месте по обе стороны от машинного отделения он нашел матросов-китайцев. Они были мало похожи на людей. Они валялись кучей, как полудохлые рыбы на причале. Многих рвало. При каждом внезапном крене куча разваливалась или же целиком съезжала то к одной стенке, то к другой; и тогда лишь по слабому блеянью можно было понять, что они живы.

При виде их мистер Бакстон ужаснулся. Какими силами можно добиться от них полезной работы? Поднимать их сейчас было бесполезно. Надо ждать затишья — может быть, тогда они придут в себя. Он вернулся на мостик.

## 3

Весь командный состав был уже там, даже доктор Франгсон и радист. Ждали. Затишье должно было наступить уже сейчас.

Но сейчас мистер Бакстон стал сомневаться, что оно вообще наступит. Он знал, что таковы многие ураганы: настоящего затишья в центре нет, только беспорядочное волнение. Они ведут себя совсем не так, как велит Министерство атмосферы.

Или же судно не попадет в настоящий центр урагана. Центр может пройти чуть в стороне — краем. Он поймал взгляд капитана: увидел, что Эдвардес думает о том же самом. А капитан Эдвардес вдобавок производил в уме расчет. Они необычно долго шли к центру — семнадцать часов. Вполне может статься, что до другого края — еще семнадцать часов. За это время в открытые люки попадет много воды. Если столько же, сколько уже попало, судно опрокинется. До второй атаки люки необходимо закрыть.

— Начнем немедленно, — сказал он. — Ветер спадает. Мистер Бакстон возьмет на себя носовые люки, мистер Рабб — кормовые. Мистер Уотчетт пойдет с мистером Бакстоном. Мистер Фостер, вы доставите лес: механики его приготовили. А вы, доктор, будьте здесь, наготове.

— Сэр, мне бы поговорить с китайцами, меня они знают лучше, чем помощников, — сказал доктор Франгсон (что было правдой, поскольку, охотясь за необычной музыкой, он сделался большим китаистом).

— Попробуйте, доктор.

Едва они повернулись к выходу, как судно сотряcла чудовищная волна; она оторвала правый трап, и он стал бить в борт, как паровой молот. Капитан по-крабьи перешел в конец мостика и посветил фонарем вниз — посмотреть, что там грохочет. Понял, но не мог придумать, как закрепить трап. К счастью, об этом позаботилось само море: через несколько минут оно оторвало трап и проглотило его, прежде чем он успел пробить борт. Тогда капитан вернулся в рулевую рубку.

Тут все было разгромлено. Он обвел ее лучом фонаря. Ветер не только разбил окна — он вырвал чуть ли не все осколки из рам и теперь бушевал внутри. В первый миг капитану показалось, что рубка пуста, но луч фонаря задел двух людей, скорчившихся на полу, словно под пулеметным обстрелом.

Капитан Эдвардес снова посветил туда. Это были Рабб и Дик Уотчетт.



*

Дик, вы помните, оказался заперт в своей каюте и целый день — с двух часов, с тех самых пор, когда отказало рулевое управление, — пребывал в бездействии. В первый час он думал, что судно тонет. Клаустрофобия мучила его так, что он почти терял рассудок. Надо было чем-то заглушить ее. Надо сильно думать о чем-то другом. Поэтому сначала он попытался думать о Боге, но Бог ускользал. Уходил в тень. То же самое — дом: и он ускользал, не давался. В это тяжелое время внутренний взор мог задержаться только на одном сияющем предмете — на теле Сюки. Оказалось, он мог его удержать. Это было что-то ярко освещенное и осязаемое среди теней.

Но потом воображение сыграло с ним странную шутку: образ ее наготы стал занимать не только его ум, но и тело. Его это опечалило: он понял, что не может любить ее так, как ему казалось, раз способен о ней так думать. Но он все равно продолжал — настолько отчаянным было его положение; чтобы сохранить рассудок, стоило даже запачкать свою любовь.

Наконец после полуночи, когда ветер сделался порывистым, какой-то страшный удар волны освободил заклиненную дверь, и Дик вышел. Долгая работа воображения обессилила его, и добавился новый страх: он чувствовал, что теперь Бог вряд ли благоволит ему. Из каюты он направился прямо в салон, не выходя на палубу; там он и оставался вместе с другими, пока не пришла команда явиться на мостик.

Здесь он впервые ощутил непосредственно, что творится в атмосфере, — только в отличие от остальных у него не было времени привыкнуть. Тем не менее, пока капитан отдавал команды, он держался, до самой последней минуты — он уже готов был последовать за мистером Бакстоном вниз, но тут от особенно сильного толчка — того, что сорвал трап, — он упал на четвереньки. Дальнейшее произошло мгновенно: вместо того чтобы ползти по трапу за остальными, он, не отдавая себе отчета в своих действиях, заполз в рулевую рубку.

Он, конечно, не знал, что так же поступил мистер Рабб.

Что до мистера Рабба, то он отправился сюда прямо из каюты плотника. В сущности, сознание его уже не работало. Действовал он автоматически, подобно лунатику, с непоколебимой целеустремленностью, рождаемой чистым инстинктом, — как у акулы, хватающей добычу. В этом состоянии он находился почти непрерывно с тех пор, как впервые поддался страху при первой попытке закрепить люки.

Теперь он сидел в углу, зажмурясь, с застывшим лицом, а Томас с увлеченностью мастерового, светя ночными своими глазами, отразившими луч фонаря, снова и снова пытался раздвинуть ему веки — тщетно.

Капитан Эдвардес смахнул лемура рукой, как сгоняют стервятника с мертвого тела. Потом остановился на мгновение, чтобы удержать в себе

странную новую энергию, которую он должен был перекачать в эти два бескостных тела.

— Мистер Рабб, — тихо прорычал он, — идите на ют и закройте люк номер шесть. Мистер Уотчетт, идите вперед к мистеру Бакстону и закройте люк номер два.

Мистер Рабб не ответил и не шевельнулся. А мистер Уотчетт заговорил:

— Не могу, сэр, — сказал он жалким голосом.

— Я не отдаю команд, которые нельзя исполнить, — снова прорычал капитан, так же тихо. — Вам стало страшно — но это минутное. Это пройдет. Это пройдет, мальчик. Слушайте, я считаю до десяти. Когда я скажу "десять", вы соберетесь. Когда я скажу "десять", вы встанете на ноги. Дьявол! Я знаю, что вы не трус, иначе не стал бы тратить на вас время. Раз, два, три...

Считая, он светил на их лица. Уотчетт посмотрел на Рабба — и первый раз в жизни увидел, как выглядит Страх во всей его наготе. Уотчетт был смертельно напуган ветром; но такой страх, как у мистера Рабба, страшнее любого ветра. Когти ветра не так сильны.

— ...Восемь, девять...

— Закрыть номер два с мистером Бакстоном, — механически повторил он и пополз на животе ногами вперед по трапу, постепенно смелея.

А мистер Рабб молчал — казалось, он без сознания. Его надо было будить.

— Подлая шкура! — начал капитан Эдвардес, но на этом не остановился. Он пнул Рабба и продолжал ругаться; он испытывал стыд, брань не была для него привычна, но, отчаянно надеясь на ее тонизирующие свойства, он вспоминал слова, которые не употреблял со школы. Однако во влажном, зеленом, почти фосфорическом лице Рабба ничто не шевельнулось в ответ. С таким же успехом он мог бы дать ему грудь.

Но этого нельзя было так оставить. Такой страх на борту хуже чумы: он разносится быстрее. Этого нельзя допустить.

Револьвер его лежал в каюте. И он пошел за ним: оставалось только одно средство — пуля.

Но тут мостик сотрясла еще одна громадная волна, и в голову ему пришло более умное решение. Он притворно вскрикнул, упал на пол рядом с Раббом и вцепился в него пальцами.

— Боже! — завопил он. — Ты чувствуешь? Мостик рушится. Еще одна такая волна — и его снесет к чертям собачьим, и нас с ним к чертовой матери! Слышишь, скорее вниз, пока не поздно!

По телу мистера Рабба пробежала дрожь. Без звука, без признаков жизни на помертвевшем лице он подполз к трапу и скрылся. Но Эдвардес от него не отставал. И когда в Раббе забрезжило что-то похожее на сознание, он обнаружил, что сидит в дверях средней надстройки и надзирает (в некотором роде) за старым доктором Франгсоном и тремя китайцами, закрывающими люк номер шесть.

*

Добравшись до передней части палубы, Дик Уотчетт столкнулся в темноте с мистером Бакстоном. Бакстон почувствовал, что он дрожит.

— В чем дело, Дик? — спросил помощник капитана.

— Мне страшно, — сказал Дик, удивляясь собственному бесстыдству.
Но на мистера Бакстона это как будто не произвело впечатления.
— А как же. И мне страшно. Но вы здесь, а остальное не важно.

*



По дороге к мостику капитан Эдвардес споткнулся еще об одно тело, скорчившееся в углу. Это был практикант Беннет, которого чуть не убило накануне при ремонте люка. Теперь и его настиг страх.

Эдвардес не стал его ободрять. Он поднял его, отнес в свою каюту и уложил на койку.

# Глава VI

Эти хаотические порывы ветра, нисколько не ослабевавшие, начались полчаса назад. Каждый шквал сообщал о своем приближении издали, нарастающим воем — и обрушивался на судно, иногда с двух или с трех сторон сразу. Вскоре они поняли, что другого "затишья" им не видать.

Тьма была непроглядная.

Но работа была сделана — вопреки всему. Бакстон и Дик, пристегнув фонари к поясам, работали вдвоем на носовых люках, а второй помощник Фостер подавал им лес. На корме — доктор Франгсон; каким-то чудом ему удалось привести в чувство трех китайцев и приставить к делу. Но работа двигалась плохо: у старого доктора не было ни навыка к этой работе, ни сил — только усердие. Капитан Эдвардес, следуя по пятам за Раббом, пришел к ним, чтобы помочь; но помощи не получилось. Из-за китайцев — они сочли слишком большой честью для себя работать рядом с капитаном и мгновенно из моряков превратились в лакеев: стоило капитану взяться за что-нибудь и потащить или подтолкнуть, как шесть желтых рук бросали свои дела, чтобы тащить или толкать вместо него. Он пытался работать, но они перехватывали у него работу, и хаос только усугублялся.

Так что он оставил свои попытки. Он ушел к носовым люкам, чтобы заменить Бакстона, а Бакстона (чуть менее величественную фигуру) отослал на корму.

Бакстон споткнулся о Рабба, сидевшего в дверях.

— Идите к носовым люкам, мистер Рабб, — сказал он, — и помогите капитану.

Рабба охватил гнев.

— Почему именно я? — сказал он. — Это не мое судно. Вы цепляетесь ко мне, вы взваливаете на меня всю работу. Будет у меня хоть минута покоя?

Он по-настоящему разъярился.

Пожалуйста вам! Он трудился весь день и ночь в нечеловеческом напряжении, а его изводит этот помощник! Однако он повернулся, чтобы идти к люкам — и в самом деле хотел пойти, но по дороге смрадное черное облако снова затмило ум — его снова одолел страх. Поэтому он решил, что сперва немного передохнет; он спустился по трапу — и очутился среди китайцев. Сбившихся в кучу, как слепые щенки от холода. Рабб

на секунду задержался среди них, к его страху добавилась доля их коллективного страха, и он зарылся под них, словно желая совсем скрыться из виду.



## 2

Когда люки были закрыты, капитан Эдвардес отыскал стюарда. Он хотел накормить команду, но выяснилось, что еды почти нет, а воды нет совсем. Поэтому они со стюардом поделили то, что было, на всех поровну и раздали в салоне при свете лампы. После семнадцатичасового поста завтрак получился убогий: два-три сухаря и крохотный кусочек голландского сыра. Англичане приняли паек с видимым удовольствием; китайцы омрачились, а потом пошли за деньгами и тайком стали совать их помощнику, прося прибавки. Он не мог убедить их, что еды больше нет ни для кого, что все получили поровну. Китайцы были уверены, что он и капитан придержали провиант для себя и за несколько долларов поделятся с ними.

Однако отсутствие воды было серьезнее, чем нехватка пищи. Доступ к цистернам, как я вам говорил, — через люки в полу машинного отделения. Но пол машинного отделения был залит морской водой; открыть цистерну — значит испортить то, что в ней хранится.

Только у одной цистерны с пресной водой люк находился на незатопленном месте, но она, как назло, была пуста, то есть технически пуста — настолько пуста, насколько ее могли выкачать насосы. Однако насос оставляет несколько сантиметров на дне. Поэтому Гэстон и стюард отвинтили люк, Гэстон с ковшом и кувшинами был спущен туда и начерпал сколько мог. Набралось немного, только смочить горло — и это все, воды больше не будет, пока они не выйдут из шторма. Перед тем как закрыть крышку, они пустили в цистерну морскую воду — балласт.

Пока занимались водой, судно вышло из центра — если это можно назвать центром. Начался второй раунд схватки. Вернее, так они думали.

Когда вы идете к центру урагана, ветер дует (в основном) с одной стороны. Пересекли центр, вышли на другую сторону, и тут он дует, конечно, с противоположной. Когда "Архимед" вышел из центра, ветер снова стал более или менее постоянным. Но дул как будто бы с той же стороны.

Судно развернулось? Эдвардес посмотрел на компас: нет, курс прежний.

Значит, "Архимед" не пересек центра: этого не могло быть. Он только приблизился к центру, и его отнесло назад. Он был в том же квадранте шторма, что и прежде.

Так что шторм не прошел над ними, он утягивал "Архимеда" за собой.

Семнадцать часов в ожидании передышки прежде казались долгим сроком. Теперь о таком можно было только мечтать. Ибо теперь капитан понял, что рассчитывать на избавление даже через семнадцать часов напрасно: пока шторм их засасывает, на избавление рассчитывать нечего.

*Рассчитывать* вообще ни на что нельзя.

Рассвело; но видимость от этого не улучшилась. Все скрывали брызги — распыленный океан. Была черная ночь, стала белая, и только.

Не спал никто; но только один человек продолжал работать все утро. Радист.

У него унесло антенну, но этим его неприятности не ограничились. Электричества в сети не было. Но на такой случай есть аварийный генератор с керосиновым движком наверху радиорубки. Да, только в это время отцепившаяся грузовая стрела разбивала движок вдребезги. Пусть: в самой рубке есть аварийные батареи, рассчитанные на пятьдесят часов непрерывной работы. Да, но шпигаты рубки забил мусор, и рубка была полна воды. Когда он вытащил батареи и осмотрел, оказалось, что они тоже полны морской воды. Так что для начала он шесть часов сушил их паяльной лампой. Потом тем же способом ему пришлось сушить все важные детали оборудования, чтобы заработал аварийный передатчик с запасной антенной. Тем не менее к девяти часам он наладил передатчик. Засветилась большая красивая лампа, зажужжал мотор.



В начале каждого часа на пятнадцать–восемнадцать минут все судовые передатчики замолкают: в это время можно подавать только сигналы бедствия. В 9.16 радисту удалось установить связь с автоматическим приемником сигналов бедствия на другом судне — в пятидесяти или шестидесяти милях; он связался с ними, услышал об *их* погоде. Там был сильный ветер — настолько сильный, что они могли бы даже предположить (если бы не ноябрь) существование где-то неподалеку урагана — на северо-востоке. И "Архимед" сообщил, что ураган действительно есть, только не к северо-востоку от них, а к юго-западу.

Не поняли вашу погоду, — радировали те слегка раздраженно, и прежде чем "Архимед" успел ответить, передатчик умер. Рубку снова затопила соленая вода, и всюду замкнуло.

Это было в 9.30. Но, по крайней мере, внешний мир знал, что они в беде: мир, не затронутый ураганом, об урагане знал. Владельцы в Бристоле услышат об этом очень скоро и будут очень встревожены. Жаль, что Эдвардес не мог передать для них сообщение, успокоить их, сказать, что "Архимед" справляется прекрасно, в самом деле. Но надежды оживить радио не было — покуда они утопают в брызгах. Они отрезаны, помощи ждать не от кого (и даже владельцев нельзя утешить).

Однако сам тот факт, что удалось связаться с другим судном, вселил в них бодрость. Крышки люков, которые удалось уложить с таким трудом, снова вырвало. Что из того? Они продержались по меньшей мере два часа. Два часа не летела в трюм водяная пыль. Значит, "Архимед" продержится на плаву лишних два часа — а от этого может многое зависеть. В конце концов, если они опять приблизятся к центру, то смогут снова закрыть люки — и, пожалуй, выгадать еще два часа.

## 3

С тех пор как погасли топки, о машинах никто особенно не думал; теперь стали думать. Пар. Утечка ликвидирована; если будет пар для помп, водяная пыль, летящая в люки, им не страшна. Надо поднять пар, решило палубное начальство.

Капитан Эдвардес приказал мистеру Макдональду разжечь топки.

Это нелегкая задача — разжечь холодные топки, даже в доке и при наличии трубы.

Мазут надо разогреть паяльными лампами, и на это нужно время. Во-вторых, его надо вручную накачивать в форсунки. Далее, пока пара недостаточно для работы вентиляторов, полагаться можно только на естественную тягу в трубе. А когда трубы нет вовсе, понимали механики, сделать ничего нельзя. Но капитан был непреклонен: они должна разжечь топки. И мистер Макдональд передал его приказ так, как будто нет ничего на свете проще. И механики взялись за дело так, словно оно было выполнимо. Не им объяснять старшему, что дело невозможное: он это знает и сам, и не им объяснять капитану: сами топки должны объяснить. И объяснят, очень скоро и доходчиво.

Что до китайцев из машинного отделения, они почему-то не впали в панику, как палубные матросы. Им было обидно, что помощник хочет за припрятанную провизию больше, чем они могли дать, — но это только укрепило их в преданности своему начальству. Мистер Макдональд, полагали они, удовлетворился бы умеренным барышом, соизмеримым с их средствами. С голоду (если бы помощник проявлял прежнюю алчность) они могли бы поднять бунт; но до этого еще не дошло, и пока что они подчинялись командам так, словно все было нормально. Гэстон велел им зажечь паяльные лампы, греть мазут. Понимали они, что топки разжечь невозможно? Бог знает. Они никак не выразили своего отношения к приказу и занялись лампами. Они работали впотьмах, пол под ними кренился, и при каждом крене катался по полу туда и обратно маленький вонючий прилив.

На разогрев мазута ушло несколько часов. Наконец старший механик скомандовал зажечь одну топку. Как и ожидалось, огонь выбросило назад — взрывом. Механик послал за капитаном, и капитан явился. Никто ничего не сказал. Пусть объясняются топки: для демонстрации их зажигали снова и снова, покуда горячий мазут не потек по полу.

## 4

Мистер Макдональд уже успел переодеться, в последний раз: он снова был на посту. Старики приспосабливаются ко всему медленнее, чем молодые, но все же приспосабливаются. Большой опыт, упрямство, а главное, почти физическое родство с машинами двигали им в его сражении со штормом, и чем дальше, тем неуклоннее. Теперь этот порыв настолько захватил его, что, если бы и появилась возможность передохнуть, расслабиться, он все равно не смог бы.

Капитан ушел, и Макдональд повернулся к Сутеру.

— Вспомогательный, — сказал он.

Маленький вспомогательный котел дает пар для малых механизмов (лебедок и прочего) в порту, когда разжигать главные топки нет смысла. Он находится в отдельном помещении, над машинным отделением, рядом с котельным кожухом. У него свой дымоход, крохотный по сравнению с главной трубой, с которой он скреплен для прочности. Поэтому его, конечно, вместе с ней и унесло. Но пенек, около метра, остался. Кроме того, топка вспомогательного котла — с естественной тягой, от вентиляторов не зависит, и оставшейся части дымохода ей *могло* хватить для работы. Так что когда Сутер отозвал механиков от главных топок и велел разжечь вспомогательный котел, они

взялись за работу рьяно. Эта работа была не безнадежной. И если получится — будет пар хотя бы для помп, а может быть, и для вентиляторов — и тогда, пожалуй, удастся разжечь главные топки, даже без трубы. Судно снова оживет. Гэстон устал как собака, но принялся вручную качать мазут (чтобы мазут распылялся, вылетая из форсунки, он должен быть под давлением), словно только и ждал случая поупражняться. Он качал так, как будто греб за Оксфорд или за Кембридж, и с радостью занимался бы этим, если надо, весь день. Старший не сообщил капитану о своем плане: машинное отделение действовало на свой страх и риск, готовя палубным подарок.



К четырем часам дня котел был подготовлен. Паяльные лампы свою работу сделали. Мазут был под давлением. Старший механик дал команду; топливный кран открыли; в рифленое нутро топки сунули факел. И для начала она тоже выплюнула огонь. Но они не отчаивались. Может быть, просто неудачный порыв ветра; пусть покуражится. Несколько вспышек могут быть кстати: если разогреют топку, возникнет тяга.

Возможно, одна из этих вспышек повредила форсунки. Канал в них не прямой: посередке проходит винт, так что мазут движется к распылителю по спирали, все быстрей и быстрей, завихряясь. Может быть, там поломка. Или же какая-то грязь прошла сквозь фильтр и забила канал. А может быть, просто не хватило давления. Так или иначе, форсунки перестали работать. Мазут из них выходил не распыленный, а тек струйкой. Хотя и достаточно горячий, чтобы воспламениться.

Но они уже вошли в раж и не могли остановиться. Горячий мазут вытекал из дверцы на пол, а они снова и снова пытались разжечь топку. И даже не заметили, как загорелся мазут. Так что через несколько минут огонь разлился по всему помещению, и механики (к счастью, мокрые и оттого еще не загоревшиеся) прыгали в нем, словно дети через костер.

При крене огонь взбегал по железным стенам, выплескивался на них, как вода, выплескивался за высокий порог. А мазут все вытекал из форсунок. Если пожар вырвется наружу — вот будет подарок палубным! Скоро в этом замкнутом пространстве, все сильнее нагревающемся, пары мазута и воздух образуют гремучую смесь. На минуту Гэстона парализовала апатия. Что толку? Конец будет быстрым. Что толку биться, если каждая попытка отвести опасность приводит к новой опасности?

По команде старшего механики со всех ног кинулись за огнетушителями, и апатия у Гэстона прошла. Все вместе они стали упорно теснить огонь пеной. Вытекавший мазут подкармливал пламя, и оно росло перед ними, всползало по стенам; минута-другая, и оно перекинется через порог. Но они действовали методически, а не как попало: рассекали пламя на мелкие участки, обстригали их с краев; наконец, каждый пожарчик загоняли в угол и там душили, один за другим. И одолели в конце концов.

Гэстон с раструбом в руках случайно оглянулся и увидел в дверях наблюдавшего за ними капитана. Ну, теперь наверху поймут. Машинное отделение больше ничего не может сделать. Что дальше — решать самой Палубе (если тут есть что решать).

— Довольно, — сказал капитан Эдвардес. — Все наверх. Чинить люки. Мы уже в центре — на этот раз без дураков.

Погашен был последний огонь, и слова капитана заставили механиков вспомнить о внешнем мире, про который они совсем забыли в пылающей котельной. Они вдруг заметили, что рев урагана смолк: сменился ватной тишиной. Но что-то неладно было с этой тишиной: все равно приходилось кричать, чтобы тебя услышали, — так же как во время шторма. Словно тишина и впрямь была ватным одеялом: не просто отсутствием звука, а чем-то толстым, рыхлым, глушившим звук. Голоса их глохли еще в глотке, шаги были бесшумны.

Они не понимали, что нельзя долго жить среди такого грохота и не оглохнуть.

Воздух был разрежен так, что хотелось вздохнуть поглубже, как в горах, но он не бодрил — он был сырой, тяжкий и жаркий почти до невыносимости, даже для механиков. Крупные капли пота, не испарявшегося в сыром воздухе, стекали по губам, соленые и теплые.

В замученном черном небе светилась, не потухая ни на секунду, одна сплошная зарница.

Впервые с тех пор, как шторм набрал полную силу, они могли увидеть все судно целиком. Впервые они увидели зияющий кратер на месте трубы. Смятые грузовые стрелы, скрученные штаги. Рулевую рубку без стекол, как разбитый парник. И крен: поначалу он чувствовался, потом, привыкнув, они почти забыли о нем; но сейчас увидели косой горизонт, и океан встал перед ними кручей, словно готовый вылиться за край мира; непонятно было, почему он не хлынет через подветренный фальшборт. И он был полон акул, которые смотрели на тебя глаза в глаза, чуть ли не сверху вниз. Казалось, в любую минуту они могут соскользнуть по наклонной зеленой воде и грохнуться прямо тебе на голову. Они явно чего-то ждали, и ждали с большим нетерпением.

Но акулы были не единственными живыми существами. Живыми существами была покрыта вся разгромленная палуба и надстройки. Живыми, но неподвижными — птицами, даже бабочками и саранчой. Измученное черное небо беспрерывно озарялось молниями, и с топа мачты и с грузовых стрел струилось яркое свечение, словно электрические волосы; но большие черные птицы сидели прямо среди них не шевелясь. На главном компасе сидели три грифа. Большая птица, вроде журавля, сложив крылья, казавшиеся чересчур большими для нее, сидела на шлюпке и глядела сквозь людей безразличным взглядом. Несколько цапель попытались сесть на подветренный фальшборт, обдаваемый волнами; акулы поснимали их, как яблоки с дерева. И птицы, похожие на ласточек: они скопились словно перед перелетом. Они обсели все штаги и поручни. Но лететь не собирались. Когда ты хватался за поручень, чтобы удержаться на ногах, они не шевелились; приходилось их сталкивать. И тогда они просто падали.

Палубу покрывала черная липкая смола, извергнутая трубой. Птицы вязли в ней, как мухи в липучке. Капитан и помощники ходили босиком и наступали на птиц — свободного места на палубе не было. Я не хочу на этом задерживаться, но должен рассказать вам все как было и покончить с этим. Ты чувствовал, как хрупкий скелет хрустит под ногой, но не наступить было невозможно, и слипшиеся перья даже не трепыхались.

Ни одна птица, даже раздавленная и полураздавленная, не кричала.

Передышка? Это затишье обессиливало хуже урагана. С каждой минутой птиц прибывало. Больших птиц сидело столько, что в вооб-

ражении капитана Эдвардеса (уже полубредовом) этот дополнительный груз на надстройках все сильнее кренил судно: они прилетали тучами и чудовищным весом своим уже опрокидывали "Архимеда", и вся команда съезжала по скользким палубам к заждавшимся акулам. Маленькие птицы — среди них колибри — садились на фуражку капитана, на плечи, на вытянутую руку, и невозможно было их стряхнуть: жужжа крыльями, они вцеплялись булавочными коготками даже в уши.



Только работа могла отвлечь тебя от птиц; к счастью, ее хватало: надо было снова заложить люки, затянуть тентами вместо брезента. Но как она может отвлечь, если птицы садятся на тебя и цепляются за тебя даже во время работы?

Теперь они мечтали о ветре, и работа была закончена до того, как он задул.

А когда задул, с противоположной стороны, и унес птиц к их гибели, все были благодарны ему.

Слава богу, ни одной из них больше не пришлось увидеть.

# Часть вторая

**Пятница**

## Глава VII

Назавтра в полдень капитан и мистер Бакстон стояли на мостике вдвоем. Это была пятница, а ураган начался в среду утром. В четверг утром они, кажется, что-то ели — сухари? И воды глотнули. Что до сна — не спали они уже две ночи и даже не отдыхали ни минуты.

Шторм опять бушевал вовсю, бушевал с тех пор, как унес птиц.

От бессонницы у капитана случалось что-то вроде мгновенных помрачений: словно тонким пинцетом кто-то выдергивал из сознания доли секунды. Он боялся, что это кончится головокружением и он упадет; после каждого такого провала он чувствовал легкую тошноту. Бакстону, должно быть, не легче. Поэтому он сказал Бакстону:

— Пойдите отдохните.

Бакстон ушел в рулевую рубку, уперся ногами в нактоуз, а спиной в стенку, ухватился за мертвый штурвал и уронил голову на грудь.

Через десять минут он проснулся, чтобы увидеть волну, вставшую над ним как дерево. И уже бежал по палубе, вылетев из рубки, кричал людям, чтобы надевали спасательные пояса — судно тонет.

Тот, кто из-за нескончаемого рева не услышал его, все равно понял.

Практиканты увидели, как он срезает штанины у колена, чтобы легче было плыть, и сделали то же самое. Море было ужасное, хуже прежнего. Стало ясно, что они не на глубокой воде: глубоководная волна не вздымается так бешено (глядя на волну, можно подумать, что у нее есть только верх и нет низа, но это заблуждение: ее сила и ее тело не только

на поверхности, но и под водой, и, если внизу ее тормозит дно, она вскидывается вверх).

Капитан Эдвардес приказал бросить лот; бросили, но ветер понес его над водой почти горизонтально. Он показал шестьдесят саженей. Вздор: тут не могло быть шестидесяти саженей. Они над отмелью. Где? Он мог только гадать. Может быть, Серанна. Может быть, Серанилья. Да разве узнаешь, каков здесь нормальный уровень воды? В центре вихря океан вспучился огромным волдырем, и они на его макушке. А это вообще может быть суша! Песчаная коса или остров, а они дрейфуют, не цепляя дно, и еще недовольны бурунами!

Волны, действительно, были величиной с дерево и почти такой же формы, как деревья — только деревья эти мчались, хлестали и разбивали друг друга вдребезги.

Если крышки люков снова сорвет, несколько таких волн, обрушившись на палубу, заполнят трюмы, и "Архимед" пойдет на дно. Валяйте! Режьте штаны, надевайте спасательные пояса! Посмотрим, как вы поплывете стилем среди этих волн! Которые рушатся на тебя с высоты двадцать метров и весят пятьсот тонн! И куда же вы поплывете, черт побери!

Одна волна действительно низверглась на палубу — словно рухнул огромный дуб. Еще несколько таких — и судну конец.

Затем пришла еще одна большая и вылилась в кратер бывшей трубы. Там, по-видимому, было еще жарко — она вышла обратно быстрее, чем вошла, — вырвалась с ревом и черной сажей. Увидев пар и сажу, люди закричали: "Пожар!" Услышав крики "Пожар", Макдональд решил, что какой-то дурак снова занялся вспомогательным котлом, и на этот раз дело кончилось совсем плохо. Услышав крики "Пожар", Бакстон подумал о бочках со спиртом в кормовой надстройке — единственном горючем грузе на борту после того, как все промокло... нет, ерунда, горящий спирт не даст ни дыма, ни сажи, он взовьется до неба от первой же искры. Дурак, надо же придумать, что это спирт горит! Я, наверно, схожу с ума.

И тогда он стал следить за самым главным — за тем, чтобы не сойти с ума, и сразу опомнился, остыл, протрезвел. Он посмотрел на исполинские волны, потом на свои дурацкие обрезанные штаны, на идиотский пробковый пояс и почувствовал, что у него горят уши.

Это тебе за то, что уснул.

Осталось одно средство: масло — и немедля.

Гальюны были на обоих концах судна: впереди — для команды, позади — для паломников, по левому борту мужские, по правому — женские. Судам не помешали бы специальные устройства для слива масла на бурную воду, но их нет, и за неимением лучшего для этой цели пользуются гальюнами. Единственное неудобство с ними — отражатель снаружи, мешающий маслу равномерно распределиться вокруг судна.

Наверху машинного отделения, возле двери, была запасная цистерна со смазочным маслом. Капитан Эдвардес велел открыть ее, потому что к ней был удобный доступ; китайцы-кочегары наливали из нее в двадцатилитровые железные бочонки и тащили их до колодезных палуб, носовых и кормовых. На палубу они вылезать не желали, поэтому здесь у них перенимали груз палубные.

Уотчетта отправили в носовой гальюн.

Тут как раз появился из капитанской каюты практикант Беннет, с виду вполне свежий. Паренек был худощав и не очень силен, и его отпра-

вили на корму, лить масло в женском гальюне, а Бакстон и другой практикант, покрупнее, Филлипс, должны были подносить бочонки. У Беннета был пук пакли — для затычки, чтобы масло вытекало медленно и равномерно, а не выливалось напрасно большими порциями. Чтобы успокоить воду, масла надо совсем немного: даже такому большому судну бочонка должно хватить часа на два.



Беннет бросился к юту и вбежал в узкое железное помещение с длинным рядом очков; за ним вкатили бочонок, и большая железная дверь захлопнулась. В уборной была кромешная тьма и стоял густой запах цитронеллы (масло везли здесь, чтобы не пропахли трюмы). Из-за крена этот правый гальюн находился почти на уровне океана, при качке вода поступала через горловины, клокоча как в сливе гигантской ванной, и заливала его до колен. В панике он кинулся к двери, но она не открылась: запор снаружи из-за крена закрылся сам; теперь Беннета можно было открыть только оттуда. Если судно еще чуть-чуть накренится, гальюн, конечно, затопит. Шахтеров при прорыве воды иногда спасает воздушный карман; они убегают в верхнюю часть наклонной выработки, и вода не доходит до них, потому что ее не пускает дальше сжавшийся воздух, которому некуда деться. Но гальюны надлежащим образом вентилируются, на это есть строгие правила; иначе говоря, они сконструированы так, что запертый в них погибнет неизбежно, как мышь в мышеловке.

Ну ладно, вода пока что поднималась не выше колен, да и то изредка. Так что он приступил к делу. Заткнул отверстие паклей и стал лить. Он не знал, есть ли от его работы польза: это могли видеть только люди наверху.

Люди наверху видели, что масло производит волшебное действие. Пленка толщиной всего в несколько молекул (когда масло расплылось) усмиряет миллионы тонн воды. Огромные водяные башни неслись к кораблю, как взбесившиеся соборы; потом их покрывало масло; они спадали безобидно, оседали, скруглялись, как женская грудь. А если даже заливали палубу, это была всего лишь безобидная, мертвая вода.

Через полтора часа бочонок у Беннета опустел; а с новым никто не появлялся.

Не появлялись они потому, что не могли. Ветер дул исступленно. С пустыми руками человек, может быть, и сумел бы преодолеть броском колодезную палубу — но не с бочонком масла. Поэтому механики стали лить его с палубы ведрами. Расточительный способ; но, решили они, лучше, чем ничего.

И расточительный, и гораздо менее действенный. Скоро стало ясно, что они *должны* доставить новый бочонок Беннету. И помощник с Филлипсом решили рискнуть, встали с бочонками наготове, дожидаясь, когда появится хотя бы ничтожный шанс перебежать палубу — при том, что это все равно казалось невозможным.

Филлипс не видел, как побежал помощник; когда он оглянулся, Бакстона не было.

Его нет! Упал за борт? Филлипс уронил свой бочонок и кинулся в салон.

— Помощник за бортом! — крикнул он в дверь.

Стоявшие там механики вежливо повернулись к нему, но не выразили ужаса. Тогда он побежал обратно, схватил свой бочонок и сам кинулся к задней надстройке: он счел это необходимым, поскольку остался один, но добраться не надеялся.

Однако добрался и отпер дверь. Оттуда на него вывалился Бакстон. Филлипс был настолько уверен, что помощник капитана утонул, что при виде его сам чуть не упал за борт от неожиданности.

Теперь у Беннета было два бочонка — должно хватить почти до вечера. Он принялся за работу.

Вообще, человеку это свойственно — гордость за свое дело и желание выполнить его хорошо. Это один из главных источников усердия: гордость от совершенствования средств, а не одно лишь желание цели. Такую гордость мы ожидаем встретить в художниках и поэтах, можно понять ее в отличном ремесленнике — плотнике или моряке. Но на самом деле она есть почти у каждого, какова бы ни была его работа. Мусорщик гордится качеством отходов, с которыми имеет дело. Рабочий канализации знает, что ни один из беспечных прохожих у него над головой, будь он герцог или таксист, не прочистит засорившуюся магистраль так умело, как он. Занятие Беннета — медленно сливáть масло в полузатопленном темном гальюне — может показаться вам монотонным. Ничего подобного. С каждым часом техника его улучшалась — само это доставляло удовольствие. Сколько масла вылить за раз. На сколько и как часто вытаскивать конопляную затычку, чтобы выпустить его. За что держаться, когда подступает вода. Вы подумаете, что он соскучился? Нет: парень стоял на посту без еды и без отдыха двадцать часов, до середины субботнего дня, — лил масло; и хотя под конец так устал, что видел сны стоя, скуки не почувствовал ни разу.

А сны довольно быстро переплелись с техникой.

Чаще всего он видел себя в аудитории, где нудный лектор бубнил о разливании масла. Иногда лектором был он сам и в мерных периодах объяснял Высокое Искусство Проливания Масла — выпады, уклоны, защиту, контратаку, — а завороженные студенты записывали в тетради все его пункты и подпункты *а* и *б*, все его следствия и выводы.

Скачок в сознании — и он обнаруживал, что реально делает то, о чем, ему казалось, он говорит. Потом плавное соскальзывание по склону рассудка обратно, и снова ему казалось, будто он ведет речь о том, чем на самом деле был занят.

Ни разу за все двадцать часов ему не пришло в голову бросить это дело. Иногда очень трудно провести грань между героем и артистом. Безусловно, судно спаслось тогда благодаря тому, что лили масло. Безусловно, масло подействовало так удачно благодаря тому, как держался на своем посту в кормовом гальюне Беннет и в переднем — Уотчетт. Когда цистерна с маслом в машинном отделении опустела, механики сломали одну из тех загнутых труб, о которых я говорил вначале, — они выпускают газы из топливных цистерн, — и стали черпать мазут ведрами.

## 2

Китайцев из машинного отделения, наверное, зря вывели на палубу. Внизу они чувствовали себя более или менее сносно, а теперь им стала ясна вся тяжесть их положения. Это подействовало на них не лучшим образом. Теперь они вобще отказались таскать масло. Они не впали в апатию, как палубные, — они озлились. Они на это не подписывались. Если их собирались подвергнуть такому, надо было сказать заранее. Ан-

гличане затащили их в такой шторм, не предупредив, когда нанимали; англичане нарушили договор — а это все равно что обманули. И в довершение всего — мошенничество с едой (они уже испытывали сильный голод): такого они терпеть не обязаны. Виду они почти не подавали, но можно было ждать от них серьезных неприятностей — пороху достаточно было маленькой искры.



Мистер Макдональд не только к своим машинам относился чутко, он очень чуток был в отношении своих подчиненных. Он сразу понял, что лояльность их кончилась, что им нельзя доверять. И это ему самому не пошло на пользу. Теперь он то и дело резко оборачивался и воспаленным взглядом смотрел, нет ли за спиной китайца. Сутер из-за этого тоже был на взводе. Он видел, что Макдональд опасается китайцев, и возмущался этим. Если китайцы бузят, им что, нельзя накостылять? Господи, до чего же ему хотелось! Чего хорошего, если старший так взвинчен из-за китайцев. Боится их?

На пути Сутера, тащившего бочонок, оказались два китайца с застывшими злыми лицами. Неожиданно пустив петуха, он обругал их и хотел пнуть, но промахнулся. Они исчезли. Это заметил Макдональд и повернулся к нему.

— Опять вы не доверяете людям, мистер Сутер, — сказал он. — Вы не можете сдерживаться?

Это он-то им не доверяет! А сам трясется от страха!

Обоих охватил гнев, и они свирепо уставились друг на друга: Макдональд с наполовину сожженными у вспомогательного котла седыми усами и воспаленными красными глазами, Сутер с искаженным мучнистым лицом, которое приобрело черноватый оттенок, словно в жилах у него текли чернила, и редкими ресницами, почти спрятавшимися между опухших век.

В эту минуту со старшим спокойно заговорил Гэстон.

— Сэр, у меня есть вода. Немного, горло смочить.

Вода! Первая за полтора дня! От одного этого слова свело рот.

— Я придумал отвинтить золотники в лебедках, — объяснил Гэстон. — Там конденсат — одна-две чашки. (В воду превратился остывший пар, который вращал лебедки.)

Это было неотложное дело. С тщательностью старателей, извлекающих золото из песка, они выцедили из лебедки воду. Каждому хватило смочить губы. Каждому, кроме Уотчетта, лившего масло в переднем гальюне, и Беннета — в кормовом. О них никто не вспомнил.

Темнело. Белый мрак снова сменялся черным. Море бесновалось по-прежнему, и масло, безусловно, предстояло лить всю ночь.

Эдвардес при свете фонарика просматривал стопку записей, которые должны будут превратиться в официальный судовой журнал. Они были накорябаны на обороте радиобланков и засунуты в шкаф с сигнальными флагами на мостике. Где он? Понять было невозможно, подсказать мог только инстинкт. Ни по звездам, ни по солнцу не определиться — их нет, и надежды увидеть их нет. "Архимеда" тащил шторм, но куда тащил? Путь был настолько ломаный, что нельзя было даже примерно сказать, куда их несет. Эта отмель была, возможно, Серрана или Серранильи, хотя... но куда их вынесет? Ураганы рано или поздно встречают сушу. Когда этот налетит на Кубу, или на Юкатан, или на Флориду, по-прежнему ли они будут у него внутри?

# Глава VIII

Следующая ночь была такой, что никто из них ее не забудет; правда, и ясно вспомнить никто не сможет.



Дику было легче бороться со сном, чем Беннету: он вообще не спал, и скорлупа бодрствования сохранилась в целости. Но в некоторых отношениях ему было хуже. Переднюю надстройку било сильнее, чем ют. Через вентиляцию наливалось больше воды. Кроме того, этим гальюном до шторма пользовались. Зато он не был заперт, как Беннет: дверь сорвало напрочь. У него болела голова; язык был не плоский и влажный, а круглый и сухой. Поэтому он норовил просунуться между губ, как клин. Но не мог, всякий раз прилипал к губам, словно смазанным вязким клеем, и отлеплять его приходилось осторожно, чтобы не содрать кожу.

— Понимаешь, — объяснял он Сюки, — тут нужна большая осторожность. Если дашь ему прилипнуть к коже, он ее сорвет. Очень плавно, вперед и назад — тогда он отлипает, и я могу убрать его в рот.

Но Сюки не отвечала; а ведь ей должно быть интересно. Она смотрела мимо него и что-то напевала. Ей было все равно. И усилием мысли он отодвинул ее — метра на полтора и чуть влево. Там ей не на что было сесть; однако же она сидела, точно в такой же позе, как прежде. Все-таки она нашла на что сесть: теперь он видел, что сидит она у входа заросшей папоротником пещеры. Поэтому со сладкой спазмой он поднял свой бочонок и прошел сквозь нее в пещеру, цедя на ходу масло (чтобы найти потом обратную дорогу, — сказал он себе).

— Понимаешь, — сказал он, встретившись с ней снова в глубине пещеры, метрах в ста от входа, — я поставлен лить масло из этого бочонка.

— Конечно, — сказала Сюки и, наклонившись вперед, заглянула ему в глаза — так близко, что ее красивые холодные глаза почти коснулись его распухших соленых век.

— Ну конечно! — повторила она и, повернувшись, поскакала прочь на неестественно удлиненных ногах, нервно складывая и расправляя уши.

В конце пещеры он вытащил затычку из бочонка полностью, и на этот раз вылилось много масла.

Надо осторожнее, подумал он, так я его быстро истрачу.

Но вылилось всего полбочонка, и тут подоспели Бакстон и Филлипс с двумя полными.

— Один бочонок держать про запас, — сказал Бакстон. — Это приказ капитана.

— Отлично, сэр, — попытался сказать Дик, но языку было больно. Когда он разговаривал с Сюки, язык не болел совсем.

## 2

Дорога со станции Фейкенем в город идет мимо луга с ветлами.

Во времена Дика по ней ездил старый омнибус, встречавший все поезда. Лошадь шла только шагом; ты никогда не видел, чтобы кто-нибудь влезал в омнибус или вылезал; кузов его был покрашен в черный цвет, а на заднем окне были нарисованы прозрачные лилии.

За ветлами была типография, за ней — город.

На рыночной площади есть аптека. Аптекарь — опытный господин и знает старинные названия вещей. Он знает, например, что sal prunella просто-напросто безводная селитра. Это было полезное сведение, потому что мать Дика наткнулась на старую кулинарную книгу, заполненную разными почерками не менее чем двухсотлетней давности, и хотела попробовать рецепт приготовления Вестфальской Ветчины миссис Эстридж. Поэтому она переписала на бумажку непонятные названия ингредиентов и отправила за ними Дика на велосипеде к аптекарю.



В те дни он был рад любому поводу вывести свой велосипед: это был его первый, и еще новенький. Дед заранее сказал, что велосипед он получит не раньше, чем ему исполнится одиннадцать, — а то испортит сердце; но он с пятилетнего возраста мечтал о велосипеде, мечтал страстно.

Однако дед был непреклонен. Поэтому в детский сад Дик бежал рысью, высоко поднимая колени, как лошадь в высшей школе выездки, и, держа руками воображаемый руль, большим пальцем нажимал воображаемый звонок на перекрестках. Для него этот призрачный велосипед был настолько реален, что всякий, кто не мог его увидеть, наверняка был очень туп. Дик так и не смог избавиться от презрения к старому священнику, который однажды встретил его вот так едущим на велосипеде впереди матери.

— Только что видел вашего молодого человека, — приветливо обратился он к ней, — верхом на *его лошадке*!

Получив настоящую машину, Дик ездил на прогулки с дедом. Старик в свои семьдесят лет был еще заядлым велосипедистом. Он говорил, что может проехать не меньше, чем в молодые годы. Возможно, что так оно и было: по мере того как дед слабел, велосипеды улучшались. В дни энергичной юности он разъезжал на велосипеде с огромным передним колесом — "пенни-фартинге". Потом пришел "безопасный" велосипед; но у него не было свободного хода, и, если на спуске ты хотел отдохнуть, приходилось снимать ноги с педалей — правда, осмотрительные люди этого избегали, помня, что затормозить можно только ими.

Затем пришли велосипеды со свободным ходом; затем с тремя скоростями. Такой была последняя дедушкина машина, и машина Дика, конечно, тоже.

Через много лет после смерти деда Дик нашел в задах сарая "пенни-фартинг". Зеленая краска на нем была как новая. Но болт, крепивший седло к примитивной пружине, проржавел, и с седлом ему пришлось повозиться. Шины тоже пришли в негодность. Они превратились в плоские резиновые кольца, вроде шин на детской коляске, стали длиннее колес и свалились, как только Дик сдвинул машину. Он перевязал их по всей окружности проволокой.

Но когда попробовал ехать, оказалось, что это до невозможности трудно: на втором метре упал. Ничего себе! Неужели дед запросто катался на этом по всей округе? Потирая щиколотку, он впервые задумался о том, что дед ведь не родился старым: когда-то, наверное, был даже ловким, как он.

Он видел фотографии деда — с усами, в бриджах, небрежно восседавшего на этой машине. Ему всегда казалось, что ездить на ней легко, раз дед ездил (как на трехколесном, на котором по воскресеньям с пешей скоростью катил в церковь архидиакон Баббл). Каково же было его

огорчение, когда оказалось, что эта машина, с которой дед справлялся не моргнув глазом, снова и снова сбрасывает его вверх тормашками. И он решил ею овладеть.

Это означало долгие тренировки тайком — и конечно, он добился успеха.

Наступил день матча по крикету, когда весь город в приподнятом настроении и все придумывают импровизированные комические номера. Дик пробрался домой и оделся в очень старомодный костюм покойного деда. Затем он вывел этот древний велосипед и исполнил действительно очень забавный номер, комично проехав вокруг рыночной площади под одобрительные и насмешливые выкрики обеих команд. И решил, что он очень остроумный парень, раз сумел их так рассмешить, — но слегка усомнился в своем остроумии, когда увидел неподалеку мать, наблюдавшую за тем, как он потешается над дедом, который его очень любил. Момент был не из приятных.

Но еще противней был тот случай, когда ему показалось, что она услышала, как он хвастается перед ребятами своей выходкой во время причастия. Он рассказывал им, что в воскресенье выпил все вино из чаши; священник хотел ее отнять, но он не отпускал. Это была неправда: в церкви он всегда вел себя крайне благопристойно, на самом деле был набожен, веровал искренне — особенно в присутствие Святого Духа во время причастия. Но тут на него нашло, и он стал хвастаться, чтобы поразить плохих мальчишек, своих слушателей, а когда оглянулся — позади стояла мать. Что ему было делать? Возможно, она ничего и не слышала, поэтому он не мог просто отвести ее в сторону и сказать, что это неправда, он вынужден был ждать, когда она заговорит первой. Но она не заговаривала, вообще не упоминала о том случае. Значило ли это, что она не слышала? Или так была потрясена, что не могла об этом говорить? Из-за неопределенности он старался избегать ее и впервые стал запираться от нее в ванной, когда мылся.

Большинство мальчиков достаточно набожны в год конфирмации; Дик, наверное, был набожнее многих. Шло это от детских переживаний. Ибо еще в раннем детстве он обнаружил, что если молиться о чем-то очень нужном, то почти всегда получаешь. А если ему не суждено было получить, то у него не оставалось на этот счет сомнений: Бог давал ему это понять сразу, прямо во время молитвы. Но как правило, Он откликался на его просьбы. Дик же, со своей стороны, был совестлив и никогда не обращался к Богу с чрезмерными просьбами (не просил, например, раньше времени велосипед, ибо у Бога с дедом было слишком много общего). К тому же Бог, как выяснилось, был самым верным товарищем, всегда готовым поддержать — и в темном коридоре, и на темной лестнице.

Я не хочу сказать, что этот ребенок постоянно жил в тесном общении с Богом, никогда не сомневался, никогда не терял с Ним связи. *Безусловно* верят дети только в то, что вызвано к жизни их воображением, — как, например, воображаемый друг или лев за кустами. Все, что входит в их существование извне, как Бог, неизбежно имеет более призрачный характер. Мать дала ему слово, что Бог есть, и слово ее подтверждалось доказательствами: молитвами, приносящими желаемое, надежным присутствием в темноте. Но доказательства — не то, что непосредственный опыт: Бог не мог быть такой же достоверностью, как воображаемый ве-

лосипед. Представить себе Бога зрительно он не мог, дальше усов и тесных бриджей дело не шло.

Однажды эта вера, эти сомнения достигли апогея. Дело касалось часов.



Ему было десять лет, он учился в школе. Он ходил туда один. Какой-то отрезок пути пролегал по частной улице; чтобы не было сквозного проезда, конец ее был перегорожен толстой жердью, привязанной к козлам. По дороге в школу и обратно он на несколько минут задерживался там и проделывал на жерди гимнастические упражнения. Перед тем как делать перевороты, он аккуратно клал часы на землю.

Однажды вечером, ложась спать, он обнаружил, что часов в кармане нет, и мгновенно вспомнил, что на обратном пути, после своих упражнений, забыл их там. Это было несколько часов назад. По улице все время ходили люди, кто-нибудь наверняка заметил часы и украл. И все же... Может, стоит попробовать? Он слез с кровати и опустился рядом с ней на колени.

Прежде чем упомянуть о часах, он честно сказал Богу, что в последнее время не один раз усомнился в Его существовании. Он хочет решить это дело. Раз и навсегда. Я уже говорил вам, что совесть никогда не позволяла ему обращаться с чрезмерно трудными просьбами, в расчете на некое подобие чуда. Так что все его результативные молитвы, возможно, были только совпадением. Но эта будет не такой. Она предполагает изрядное чудо, поскольку должна обладать обратным действием. Он просил Бога стеречь часы в то время, которое уже прошло! Это был канонический случай, окончательное испытание, и он, со своей стороны, готов был принести обет. Если Бог, вопреки всякой вероятности, охранит его часы, укроет от глаз людей, уже прошедших и тех, кто еще пройдет, и он, Дик, найдет их утром по дороге в школу на том же месте — тогда он даст бесповоротное обещание никогда, до самой смерти, не сомневаться больше в существовании Бога. Так он молился.

Утром он нашел часы — на том же месте, где их оставил. С тех пор, как обещал, он должен был верить в Бога.

Интересно, что, добившись с помощью молитвы одного чуда, он больше не просил других. Его по-прежнему удерживала совесть. То было особое дело, необходимое, чтобы он утвердился в вере. Никакие дальнейшие чудеса — как бы ни был он уверен, что добьется их молитвой, — неоправданны. Я не стану задерживаться на таких искушениях, как в тот день, когда из-за дождя вся школа сидела взаперти и ему захотелось медленно пролететь по классу. Желание было явно предосудительное и потому подавлено с легкостью. Но потом явилось другое, и с ним было не так просто.

Однажды, выходя с почты впереди матери, он очутился рядом с плоской тележкой, плоской как стол, и на ней под одеялом, как на кровати, лежала девочка. Он ее и раньше видел, издали, когда ее везли по улицам; мать сказала, что у нее болезнь позвоночника и она никогда больше не сможет ходить и даже сидеть. Но до сих пор он с ней не сталкивался. Лицо у нее было бледное и влажное и, пожалуй, гордое.

Внезапно всем его существом завладела одна мысль. Ему стоило только протянуть руку, дотронуться до нее, и она бы встала здоровой. Он поднял было руку, чтобы простереть над ней. И тут заговорила со-

весть. Он мог это сделать; но не имел права это сделать. И заговорило что-то еще, кроме совести. Если он сделает это, какие будут последствия? Мальчик, однажды совершивший чудо на людной улице, не может повернуть назад и жить как остальные дети. Прощай конфетки и чернильные бомбы. С этих пор он человек отдельный, он дал обет жить свято, он посвятил себя спасению человечества от его грехов. Души покупает не только дьявол: если Бог сделает для него чудо, его душа будет продана Богу за эту цену, и каждый миг его дальнейшей жизни будет горением на работе Божьей.

Мог ли он пить из этой чаши?

Он опустил руку и прошел мимо с тяжелым сердцем, понимая, что обрекает девочку на многие годы страданий и в конце концов на смерть. Может быть, он поступил правильно; все равно он в каком-то смысле убийца.

А если бы она знала, что это в его силах, — знала, что он отказался ее спасти!

Но мать уже нагнала его. Следующий их визит был в газетную лавку, и она купила ему там пол-унции его любимого лакричного ассорти.

## 3

Ребенку десяти лет нетрудно было сдержать это обещание. Но беда в том, что Дик не навсегда остался десятилетним: он рос. Когда растешь, Бог, наверно, тоже должен расти. Этого, конечно, Дик не предвидел: что Бог, в которого он обещал верить всю жизнь, был детским Богом.

Когда Дику было пятнадцать лет и его готовили к конфирмации, ему предлагалась совершенно иная идея Бога — некоего безличного Всемогущества, никогда не вмешивающегося в науку (не потому, что Он не мог, а просто потому, что Он выше таких вещей и желает, чтобы закон Бойля и тому подобное мы выучили сами), смутной беспредельной Святости, предпочитающей англиканскую церковь всем остальным, а в отсутствие оной сочетающей в себе лучшие элементы всех религий (в особенности буддизма и ислама). Короче, вовсе не тот Бог, у которого ты просишь мелких материальных выгод — например, чтобы Он присмотрел за твоими часами или помог тебе выиграть футбольный матч. Совсем другой Бог. И в этом была главная трудность — *не тот* Бог, в которого он обещал верить, не тот, чье существование подтверждалось доказательствами, так живо сохранившимися в памяти.

Что ему было делать? Все полагали, что в этом возрасте он уже не будет верить в Бога своего детства. Такая вера хороша в ребенке, но не в умном, образованном парне. Если бы он захотел пребывать в этой вере до конца жизни, все самые религиозные люди, начиная с доброго старика, его учителя, не одобрили бы его. Если бы он продолжал верить, что Бог на его стороне, они сочли бы это тупым фанатизмом или просто испорченностью. Бог, говорили они, ни на чьей стороне.

Что ж, они, наверное, знали, о чем говорят, и он, вопреки инстинкту, старался верить так, как они учили, — в этого нового Бога. Казалось, единственное, о чем прилично просить этого Бога, — благодать, то есть чтобы Он сделал тебя лучше. Поэтому Дик молился только о благодати. Но результатов больших не видел. И это его не особенно удивляло, ибо единственной детской молитвой, всегда остававшейся без отклика, бы-

ла официальная, ежевечерняя: “Сделай меня хорошим мальчиком”. Он ни разу не заметил, чтобы его поведение на другой день стало из-за этого хоть чуточку лучше.

## 4



Было темно. Вот уже десять часов Дик лил масло, и ему это смертельно надоело. Он делал это автоматически, без участия мысли. И сейчас его мысль обратилась на тонкие стальные листы — единственное, что ограждало его от ярости вод. Он снова боялся. Как тупо самоуверенны люди, строившие суда и не сомневавшиеся, что они будут плавать даже тогда, когда под ними мили и мили воды. Конечно, все это вопрос равновесия. Ему говорили, что вес судна в точности равен весу вытесненной воды. Но голова у него так кружилась, что всякое равновесие представлялось неустойчивым. Равновесие может нарушиться. Этот “пенни-фартинг” можно удержать в равновесии, если умеешь, — но до чего же часто он его терял. А если судно потеряет равновесие? То есть станет тяжелее или вода станет легче? Камнем пойдет на дно. Что же за дураки продолжают строить большие суда и отправлять их в море: уверены, что если одно поплыло, то и другие будут плавать; уверены, что если плывет сегодня, то и завтра поплывет; даже не задумываются, как легко нарушить равновесие.

В его помутившемся сознании “Архимед” мог потерять плавучесть в любую минуту — даже без всякого шторма.

*Шторм?* Мысль его уткнулась в это слово, сменила направление и немного прояснилась. Ну конечно, *шторм* — опасность; равновесие — вздор. А шторм — не вздор. Он вдруг заметил, что форма гальюна меняется. Стены сблизились. Железо гнется под ударами молота — и это железо тоже сплющивается под ударами волн. Оно выпучивается внутрь.

Много лет уже Дик не молился о материальных вещах, считая это неправильным. В глубине души он все еще верил, что получит их, если помолится; но когда ты взрослый, молиться о них не дело. Поэтому Бог, откликнувшись на твою молитву, возможно, позаботится, чтобы это не пошло тебе во благо, сделает так, чтобы ты сильно пожалел о своей просьбе. Просить тебе следует только благодати и духовного благополучия. Но Боже милостивый! Сейчас он желал вовсе не духовного благополучия — его желание было не стать утопленником в двадцать лет.

Он опустился на колени, одной рукой обхватив стойку, и молился до испарины в носовом гальюне правого борта:

— Господи Боже, я был дурак, что вообще вышел в море. Господи Боже, доставь меня в целости отсюда домой. Господи, я раскаиваюсь, что столько лет жил напрасно и что думал о другом, а не о Тебе, когда закрывался у себя в комнате... Господи, не гневайся на меня, не топи меня за это. Молю Тебя, Господи, спаси меня от моря!

Но тут его охватили дурные предчувствия. Что если Бог спасет его, даст то самое, о чем он просит, но обратит ему во вред? Спасет от моря, чтобы он погиб на пожаре или попал на виселицу? Как ему лучше выразиться? В памяти забрезжило то, чему его учили перед конфирмацией:

— Господи, — продолжал он, — я хочу сказать, спаси меня от пучины, если такова Твоя воля; по крайней мере пусть не пойдет мне во вред мое спасение, и если спасешь меня, употреби мою жизнь для Твоих целей, чтобы не была такой, как до сих пор.

Так, кажется, было правильно, ибо в этот момент он отчетливо и остро ощутил знакомую с детства уверенность, что жизнь его будет доброй рукой спасена.

Чтобы сделать молитву более страстной, он надавил костяшками на глаза. От соприкосновения соленых, испачканных мазутом рук с воспаленными ободранными глазами боль была почти невыносимой.



Потом он снова принялся за работу.

**Суббота**

## 5

Он снова принялся за работу — лить спасительное масло, в одиночку сражаться за судно со всем разъяренным океаном — и через некоторое время проникся героизмом своей роли. Посветлело; снаружи, наверное, было утро; гальюн наполнился серым светом. Он на посту со вчерашнего дня, без смены: скоро уже сутки. В общем же, он нес вахту, вместе со всеми остальными, без сна и отдыха уже четыре дня и ночи (или только три?).

Видела бы его сейчас Сюки! Не в парадной форме с медными пуговицами — портновского манекена, — а полуобнаженного, сурового, со сверхчеловеческим напряжением сил и железной преданностью долгу сражающегося один на один со штормом. Час за часом. Без устали. День за днем. Увидь она его таким — разве не полюбила бы всей душой?

Не знаю, однако. Полюбила бы? Да, ей нравилось сидеть у него на коленях, когда он был в парадной форме, тереться щекой о его румяную гладкую щеку. Предпочла ли бы она парадным брюкам замасленную мокрую робу? Прикасаться щекой к его щетинистой и воспаленной? Лицо его не было худым, заострившимся, как он думал, не было у него и львиного выражения, какое ожидаешь увидеть у неукротимого героя. Непосредственным результатом героических усилий редко бывает романтическое выражение лица; чаще герой выглядит желчным. Вам знакомы открытые, благородные, с печатью мудрого терпения лица великих путешественников? Но выражение это возникло не в пустыне. В пустыне оно могло зародиться, но возникло оно позже, в безопасности и комфорте. В пустыне лицо их бывало зверским, порой раздраженным, порой испуганным. Благородным — никогда.

Если бы Сюки услышала обо всем этом после, в ярком пересказе, так чтобы могла вообразить происходившее в соответствии со своими представлениями, тогда действительно она могла бы потянуться к Дику. Но вряд ли, если бы присутствовала при этом.

На минуту выньте Дика из обстановки и разглядите его как он есть. По непосредственному воздействию на внешность героизм трудно отличить от распущенности. Если судить только по виду, вы, возможно, решите, что перед вами образчик Жизненного Банкротства — спившийся вконец, ночующий на помойке. Лицо у него сейчас было грязное, опухшее, безвольное — прямо сказать, уродливое и вызывающее презрение. И пахло от него отвратительно.

# Глава IX



На "Архимеде" было много механиков — больше, чем палубного начальства; но делать им теперь было нечего. В начале шторма они собрались в салоне, но по мере того как усиливалась буря, один за другим стали покидать салон и в конце концов собрались на платформе машинного отделения. Палубные начальники не могли этого понять: не могли понять, почему, когда судну грозит гибель, они забились туда, откуда нельзя выбраться, где они даже не почувствуют, что судно тонет — если оно станет тонуть. Механики же не понимали, почему те предпочитают оставаться наверху, поблизости от палубы, где ты открыт шторму.

Я думаю, и те и другие вели себя так по одной причине. Каждый хотел находиться на привычном месте. На привычном месте ты скорее всего будешь чувствовать себя в безопасности. Ребенку в темноте спокойнее всего в его постели: он предпочтет увидеть в комнате льва со своей кровати (хотя оттуда не убежишь), а не стоя босиком у двери, откуда можно убежать в коридор, если лев прыгнет.

Так что механики не сговариваясь заняли позицию возле спящих машин; мистер Макдональд эту позицию и не покидал.

Мистеру Макдональду принесли сюда матрас; но не скажу, что ночь он провел спокойно. Он глаз не мог сомкнуть — не в том смысле, что не мог уснуть: он не мог закрыть глаза. Казалось, что веки расперты палочками. Он пытался соединить их пальцами, но они не желали оставаться в таком положении: стоило их отпустить — и они отползали по яблоку.

Бóльшую часть ночи он старался направить мысли на воду — воду, которую он пил бы, если б мог; но вместо этого ему виделись вещи огненные. Погасшие топки снова выбрасывали пламя (как прежде, когда их забивал ветер), и каждый язык пламени был китайцем. Китайцы лежали вокруг его колен, пытались лизнуть колени. Китайские вспышки вырывались из каждой топочной дверцы или целыми выводками, пища, бегали по полу, как крысы в трюме. Некоторые хватали пуки ветоши и наматывали на рулевые тяги, запихивали в шарниры — от страха, что рулем снова могут воспользоваться; другие, жужжа, летали тройками, садились на турбины и редуктор, вытаскивали из штанов штопоры, выковыривали ими самые важные детали, становившиеся мягкими и сочными в их руках, и пожирали целиком.

Не подумайте, что мистер Макдональд спал. Я сказал вам, что бедняга не мог даже сомкнуть век. Он видел все это открытыми глазами, давно уже встав с матраса и кругами ходя по помещению. Он рассказал об этом Сутеру, но обозленному Сутеру было все равно, в своем уме старший или спятил. Впрочем, и у него были свои подозрения — так что оба патрулировали всю ночь, опасаясь, что подлые китайцы в своем вероломстве и злобе учинят что-то над машинами.

Макдональд встряхнул спавшего мертвецким сном Гэстона.

— Принеси мне чашку воды, — приказал старший механик, но Гэстон, не ответив, тут же уснул, и Макдональд оставил его в покое. Он видел, что из телеграфа каскадом льется чистая вода. Но когда подошел, оказалось, что всю выпил китаец.

Под Сайренсестером у мистера Макдональда была маленькая вилла, там он проводил отпуска; была жена, довольно краснолицая, с седыми волосами, забранными со лба на коричневую подушечку в форме колбаски. При этом у них было трое детей школьного возраста, потому что поженились они довольно поздно. Когда туча китайцев рассеялась и сознание его немного прояснилось, о детях, своей гордости, он и подумал, подумал о том, как они вприпрыжку бегут домой из школы, в добротной верхней одежде, в хорошем теплом белье, сытые и уверенные, что весь мир для них — дом родной, с сияющими глуповатыми, пока еще невинными лицами. Как же возмущала его эта беспечальная жизнь в то время, как их отца ожидает гибель в пучине. Они никогда не поймут, что цена каждой пары шерстяных штанишек и фуфаечки — час в этом аду. Они думают — просто деньги, но это не деньги, это его жизнь, и они высасывают ее из его старого тела, а он не может ни пошевелиться, ни уйти от этого, как не может земля уйти от жадных корней дерева.

— Я стою десятка таких ребят, — внезапно произнес он вслух, с чувством.

И правда, стоил — он был гораздо больше. Ибо в конечном счете, если хочешь понять, сколько есть человека, надо только измерить его память. Чем больше у него в памяти, тем больше его самого. По этому счету старые зачастую огромны, а молодые, при всем их тщеславии, — карлики. Личность человека — это ведь все, что содержится в его сознании. А в сознании в любое время содержится мало чего кроме памяти: сознание на девять десятых состоит из памяти, как медуза на девять десятых состоит из воды.

Однако когда умирает молодой, считается, что это очень печально, а когда старый — это правильно и естественно! Смерть старика вызывает мало сочувствия — ему ли возражать? А он возражает — и еще как!

Думаю, вы видели, как умирают люди: молодой человек закусил губу — и готов, пуф! Как с лошади упал. Легкомысленные существа нередко играют со смертью. А Макдональд однажды видел старуху восьмидесяти шести лет на смертном одре. *Она* дралась за жизнь, как тигрица. Последний в ее жизни закат она сопроводила такими словами: "Я надеюсь проснуться завтра утром живой!" Бог знает, чего она ожидала от этого утра. Ноги у нее уже три дня как отмерли.

В конце концов, что вы предпочтете — потерять пустой бумажник или такой, куда вы годами складывали деньги? Смотрите, что теряла она: воспоминания восьмидесяти с лишним лет. А когда умирает дитя, люди делаются очень сентиментальными. Дитя же, теряя жизнь, теряет очень немного — маленькую мерцающую безделушку. Кошелек с двумя пенсами и долговую расписку.

Мысль эта безотчетно живет во всех стариках. Жила и в мистере Макдональде, и, расхаживая по машинному отделению, он крутил ее в голове, возмущенный до глубины души. Но внезапно ему пришла в голову другая идея. В самом ли деле смерть — конец? Всю жизнь он был верующим человеком, верил в Бога; верил в Грех. Но верил ли он в загробную жизнь? Об этом он почти не задумывался. В Рай и в Ад он, конечно, верил, но действительно ли там — жизнь, или это фигуры речи, род Санкций? Да, это была совершенно новая мысль. Когда его тело канет в пучину, вырвется ли из него душа, как воздушный пузырь, и поднимется ли наверх? Не вообще душа, некое духовное испарение, а его, именно

его сущность, единственного Уильяма Рамсея Макдональда. Подумать только! Если в самом деле есть на это надежда, все не так мрачно, как кажется, и песенка его еще не спета! Впервые в жизни он задумался о том, что это за место такое — рай.

— Мистер Сутер, вы верите в загробную жизнь? — спросил он, когда пути его и другого дозорного пересеклись.

Сутер помедлил, обдумывая ответ.

— Да, — односложно ответил он и пошел дальше.

Но когда они повстречались снова, Сутер уже сам остановил Макдональда:

— Это трудно сказать. Много неясного в этом вопросе. Вы имеете в виду загробную жизнь личного свойства? Так я понимаю? Мою, Уильяма Эдгара Сутера, и вашу, Уильяма Рамсея Макдональда?

— Разумеется.

— Загробную жизнь каждого, рожденного женщиной?

— Каждого христианина, — уточнил мистер Макдональд.

— Пожалуй, нет. Должны ли мы считать, что христианский человек состоит из трех частей: тела, ума и духа?

Макдональд утвердительно буркнул.

— Тело умирает, дух живет?

Макдональд снова буркнул.

— Как же тогда ум? Он не дух и не тело. Но он очень связан с телом. Болезнь тела может повредить ум. Удар по телу может затмить ум. Ум, как и тело, стареет и приходит в упадок. Тогда смерть тела — что же, и смерть ума?

— Положим, да, — сказал Макдональд.

— Тогда загробная жизнь не может быть очень личного свойства. Я так думаю: мой дух без моего ума будет какой-то мягкой, бессмысленной штукой, вовсе не Уильямом Эдгаром Сутером.

И он двинулся дальше; следующий час они при встречах не разговаривали. Потом мистер Макдональд остановил его, взяв за плечо.

— Мистер Сутер, — сказал он, — человеческий ум держится на рассудке; то, что для рассудка недоступно, рассудок не может постигнуть. Может быть, в ином мире мы должны откинуть рассудок, как дитя, взрослея, откидывает пеленки.

Сутер вырвался и пошел дальше. Только при следующей встрече он нашел в себе силы ответить — и ответил с жаром:

— Господь дал нам Разум как единственную связь с Божественным — а не для того, чтобы мы его презирали. Вы рассуждаете как англичанин!

И снова они уставились друг на друга с апоплексической ненавистью. И, бессменные дозорные, разошлись.



**Суббота**

## 2

Когда рассвело, капитан Эдвардес с облегчением увидел, что они опять на глубокой воде. Об этом говорил и цвет воды, и более естественная форма волн. Тем не менее он решил, что масло стоит лить и дальше. Он прикинул, что через сломанные люки судно приняло в трюм не меньше

тысячи тонн воды, и, подсчитав то да сё, пришел к выводу, что больше тысячи двухсот оно, скорее всего, не выдержит. Запас плавучести был уже очень маленьким.

Кроме того, неизвестно, долго ли будет под ними глубокая вода. Отмели Серрана и Серранилья — это лишь юго-восточный край длинной цепи банок и рифов, тянущейся от мыса Грасьяс-а-Дьос в Центральной Америке до самых берегов Ямайки: рифы Хафмун и банка Горда, Тандер-Ноул и банка Розалинда, громадная отмель Педро с Портленд-Роком. Если они прошли Серранилью, то с подветренной стороны должна быть Розалинда. Но если даже они благополучно минуют отмели, куда их вынесет? Юкатанский пролив от мыса Каточе до мыса Сан-Антонио — чуть шире ста миль. Много ли шансов попасть в него и выйти в открытые воды Мексиканского залива, а не разбиться о берега Юкатана или Кубы?

Однако это когда еще будет. А где они сейчас, хотя бы приблизительно? Наверное, милях в двухстах пятидесяти к востоку от мыса Грасьяс, и несет их снова на мелководье; а шторм не утихает. Вот уже четвертый день.

Так же, как механики не сговариваясь пришли в машинное отделение, капитан Эдвардес и мистер Бакстон сошлись на мостике.

Мистер Бакстон повторил в уме расчеты капитана — судно приняло около тысячи тонн воды, больше тысячи двухсот оно не выдержит — и согласился. Затем он отметил такой любопытный факт: крен немного уменьшился. Это потому, что тяжесть воды в трюме отчасти уравновешивала тяжесть намокшего груза наверху. А если бы помпы все это время работали? Раньше всего они откачали бы воду из трюма. А без ее уравновешивающего действия судно вполне могло опрокинуться. Какой же ошибкой было бы бездумное использование помп! И как же легко было бы сделать эту ошибку.

Капитан Эдвардес, засунув ладони за пояс, умудрялся даже расхаживать по мостику. Подбородок его оброс серой щетиной, щеки обвисли; но глаза по-птичьи блестели. Бакстон обратил внимание на брюки капитана — чуть ли не у единственного на судне не срезаны по колено — и, вспомнив, что сам подал пример этого дурацкого обрезания, снова покраснел от стыда.

Откуда берется уверенность у этого человека? — недоумевал Бакстон.

Перед лицом опасности немногие люди способны сохранять равновесие. Наряду с другими редкими качествами мистер Бакстон обладал и этим. В опасности он оставался тем же умелым моряком, что и в спокойной обстановке: настолько вышколен и тверд был он в своем призвании, что на его способностях не сказывались ни спокойные условия, ни тяжелые. Капитан Эдвардес в этом смысле несколько отличался от него. Большинство людей опасность ослабляет: в напряженной ситуации они подобны бегущим с грузом — они быстрее устают. Но есть такие, которым опасность придает сил, только под ее прессом их ум и тело работают на пике своих возможностей. Большинство людей, внезапно очутившись под дулом пистолета и зная, что они немедленно должны соврать, врать будут сбивчивей и неубедительней, чем где-нибудь в гостиной. Но некоторые станут врать без запинки, с изобретательностью, в обычное время им не свойственной. К этому типу принадлежал капитан. Он был хорошим капитаном в обычных обстоятельствах, но в опасных — чем-то бóльшим. Бакстону всегда нравился капитан Эдвардес, но до сих пор он не подозревал, какой это гигант.

Капитан как будто уловил теплые чувства помощника: он вдруг остановился перед Бакстоном, вытащил из-за пояса правую ладонь, поддерживавшую усталый живот, который неудобно нависал над брюками, схватил помощника за руку и пожал ее.

— Скажите им, пусть пока продолжают лить масло.

Он посмотрел вслед Бакстону. Вот моряк чистой пробы: спокойный, хладнокровный, бесстрашный... (капитан мысленно репетировал свой доклад владельцам).

А у Бакстона, пока он шел к юту, возникло еще одно соображение. Что если бы трубу тогда не снесло? Если бы штаги выдержали нагрузку больше расчетной? Парусное судно давно бы перевернулось, и сейчас над водой торчали бы только голые стеньги. А сопротивление этой громадной трубы воздушному потоку было бы еще больше, чем у голых мачт. Если бы труба не оторвалась, не облегчила судно, ведь оно могло опрокинуться?

Теперь он понял с ужасом, что каждая их попытка спастись навлекала на них новую опасность. И похоже было, что до сих пор спасали их, наоборот, самые большие несчастья.

## 3

Счастлив, счастлив, счастлив. Капитан Эдвардес был счастлив как дитя! Зная заранее, что его ждет, был бы он так счастлив и уверен все это время? Наверное, нет. Наверное, никто не вынес бы тяжести такого предвидения. Но тут, на переходах от каждого известного момента к очередному неизвестному, его поддерживало счастье.

На нем — судно, и груз стоимостью в миллион фунтов, и жизнь восьмидесяти людей. И очень мало шансов, что он их не потеряет. Этой огромной ответственности и радовалось его сердце.

## 4

В полдень они снова очутились в самом центре урагана. Только на этот раз птиц не было.

И небо было другое. Не черное, штормовое, а серое, налитое светом. Но жара и разреженность воздуха угнетали дух, как и прежде. Ты готов был сесть и заплакать, если бы не так пересохли глаза.

Ни одного живого создания вокруг. Ни птиц. Ни акул. Усмиренная маслом вода колыхалась, как Стикс. Глядя в этот бугристый мрак с тонкой радужной пленкой, Бакстон обрадовался бы и улыбке акулы — как доказательству того, что мир еще не кончился.

Все собрались на палубе — даже те, кто лил масло, получили передышку. Сонно, кое-как стали поправлять люки; но в этом воздухе человек терял волю, да и леса уже не хватало.

Странно: столько всего было сброшено за борт штормом, а несколько спасательных шлюпок осталось на месте. На шлюпках есть — или должен быть — аварийный запас продовольствия, сухари и вода. Капитан Эдвардес послал людей поискать в шлюпках, и они нашли, что искали, — бочонки с сухарями и бидоны с водой.

Воды они хотели раньше всего. Но бидоны затыкают деревянными пробками, а пробки имеют способность сокращаться и разбалтываться в горловине. И при сильном волнении могут вылезти. Так и случилось. Бидонов нашлось много, воды — мало, да и та частью смешалась с морской, так что пригодной для питья было совсем чуть-чуть. Ее поделили, а потом принялись за сухари.

Большинство бочонков протекло или лопнуло. Но немного сухарей им досталось. Мистер Макдональд, опаленный и рассерженный, бродил по палубе, держа в обеих руках по бесполезному сухарю. Бесполезные?

— Это молодым в самый раз, — хрипел он, — но как прикажете грызть корабельный сухарь зубными протезами? — И пустота в его желудке откликалась ритмичными гулами, похожими на удары молота.

Внизу, в холодильнике, хранилась обильная снедь. Мясо, яйца, масло, салаты — все что душе угодно. И все — в холодильнике.

— Может, попробуем открыть холодильник? — спросил капитана старший стюард.

Но капитан запретил. Если его открыть, все будет испорчено. Пока перед дверью плещется морская вода, холодильник открывать нельзя.

Хотя, конечно, без электричества все и так скоро испортится.

И в десятый раз стюард стал обшаривать кладовую, залезая в каждый уголок и щелку, и на этот раз кое-что нашел. Он нашел апельсин и яблоко и отнес капитану.

Капитан Эдвардес принялся есть половину апельсина, вторую собираясь оставить помощнику. Но после первого укуса челюсти взяли над ним власть. Он не мог остановиться и съел весь. Сообразив, что случилось, он отправился искать помощника.

Он нашел его, отдал ему яблоко и сказал ему:

— Мистер Бакстон, я сыграл с вами некрасивую шутку. Был еще апельсин, и я его весь съел.

## Глава X

Посасывая яблоко на мостике, Бакстон вдруг понял, впервые в жизни, почему он пошел в моряки (а плавал он уже двадцать пять лет). Потому что он любил Добродетель и не был Экономическим человеком.

Экономический человек продает свой труд за деньги. Работа для него — то, чем он готов заниматься пропорционально оплате. Его рабочий день — это определенное количество часов, которые он согласен потерять, дабы получить средства к существованию и наслаждаться досугом.

Человек вольной профессии тоже называет свое занятие работой, но смысл вкладывает в нее прямо противоположный. Потерянными он считает часы, когда не работал. Оплата? Конечно, он рассчитывает, что ему заплатят, — воздухом сыт не будешь. Но если Экономический человек видит в работе средство для получения денег, то Профессиональный человек смотрит на деньги как на средство для того, чтобы заниматься работой.

Все это очевидно; но именно такова была суть рассуждений Бакстона. Только лишь суть, потому что от голода мысль его была отрывистой,

мерцающей, не такой связной, как я ее здесь излагаю. Это была одна причина, почему он стал моряком. Мореходство — чуть ли не единственная вольная профессия, доступная бедному человеку.

Но как профессия мореходство кажется какой-то аномалией: разве движущая сила его не Торговля? Однако ноги этого колосса опираются на две разные системы ценностей. Я хочу сказать, raison d'être[1] его экономический, а его практика оценивается по критериям вовсе не экономическим: их нельзя назвать иначе как моральными, и приложимы они именно к этой профессии. Ибо работа в море требует определенных качеств — добродетелей, если угодно, — не свойственных отношениям нанимателя и нанимаемого на суше. На суше обязательства работника ограничены; в море неограничены. От моряка может потребоваться, чтобы он отдал все свои силы и даже жизнь. Ему это не навязали, ему не подсунул это обманом наниматель — это присуще профессии, которую он избрал. Неизбежный изъян? Удивительно, но люди определенного типа, такие как мистер Бакстон, идут в море именно по этой причине.

Могу только предположить, что Добродетель (в римском, а не викторианском смысле) у некоторых людей — естественный инстинкт: они не могут быть счастливы, если не находят ей применения.

Кроме того, это профессиональное отношение свойственно не только самому моряку: это инфекция, распространяющаяся по всему судоходному комплексу, и она вспыхивает в самых неожиданных местах — даже в кабинетах правлений. Вы подумаете, что по крайней мере владельцы должны быть Экономическими людьми, озабоченными только наживой. Конечно, и среди них нередки люди, спешащие разбогатеть. Но некоторые владельцы не таковы. Все они получают изрядный доход от своего дела, живут в достатке и комфорте, но зачастую не имеют и десятой доли того, что могли бы выжать из флота, если бы относились к нему как к дойной корове. Они отбирают столько, сколько им нужно, чтобы держать дом, приличествующий должности лорда-мэра или иной какой-то, выпавшей на их долю; все остальное они вкладывают в те же суда. Кажется, для них важнее отличные суда, чем отличные жены или удовольствия, — да что угодно, пусть самое отличное.

Из этого одинакового профессионального отношения к флоту по обе стороны кассы вытекает один серьезный результат. Моряки ожидают от владельцев почти таких же высоких норм поведения, как и друг от друга. Всякое действие владельцев рассматривается всем флотом и подвергается высокому суду. И приговор всегда будет гласным, удобно это кому-то или нет. Если добродетель владельца (опять-таки в римском смысле) обнаруживает изъяны, бывает так, что командиры готовы провалиться сквозь землю от стыда; но делать вид, будто никто не заметил позора, они не станут.

Впрочем, мы немного отклонились от размышлений Бакстона, который стоял на мостике держась за поручни. Снаружи его терзал ветер и нескончаемый рев, изнутри точил голод и усталость, но по тонкой бесплотной оболочке между ними разливалась какая-то теплая волна удовлетворенности.

1. Смысл существования (*франц.*).

Ветер ревел, гигантские оперенные волны, закручиваясь, валились с неба; но, укрывшись за передней надстройкой, держась за остатки грузовой стрелы, стоял маленький молодой озябший китаец. Пена обдавала его иной раз до пояса, но его рябое лицо было серьезным, сосредоточенно-отрешенным. Он пытался зажечь фейерверк. Фейерверк был адресован Небесной Фее госпоже Тяньфэй, поскольку она одна во всем небесном собрании (да еще, может быть, сама Гуаньинь) могла справиться с этим старым, одышливым, желто-белым мешком, Драконом Ветров.

Когда-то Тяньфэй была девочкой, развитой и набожной, страдавшей припадками. Родилась она на острове Мэйчжоу в провинции Фуцзянь в 742 году н. э. В пять лет она умела читать молитву бодисатве Гуаньинь, а в одиннадцать — исполнять обрядовый танец Наньцзе-Лошень. Однажды, когда она была в трансе, ее душа полетела спасать братьев, попавших в шторм на лодках, далеко от дома. И они действительно увидели сестру, идущую к ним по воде. Но потом она исчезла — в эту минуту встревоженные родители вернули ее душу в тело, гонгами. Они поторопились, сказала им Тяньфэй: братья терпели бедствие, и она успела спасти только троих (четвертый в самом деле так и не вернулся домой).

Умерла она ребенком.

Но миссия ее не завершилась. Теперь никакие гонги не могли отозвать ее душу, когда она шла по морю. Снова и снова, когда разражалась буря и слабело сердце бедных моряков, они видели, что она идет к ним по водам и усмиряет воды на ходу. Неофициально она стала святой — покровительницей моряков, и на многих опасных берегах выросли ее кумирни. В начале XII века она спасла жизнь императорскому послу, и тогда ее святость, давно признанная в народе, наконец-то стала официальной; император, будучи главой церкви, канонизировал ее (и с тех пор всякую Деву Милосердия китайцы могли отождествлять с Тяньфэй). Теперь, в 1929 году, ее земляк, молодой Пин Цяо, родившийся на зеленых берегах Фуцзяни, возился с мокрым порохом, чтобы позвать ее на помощь.

Его друг Ао Лин, чуждый этих суеверий, наблюдал за ним из двери средней надстройки со злым презрением.

Ао Лин больше не мог терпеть. В приступе ярости он выскочил на колодезную палубу, выбил из рук у Пин Цяо шипящую дрянь и тумаками загнал его обратно в среднюю надстройку.

Там было вавилонское столпотворение. Горел керосиновый фонарь, палубные матросы сидели на корточках; после полуденного затишья они не впали снова в прострацию. Люди из машинного отделения стояли над ними, и по большей части говорили они. Журчала и пересыпалась галькой, веселыми носовыми стонами китайская речь.

Ао Лин слушал не вмешиваясь. Главным разговорщиком был Генри Тун, методист. Вид у него был такой, будто он произносит страстную речь; на самом же деле он шутил насчет голода. Снаружи сильный ветер, говорил он, но внутри у него сильнее. Он так голоден, что готов проглотить все судно, и если бы проглотил, оно бы не отделалось сорванной трубой. Внутри у него такой ветер, что разорвал бы весь корпус, лист за листом.

— А-а, ветер, — сказал молодой Пин Цяо, — кроме ветра ни о чем говорить не можешь?

Вместо ответа христианин извлек из себя оглушительную и бесконечно долгую отрыжку. И внезапно переменил тон:

— Эх, молодежь, много ли вы знаете о ветре? Вы думаете, это сильный шторм? А я попал в шторм хуже этого — и на маленькой джонке. Мы неслись на всех парусах. Потом видим: по морю плывет корова. И тут налетел совсем страшный порыв. И у меня на глазах, верите или нет, рога у нее напрочь сдуло с головы! Я говорю племяннику А Фэну — он у меня матросом: "А Фэн, — говорю, — ты видел корову? Может, и нам убавить парусов?" — "Тебе лучше знать", — говорит А Фэн. "Тогда на всех парусах, — говорю я. — Я парусов не убавляю ни при каком ветре!" И мы несемся. Вдруг А Фэн кричит, что видит остров, прямо по курсу. "Руль на ветер!" — кричит. "Есть на ветер! — отвечаю. — Ползи на корму, черепаха, пусть поднимет нос!" Он побежал на корму, и нос, конечно, задрался: А Фэн толстый, как сборщик налогов. И тогда ветер поднял нашу джонку — и мы наверх, и над островом, как ласточка. Даже за деревья килем не задели. Над островом прошли, и говорю ему: "А теперь иди на нос, нам на Небо еще рано!" А Фэн осторожненько переходит на нос, и мы опускаемся на воду, без всплеска.



*

Мистер Сутер в темном углу слушал и наблюдал.

Тот, кому довелось пережить китайский бунт (как мистеру Сутеру), ни за что не захочет столкнуться с ним снова. Такие бунты вспыхивают не вдруг, но когда вспыхивают, перемена в людях происходит разительная — и страшная. Это — эффект толпы, безличный, как закипание воды. Добрые, беспечные, порядочные, с чувством юмора люди становятся безумно жестокими, у них лица дьяволов, и они дико кричат. Если у них ножи в руках, они просто не могут вас не порезать, даже когда вы с ними говорите. Если не могут добраться до жизненно важных органов, полоснут по любому не важному месту, куда достанут.

Единственное средство — попытаться погасить это в зародыше.

Мистер Сутер ни слова не понимал по-китайски, но был убежден, что иногда можно вернее понять разговор людей, если не знаешь ни единого слова, чем если знаешь язык с пятого на десятое. Ты полагаешься только на глаза: следишь за выражением их лиц; и надо прислушиваться к интонациям.

Он никогда не доверял этому толстому китаёзе Генри Туну, гонконгскому христианину. Миссионерских выкормышей он не любил в принципе: доверять им никогда нельзя. Взять хотя бы этого: ясно как дважды два, куда он гнет. Прирожденный демагог и агитатор. Без всякой китаистики ясно, что подбивает людей на какую-то пакость: машины сломать, взбунтоваться, поубивать начальство — *видно же*, что́ он им внушает.

А Генри, действительно, с очень серьезным видом, с искреннейшим выражением лица рассказывал одну небылицу за другой, и люди вокруг внимали как зачарованные, широко раскрыв глаза.

— Я вам не рассказывал, — продолжал Генри, — как на спор хотел перепить тигра?

Черт возьми, думал Сутер, будь я капитаном, пристрелил бы его на месте, подавил бы это дело в зародыше!

Черт возьми, думал Сутер, если бы я знал по-китайски, он бы у меня не выкрутился. А прижму его сейчас — скажет, что вовсе не подстрекал к бунту.

И так же тихо, как вошел, мистер Сутер выскользнул наружу искать капитана.

## 3

Могучие врожденные силы в нас, несколько перводвигателей, заключенные в каждом, по природе своей пластичны, хамелеонски изменчивы. Форма и окраска, приобретаемые ими на поверхности сознания, имеют как будто бы мало сходства с корнями: они определяются скорее окружающей средой. Если образование людей, их среда отличаются фундаментально, цветы из одного и того же невидимого корня будут казаться несхожими, тоже будут отличаться "фундаментально".

Взять хотя бы это странное противостояние и напряжение (или по крайней мере связь) между родителем и ребенком, существующие у всех людей и даже у всех животных. Форма поведения, в какой они проявляются, зависит от культурной среды. У англосаксов сегодня они по большей части проявляются в форме бунта, в преувеличенном презрении подростка к родителю: любого человека того же калибра, что его отец, он презирал бы гораздо меньше. Среди китайцев из того же самого корня вырастает послушание, преклонение перед родителем. В обоих случаях первопричина одна и та же: связь, по ощущению очень крепкая и потенциально очень опасная; поэтому мы дергаем за эту связь, отчаянно пытаемся ее порвать — тогда как они идут к источнику тяги быстрее, чем он притягивает, и трос этот все время не натянут!

Англичанин (когда он взрослый) часто ненавидит родителей; китаец же, поскольку должен безоговорочно им подчиняться, ненавидит их редко.

Иногда англичанин ищет выход из этого в равенстве, пытается сделать отца другом. Но такая дружба несвободна, и в ней эти узы все равно будут натирать. Китаец, напротив, обожествляет отца, и это отношение, смазанное формальностями, неизбежно из него вытекающими, совсем не будет раздражать ни того, ни другого.

Преклонение — это гладкая опаловая оболочка, которой жемчужница обволакивает раздражающую песчинку. Когда человеческие отношения — родителя и ребенка, правителя и подданного, мужчины и женщины — обременены невыносимым раздражением, есть большой смысл в том, чтобы вот так перевести их в *сверх*человеческие.

Впрочем, ни одно обобщение не универсально. Случается, что и китаец ненавидит отца, — но редко, очень редко. В этих случаях, именно по причине их редкости, ненависть сказывается на ходе его жизни менее явно, но более сильно, чем у нас. О ней даже нельзя заикнуться; это позорнейшее преступление, вроде инцеста. Не находя понимания в обществе, мотив подавляется и загоняется внутрь.

И некоторые побеги из этого тайного корня будут крайне любопытными; а некоторые — даже красивыми.

*



Этот кочегар Ао Лин был молодым парнем, тех же лет, что Дик Уотчетт, но биографию имел более пеструю. Можно сказать, нетипичную для китайца: в ней было слишком много непоседливости, кочевья. А в последнее время — и целеустремленности, и слишком мало беззаботности — суровость, даже нетерпенье.

Когда человек отождествляет себя с Идеей, он отрешается от себя. Он способен изложить вам Идею в мельчайших деталях от А до Я, но едва ли сумеет сказать, две ноги у него или три.

В этом состоянии пребывал теперь Ао Лин. Он подробно помнил все, что пережил до своего обращения, и очень мало — из того, что было после. Со времени обращения и по крайней мере до того, как они с боями вырвались из Цзинганшаня, ум его не сохранил никаких личных воспоминаний — он был целиком захвачен ходом Борьбы. Неудивительно, что в этом религиозном экстазе его почти не волновали ни шторм, ни голод, ни даже огонь из топок, который был бессилен ему повредить. Неудивительно, что его так злили глупые суеверия Пин Цяо.

Он сидел в позе, рисунок которой определялся как будто его костями и слухом, а не формой поверхности тела (как у большинства европейцев). Позвоночник и затылок составляли одну прямую линию. Его короткие жесткие черные волосы торчали в разные стороны, как иглы у ежа; по контрасту с его маленьким лицом, которое могло быть очень подвижным и оживленным (а сейчас было непроницаемо, как стена), они казались мертвыми.

Голод? Он несколько дней не ел. Но что такое несколько дней без еды для человека, который пережил долгую голодную осаду Цзинганшаня, почти не замечая голода?

Да и тогда уже голод был ему не в новинку. Ребенком он пережил голодный год и не забыл его. Ему было семь лет. Руки и ноги у него становились все тоньше, а живот все больше, так что он (как старик) уже не видел своих колен. Чтобы заполнить пустоту, он пил в огромных количествах воду, живот от этого стал твердым и пуп вылез, как у новорожденного. За пять месяцев в животе у него не побывало ничего твердого, кроме коры и земли, если не считать одного случая, когда семья нашла клад — девять сухих фасолин.

Правда, в первые месяцы зимы кое-какая пища в доме была. Но детям ее, естественно, не давали — еда предназначалась бабушке, и они, заморыши, раз в день приносили ей с поклоном миску кашицы, пока не перестали твердо держаться на ногах, после чего их предусмотрительно освободили от этой обязанности. Среди прочего голод лишил их способности нормально спать и просыпаться. Даже ночью они могли проспать лишь несколько минут подряд, а днем в любую минуту засыпали, чем бы ни были заняты.

В семье было всего двое детей: Лин и его сестра.

Однажды, после нескольких месяцев голода, они пошли в районный центр продавать сестру. В те дни большинство семей пытались

продать или отдать девочек, но не всем удавалось: выбор был большой, и покупатели сделались разборчивы. Брать детей моложе девяти лет они считали невыгодным — ребенок еще не годился для тяжелой работы. С другой стороны, у тех, кому больше одиннадцати-двенадцати лет, появляется самостоятельность, с ними могут быть сложности в новом доме — поэтому от них отказывались. Сестре Лина повезло, ей было десять лет, самый подходящий возраст: и к тяжелой работе годна, и еще не своевольна. И там Лин (не по-мальчишески любивший свою цзецзе) в последний раз увидел ее обтянутое кожей лицо с печальными обезьяньими глазами, ее мосластые локотки и потрескавшиеся пальчики. Он видел, как отец отдавал ее и как покупатель, правда вполне дружелюбный, ее уводил.

В городе, полном мертвецов, стоял тошнотворный смрад, и живых, казалось, было уже немного. Но когда они побрели домой, на одной из улиц города им неожиданно преградила дорогу большая толпа. Она стояла перед домом богача. Не перед главными воротами, а перед черным ходом — темной лакированной дверью в глухой стене. Все знали, что в доме у богача есть еда, и люди, не сговариваясь, стали собираться, по двое, по трое — и наконец запрудили всю улицу. Говорили мало, слышалось только тихое ворчанье, хотя раза два кто-то крикнул — то ли выругался фальцетом, то ли попросил пищи. Многие были почти раздеты. Ао застряли в толпе, все увеличивавшейся, — там собралось, наверное, больше тысячи человек. Людей, которых голод иссушил так, что все их движения выглядели жестикуляцией.

Тихий вой повысился на тон или два, как бывает при начале шторма. Беспристрастный человек испугался бы за богача, сидящего среди своих бассейнов с рыбками, дворов с решетками, — когда волки уже у самой его двери.

Дверь открылась изнутри; показался привратник. Это был маленький человек с редкими зубами, но упитанный. Он стоял один, и толпа надвигалась на него; но он ее не испугался. Он ничего не сказал, а только поднял руку и толкнул ближайшего человека в грудь.

Один за другим они попадали навзничь, повалились как карточный домик, и вскоре все лежали на земле. У многих не было сил встать сразу: они только приподнимались на руках, плача от досады на свою слабость.

Это крушение как будто бы сильных людей перед магическим ликом Богатства маленький Лин наблюдал с удивлением и каким-то очень странным чувством.

А привратник закрыл дверь и даже не потрудился ее запереть. Солдаты ямэня? Не нужно было никаких солдат, чтобы отогнать эти осенние листья.

Когда вернулись домой, Лин пошел к маленькой кумирне в поле, где сидели местные боги. Обычно к ним относятся с большим почтением — приносят им бумажную одежду, курят благовония, — так же как к домашним богам (в Новый год, когда они отправляются на небо с ежегодным докладом, им мажут губы медом, чтобы подсластить доклад). Но теперь они превратились в оборванцев, таких же, как те, кто им поклонялся, их глиняные тела потрескались и запаршивели.

В вечернем воздухе висел пронзительный стрекот цикад, и кругом галдели лягушки, словно крякал целый утиный флот.

Лин дерзко схватил богов, ожидая от них немедленной отповеди. Но ничего не случилось — привратника здесь не было!

Он выволок их из кумирни и, собрав остаток сил, разбил на куски.

Они лежали перед ним немощные: оказались не способны сопротивляться, так же как раньше оказались не способны помочь; в сумерках Лин пошел домой.

В зарослях сухого бамбука зашуршало. Когда он проходил мимо, оттуда кто-то выскочил у него за спиной. Это был бог: трещины на его теле выглядели как огненные швы, его зеленое лицо исказилось от ярости. Маленький Лин с криком ввалился на кухню и упал на пол. [151] ИЛ-В/2002

Всю ночь он слышал, как бог топает по дому и шумно принюхивается за дверью, чуя его кровь.

После голода они уехали от Реки на юг, в холмы восточной Хунани, прочь от Реки.

## 4

Из множества послушных китайских сыновей почему именно Лин ненавидел отца? Это сморщенное лицо, эту бороду — несколько жестких черных волосинок? Почему в тех редких случаях, когда отец оказывался рядом, Лин невольно отклонялся в сторону, словно ожидая удара?

А контакты между ними были очень редки. Даже в самом бедном глинобитном китайском доме женский двор (где живут дети) отделен от отцовской комнаты — внутреннего помещения. Контакты у детей с отцом всегда формальны — это случаи, когда надо совершить какой-то почти ритуальный акт услужения. При том, как китайцы любят своих детей, они избегают открытого выражения чувств, которое своей непосредственностью и обнаженностью могло бы вызвать у младшего отвращение. Тут не допускают, чтобы эти первобытные узы причиняли боль, чтобы истиралась жемчужная оболочка.

С Лином отец всегда был отчужденно-добр; обращался с ним справедливо; одевал, конечно, во все красное.

Однако, когда отец отправил его в школу, он не захотел учиться — потому что его отправил отец.

Но в китайской школе трудно не учиться. Английский мальчик может глядеть в книгу, пока не станет двоиться в глазах, и при этом не прочесть ни слова; может перетряхивать слагаемые, как в калейдоскопе, и нисколько не приблизиться к ответу. Китайский метод обучения тоньше. Там все берется зубрежкой. Повторяй это снова и снова, повторяй хором, час за часом. Мысли твои могут быть в Ташкенте, но повторяй это снова и снова, тонким писклявым голосом, и оно поселится *за* твоим вниманием; когда внимание вернется, оно будет крышкой, а не заслонкой: то, чего ты не хотел учить, будет внедрено надежно. Так и Лина выучили — и теркой, и поркой, но больше теркой.

Нищий студент — учитель их маленькой школы — не мог разобраться в Лине. Мальчик был вежливый, но хмурый, ребята его недолюбливали, и порой казалось, что в нем живет внутреннее сопротивление власти. Это значило, что надежды на него нет (ибо добровольное подчинение власти есть первая из добродетелей, без которой невозможны никакие другие).

О ненависти Лина к отцу наставник, конечно, не подозревал. Да и как он мог? Он был приличным человеком, не способным вообразить

подобное зло в своих учениках. А такое противоестественное, такое позорное чувство любой ребенок постарается скрыть даже от себя. Лишь по плодам его вы узнаете о его существовании.

Однако преувеличенный страх перед богатыми, граничащий с болезненной ненавистью, учитель в нем разглядел — но не находил ему объяснения. Лишь однажды увидел учитель настоящую радость на лице Лина. Это был сезон зерновых совок — зеленых бабочек с красными светящимися глазами. Лин ловил этих глупых красивых насекомых десятками и сажал в бумажные коробки. Он брал своих пленниц очень нежно и смотрел на них с радостным обожанием. Учитель, кроткий буддист, улыбался при виде этой примерной любви к живым существам. Но потом он увидел, как Лин взял коробки, полные живых бабочек, и ни с того ни с сего бросил в печку.



5

Но память Лина простиралась гораздо дальше в прошлое: дальше школы, дальше голода, и чем более ранними были воспоминания, тем они были яснее. Яркие отдельные картины, запечатлевшиеся не из-за своей важности, а по капризу памяти. Лину казалось, что он почти помнит тот день, когда новорожденным младенцем лежал, завернутый по традиции в старые отцовские штаны.

Это, разумеется, невозможно, но некоторые его воспоминания действительно относились к очень раннему времени.

Одно — о его сестре, которую он так сильно любил. Тогда он еще не умел ходить. Он увидел, что цзецзе вышла за дверь на солнце, и на четвереньках пополз за ней. Во дворе он сел на мокрую попку и огляделся. И вдруг покатился кубарем: его опрокинул большой старый морщинистый боров с черной щетиной, устремившийся за дынной коркой.

Лишь в одном из этих воспоминаний фигурировал его отец. Я говорил, что соприкасались они редко; но картина, которую я сейчас опишу, относится как раз к одному из этих редких случаев.

Вся семья сидела на соломенной крыше своего домика. Вокруг них бурлило желтое половодье, и глиняные стены под ними подтаивали. Положение их, надо думать, было вполне отчаянное. Мать держала Лина на руках. Наверное, он был совсем малыш: она дала ему грудь.

Но едва молоко пошло ему в рот, как отец оторвал его от груди и с яростным воплем швырнул в только что подошедшую спасательную лодку.

## Глава XI

После голодного года семья Ао перебралась на юг, в холмы восточной Хунани, у границы Цзянси. К этому времени отец стал строг с Лином, и мальчик возненавидел его еще больше. Но он по-прежнему ничем не выдавал своих чувств. И не только потому, что умел владеть собой: это был странный изъян самой ненависти. Когда он был один, гнев порой дохо-

дил до белого каления, до жажды отцеубийства; но при встрече с отцом от одного его слова, одного его взгляда ненависть лопалась как пузырь, и, лишившись ее поддержки, мальчик испытывал только унижение (на него это действовало примерно так, как тычок привратника, повалив-ший толпу).



В двенадцать лет Лин без всякой ссоры, не сказав никому ни слова, сбежал из дому.

Он перебивался разными работами там и сям; беспокойный дух гнал его с места на место, из Хунани в Цзянси, на восток, с диких лесистых холмов на рыжую глинистую равнину возле Наньчана.

Там, на дороге, он впервые увидел автобус. Не рейсовый — одиночку, ездивший туда, куда мог набрать достаточно народу. Он был так набит, что пассажиры высовывались сверху наподобие цветочного букета — очень гордые тем, что едут на автобусе.

Ехал автобус не очень быстро: хозяин, экономя бензин, запряг в него пару волов, выполнявших роль мотора.

Какое-то время Лин работал в деревенском трактире на этой дороге. Там было всего несколько закопченных комнат, одна закопченная лампа и деревянный помост — общая кровать для постояльцев. Несколько путников сидели там, мирно посасывая трубочки, или от скуки писали и рисовали на стенах. Комариное гудение, кукареканье петухов, стуканье копыт в полночь, а на заре — звяканье колодезной цепи, когда он набирал воду.

Какой контраст с городской гостиницей в Наньчане (он вскоре перебрался работать туда) — Наньчан, первый столичный город в его жизни, а потому столица мира! Монотонный речитатив уличных торговцев, громыхание, пронзительное пение, вечный невнятный шум, запах соевого масла, резкие голоса людей, которые всю ночь выбрасывают пальцы, играя на выпивку, горн играет зорю, швейные машины.

*

Сидя в средней надстройке "Архимеда", Лин не слушал шута-христианина; мысли его блуждали по клетчатому полю памяти. Он работал землекопом, чинил дамбы, ограждавшие от желтой Янцзы зеленые пойменные поля.

Он работал в шанхайском театре — не актером, не бутафором, не музыкантом, а на такой должности, которая вам и в голову не придет в связи со словом "театр". В изнурительной жаре он разбрасывал среди публики горячие полотенца для очистки забитых солью потовых желез.

Потом в Нанкине: там среди глинобитных развалин уже строился новый строгий близнец Уайтхолла.

Он стоял со связанными за спиной руками, ждал, когда наступит его очередь опуститься на колени перед палачом. Это было за городской стеной на песчаной площадке вроде футбольной, в окружении толпы зрителей. Но как раз когда подошла его очередь, прискакал всадник, выкрикивая какую-то новость. На лице палача (одного из последних представителей этой гильдии) самодовольство вдруг сменилось ужасом, он бросил топор и убежал, подкидывая коленями желтый фартук. Магистрат, церемонно восседавший посреди циновок, исчез без всяких цере-

моний. Солдаты бросились наутек; толпа растаяла; он остался в одиночестве — один живой рядом с четырьмя обезглавленными телами, и холодный пот высыхал на его одеревеневшем лице.

Со связанными руками он вошел в пустеющий город. Безмолвный город: ни одного тревожного крика, только шелест вокруг, словно шум дождя, — шелест бегущих ног. Разрезав чем-то веревку, он тоже побежал.



А затем были веселые три месяца — работа кондуктором на автобусе в Ханьшоу, самое беспечное, мальчишеское время в его жизни. Тут уже автобусы были правильные, ездили самостоятельно. В Нанкин и обратно, три месяца, по одним и тем же местам. Это изящный, подробный, зеленый край, все оттенки зелени: зелень рисовых полей, темная зелень кукурузы, зеленые деревья, перистые островки бамбука. Грунтовые дороги, горбатые мостики над каналами, оккупированными бесшумным детским флотом. По этим дорогам рыча носились туго набитые автобусы, и позади каждого, как привязанная к собачьему хвосту жестянка, мотался прицеп с багажом.

На этой работе Лин страстно полюбил технику и со временем мог бы даже дорасти до шофера. Но однажды, когда они мчались по мостику, всеми четырьмя колесами в воздухе, внизу мелькнула прекрасная девушка — она сидела в сампане и вышивала туфли. При виде такой красоты у Лина будто выросли крылья. Недолго думая он спрыгнул с автобуса. Но когда он подбежал к мостику, сампана там уже не было.

*

Лин вернулся в Хунань солдатом армии генерала Хэ Цяня, как раз в это время поменявшего убеждения.

Был 1927 год. Хунань и Цзянси бурлили. Северные войска пришли и ушли; теперь начиналась другая война. Стоило Гоминьдану установить свою власть, как он раскололся сверху донизу — на левых и правых. Бородина и русских выгнали с треском. Коммунистов, больших и маленьких, отлавливали и убивали. Ибо никто не преследует левых безжалостнее, чем бывшие революционеры, и хронологически именно нанкинское правительство Чан Кайши, а не нацистское правительство Гитлера может претендовать на звание второго фашистского движения в истории (Сталин, разумеется, идет четвертым).

Однако некоторые коммунистические вожаки ушли от преследования и, поднимая знамя то в одном районе, то в другом, не испытывали недостатка в сторонниках. Например, Мао Цзэдун, тридцатипятилетний неряшливый крестьянин-политик, с изощренным и веселым умом. И Чжу Дэ, состоятельный аристократ средних лет, курильщик опиума, бригадный генерал, от всего отказавшийся, чтобы присягнуть серпу и молоту, — притом первоклассный стратег.

Мао, действуя из Чанша, поднял восстание крестьян Хунани и двинулся маршем на юг, к горам на границе Цзянси. Обратившийся в новую веру Чжу Дэ вывел свои войска из Наньчана и направился на запад, в те же горы.

И вот эти два блестящих и как будто несовместимых человека объединили силы и укрепились в Цзинганшане.

Но всего этого Ао Лин тогда, конечно, не знал. Только — что "Хитрец", его превосходительство Хэ Цянь, посылает свои войска в горы бить бандитов[1]. В горы, которые Лин уже хорошо знал. Старый Хитрец был умелым командиром, и войска его шли туда, куда он приказывал. И вот, с зонтиками за плечами, с громадными соломенными шляпами за спиной, некоторые — с певчими птицами в клетках, а кое-кто даже с винтовкой, правительственные солдаты пошли в наступление. Тут в памяти у Лина был провал: что происходило с ним лично, он не помнил. Как очутился в рядах Красной Армии, с которой послан был драться? Трудно сказать. Было много таких же дезертиров, как он. Они переходили маленькими группами все время — обычное дело в тех местных войнах. С такой группой, наверно, и ушел Лин; может быть, даже ее возглавил.

Он определенно не представлял себе, рысью пересекая линию фронта, что это начало новой жизни: что это не просто перемена вождей, что для него это станет тем же, чем для святого Павла стала дорога в Дамаск.

Однако именно так и получилось. Он впитал марксистскую доктрину, как высохшее поле впитывает дождь. Она освежила каждый закоулок его души. Ибо освободила от трех великих страхов: страха перед отцом, страха перед сверхъестественным и страха перед богатыми. Кроме того, она обуздала три ненависти, порожденные этими страхами, и убедила, что они правильны и справедливы — не тайные шрамы отщепенца, а почетные символы братства. Отправив его воевать с правительством, она превратила его отца в гидру и дала ему меч для каждой ее шеи.

Прежнюю жизнь он помнил ясно, но теперь она для него ничего не значила — словно случилась с кем-то другим. Так помнит, наверное, о прежнем воплощении человек, почему-то не отведавший эликсир забвения Матушки Мэн.

Лин, который даже ради себя не мог проработать на одном месте несколько месяцев, вдруг понял, что готов работать всю жизнь ради Нового Китая — ради восхода Красной Звезды. У него открылись большие способности к учению — неожиданно для него самого. Он глотал книги и лекции с ненасытной жадностью и довольно скоро сам стал сносно читать лекции.

Но обратил он на себя внимание не столько книжной ученостью, сколько исключительным мастерством, которого достиг в пинг-понге: командование красных помешалось на этой игре.

## 2

Всю зиму они провели в осажденном Цзинганшане, и Ао Лин снова отведал супа из коры. Но весной 1929 года Красная Армия прорвала коль-

1. Правительство взяло за обыкновение называть коммунистические отряды бандитскими. Но у китайцев слово "бандит" имеет несколько другой оттенок. Китайский бандит ищет не только поживы — такая игра для него не стоила бы свеч. Часто им движут еще и твердые моральные принципы. Бандитизм (до появления коммунистов в Китае) становился уделом тех, кто в Европе сделался бы революционером. Но если европейский революционер стремится свергнуть существующий строй, то китайский бандит его только подправляет. В экономическом плане он играет полезную роль, способствуя обращению капитала. Если его ловят, то, конечно, казнят.

цо окружения и двинулась по южной Цзянси, перемежая бои с пропагандой. В одной из вылазок патруль, которым командовал Ао Лин, отбился от армии, а потом и сам Ао Лин отбился от патруля. Он вдруг очутился один.

Подействовало это на него мгновенно и страшно: он почувствовал, что съеживается, уменьшается. Всю эту зиму он был не личностью, а частью большого братства — все они были членами одного тела. А теперь он остался один. Не командир патруля, двигавшегося согласно правилам военного искусства по западной системе дефиле, а одинокий человек, повредивший палец на ноге и ковылявший неизвестно куда по каменистой крутой тропе. За еловым леском показался маленький даосский храм, на стенах которого пылали громадные антикоммунистические лозунги. Перед дверью сидел настоятель и играл на цитре.

В горах Ао Лин полгода наслаждался духовной жизнью, растворенностью в среде единоверцев. А сейчас иллюзия Красной Пыли вновь овладела им: видимый мир снова существовал. Вновь открылась его чувствам знакомая страна: скалы, опушенные деревьями, узкие зеленые долины. Дымки над серыми деревнями. Уютные черно-белые домики — дерево и штукатурка — под кудрявыми карнизами. Мычание рыжеватых коров. Несчастный ослик с грузом, подвешенным к хвосту: чтобы не мог поднять его, а потому закричать.

Красная Армия была неведомо где; здесь она точно не проходила. Позже он где-нибудь сумеет к ней присоединиться, а пока что первой задачей для него, коммуниста и дезертира правительственной армии, было убраться из провинции Хунань.

Словно угадав мысли пришельца, настоятель положил цитру на землю и безмятежно произнес:

— Если на тропе поджидает тигр, глупо оставаться там и щекотать ему ноздри соломинкой.

— Я отворил мой слух, Бессмертный, и слушаю с почтением, — отозвался Ао Лин, на минуту забыв свой антиклерикализм.

Солнце показало ему, где юг, и ровной трусцой, несмотря на сбитый палец, он устремился к границе Гуандуна. Через пять дней он вышел на обрыв, откуда открывался вид на реку Бэй, окаймленную лесистыми скалами. Там, никем не узнанный, он сел в лодку, плывшую в Кантон.

Но и Кантон был небезопасен для известного коммуниста: преследования продолжались с прежней яростью. Присоединиться к Красной Армии он не мог: неизвестно было, где она находится. И Ао Лин предоставил себя в распоряжение партии; партия снабдила его по виду подлинными документами моряка. С ними он поступил на "Архимед", стоявший тогда в Гонконге.

## 3

Росчерком пера партия превратила Ао Лина в кочегара с трехлетним стажем, но взамен не потребовала, чтобы он сеял коммунизм среди команды "Архимеда". Время для таких действий еще не приспело; преждевременные бунты не сулили больших выгод. Забот и без того хватало: шла война с Гоминьданом, и великие державы нельзя было

раздражать, чтобы они не увеличили ему помощь. Ао Лин не взял с собой марксистских текстов даже для личного пользования: риск попасться был слишком велик. Так что недавно открывшиеся в нем способности к обучению он мог направить на технику, его старую любовь. Он знал, что придет день, когда Новому Китаю понадобятся люди, умеющие управлять машинами. Людского материала, из которого получаются механики, в природе меньше, чем сырья для политических мучеников.



И все же он испытывал сильное искушение. Хотя эти моряки сейчас мирно слушали болтуна, Лин знал, что направить их мысли на важные предметы было бы несложно. По натуре они — закоренелые рабы, и в обычных обстоятельствах их трудно было бы поднять на борьбу с империализмом; но сейчас был момент особый — он пройдет, и второго такого, возможно, не будет. Их тугие умы расшатаны сейчас голодом и страхом: их легко повернуть.

Внезапно он всем существом ощутил уверенность в собственном могуществе. Встать, заговорить — и люди пойдут за ним. Ничего не стоит напасть на командиров и захватить судно. Можете себе представить, какое это искушение для человека, ни разу в жизни самостоятельно не совершившего ничего значительного. При мысли о капитане, этом Боге-Отце, низведенном до ранга обыкновенного смертного — голенького, если не считать одежды, — в мускулах Ао Лина возникала дрожь, и керосиновый фонарь будто давал красную вспышку.

Да, он мог это сделать.

Но не имел права. Действовать самочинно, без партийного приказа — худший вид предательства. Долг категорически это запрещал.

Но только ли долг вынудил его, фигурально выражаясь, разжать кулак, упустить благоприятный случай? Или действовало какое-то более старое препятствие? Во всяком случае, ощущение внезапного упадка, потери соков, державших его прямо и будто вытекающих через подошвы, — ощущение это было хорошо знакомо Ао Лину.

*

Генри Тун рассказывал о том, как однажды обедал с даосами. Стемнело, а лампы не было; тогда старший священник вырезал из белой бумаги луну, приколол к стене, и она залила всю комнату светом. Это была настоящая луна: когда ты смотрел на нее, ты видел богиню Луны Хен Э, сидящую в коричной роще, и рядом — ее белого зайца. А потом вся компания ступила на Луну, и он, Генри, тоже — чтобы выпить с дамой. Но на тех холодных горизонтах такая стужа, что долго не просидишь.

— Я расскажу кое-что почище, — неожиданно вмешался Ао Лин и разразился необыкновеннейшей историей, случившейся, по его словам, в деревенском трактире, где он работал. Два путника допоздна засиделись за ужином и вдруг увидели, что из стены высунулось лицо девушки и смеется над ними. Один из них вскочил, но лицо исчезло — опять голая стена. Это повторялось несколько раз. Он разозлился, вынул нож, подполз на четвереньках к стене и ждет. Наконец голова снова высунулась, и он со всей силы хватил по белой шее ножом. Голова упала и покатилась по полу, вся в крови.

— Крики! Вбегает хозяин. Тут нож. И окровавленная голова еще моргает. Но чудо! В стене — никакой дырки! Никаких следов! Никакого тела! Мужчин арестовали, а тело так и не нашли...

— *Теперь моя говорить, все слушать!* — раздался звучный, ясный голос.



*

Все люди повернулись туда, откуда бил луч электрического фонаря. Там они увидели капитана и по бокам от него мистера Сутера и мистера Уотчетта. Все трое шагнули к лампе. Мистер Сутер подавал знаки — показывал капитану на Генри Туна.

— Море сильно бушевать? Кушать нету? — начал капитан и, восприняв их молчание как знак согласия, перешел к наставлениям: — Я делать мое дело, вы делать ваше дело — хороший бог! Корабль приходить порт! Люди сильно работать, получать "камшоу"!

"Камшоу" означает "премия". И перед просветлевшим внутренним взором каждого заплясали по деревянной конторке серебряные доллары.

Капитан, выдержав паузу, сунул руку в карман и перешел ко второму доводу.

— Ваша хотеть бунтовать? Моя иметь пистолет. Ваша помнить — моя стрелять *эта штука*! — Он выхватил из кармана револьвер. — Моя не хотеть ваша шалить!

Он снова сделал паузу, чтобы второй аргумент как следует усвоили: это было необходимо для перехода к третьей части. И загрохотал:

— Моя крепко знать, тут есть один плохой человек! Человек не моряк, человек пират! Очень плохой человек! Очень плохой бог!

Он круто повернулся и навел пистолет на Ао Лина.

— Мистер Уотчетт, арестуйте этого человека.

Дик живо бросился к Ао Лину — излишне живо, поскольку не привык производить аресты, — и чуть не подмял под себя китайца. Все лица повернулись к ним — удивленные луны, — а мистер Сутер возбужденно повторял: "Но... но..."

Дик поймал одну руку, стал возиться с наручниками, уронил их. Перепуганный Ао Лин заслонил другой рукой лицо. Дик, удивляясь пружинистой силе пойманной руки, подумал, что китаец хочет его ударить, и заехал ему кулаком в щеку. Рука китайца ослабла, стала мягкой, как девичья; Ао Лин повалился навзничь, и Дик надел на него, лежачего, наручники.

— Я давно знаю об этом человеке, мистер Сутер, — обратился к механику капитан. — Он нанялся к нам в Гонконге с фальшивыми документами. Мне телеграфировали из гонконгской полиции, просили арестовать его. По их словам, это известный бандит.

— Вы давно об этом знали, сэр?

— Да, но собирался арестовать его по приходе в порт. А тут вы пришли и сообщили, что затевается бунт: я счел момент подходящим. Теперь вы сами видите, кто тут зачинщик: он разглагольствовал перед ними не закрывая рта. Теперь я думаю, хлопот с ними не будет, и ваш Командор Генри тоже притихнет.

Он повернулся к китайцам.

— Этот человек — очень плохой человек! Вы видали, что я делать с плохой человек: я его ловить и запирать. Вы хорошие люди, вы не бо-

яться. Делайте ваше дело, слушайте приказы, живо-живо — хороший бог! Приходить порт, получать большой "камшоу" — каждый получать два доллара!

Большинство слушателей заулыбались. Их мало заботил Ао Лин: они хотели справедливости для себя. И она ожидала их: справедливостью был "камшоу". Два доллара за катаклизм — вполне справедливо.



Но у капитана Эдвардеса совесть была неспокойна. Он чувствовал, что повел себя по отношению к китайцам не совсем порядочно. И все же, если мистер Сутер прав, ход этот — безусловно своевременный. Что до неуклюжей жестокости молодого Уотчетта, капитану было очень за нее стыдно.

Ао Лин был теперь в наручниках, но все еще без сознания. Ждать, когда он очнется, не стоило: слишком некрасивый финал. И Дик, краснея от острого стыда за то, что без нужды применил силу, нагнулся и поднял его.

Его поразила вялость обмякшего тела, гладкость кожи — и он почувствовал еще больший стыд. Ао Лин, безвольно повисший на его руках, был почти так же легок, как Сюки.

С помощью мистера Сутера он отнес его в лазарет (сейчас это была самая подходящая камера) и уложил на койку нежнее, чем подобало полицейскому, и запер.

**Воскресенье**

## Глава XII

Должно быть, капитан Эдвардес хорошо разбирался в "богах" — или же посмотрел на барометр. Так или иначе, барометр уже поднимался, когда он арестовывал Ао Лина, и продолжал подниматься всю ночь. А на рассвете ветер заметно ослаб. В девять утра стало ясно, что шторм выпустил их из своей пасти; выплюнул наконец. Это не значит, что он кончился: по-прежнему яростный, он продолжал свой путь, но уже не тащил с собой "Архимеда". "Архимед" остался сзади.

Теперь был просто свежий ветер, погода для яхтсменов. Судно лежало носом к северо-востоку, а ветер менялся от юго-западного до западного — дул почти прямо в корму.

Все знают, что на паруснике качка меньше, чем на моторном судне. Ветер держит паруса, стабилизирует судно, что бы ни затевали волны. Но если вдруг штиль, а море еще бурное — закачает так, что застучишь зубами. Нечто похожее происходило сейчас. Пока бушевал ураган, обшивка борта работала как парус: волны не могли вытворять с судном все что им заблагорассудится. Но теперь стабилизирующая сила ветра ослабла, и ничто не сдерживало движения "Архимеда": он плясал, как взбесившаяся пробка, его качало так, как не качало ни разу с начала бури. Все, что было на борту неразломанного, разломалось сейчас. Немногие уцелевшие спасательные шлюпки сорвались с кильблоков и со сломанными спинами кувыркались на своих талях. Стол в салоне, привинченный к полу, поломал ноги. Вокруг стоял немузыкальный лязг — словно били омерзительные колокола. Оттяжки оборвались, и если на свобод-

ном конце оставался кусок предмета, они хлопали как бич. Разгром на "Архимеде" превосходил все, что было прежде.

Вдобавок корму захлестывали волны. Лить масло в кормовые галюны стало невозможно: вода из них била фонтанами. Переборки на юте проломились одна за другой, и вода заливала рулевую машину. Волны катились по юту, так что нос иногда поднимался над водой. При этом, конечно, много воды попадало в люк номер шесть, уменьшая и без того угрожающе маленький запас плавучести.

*

Обнаружив, что ветер ослаб и, судя по подъему барометра, они находятся не в центре шторма, а наконец-то на его окраине, Дик Уотчетт сам себе не поверил. Он бросился на мостик — за подтверждением хорошей новости.

Капитана и мистера Бакстона он нашел в штурманской рубке — оба держались за валик с картой.

— Это правда, сэр? — выпалил он. — Мы вышли из шторма?

Капитан Эдвардес кивнул. Но, посмотрев на лицо капитана, Дик изумился. Впервые за время шторма капитан Эдвардес был напуган.

Дик оглянулся назад — и понял почему. Он увидел, как ютовую надстройку накрыл пенный вал, докатившийся до средней надстройки. Судно вздрогнуло под ним, а нос, на который они смотрели с высоты мостика, задрался почти до горизонта. Волна схлынула, но корма поднялась не очень сильно. Ясно было, что у них сильный дифферент.

В это время появился радист и доложил, что аварийная рация опять работает.

— Пошлите вызов всем судам, — сказал капитан Эдвардес. — *"Расчетные координаты такие-то, требуется немедленная помощь!"* И вызывайте все время.

Радист, побледнев, отправился выполнять зловещий приказ.

Но если не знаешь своих настоящих координат, в просьбах о срочной помощи толку мало. У моряков есть способы приблизительно определить, в каком направлении находится твое судно, и все равно поиски при этом могут быть долгими.

Расчетное местоположение, которое дал капитан Эдвардес, явно было ошибочным: посыпались сообщения других судов, находившихся поблизости от этого места и не наблюдавших ни "Архимеда", ни его погоды.

Если искать будут долго, то помощь запоздает. Ибо если "Архимед" начнет тонуть, произойдет это быстро.

Но если он продержится хотя бы час, то при утихшем ветре умерится и волнение. И тогда, можно надеяться, они спасены.

Но небо еще закрывали тучи: никакой возможности определиться по солнцу. Одно сообщение было передано через Бостон — от владельцев в Бристоле.

*"Капитану архимеда спасательное судно патриция ищет вас три дня тчк грозит ли вам затопление впрс примите все меры определению своих истинных координат тчк сейдж".*

В карих глазах капитана возник твердый блеск. Решительно и как будто даже сердито поджав нижнюю губу, он достал из кармана размок-

ший телеграфный бланк и стал корябать на нем огрызком простого карандаша:

*"Сейдж. Бристоль. Ураган стихает. Уверен безопасности судна буду следовать Кингстон. Эдвардес"*. Радиограмму и свой ответ он сунул под нос мистеру Бакстону.



Помощник присвистнул дырявым зубом.

— "Буду следовать"? — сказал он.

— Буду следовать, — подтвердил капитан.

Он дважды дунул в свисток, и на мягких ногах явился малыш рулевой.

— Вызовите на мостик мистера Макдональда.

Старший механик пришел вскоре; взгляд у него был дикий, глаза слезились, в руках он держал вставную челюсть.

— Мистер Макдональд, что мешает вам поднять пары во вспомогательном котле?

— Нет трубы.

— Но ветер уже стихает. Что мешает вам поставить временную трубу? Через два часа мне нужен пар для помп. Вы можете это сделать?

— Не могу, — сказал мистер Макдональд. — Но могу попробовать.

Механики оторвали высокую вентиляционную трубу с колпаком — одну из нескольких уцелевших — и с помощью цемента насадили на обломок дымовой трубы. Ее надежно закрепили оттяжками (что было очень разумно при такой качке) и отправились вниз — разжигать вспомогательную топку.

Прошло не два часа, а четыре, и они вынуждены были признать, что ничего не получилось. Несмотря на самодельную трубу, мазут выбрасывало из топки.

Капитан Эдвардес сжал зубы; блеск его глаз, казалось, говорил о том, что он занят нынешней, неотложной проблемой; но на самом деле его мысли блуждали в прошлом. В его прошлом — до службы в "Сейдж лайн", — когда он плавал на парусниках. Потому что, как всякий морской командир, он проходил обучение на парусном флоте, не на пароходах. Это только в последнее время, когда возникла нехватка в обученных на парусном флоте, большинство первоклассных компаний стали принимать командиров, обучавшихся только на паровом, и сами стали их доучивать.

Сухопутным людям это кажется аномалией — что пароходные компании требуют обучения командиров на парусах; сухопутные люди склонны смеяться над этим глупым консерватизмом — как если бы от водителей лондонских автобусов требовали семилетнего стажа в конюшнях, чтобы доверить им автобус. Когда столько надо узнать о технике, зачем тратить время на изучение отжившего и бесполезного?

Ответ — это связано с Добродетелью. Ибо стремления к добродетели (из-за чего пошел в моряки мистер Бакстон) самого по себе недостаточно; добродетель надо упражнять, как любое человеческое качество. И есть фундаментальная разница между повседневной работой на парусном судне и повседневной работой на пароходе. Последняя несущественно отличается от работы на суше; на паровом флоте чрезвычайные ситуации возникают лишь иногда, изредка. На паруснике же всякое обычное действие во всякое время имеет характер в какой-то мере чрезвычайный. В него надо вкладывать всю душу и все свои силы — даже чуть

больше. Таким образом, природная склонность к добродетели развивается благодаря ежедневной практике. Ибо перенос кливера при резком ветре, можно сказать, воспроизводит в миниатюре спасение судна в шторм.



Поэтому на парусном флоте человек приобретает такой опыт добродетели, который после, на пароходе, может стать решающим при спасении сотни жизней и миллионного имущества.

Будь это парусное судно, размышлял капитан Эдвардес, что-то можно было бы предпринять. Поставить временные мачты, поднять временные паруса, чтобы не свариться в этом адском вареве. Но что ты сделаешь на пароходе?

Он вспомнил одно из своих ранних плаваний на 150-тонной шхуне, приписанной к Портмадоку. В Северном море у них снесло мачты, а сами они забрались внутрь и качались беспомощно, как теперь на "Архимеде". Они везли домой груз леса; трюмы были набиты доверху, и на палубе лежали штабеля, пока шторм не отдраил палубу, как медную дверную ручку. А потом шхуна опрокинулась и снова встала прямо — через другой борт. Я знаю, это кажется невероятным, но так оно и было. В доказательство остались прожженные места на потолке каюты — там, где на него упали угли из печки! (Если бы опрокинулся "Архимед", он не встал бы на киль до Судного дня.)

Как только шторм утих, капитан и команда вылезли наружу — как голова и ноги осмелевшей черепахи. Мачт они лишились; зато в трюме было сколько угодно леса, из него соорудили короткие мачты и вставили их в помпы. Идти против ветра с этим самодельным вооружением шхуна не могла, но они без особых затруднений дошли до порта по ветру. *Тогда* к ним спасателей никто не посылал.

Затем капитан Эдвардес вспомнил свой первый рейс на пароходе. Стоя на вахте, он увидел, что идет шквал. На парусном судне дел у вахтенного было бы невпроворот, но на пароходе что ты делаешь, когда видишь шквал? Ничего — только идешь в рулевую рубку прятаться от дождя.

Это палка о двух концах. Рыцарь, закованный в броню, может смеяться над пращами и камнями пехотинцев. Но если упал с лошади, тогда все: он даже на ноги не встанет без посторонней помощи. На пароходе можно смеяться над шквалами и противными ветрами. Но случись серьезная неприятность — тут уже не до смеха.

И все-таки что-то можно было сделать. У Эдвардеса даже мелькнула безумная мысль соорудить парус и идти под парусом. Привязать тенты к уцелевшим грузовым стрелам. Но все тенты порезаны: ими закрыли люки. Опять же, как повернуть чертов руль без пара? А без руля куда поплывешь под парусом?

Можно захватить голову руля талями, и тогда все вместе они, пожалуй, сумеют стронуть руль. Но какое же это управление? Минут десять уйдет, пока повернешь руль на несколько градусов. И все же можно попробовать... по крайней мере, под парусом не так будет качать...

Тут он опять вспомнил, что тенты порезаны — паруса сделать не из чего.

Если они пойдут когда-нибудь своим ходом, то под парами и никак иначе. А мазут отказывается гореть.

"Архимед" в конце концов — *пароход*, он полностью зависит от пара. Его нельзя вернуть в век паруса — с пользой. Если уж что-то придумы-

вать — то придумывать, как развести пары. Короче, если не горит мазут, надо жечь что-то другое.

Капитан Эдвардес пошел искать мистера Макдональда и нашел его у вспомогательной топки: старший механик наблюдал за истечением мазута.



— Мистер Макдональд, — сказал капитан, — а как насчет твердого топлива?

— Если бы у нас был уголь и колосники. Колосники — ладно, но угля нет.

— Дерево?

Мистер Макдональд посмотрел на капитана как на сумасшедшего; потом вдруг сильно хлопнул себя по бедру.

Жечь в мазутной топке твердое топливо — на первый взгляд такая же затея, как топить вашу газовую плиту углем. Но на самом деле все не так безнадежно. Самое главное — нужна колосниковая решетка, на ней лежит топливо. На некоторых судах (теперь не на многих) топка универсальная; они везут с собой колосники и, когда удобно или необходимо, могут перейти с нефти на уголь. На "Архимеде" таких топок не было, но колосниковую решетку можно сделать.

И мистер Макдональд дал механикам новое задание: они взяли элементы пароперегревателей (это связки тонких труб по четыре-пять штук), ножовками нарезали их по длине топки и уложили на огнеупорные кирпичи. Поперек положили короткие обрезки. Топки загрузили прокладочной древесиной и сломанной мебелью и подожгли.

К тому времени, когда они занялись колосниками, волнение, должно быть, заметно успокоилось — иначе у них ничего бы не вышло.

## 2

Во второй половине дня оно действительно успокоилось, и капитан Эдвардес подумал, что уверенность, которую он выразил в телеграмме, хотя сам ее не чувствовал, все же оправданна. Корму заливало реже; наконец-то можно было как следует закрыть шестой люк. Вода в трюм больше не поступала. Однако "Архимед" уже принял, наверное, тысячу сто тонн, крен был 35 градусов, и дифферент на корму: можно сказать, головой вверх и насторожив одно ухо. Положение оставалось критическим.

Но теперь, когда опасность несколько отступила и волны уже не били судно, главной проблемой стал голод. Дик ходил слегка согнувшись, чтобы не так мучила пустота в животе. Поскольку качка уменьшилась, первый помощник предложил вытащить что-нибудь из кладовой. Кладовая располагалась впереди, прямо под полубаком. Раньше проникнуть туда было невозможно, даже во время затишья. Трап в кладовую оторвался, пробил дыру в полу, сломался сам и исчез. Под полом были мешки с рисом; разбухнув в морской воде, рис поднял весь пол и сильно забродил. Еще немного, и в кладовую нельзя было бы войти без маски; но брожение только началось. И вот Дик с железным крюком в руке уселся в бухту каната и был спущен в кладовую. Это была головокружительная работа: Дик отлетал на канате в одну сторону, а вода под ним катилась в другую, так что он и ящики, банки, которые надо было поймать, все время носились в разных направлениях и (как два родственника, назначившие друг другу свидание в большой толпе) все не могли встретиться.

В конце концов ему удалось закрючить два ящика, и их вытащили наверх. В одном было пиво, в другом — консервированные персики. После этого Дика тоже вытянули — в полубессознательном состоянии после качелей и рисовых газов.

Принимал продовольствие, разумеется, главный стюард и сразу же выдал персики. Но пива не позволил открыть ни одной бутылки, пока не найдет свою расходную книгу. Он не терпел беспорядка.

Когда открыли первые банки, у всех мучительно свело челюсти. Было воскресенье; а последний раз они перекусили в четверг утром; по-человечески же не ели почти неделю.

## 3

Теперь механики отчаянно нуждались в дровах. Сухой древесины, конечно, взять было негде, но поскольку средняя вспомогательная топка горела, они могли высушить дерево возле нее и разжечь две остальные. Дело стало за дровами: чтобы держать пар, топки должны реветь, а дерево сгорало моментально. Так что все носились в поисках дров. Это было все равно что вскипятить на костре чайник, если топливо — одни газеты. На "Архимеде" было вдоволь испорченного материала — от ящиков в трюме до мебели в салоне, успевай только ломать и таскать в котельную. Все начальство, вооружась топорами, рубило, кромсало, крушило, а все китайцы бегали с охапками дров, зарабатывали свой благословенный "камшоу".

Удивительно, до чего опьяняет безнаказанное уничтожение имущества, особенно — ценного. Дик ухмылялся от удовольствия, раскалывая койки в щепу. Улыбался даже мистер Бакстон, рубя точеные, красного дерева, ножки стола в салоне. Китайцы бегали с дровами, улыбаясь во весь рот. Не улыбался только мистер Рабб, трудившийся теперь наравне с остальными; но топор его обрушивался на дерево с неумолимой точностью и силой, как на личного врага.

В скором времени вспомогательная котельная и все пространство около нее были завалены дровами, как лесной склад. И машинисты кочегарили как черти. Но чтобы добиться нужного давления, топить надо было всю ночь.

**Понедельник**

## 4

В ту ночь Дик стоял на вахте с двенадцати до четырех. Поднявшись на мостик, он почувствовал перемену в воздухе: мягкость. Дождь по-прежнему налетал порывами, но обдавал лицо нежно, освежающе, а не хлестал, как плетка. Порядком оглохшему (как и все остальные), тишина казалась Дику неестественной. По морю шла ровная длинная зыбь.

Вокруг была тьма, только из вспомогательной котельной шел слабый свет, и время от времени на его фоне возникала темная фигура входящего или выходящего. Там продолжали топить и таскать дрова.

Видимость была неважная: ночь казалась очень темной, низкие густые тучи не давали увидеть даже линию горизонта — теплая, сырая, мохнатая ночь.

Вдруг тучи расступились, открылся клочок яркого звездного неба. И сразу обозначился горизонт, ясно и твердо. После долгого мрака звезды горели ослепительным ледяным огнем. У Дика дух занялся; он кинулся в штурманскую рубку за секстантом.



## Глава XIII

После продолжительной бессонницы здоровый молодой человек любит наверстать упущенное, проспав часов четырнадцать без перерыва. Но на судне это невозможно из-за вахтенного распорядка.

Людям постарше после пяти бессонных суток уснуть оказалось очень трудно. Капитан Эдвардес считал, что спать еще не вправе. А мистер Макдональд уснуть и не пытался, зная, что это безнадежно. Он безостановочно ходил, разговаривая главным образом о воде и о китайцах (не произнося, впрочем, ничего особенно осмысленного). Молодые же (например, Гэстон и Дик Уотчетт) уснули; но, будучи разбужены через несколько часов, испытывали муки: возвращение к действительности было таким же жалким, как у откачанного утопленника: лучше было бы вообще не спать, чем вот так быть вытащенным на свет божий.

Про человека в таком состоянии трудно сказать, когда он действительно проснулся. Определенно — не тогда, когда он впервые ответит вам с койки ясным голосом, но не открывая глаз и не шевельнувшись. Может быть, когда он спрыгнул на пол и, не открывая глаз, нашаривает ботинки? Или минут через пятнадцать после того, как заступил на вахту?

Дик решительно не помнил, как слез в то утро с койки. Опомнился он только на палубе. Стояло приятное, ясное утро. Море спокойное, с легкой, очень длинной зыбью и такой быстрой, что глаз не мог угнаться за ней, а судно не успевало подняться и опуститься. Небо васильковой синевы, воздух прозрачный, как стекло, но теплый; сам океан казался умытым и сверкал голубым бриллиантовым блеском. Голубой дым из самодельной трубы поднимался в неподвижном воздухе и висел в вышине — единственным облаком; по чудовищно разгромленной палубе разливался его сладкий запах. Утро было из тех, когда кажется, что с минуты на минуту в чистое небо на чистых своих голосах взмоют жаворонки.

Голоса кочегаров в котельной звучали резко, но еще слабо, и время от времени раздавался удар топора. Дик услышал чью-то команду, отданную уверенным голосом. Послышалось шипение — пустили пар; затем стук помп, сперва громкий, пока не поднялась вода, потом ровный и медленный. Откачивали шестой трюм. В чистое море хлынула грязно-коричневая вода, белесоватая от пузырьков.

В голубой воде расплывалось коричневое озерцо. Вскоре Дик заметил странное явление: на поверхность белым брюхом вверх всплывали дохлые рыбы. Это был табачный настой, и он убивал всякую живность,

очутившуюся поблизости. Представьте, сколько никотина проходило через их нежные жабры!

Помпы не могли работать подолгу: дровяная топка не могла поднять давление пара выше трех атмосфер (приблизительно как в автомобильной шине) и держать его долго. Короткий рабочий период и отдых, пока опять загружали топку. В это время коричневое пятно становилось мутно-желтым. Но отравленные рыбы никуда не девались: сотни их лежали вокруг "Архимеда" с ошалелыми глазами и разинутыми ртами. Затем натужное ядовитое извержение возобновлялось. Рыб оно убивало, зато людей на "Архимеде" чудесно ободрило: уровень воды в кормовых трюмах понижался, люди начали петь и работали как заводные. В своем рвении они рубили на дрова даже те вещи, которые почти не пострадали. Например, застекленный книжный шкаф в курительном салоне — хлипкая вещь. Он упал лицом вниз, и непонятно почему даже стекло не разбилось. А стол в салоне, как я уже говорил, сорвался с привинченных ножек. И не то чтобы в шкафу стояла Библия — спасение его не обосновать даже суеверными доводами. Там стояли обычные книги.

Другое, вполне чудесное, если подумать, явление — никто не погиб. Кругом творилось что-то убийственное, похуже воздушного налета — и ни одной жертвы, даже ни одного перелома. Почти все были в синяках и ссадинах — но и только. Больше всех пострадал мистер Сутер: на него швырнуло самого тяжелого практиканта, и тот наступил на распухшую косточку. Мистер Сутер взвыл от боли и до сих пор из-за этого хромал.

## 2

На рассвете по звезде, а позже по солнцу капитан Эдвардес сумел наконец определить свое местоположение. Оно настолько не совпадало с предполагаемым, что расчеты заняли изрядно времени. Нанеся результат на карту, он протер глаза. "Архимед" дрейфовал в сотне миль от мыса Грасьяс: все банки пройдены. Шторм отнес судно почти на четыреста миль от того места, где захватил его, — за пять дней. К тому же тащил, вероятно, не по прямой, а по дуге, так что за сутки они проходили как минимум сто миль. Средняя скорость — четыре узла, а двигалось судно по большей части бортом. Идти по воде бортом со скоростью четырех узлов — такое едва ли возможно. Должно быть, шторм увлекал с собой и воду. И в самом деле, изучив карту, капитан решил, что давешнее его предположение скорее всего было правильным: ближе к центру шторма вода поднялась плоским конусом и двигалась по кругу вместе с ветром (только медленнее); таким образом они благополучно прошли над отмелями, которых при нормальном уровне моря им ни за что бы не преодолеть.

Определив свои координаты, он, конечно, первым делом сообщил их "Патриции"; а когда получил от нее ответ, почувствовал благодарность. Потому что пар, добываемый с помощью дров, по существу был условностью. Он позволял понемногу откачивать воду, а на буксире, возможно, позволит работать и рулем. Мог бы привести в действие вентиляторы; но капитан отлично понимал, что с одними вентиляторами, без трубы, остывшие главные топки не разжечь. И пар для главных механизмов поднять невозможно.

Тем не менее он сослужил двоякую службу. Большинство людей понимали, что вчерашний день, когда шторм ушел от них, был самым опасным. На протяжении шести часов судно могло потонуть в любую минуту. Если бы команда не трудилась изо всех сил и не имела надежды, смогла бы она выдержать такое напряжение? Это — одно, но было еще и другое. Скоро спасатель возьмет их на буксир, и спасательные работы в любом случае обойдутся владельцам дорого. Но вознаграждение за спасательные работы пропорционально беспомощности спасенного судна. Так что вспомогательный пар на "Архимеде" мог сэкономить владельцам много денег.

Между тем механики продолжали качать воду, а палубные занялись другой работой. Они отобрали часть пара для лебедки, чтобы вытащить наверх несколько бухт. Они готовили буксирный трос. Теперь "Архимед" поддерживал постоянную связь с "Патрицией" и действовал большей частью по ее указаниям. Но на все другие предложения помощи ответ был один: благодарю, не требуется.

"Патриция" появилась в час дня. Сперва — ее дым на горизонте. Тут же капитан Эдвардес передал на нее свой азимут (дымок "Архимеда" оттуда вряд ли могли заметить), и вскоре она приблизилась.

По виду это был скорее черненький пароходик, чем буксир.

Она обошла "Архимеда", чтобы как следует осмотреть. Он того стоил! Сомневаюсь, чтобы "Патриции" когда-нибудь приходилось видеть судно в таком виде — и на плаву. Такое, как "Архимед", можно увидеть разве что лежащим на рифах; но плавающим — никогда.

Потом она остановилась и спустила шлюпку. В нее сели шестнадцать человек и погребли к "Архимеду". Это было романтическое зрелище: шестнадцать человек шли на выручку к терпящему бедствие судну. Капитан Эдвардес пересчитал их с мостика — шестнадцать. И Дик пересчитал, стоя у поручней и готовясь спустить лоцманский трап (оба сходных трапа смыло). *Шестнадцать.*

Шестнадцать человек! От потрясения капитан Эдвардес чуть не лишился дара речи.

— Мистер Бакстон, — выдавил он, — станьте у лоцманского трапа и не пускайте на борт никого, кроме капитана.

Бакстон взял толстую палку и дал Дику другую.

— Если кто-нибудь, кроме капитана, попытается подняться на борт, сшибайте его в море!

К ним присоединились остальные помощники. Капитан Абрахам стоял между кормовыми сиденьями. Его баковый гребец принял трап.

— Капитан, оставьте ваших людей в шлюпке, — гаркнул с мостика Эдвардес. — Я не пущу на борт никого, кроме вас!

— Какого черта? — отозвался капитан Абрахам. — Я настаиваю...

Потом он посмотрел на лица людей, выстроившихся вдоль борта. Следы разрушений были так же явственны на них, как на судне: лица маньяков. У мистера Сутера, державшего обрезок трубы, даже выступила на губах пена; клочок ее слетел в море и плавал на поверхности. Дик чувствовал, что ему передается ярость товарищей: он сам трясся от ярости. Эта толпа полезет на *их* судно!

— ...Оставайтесь на местах, — тихо сказал своим людям капитан Абрахам и один стал подниматься по трапу.

Он прошел сквозь безмолвную стражу. Они словно не видели его: глаза их ни на секунду не выпускали людей, сидевших в шлюпке; за ним пошел только мистер Бакстон. Абрахам поднялся на нижний мостик.

Два капитана встретились и пожали друг другу руки.

— Поздравляю вас, капитан, — сказал пришедший.

— Благодарю, — ответил Эдвардес. — Пойдемте в мою каюту.

Они вошли туда втроем. В честь гостя капитан Эдвардес достал из буфета бутылку джина. Все трое церемонно выпили.

Затем перешли к делу: подписали ллойдовский договор. Порт назначения — Белиз, в Британском Гондурасе. Теперь капитан Эдвардес выглядел достаточно вменяемым, и Абрахам решился спросить:

— Почему вы не пускаете на борт моих людей?

Эдвардес сделался малиновым, шея над воротником у него набухла.

— Никто не поднимется ко мне на борт без моего разрешения.

— Почему? — грубоватым тоном спросил Абрахам. — У вас на борту заразные больные?

— Если я не даю разрешения, ни один человек на свете не смеет спрашивать у меня причин! — выкрикнул Эдвардес, стукнув по столу кулаком.

— Я отвечаю за спасение этого судна и настаиваю, чтобы мои люди находились здесь!

— Ваши люди могут работать на вашем судне, а на моем работать не будут! — сказал капитан Эдвардес.

Абрахам встал.

— Тогда я разорву этот контракт.

— Рвите свой экземпляр, если угодно. Я свой не разорву, и он вами подписан.

Капитан Абрахам был в растерянности, он просто не знал, как поступить.

В конце концов, ведь он отвечает за то, чтобы буксирный трос был закреплен правильно. Его люди — специалисты, они знают свое дело. А эти сумасшедшие пугала — разве на них можно положиться? Кроме того, сердце подсказывало ему, что этим людям нужен сейчас отдых, а не новая работа.

— Капитан Эдвардес, — сказал он, — не думаете ли вы, что если я употреблю своих людей, то это скажется на сумме вознаграждения?

Должно быть, Абрахам попал в точку — что-то мелькнуло в глазах капитана Эдвардеса, и сдавленным голосом он сказал:

— Довожу до вашего сведения, капитан, что со всей необходимой работой на этом судне мои люди справятся сами. Здесь нам помощь посторонних не нужна, *благодарю вас.* Кем вы считаете моих людей? Пассажирами?

Ситуация была необычная, и холодная логика тут помочь не могла. На этот разгул эмоций ответить можно было только тем же. Капитан Абрахам поднялся, вышел на середину каюты и упал на колени. Он поднял правую руку над головой и придал своему костистому будничному лицу, насколько это было возможно, неземное выражение.

— Капитан, — сказал он, — клянусь Всемогущим Господом, что если мои люди взойдут на борт и закрепят трос, то это не увеличит вознаграждения ни на толику, ни на йоту! И отнюдь не унизит вашу команду! Клянусь Всемогущим Господом, это — обычная практика!

— Хорошо, — сказал капитан Эдвардес со слезами на глазах. — Мистер Бакстон, пропустите их.

В наши дни это зрелище непривычное: чтобы один капитан, в форме, стоял на коленях в каюте другого капитана.

## 3



Они взяли буксирный трос "Архимеда", обнесли его вокруг одного кнехта широкой петлей и закрепили. Потом перетащили через палубу и такую же петлю закрепили на другом кнехте. Затем громадной стальной скобой соединили толстый манильский трос с обеими петлями, и буксировка началась. Весь пар, какой был на "Архимеде", пустили в рулевую машину. Если буксируемое судно слушается руля, это сильно облегчает дело. В противном случае оно будет рыскать: из-за этого чаще всего и лопается буксирный трос, а бывает, даже переворачивается буксир.

Спасатели обращались с командой "Архимеда" вежливо и почтительно. Отчасти это было продиктовано естественным чувством: дань уважения людям, совершившим нечто изумительное; то, что они прожили эти пять дней, само по себе было изумительно. Отчасти же это было сродни уважению восточного человека к безумцу. Они не забыли, как их встретили — угрюмые лица, грозные дубинки. За этими молодцами нужен глаз да глаз — упаси бог!

Капитан Абрахам, сообразив, что с питанием на "Архимеде" могут быть трудности, распорядился приготовить ужин для своих шестнадцати людей на "Патриции" и доставить сюда. Когда ужин прибыл, люди с "Архимеда" ни на миг не усомнились, что он предназначен для них; они столпились вокруг и уничтожили его в два счета. Люди с "Патриции" перенесли это достойно: никто не запротестовал при виде исчезающего ужина. Черт, как же они ели! Похоже, у них был недостаток в провизии.

И капитан Абрахам осведомился об этом, а капитан Эдвардес признал: да, они испытывали некоторую нехватку продовольствия и питья. Капитан Абрахам, втайне устыдившись, что не осведомился об этом раньше, велел прислать на "Архимед" еду и воду. Но много прислать он не мог: тогда бы им самим не хватило.

Под вечер, незадолго до заката, Дик заметил почти по курсу остров. Это был Суон, один из обособленной пары островов, расположенной в сотне миль от ближайшей суши. Эдвардес порадовался, что ураган вовремя их оставил, не выкинул на этот остров. Никакая приливная волна не подняла бы их над цепью двадцатиметровых скал, протянувшихся на полмили вдоль восточного берега.

Прежде на скалах росли деревья — это гуановый остров, безумно плодородный. Но когда они приблизились, капитан Эдвардес заметил, что деревья исчезли. Скала стала голой, как плохо ощипанная курица, — местами на ней торчали обломанные комли.

Капитан Эдвардес посмотрел на берег в бинокль.

— Кажется, острову тоже досталось, — сказал он капитану Абрахаму.

— Еще как! — отозвался тот. — Нам чертовски повезло, что мы в море. Ночью ураган налетел на Кубу — на западную оконечность. Знаете Санта-Лусию? Нет, вряд ли. Это маленький каботажный порт в проливе Гуанигуаникос. Туда заходят только малые суда; мне говорили — бывшая пиратская гавань. Утром я получил радиограмму. На город обрушилась

приливная волна, утонуло две тысячи человек. То есть, наверное, все, кто там жил. Смыло начисто.

(Та же самая волна, которая подняла "Архимеда", пронесла над рифами и спасла их.)



— А мы не потеряли ни одного человека! — сказал капитан Эдвардес. — Господь Бог наш очень милостив!

Капитан Абрахам смущенно кашлянул.

Шли они медленно, и к тому времени, как миновали острова, уже стемнело — настолько, что не разглядеть было, в каком состоянии находится грузовая пристань на западном острове. Но огни там не горели.

## 4

Командиры ужинали, как всегда, в салоне, но поскольку третий стол сломался, все сгрудились вокруг двух оставшихся: палубные и механики наконец-то перемешались.

У Дика из головы не шел арестованный китаец, и он решился спросить капитана:

— Сэр, этот китаец, которого вы приказали арестовать, — что с ним сделают?

— Его вернут в Гонконг. А оттуда, я думаю, китайские власти выдадут его Кантону.

— А потом, сэр?

Капитан Эдвардес нажал на воображаемый спусковой крючок.

— Боже милостивый! — У Дика кусок встал в горле, он уронил вилку.

Капитан Эдвардес вздохнул.

— Мне самому это не по душе, но это наш долг. И особенно жалеть его не стоит. Он бандит — а значит, он убивал и пытал черт знает сколько невинных людей.

Дик сидел молча, и вспоминались ему все читанные миссионерские рассказы о китайских пытках. Неужели этот порядочный на вид кочегар занимался такими делами? Поджаривал младенцев? Срезал старикам веки и закапывал по шею в песок? Или та, с муравьями (он не помнил точно, как ее делают)?

Может быть, и да. По лицу азиата не поймешь, плохой он человек или нет, — не то что с англичанином.

Но какой же он легкий — килограммов сорок пять, не больше.

— Вы из-за него не огорчайтесь, мистер Уотчетт, — вмешался Макдональд. — Для китайца расстрел — ерунда. Они смерти не так боятся, как белый человек. У них в теле меньше нервов, чем у белого человека, — это научный факт; они не чувствуют боли. Они ближе к животным, чем к человеку!

Мистер Макдональд встал, вышел на палубу и направился к разгромленной ютовой надстройке.

*

После откачки кормового трюма корма несколько поднялась, но с нижнего борта море казалось совсем близким. Прислонясь к поручню, мистер Макдональд глядел на море. Небо было густо усыпано звездами, и яркими, и едва заметными.

Мерцала вода, населенная их бледными зыбкими двойниками. За кормой, на острове, оставшемся позади, наконец мелькнул белый огонек.

Фосфоресцирующая вода струилась вдоль борта, словно река.

Как же он ненавидел воду! Ненавидел, как человека. Но теперь она ему не страшна, на этот раз она его не получила. И мистер Макдональд поклялся себе, что больше не предоставит ей такой возможности. Он уйдет на покой. Правда, он собирался подождать еще года два. Но эти дни состарили его больше чем на два года. И у него отложены в банке кое-какие деньги: на жизнь хватит. Конечно, дети еще учатся. Но если Джин хочет кончить среднюю школу, пусть заработает стипендию, как он в свое время. Он заслужил отдых.

Он повернулся спиной к ненавистному морю и уселся на поручень, как мальчишка. Стал думать о райской жизни, которая ждет его после моря. Стриженые кусты, чисто выметенная дорожка между ними. Там, в Глостершире? Да, от моря далеко. Но, может быть, он вернется на родину, в Думбартоншир.

Теперь, когда он твердо решил расстаться с морем, воспаленный узелок в его сознании, своим беспрерывным вращением столько дней и ночей не дававший ему сомкнуть глаза, как будто рассосался. В сознании его была лужица сна, и узелок растаял в ней быстро. Вдруг — нежданно-негаданно — сон навалился на старого механика, и он опрокинулся с поручня в воду.

Удар о воду, конечно, разбудил его, и он плыл довольно долго.



**Вторник**

## Глава XIV

Дик был сильно взволнован арестом Ао Лина, и ни капитан, ни мистер Макдональд его не успокоили. Подобно большинству молодых белых, он, в сущности, не воспринимал китайцев как людей, пока не прикоснулся к одному из них. И прикосновение это поразило его гораздо больше, чем если бы на месте китайца оказался белый. Схватившись с белым, он знал бы, каких ожидать ощущений; а тут ощущения оказались совсем непривычными.

Кроме того, Ао Лин был первым человеком, которого он оглушил — и неожиданно для себя обнаружил, что испытывает от этого удовлетворение.

Мне, однако, очень странным кажется настроение, овладевшее им после этого приятного момента. Почему, когда он нес Ао Лина в лазарет, ему показалось, что с таким же ощущением он нес к дивану Сюки? Только ли потому, что они весили одинаково и у обоих была гладкая кожа?

Как бы то ни было, мысли его то и дело возвращались к судьбе китайца, она его почему-то волновала. На другое утро ему пришлось сопровождать капитана и доктора во время осмотра. При мысли о том, что он встретится с Ао Лином лицом к лицу, сердце у него зачастило. Как будет выглядеть человек, которого ждет казнь? Наверняка не так, как обыч-

ные люди: на лице его должна лежать печать смерти. И что почувствует Ао Лин при виде человека, который его арестовал? И, можно сказать, поставил на рельсы, ведущие прямо к смерти?

Когда они вошли, Ао Лин сидел на койке, облокотившись на колени и подперев подбородок скованными руками. Его жесткие черные волосы стояли торчком. Виден был только плоский нос и по обыкновению приоткрытые губы. Но он поднял голову; встретился с любопытным, изучающим взглядом Дика. На самом деле он не помнил, от чьего удара потерял сознание. И с удивлением смотрел на молодого англичанина.



Дик сверлил его взглядом. Но ничего не мог понять по выражению его лица. Китаец смотрел на него, и все. Но что могли прочесть эти два молодых человека в глазах друг друга? Они были сверстники и в некоторых отношениях очень похожи. Но воспитывались совершенно по-разному. И разными были у них теперь виды на будущее.

## 2

Позже тем же утром, когда Дик пытался прибраться у себя в каюте, в настроении его произошла резкая перемена: прилив гордости, похожей на ту, что он чувствовал, стоя с бочонком масла в носовом галюне. Не каждому молодому человеку доводится одолеть голыми руками знаменитого китайского бандита — нокаутировать его, надеть на него наручники и отнести его в тюрьму. А ведь именно это он сделал, если выражаться прямо, ничего не приукрашивая (да и зачем приукрашивать?).

Жаль, конечно, что не осталось никакой вещицы на память. У полковника в холле лежит на полу тигровая шкура: ты спотыкаешься об нее, и, естественно, следует рассказ о том, как он тигра убил. Жаль, что, когда ловишь бандита, не остается рогов или еще чего-нибудь, чтобы начать рассказ (я уверен, что для нашей полиции было бы хорошим стимулом при арестах, если бы после приговора судья присылал им подходящим образом оформленный слепок лица). И все же странно: если Ао Лин в самом деле бандит и убийца, почему у него нет ничего дьявольского в лице? Конечно, злодеи могут скрывать свою низость под личиной доброты — но не вечно же. Во время ареста — Дик читал об этом — маска невинности спадает, и лицо ошеломленного преступника искажается дьявольской жестокостью. Он же хоть убей не мог вспомнить ничего, кроме глупого удивления на лице Ао Лина.

Дик разыскал доктора Франгсона и стал расспрашивать. Правда ли, что Ао Лин бандит? В команде "Архимеда" доктор лучше всех знал китайцев.

Доктор Франгсон выслушал Дика терпеливо и с некоторой грустью.

— Откуда мне знать? — сказал он. — К тому же это не мое дело. И не ваше. Он, точно, пришел к нам с фальшивыми документами. Одно это обязывает нас арестовать его и передать полиции. Что он еще натворил — ее забота, а не наша.

Ответ был логичный. Но какой-то нелогичный голос все равно твердил Дику, что, посылая человека на расстрел, ты несешь за это определенную ответственность.

Он вдруг вспомнил девочку, лежавшую на тележке.

## 3

Покидая "Патрицию", капитан Абрахам оставил вместо себя первого помощника: пока кто-нибудь из его шестнадцати людей находится на "Архимеде", он будет с ними. Он им доверял в известной мере; до сих пор они проявляли большое терпение. Но он знал: достаточно маленькой искры, чтобы началась драка. А когда люди в таком состоянии, как моряки "Архимеда", дерутся, они дерутся насмерть, не выбирая средств.

Капитан Абрахам наблюдал за состоянием команды "Архимеда" очень внимательно: это входило в его обязанности, и от него, вероятно, потребуют конфиденциального отчета об их действиях.

Капитан Эдвардес, на его взгляд, сохранял душевное равновесие, если не считать инцидента с высадкой спасательной команды. Он выглядел обеспокоенным, и чем дальше, тем больше, но не как человек, расстроенный прошлыми событиями, а как человек, встревоженный предстоящим испытанием. Капитан Абрахам легко угадал, каким именно. Детальнейший разбор каждого твоего действия и мотива на протяжении всего шторма — не та перспектива, которой радуется шкипер. Капитан Абрахам выступал свидетелем на многих таких расследованиях. И знал, насколько склонны эксперты, располагающие всеми фактами и мудрые задним числом, объявить — несправедливо, но с полной убежденностью, — что человек действовал неправильно. Самое трудное при таком расследовании — исходить из тех знаний, которыми располагал капитан, отдавая команду: полностью отрешиться от всего, что выяснилось позже — пусть даже несколькими минутами позже.

Что капитану Эдвардесу посчастливилось с помощниками, в особенности с мистером Бакстоном и мистером Раббом, Абрахам тоже отметил. Надежные люди, не подверженные эмоциям и компетентные, люди, на которых можно положиться. Из них двоих менее изнуренным выглядел мистер Рабб. И все же в нем было что-то странное. Свои обязанности он выполнял умело и тщательно, но словно бы избегал товарищей — видимо, затаил на них какую-то обиду. Капитан Абрахам не мог понять какую.

Когда все собрались в салоне на обед, капитан Абрахам продолжал свои наблюдения; но внешне это никак не выражалось. Он рассказывал истории. И отнюдь не о штормах.

Стул мистера Макдональда, разумеется, пустовал. Но о том, что старший механик пропал, знали только оба капитана, врач и мистер Сутер. Они объявили, что старший механик сдал и его переправили на "Патрицию". Им и в голову не приходило, что он упал за борт: они думали, что он прыгнул. А если прыгнул один, найдутся последователи. Пока об этом лучше помолчать.

Истории капитана Абрахама перетекали одна в другую, но никто особенно не слушал.

Порядок на судне налаживался. Плотники уже заменили сломанный стол, и палубные с машинистами опять сидели по отдельности. Главный стюард командовал в своем буфете, а два официанта-китайца в свежих куртках церемонно разносили еду.

В салоне, как правило, разговаривают немного, но тут было тише обычного; другой разницы вы бы не заметили. А капитан Абрахам продолжал свои рассказы. В конце концов он исчерпал их запас, и, поскольку примеру его никто не последовал, он, за неимением лучшего, принял-

ся описывать Белиз (остальные, даже капитан Эдвардес, этого города не видели).

— Вам туда заходить не случалось, капитан? Нет? Местечко неплохое, в сухой сезон. Не Шанхай, конечно, — тихий городок. Но вид красивый, когда входишь в гавань, то есть если вам, как мне, по вкусу такие старые городки: он выглядывает из-за пальм и олеандров, вдали горы в дымке, а море испещрено островками и рифами, похожими... похожими...

Фраза повисла в воздухе, он не мог придумать, на что еще они были похожи, кроме как на островки и рифы, но никого это, по-видимому, не волновало.

Это идея, подумал Дик. А что если он выпустит китайца, когда придут в Белиз? Шансов у китайца было бы немного, но мог бы и уйти. По крайней мере, постарался бы. При мысли о том, как он проберется ночью в лазарет и выпустит арестанта, по телу Дика разлилось приятное тепло: он представил себе безмолвную благодарность Ао Лина. Представил, как встретится с ним, может быть, через несколько лет посреди страшной заварухи, в центральном Китае, и когда, кажется, все пропало, Ао Лин узнаёт его и тоже спасает ему жизнь (потому что китайцы ничего не забывают).

— Местность там болотистая, — непреклонно продолжал капитан Абрахам, — большинство домов стоит на сваях красного дерева. Они все деревянные, с жалюзи, эти дома, и стоят на ходулях из красного дерева. Когда-то торговля красным деревом процветала, это был оживленный маленький порт, потому что главный местный продукт — красное дерево. Валили его негры в лесах, где белому не выжить, и сплавляли по реке. Но я слышал, красное дерево теперь не в чести. Торговля сократилась вдесятеро. Нищета страшная. Теперь сами эти негры приплывают по реке — их больше, чем бревен. Вот странное дело! Какой-нибудь эстет в Европе говорит: "Хватит с меня тяжелого красного дерева", — не имея в виду ничего дурного. А результат? Не успеешь оглянуться — плывут по реке эти негры, мертвые! А я лично люблю пообедать за хорошим столом красного дерева.

Дик вообразил, как китаец ночью выскальзывает из своей темницы; наутро — крики, переполох. Изможденные негры с тамтамами охотятся за ним, чтобы получить награду. Китаец отчаянно шлепает по болоту, на него кидаются змеи, он спотыкается о корни, все глубже уходит в джунгли, а вокруг неотвратимо сжимается полицейское кольцо... Картина была не менее увлекательная, чем рассказ капитана.

— ...Белиз, понимаете, столичный город. Там есть больница. На северной стороне, через реку от Дома правительства — тюрьма и казармы.

Вдруг темноволосый механик оттолкнул свой стул и уронил голову на руки.

— Мы тонем, я знаю, мы тонем! — закричал он во весь голос.

Наступила жуткая тишина, нарушаемая лишь его рыданиями. Потом Сутер и третий механик взяли его под руки и вывели, а за ними пошел доктор Франгсон.

— ...Единственные кирпичные здания на южном берегу, насколько мне известно, — продолжал капитан Абрахам, слегка повысив голос, — церковь Святого Иоанна и методистская церковь. На северном берегу их, конечно, больше.

Тут его взгляд упал на стол практикантов, и он опять запнулся. Все трое практикантов безмолвно плакали — по их лицам текли слезы. Ни

один из них, казалось, не чувствовал, что плачет, — каждый пытался привлечь внимание к остальным двоим, показывал, в каком *они* состоянии, что *им* надо помочь. Каждый, по-видимому, думал, что сам он в норме.

Увидев это, мистер Бакстон тоже вдруг расплакался.

Тут как раз вернулся доктор Франгсон и попотчевал всех бромом — и здоровых, и больных. Всех до одного.



Но взгляд капитана Абрахама прикован был не к плачущим Беннету или Филлипсу, а к третьему юноше, потому что на нем красовались собственные капитана Абрахама золотые часы.

Капитан Абрахам похлопал себя по жилетному карману. Только теперь он заметил, что часов нет.

## 4

Спустилась ночь, и все, кто был свободен от вахты, получив по второй порции брома, отправились спать.

Капитан Эдвардес впервые за эти дни разделся и надел пижаму; потом закурил трубку и повалился на койку. "Архимед" по-прежнему шел с креном; к счастью, нижняя часть койки была у стены, иначе бы на ней не удержаться.

Капитан Абрахам правильно почувствовал, что Эдвардес смертельно обеспокоен будущим. Но в некотором смысле он беспокоился не столько за себя, сколько за владельцев. Он надеялся, что они не выставят себя дураками. За последние двадцать лет между владельцами и флотом сложились очень добрые отношения, и он надеялся, что владельцы их не испортят. Если расследование, основываясь на неоспоримых фактах, покажет, что он как капитан судна не проявил должного мастерства, что ж, пусть его уволят. Но — сразу, и коллеги отнесутся к этому с уважением. Если же, наоборот, будет установлено, что серьезных промахов он не допустил, пусть так и скажут и немедленно восстановят его в должности. Без увертoк. Без перевода на шесть месяцев в каботажный флот — якобы для поправки здоровья, пока они там будут раздумывать. Уж лучше несправедливое увольнение.

Капитан Эдвардес отлично понимал, к какому вердикту может их привести необузданное правосудие. Они могут оштрафовать его за то, что направил судно в опасную зону, и наградить золотыми часами за то, что сумел его сохранить. Ну, может, он того и заслуживает. Но выглядеть это будет не очень красиво. В глазах флота, да и остального мира.

Наградные золотые часы. Он представлял себе эту сцену. Ему придется произнести речь. При мысли о том, как он произнесет речь перед этими шишками, валлийская кровь капитана забéгала живее. Но пока что он смог придумать только одну фразу:

"Господа, — он вообразил, как с этими словами поднимает над головой свой приз, — уважаемый лорд-мэр и господа! Эти часы будут для меня вечным напоминанием о гневе Божием!"

За дверью послышался звук — кто-то двигался украдкой в другой каюте. Кто-то, кому не полагалось там быть! Эдвардес затаился и напряг слух.

Зашуршала бумага́; упал на пол стакан. Он подобрался, приготовился вскочить с койки. Что-то мягкое шлепнулось на пол — и Томас неуверенно просунул в дверь мордочку, прося разрешения войти. Он не похо-

дел против прежнего, но выглядел взъерошенным — как будто хотел, чтобы его приласкали.

Капитан Эдвардес вытянул руку, забрал зверька к себе в постель и погладил.



Рабб. Щекотливое дело. Если он в докладе скажет всю правду, Рабба выбросят на улицу. Толковый моряк, порядочный человек, его любят подчиненные. Сломался во время шторма, это правда. Но ему не повезло. Не полагается человеку попадать в такой шторм. Он мог проплавать всю жизнь и не сплоховать ни разу — если бы не этот злосчастный шторм. И очень мало вероятности, что ему случится угодить в такой шторм еще раз. Опять же, будь он на своем судне, с четко обозначенными обязанностями, ему помогло бы выстоять чувство долга.

Опытный моряк; жизнь поломана из-за одной неудачи.

А ведь можно вообще не упоминать о нем в докладе, думал капитан Эдвардес... но в глубине души он знал, что не сможет так поступить.

*

Сутер, исполнявший теперь обязанности старшего, тоже отправился спать: по своей новой должности он был освобожден от вахты. Да и дел в машинном отделении оставалось мало. Порядок был почти восстановлен. Ущерб оказался не так уж велик: машины, к счастью, остановились вовремя, ничего не успело сломаться.

Сутер погасил свет и лег. Но проспал недолго. Он услышал, что его кто-то зовет; потом увидел сердито уставившиеся на него глаза мистера Макдональда.

— На том свете человек отбрасывает рассудок, мистер Сутер, как я вам и говорил! — сказал он.

И, наверно, был прав: лицо у него было совершенно безумное и вместо своих усов — длинные черные усы мандарина.

Сутер задушенно вскрикнул, сел, зажег свет. Макдональд исчез; но спать больше не хотелось. Он снова сел и принялся читать книгу. Автором ее была Этель М. Дэлл.

*

Перед тем как отправиться на боковую, мистер Рабб вынул несессер и маникюрными ножничками стал подрезать кожу на лунках. Сами ногти он никогда не стриг — они всегда были обкусаны под корень. Но лунками занимался и ногти полировал специальной подушечкой. Джентльмена узнают по ногтям.

Решение у него созрело окончательно. Капитан с помощником сговорились против него. С того самого дня, когда он не одобрил их танцев в Норфолке, по разным мелким признакам было видно, что они намерены его опорочить. Таковы дурные люди: они не встанут против христианина открыто, они будут вредить ему исподтишка.

Случай им представился. В этот страшный шторм он проявил рассудительность, избежал смертельных ловушек, которыми они окружили его, теперь они выставят его в таком свете, что он будет уволен. А ведь они боялись ничуть не меньше: разве не видел он, как сам Эдвардес за-

паниковал в рулевой рубке, когда подумал, что мостик вот-вот рухнет? Но если он доложит об этом, кто поверит ему на слово?

Приказ, отданный Давидом мужу Вирсавии, — ничто по сравнению с приказами, которые они ему давали! Подчинился бы хоть одному из этих приказов, был бы уже мертвецом, чего они, конечно, и добивались. А он вот жив. И все равно они взяли над ним верх.



Он мог бы написать президенту и разоблачить их заговор, но вряд ли его свидетельству поверят скорее, чем словам этой парочки. Но он не доставит им такого удовольствия. В Белизе он сойдет на берег. Но на "Декарт" не сядет. И тогда им его не достать! А работу он найдет быстро. Есть компании, которые ухватятся за человека, служившего в знаменитой "Сейдж лайн".

*

Дик Уотчетт тоже не мог уснуть. Лицо у него горело, мысли роились в голове. Он думал о сегодняшнем обеде. У механика нервы сдали. У ребят нервы сдали. Даже мистер Бакстон плакал! Мистер Бакстон! А у него самого нервы в полном порядке. Он крепче их.

Это его удивляло — но и придавало огромную уверенность в будущем. Он попал в шторм мальчишкой, а вышел из него мужчиной. Закаленным моряком. Впервые в жизни он долгое время стоял перед лицом смертельной опасности — и не надломился, притерпелся к ней. По чести, теперь ему было все равно, какие еще опасности могут ждать его впереди.

А что до китайца — странно, почему он из-за него так волновался. Пусть умрет. Китайцев на земле много; одним больше, одним меньше, разница невелика. И даже лучше, если он умрет: это будет более складное завершение истории. С другой стороны, если он поможет китайцу сбежать в Белизе, проскользнуть у капитана между пальцев... это было бы волнующее приключение.

Дик представил себе, как он встретится с Сюки, как она теперь его воспримет. Он, конечно, о своих приключениях рассказывать не будет — ей уже кто-то другой рассказал. Может быть даже, об этом напишут в газетах, и она с жадностью будет проглатывать строку за строкой, а потом кто-нибудь из команды встретится с ней и расскажет о китайском бандите: как Дик взял его голыми руками и как его казнили за страшное преступление... или же кто-то из команды расскажет ей о молодом китайце, о том, как Дик арестовал его по приказу капитана, а после, зная, что он невиновен, наперекор всему помог скрыться... Трудно было решить, что лучше.

Но все время, что он думал о Сюки, усовершенствованной, обожающей Сюки, хлопочущей вокруг его героической персоны, все настойчивее пробивалась другая какая-то мысль — словно струйка холодной воды сбегала по шее. Вдруг она вырвалась на поверхность сознания открытием: все это пустое, потому что он больше не любит Сюки! В конце концов, она только школьница, а он взрослый мужчина. К тому же тощенькая и с куриными мозгами! Что толку от ее преклонения?

И мужчина Дик Уотчетт, закаленный моряк, повернувшись на бок, тихо стал погружаться в сон; а между тем душу его бередило сожаление о чем-то утраченном.

Но так и должно быть. Человек не может растянуть диапазон своих чувств, он может его только сдвинуть. Если достал до одного края, того, где опасность и страх смерти, не думай, что сохранишь утонченность чувств на другом конце. Так же ведь есть баритоны, тенора, дисканты, но никто не может петь во всем диапазоне фортепиано. И у Дика будто сломался голос. Ему стали доступны новые ноты, красивые и мужественные. Но прежние высокие ноты ушли.

Может быть — не навсегда: переход был вынужденным. Со временем, в безопасности, возможно, восстановится естественный диапазон. И время, возможно, притупит вновь пробудившуюся веру в Бога: сейчас она была тревожно обострена. Но довольно о Дике Уотчетте; наверное, я и так уже слишком много наговорил о том, кто был, в конце концов, вполне обыкновенным молодым человеком.

## 5

Лишь один человек на всем судне крепко спал — Ао Лин. Света в его камере не было, поэтому вскоре после заката он уснул, лежа на боку и спрятав скованные руки между колен.

Он удивился, когда рядом с ним на больничной койке оказалась девушка из Фуцзяни. Он приподнялся на локте, чтобы ее обнять, но мягкая шерстка на ее лице и руках предостерегла его: это лиса в человеческом обличье. Притом он с ужасом понял, что она рожает: в этот миг у нее начались схватки. В смятении он хотел вскочить с койки, но обнаружил, что не может подняться. Он перевернулся на другой бок, чтобы не видеть ее.

Потом голос сказал: "Смотри!"

Комната налилась красным светом и странным запахом, а по полу катался шар белой плоти. Ао Лин свесился с койки (потому что девушка-лиса уже исчезла), зажав в руке нож, и, когда шар прокатился рядом, взрезал его. Оттуда вышел человечек, окруженный красным сиянием. Это был капитан Эдвардес в шелковых китайских штанах, из которых били лучи ослепительно золотого света. Он зашагал по каюте, делаясь все больше и больше.

В глубокой тишине кто-то пел, и Ао Лин, повернув голову, успел увидеть дельфина с черной бороденкой, висевшего на леске и распевавшего во все горло. Тут леска натянулась и взвилась в небо.

Ао Лин посмотрел наверх и увидел огромного человека верхом на черном единороге. У него было зеленое лицо и пушистые малиновые волосы; из циклопьего глаза шел белый луч. В руке он держал удилище, а на леске все висел и пел отец-дельфин.

Вокруг них вздымалось и ревело море, но над водой торчало одинокое дерево. Листья у него были из белого нефрита. Ствол толщиной в обхват, и посередине тянулась прозрачная желтая трубка. Крона была густая и звенела, когда падал лист. Но дерево расщепила молния, и в расщепе застряла утка с синей мордой и крыльями летучей мыши. Она вопила от боли громадным обезьяньим ртом и барабанила по висящим вокруг барабанам.

А капитан Эдвардес отрастил бороду, как у дельфина. Он вынул из-за пояса дротик и метнул в великана на единороге. Тот вырвал вопящую утку из дерева и, тоже с воплем, исчез в туче.

Из воды высунулась огромная пасть, широкая и глубокая, как колодец, и волны с шумом разбивались об нее. Капитан Эдвардес вынул из-за пояса еще один дротик и метнул в пасть: извергнув ветер, отшвырнувший корабль вбок, она тоже исчезла.

Но море — куда девалось море? Никакой воды, только кишение бесчисленных драконов. Ну вот! У всех из пупа росла пятая нога, а на длинных рылах не было черных бород. Они колотили косматыми ногами и хлестали волосатыми хвостами.

Потом один дракон, в мелкочешуйчатой золотой броне, выбросился на корабль и пополз по наклонной палубе. Настил прогибался под его ногами, как тент под крадущейся кошкой. Лоб его нависал над огненными глазами; у него были маленькие толстые уши, длинный язык и острые зубы.

Но капитан Эдвардес вынул из штанов тысячи огненных шариков — полетели из рук, ударили дракона, и он раболепно припал к палубе. Тогда капитан оседлал его и стал жестоко сдирать одну за другой чешуйки, так что он кричал от боли и все уменьшался, уменьшался, покуда крики не перешли в захлебывающийся, безутешный плач ребенка.

Из далеких прошлых лет плакал Лину его собственный детский голос.

*

Теперь они были в открытом море и держали курс на Гондурасский залив — на сотни миль кругом никакой суши. Впереди маячил маленький черный силуэт "Патриции" — дым ее черным прочерком в многозвездном небе, и три вертикальных огонька на мачте. Буксирный трос иногда провисал до воды, потом поднимался, капая по всей длине фосфоресцирующими каплями.

А за ним — нос "Архимеда", все еще перекошенный, наклонный. На самом краю стоял впередсмотрящий, время от времени переступая из стороны в сторону. Наконец он отошел назад и отбил шесть склянок: последний колокольный звон над могилой Рамсея Макдональда, некогда старшего механика.

## К *150-летию со дня смерти* Гоголя

# Джузеппе Джоакино Белли

# *Римские сонеты*

*Перевод с итальянского и вступление* Евгения Солоновича

В 1832 году в письме одному из приятелей (Якопо Ферретти) Белли констатировал: "Эти вещи остаются — по крайней мере, пока — известными лишь друзьям". Положение не изменится и к тому времени, когда Гоголь напишет из Рима Марии Балабиной: "...вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних транстеверян[1], что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь вместе с докучливой и несносной вашей головной болью. Они писаны in Lingua romanesca, они не напечатаны, но я вам их после пришлю".

Мало что изменилось и после 28 апреля 1838 года — даты гоголевского письма: при жизни Белли с ведома автора был опубликован всего один римский сонет (к публикации еще двух десятков сонетов поэт не имел отношения и мог только сожалеть об их появлении в печати, обнаружив, что их тиснули в искаженном виде).

Возможно, именно то, что понравившиеся Гоголю сонеты "писаны in Lingua romanesca", то есть на римском языке, или римском наречии (с точки зрения лингвистов, это один из множества диалектов итальянского языка), помешало другим иностранным писателям, посетившим Рим одновременно с ним, обратить внимание на стихи, ходившие по Вечному городу в списках и смачно декламируемые римлянами — от простолюдинов до прелатов, коим при этом иной раз вполне можно было адресовать слова Городничего из "Ревизора": "Чему смеетесь? над собою смеетесь!.." Гоголь не только прилично знал итальянский, но, поселившись в городе, который полюбился ему с первых дней, не хотел чувствовать себя в нем чужаком и потому постарался усвоить хотя бы азы единственного языка, на каком можно было общаться с простыми римлянами, а именно римского наречия. На нем должны были изъясняться прототипы персонажей, введенных Гоголем в неоконченную повесть "Рим". Гоголь описывает Рим так же тщательно, как губернский город NN в "Мертвых душах", приглашая нас последовать за князем "в

© Е. Солонович. Перевод, вступление, 2002
Публикуемые стихи войдут в книгу избранных римских сонетов, планируемую к выпуску издательством "Время" (серия "Триумфы").
1. Жители Трастевере, одного из старейших районов Рима. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

одну из тех отдаленных улиц, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден нумер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая... Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут всё откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу. <...> Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке. <...> Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошед к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что́ такое значат рога. Тут ничего не было не известного: всё известно. Синиоры всё знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует".



Последовав за гоголевским героем в эту непарадную часть Рима, мы попадаем в мир Белли, населенный теми же самыми Сусаннами, Грациями, Наннами, Лучиями, Чечилиями. Каждая глава в человеческой комедии Белли идеально вписывается в рамки сонета — излюбленной формы не только "аристократической", но также народной итальянской поэзии. Подобно кукловоду, Белли манипулирует своими персонажами, оставаясь невидимым. Его отношение к ним — в их поступках, в их словах, обеспечивающих сатирический эффект. В основе реализма Белли — неравнодушие, взгляд со стороны одновременно является взглядом изнутри: многие сонеты построены по принципу диалога, и в этом случае от сонета к сонету персонажи, судачащие на разные темы, в том числе и весьма откровенного свойства, то и дело меняются ролями, что позволяет им даже посмеяться уже не над другими, а над собой. Часто предпочтение отдается форме монолога, подразумевающего конкретного слушателя или слушательницу.

К человеческим слабостям простых смертных, явно симпатичных ему, Белли снисходителен, над маленькими людьми он потешается незло, заранее прощая им большие и не очень большие слабости, что позволило одному из исследователей говорить о его "безжалостной жалости". Иное дело те, чье социальное положение не только залог обеспеченной жизни, но и оправдание собственной безнравственности, стяжательства, лжи. К кому особенно беспощаден поэт, так это к римским первосвященникам и их прелатам, олицетворяющим в его глазах не столько церковь, сколько ее тоталитарную власть в церковном государстве, каковым являлась Папская область (не случайно по частоте употребления слову "папа" принадлежит второе место в словаре римских сонетов). У антиклерикала Белли были достойные предшественники, задолго до него бичевавшие церковников, — Данте и Боккаччо, — так что, скажем, к строкам, порицающим алчность церковной верхушки, были бы вполне уместны эпиграфы вроде этого, из Данте:

> ...Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
> Не превзойденных ни одним скупцом.[1]

Гоголь мог познакомиться с Белли в салоне Зинаиды Волконской, где бывали, приезжая в Рим, Жуковский, Вяземский, Мицкевич (какое-то время Белли был ее соседом по дому). Встреча, не обязательно очная, с автором "памятника римско-

1. "Божественная Комедия", Ад, VII, 47—48. Перев. М. Лозинского.

му простонародью" — так Белли называл свод своих сонетов на римском наречии, составивший в итоге 32 000 стихотворных строк, — была предопределена интересом Гоголя к живому Риму, интересом, о котором он писал в процитированном выше письме Балабиной: "Знаете, что я вам скажу теперь о римском народе? Я теперь занят желанием узнать его во глубине, весь его характер, слежу его во всем, читаю все народные произведения, где только он отразился..."

С именем Гоголя связано начало европейской известности Белли. Открыв его для себя, Гоголь не упустил случая поделиться радостью этого открытия с французским критиком и поэтом Шарлем Огюстеном Сент-Бёвом, о чем последний поспешил поведать в письме другу, а спустя несколько лет повторил услышанное от Гоголя, рецензируя его книгу, вышедшую во Франции под названием "Русские новеллы": "На пароходе, отправлявшемся из Рима в Марсель, я встретил Гоголя... Гоголь говорил мне, что нашел в Риме настоящего поэта, по имени Белли, который пишет сонеты на транстеверинском наречии — сонеты, следующие друг за другом и образующие поэму. Он говорил мне подробно и убедительно о своеобразии и значительности таланта этого Белли, который остался совершенно неизвестен нашим путешественникам".

Судьба римских сонетов могла повторить судьбу второго тома "Мертвых душ": в вариантах завещания, составленных в разные годы, Белли просил сжечь после его смерти написанное им на диалекте. К счастью, друзья, у которых хранились рукописи поэта, ослушались его. В противном случае Белли стал бы со временем литературной загадкой, не позволяющей убедить потомков в справедливости оценки, данной ему Гоголем.

В начале июля 1838 года актриса Амалия Беттини писала Белли: "И когда же Вы решитесь порадовать своими стихами всю Италию? Почему Вы не соберете их в книгу? Только не говорите мне, будто многие сонеты запретят печатать: их и после этого останется достаточно для того, чтобы доставить удовольствие всей Италии".

Вездесущие папские цензоры, успешно препятствовавшие изданию римских сонетов, не оставили Белли в покое и после смерти, возражая против того, чтобы на его могильной плите было высечено слово "romanus" — римлянин. Благодаря настойчивости друзей поэта надпись эта все-таки появилась. Джузеппе Джоакино Белли был римлянином до мозга костей и остается римлянином в своих нетленных сонетах и в благодарной памяти их читателей.

## В*ино*

Вино всегда вино, скажи, касатка!
Что с ним сравнишь, где лучше что найдешь?
Гляди сама, какое чудо пьешь!
Чем не янтарь? И вовсе нет осадка.

Как человеку без вина? Загадка!
Глотнешь чуток — жениться невтерпеж.
Хоть ешь навоз — потом винца хлебнешь,
И у тебя во рту ничуть не гадко.

Пей чистым или хлеб в него кроши —
Все вина независимо от цвета,
Все, окромя поддельных, хороши.

Свое вино в Дженцано и в Орвьето
Для живота лафа и для души.
А это пробовала ты? А это?

## *Карета кардинала*

Где Каччабо́ве делается у́же,
Ну прямо настоящая кишка,
Мчал кучер не простого седока,
А кардинала, что гораздо хуже.

И этот чертов кучер, важный дюже,
Чем всех предупреждать издалека:
"Поди! Поди!" — сбил, сволочь, старика
И переехал колесом к тому же.

Ну, люди полумертвого с земли
Подняли, на руках домой снесли —
Как тут не пособить хоть в самом малом!

Сказать тебе, что будет с лихачом?
Увидишь, кучер будет ни при чем,
Всегда при чем, который пешедралом.

## *Могильщики*

При малярии, при ее давнишней
Способности вовсю косить людей
Наш брат могильщик жил повеселей,
А нынче жизнь куда уж никудышней!

Никто не мрет, и ежели Всевышний
Не вразумит маленько лекарей,
Профессия могильщика, ей-ей,
Сама умрет, поскольку станет лишней.

Семнадцатый — вот был удачный год!
На редкость дружно помирал народ,
У нас работы было через меру[1].

1. В 1817 году в Риме свирепствовал сыпной тиф.

Друг моего дружка, могильщик сам,
Надеется, что в утешенье нам
Небесный Царь на Рим нашлет холеру.



## *Главная причина*

У папы есть не только руки-ноги,
Не только две ноги и две руки,
Но также рот, и зубы, и кишки –
И что же получается в итоге?

А то как раз, что надобны налоги,
Ведь повар должен что-то класть в горшки,
Тогда как деньги, даже медяки,
Валяться не привыкли на дороге.

Плати попам – а их у папы тьма!
А кто пойдет в шпионы задарма?
Вынь да положь за свечи, стирку, глажку!

Для всех загадка, как бы папа жил,
Когда бы свой народ не обложил,
Хотя и рад бы дать ему поблажку.

## *Допекла жена мужа*

Ты замолчишь? Ты дашь мне передых?
Учти, еще одна такая сцена –
И ты калекой будешь, Мадалена.
Кончай зудить! Нет больше сил моих.

Эхма! Жениться надо на немых.
Горластым дурам море по колено,
А после ноют: мол, какого хрена
Мужья бросают или лупят их?

Да помолчи ты, злюка, хоть минутку!
Привыкла, дрянь, что я с тобой хорош,
А я устал плясать под бабью дудку.

По-твоему, не жди, не будет, врешь!
Смотри, я разозлился не на шутку,
Заткнись, не то костей не соберешь!

## *Знакомая утешает вдову убитого*

Зарезали... А ты бы что хотела,
Чтоб лучше за решеткой умер он?
Не забывай, нам не дано спокон
Знать, где и как душа покинет тело.

Скажи, тебе реветь не надоело?
Да успокойся! Вон Наполеон
Где дуба дал? Там, где со всех сторон
Сплошное море. Смерть — такое дело.

Скончаться дома может человек,
В больнице, на войне окончить век,
На виселице, за столом трактира.

Взять твоего хотя бы, например...
Все в мир приходим на один манер,
Уходим же по-разному из мира.

## *Невеста в ожидании свадьбы*

Он из меня, обманщик, душу тянет
Уже пять лет — подумай, как давно!
И отговорок у него полно,
Пообещает — и опять обманет.

То, дескать, он добычей денег занят,
То, мол, жара... Мол, я хоть завтра, но...
Мол, потерпи, день свадьбы все равно
Настанет, мол... А если не настанет?

Все время: "потерпи!" Один обман!
Он не скупится — водит в ресторан.
Видала? — я под ручку с ним гуляю.

Решили было — свадьба в октябре.
Казалось, скоро: август на дворе...
Теперь он обещает ближе к маю.

## *Новая душистая вода для волос*

Сказать тебе, что выкинула Тета,
Горбунья, парикмахера жена?
Приходит бакалейщик: мол, нужна
Душистая вода для тувалета.

Пожалуйста. И в дверь идет она
И копошится там, за дверью где-то,
И пузырек выносит: “Это?” – “Это.” –
“Да ты понюхай лучше – прям весна!” –

И поскорей заткнула пробкой склянку.
Тут бакалейщик вынул кошелек...
Но ты послушай дальше про поганку.

Мудила модник только дома смог
Расчухать подлую ее изнанку:
Она нассать успела в пузырек.

## *Повитуха нарасхват*

– Тебе кого, сынок? – Мне повитуху.
– Ушла на роды. – А когда придет?
Я от жены... Насчет отхода вод...
Аж весь взопрел – бежал что было духу.

– Ну и неделька! Ну и заваруху
Устроили: из той вода текёт,
У этой схватки! Сразу всем черед
Телиться подоспел – видать по брюху.

Сейчас у нас ноябрь, а карнавал
Был в феврале. Ты сам бы посчитал,
Тут, братец, арихметика простая.

Девятый месяц кончился как раз,
И разрешается дитем у нас
Не каждая, так каждая вторая.

## *С чужих слов*

Я тут слыхал про папу краем уха
(Не сам придумал – я себе не враг!),
Что будто папа выпить не дурак.
(Чего ж не выпить, если в горле сухо?)

Оно, конечно, может, вроде слуха...
Но ежели винишко – самый смак,
Ему стаканчик выпить – вроде как
Соврать под мухой или не под мухой.

Святое дело... Пасха... Рождество...
День всех Святых... Или, к примеру, Троица...
Не выпьет в праздник человек, расстроится.

Так что не будем осуждать его:
Над нами главный он, над христианами,
Вот на здоровье пусть и пьет стаканами.



## *Мужья!*

Ты про мужей? А что в нем толку, в муже?
Другой бы раз не вышла никогда!
Чем перед алтарем ответить "да",
Скорей бы утопилась в первой луже.

Он бьет меня — и больно бьет к тому же! —
И посылает — поняла куда?
И ходит к бабам — вечная беда!
Такая жизнь, что не придумать хуже.

За мной добра он, знаешь, сколько взял?
И все уже давным-давно в закладе,
В ломбард, представь, мою рубашку сдал.

Добавлю по секрету правды ради,
Что... ну, когда мы это... он, нахал,
Меня... ну это... спереди и сзади.

## *Кумушки*

Не видно? Так еще приотвори
Маленько ставню. Ну?.. Что там творится?
Как нет?.. Куда ж он мог запропаститься?
А, разглядела. Там он, там, внутри.

Молоденький, смазливый... Что за птица?
Родня?.. Поменьше чепухи пори!
Ей гладит ушко, а она, смотри,
По пальчикам его вязальной спицей.

Ну и лиса! Горазда поломаться!
Небось и не поймет синьор милорд,
Что наша цаца вовсе и не цаца.

Снял шляпу, расстегнул... Да тише! Буде —
Услышат... Не хихикай. Тьфу ты, черт,
Закрыли занавеску — ну и люди!

## *Недужная дочка*

Что делать с дочкой? Как беде помочь?
Что с ней случилось после карнавала?
Еще совсем недавно танцевала
На площади весь день, а то всю ночь.

Вмиг зажигалась, будто спирт, точь-в-точь,
Всем нравилась, а нынче перестала,
Вдруг затужила, сникла, приувяла,
Ну вроде как мне подменили дочь.

Почти не спит и кушать неохота,
Кусок положит в рот — и тут же рвота,
Толстеет, хоть и перестала есть.

Не знаете, синьора Маргарита,
Какая есть от этого защита?
Должна ведь быть какая ни на есть!

## *Григорий и Николай*[1]

Для тех, кто с папой жить не хочет в мире,
Святейший папа попросил в письме
В Московию, чтоб их сгноить в тюрьме,
Пожертвовать ему кусок Сибири.

Но залупцарь держал свое в уме,
Он прибыл в Рим, стал в Риме на квартире
И — в Ватикан: держи карман, мол, шире,
Мол, сам копайся в собственном дерьме.

Святейший непокорного на место
Поставил: "Помни, милый, что у нас
Есть генералы Бавери и Реста[2]!"

И хвост от страха залупцарь московский
Поджал — не мудрено, о том и сказ,
Что с папой шутки плохи — он таковский!

1. В декабре 1845 г. Николай I дважды посетил Ватикан. Во время этих визитов папа Григорий XVI выразил озабоченность по поводу преследований польских католиков в России. Рассказывая об этой встрече "в верхах", простолюдин, в роли которого выступает автор, путает тему бесед между главой католической церкви и российским императором с опубликованным несколькими годами раньше в моденской газете "Голос правды" обращением иезуитов и санфедистов (противников распространения в Италии социальных и политических идей французской революции) к русскому царю за разрешением отправить итальянских либералов в Сибирь, где уже находились на поселении участники польского восстания 1830–1831 гг.
2. Реальные персонажи, командовавшие папской пехотой, чья бездарность вошла в пословицу.

# Артур Кёстлер
# *Автобиография*

**Фрагменты книги**

*Перевод с английского* Л. Сумм

## *Том второй. Незримые письмена*

**Следующие три года, с осени 1933-го до осени 1936-го, стали для меня периодом отчаянной нищеты и лихорадочной политической активности. То было время великого крестового похода против фашизма — под барабанный бой и звуки фанфар мы шли от поражения к поражению. <...>**

### *Игра в жмурки*

**Когда я приехал в Париж, процесс о поджоге рейхстага, за которым с напряжением следила вся Европа, был в самом разгаре. На следующий день я познакомился с Вилли Мюнценбергом[1], руководителем Отдела западной пропаганды Коминтерна, получил работу в его штабе и таким образом сделался рядовым великой идеологической войны между Москвой и Берлином. Битва закончилась полным разгромом нацистов — единственным за семь предвоенных лет.**

**И коммунисты, и нацисты старались доказать, что поджог рейхстага совершила противная сторона. Мир с замиранием сердца наблюдал за этим спектаклем, не понимая сути, — так малые дети, затаив дыхание, смотрят лихо закрученный боевик. Мир еще не привык к спецэффектам, надувательствам и закулисным интригам тоталитарной пропаганды, причем в данном случае у шоу был не один постановщик, как позднее у московских судилищ, а сразу два, наперебой состязавшиеся в своем искусстве, словно два соперничающих шамана перед очарованным племенем.**

**Двух колдунов звали доктор Йозеф Геббельс и Вилли Мюнценберг. В ту пору почти никто не знал о втором участнике этого действа, да и сейчас мало кто о нем слышал. Публика видела классическое сражение меж-**

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 7, 2002 г.

1. Вилли Мюнценберг (1889—1940) — с 1906-го член германской социал-демократической партии, после войны — член коммунистической партии. В 1921-м организовал Межрабпом ("Международную рабочую помощь") для сбора средств в пользу голодающей России. Убит в 1940-м, вероятно, агентами НКВД. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

ду истиной и ложью, добром и злом. На самом деле обе стороны были виновны, но виновны они были не в тех преступлениях, которые друг другу инкриминировали. И те и другие лгали, и те и другие опасались, что противник располагает фактами, хотя тот говорил наугад. Два великана играли в жмурки...

"Серым кардиналом", неведомым миру вдохновителем антифашистского крестового похода, был Вилли Мюнценберг. В ночь, когда горел рейхстаг, он бежал из Германии, собрал свой штаб в Париже и начал кампанию, не имевшую себе равных в истории пропаганды.

Сначала Вилли создал Всемирный комитет помощи жертвам немецкого фашизма с отделениями по всей Европе, а также в Америке. Комитет был зарегистрирован как благотворительная организация, его отделения возглавляли чрезвычайно уважаемые люди — от английских герцогинь до американских журналистов и французских ученых. Все они слыхом не слыхивали о Мюнценберге и считали Коминтерн пугалом, изобретенным доктором Геббельсом...

Далее Вилли учредил в Париже собственное издательство, "Эдисьон де Каррефур", и поручил своим помощникам заняться выпуском первой из сразу же прославившихся "Коричневых книг о гитлеровском терроре и поджоге рейхстага". Со времен "Здравого смысла" Томаса Пенна[1] ни один политический памфлет не оказывал подобного воздействия на умы.

Книга вышла анонимно. На титуле значилось: "Подготовлено к печати Всемирным комитетом помощи жертвам немецкого фашизма. Предисловие лорда Марли". Здесь впервые достаточно полно говорилось о концлагерях, приводилась статистика, списки жертв, сообщалось о преследовании евреев, уничтожении книг и других аспектах террора. Документы подготовил разведаппарат Коминтерна. Кроме того, в "Коричневой книге" история поджога излагалась "изнутри": подробно описывалась деятельность ван дер Люббе[2], его контакты с гомосексуалистами, окружавшими главу коричневорубашечников капитана Рема (данные собирал аппарат в Голландии), достаточно убедительно доказывалось, что поджигатели проникли в рейхстаг, воспользовавшись подземным тоннелем. Были названы поименно и участники этого преступления: граф Хельдорф и командиры штурмовиков Хайнес и Шульц.

Всю эту информацию собирали с бору по сосенке, дополняли догадками и дедукцией, расцвечивали наглым блефом. Только одно мы знали наверное: некие круги нацистов каким-то образом подстроили поджог. Мы стреляли наугад, но угодили в яблочко. Через несколько недель "Коричневую книгу" перевели на семнадцать языков. Она вышла миллионными тиражами и сделалась библией антифашистского движения. Большими партиями ее переправляли в Германию под видом дешевых изданий классики, в обложках шиллеровского "Валленштейна" и гётевского "Германа и Доротеи"...

Пока готовили "Коричневую книгу", Мюнценберг, не теряя времени, осуществлял и другие свои замыслы. Под эгидой "Всемирного комитета" они с Отто создали Комиссию по расследованию дела о поджоге рейхстага. В нее вошли самые известные юристы из разных стран — бывший премьер-министр Италии Франческо Нитти, сын бывшего пре-

1. Томас Пенн (1702–1775) — философ и публицист, видный деятель Американской революции.
2. Поджигатель рейхстага.

мьер-министра Швеции сенатор Георг Брантинг, Артур Гарфилд Хейес — адвокат Сакко и Ванцетти, мэтр Моро Жаффери и мэтр Гастон Бержери, представлявшие Францию, англичанин Д. Н. Притт и другие. 14 сентября 1933 года в зале Лондонского юридического общества сэр Стаффорд Крипс открыл первое публичное заседание. Комиссия допрашивала свидетелей, перепроверяла улики и "действовала как неофициальный трибунал по мандату мировой совести" — так писал во "Второй коричневой книге" Отто Кац, незримый вдохновитель этого начинания[1]. Работа Комиссии получила название "Контрсуд". Западу подобного рода неофициальное разбирательство было в новинку, оно привлекло внимание всего мира. Эта идея осенила Мюнценберга, когда он обдумывал очередной пропагандистский трюк: ему припомнились "революционные суды", практиковавшиеся в царской России...



Кампания Мюнценберга завершилась триумфом: Димитрова, Торглера и их товарищей оправдали, что имело далеко идущие последствия. Для широкой публики оправдание Димитрова означало, что с коммунистического движения вообще снято подозрение в заговорщической деятельности и насилии, и, значит, "коммунистический террор" — это вымысел нацистов, желающих скомпрометировать политического противника...

Так завершилась эпическая битва или игра двух гигантов в жмурки, а я, приняв в ней участие, убедился, что в пропаганде полуправда гораздо действеннее истины, а переход к обороне чреват поражением. Я понял также, что на таких условиях демократия всегда будет проигрывать тоталитаризму. Работа на Мюнценберга показала мне, сколь малы шансы Запада выиграть "психологическую войну" против таких противников, как Гитлер и Сталин, ведь ради победы Западу пришлось бы отказаться от тех самых принципов и ценностей, во имя которых он и вступил в борьбу.

## *Красный кардинал*

Мюнценберг учредил свой прославленный "Трест" в Берлине в сентябре 1921 года. В молодости он работал на обувной фабрике, затем эмигрировал в Швейцарию, где стал помощником фармацевта. Во время Первой мировой войны он сблизился в Цюрихе с большевиками-эмигрантами, Лениным, Троцким и прочими. В 1917-м Вилли выдворили из страны, он вернулся в Германию, вступил в революционный "Союз Спартака", а в 1919-м стал одним из основателей отпочковавшейся от "Спартака" Коммунистической партии Германии. Первоначально Вилли занимался пропагандой среди юношества, а после того как в 1920-м в Москве был организован Коммунистический интернационал молодежи, Вилли стал его первым председателем. Сколько прекрасных девушек маршировало мимо трибун, когда политическим мероприятием руководил Вилли! Больше мы такого не видели.

Спустя год в России начался страшный голод — последствия Гражданской войны. 3-й конгресс Коминтерна обратился с призывом о помощи к пролетариям мира, ко всем сторонникам социализма. Вслед за

1. The Reichstag Fire Trial. The Second Brown Book of the Hitler Terror, based on material collected by the World Committee for the Relief of the Victims of German Fascism. London, 1934. (*Прим. автора.*)

этим призывом возникает Межрабпом во главе с Мюнценбергом. Эта организация добилась изумительных результатов (правда, не совсем тех, ради которых создавалась). Поначалу главной задачей была помощь голодающим, и за два года Межрабпом собрал и отправил в Россию около пятидесяти пароходов с самым разным добром, от лекарств до грузовиков и швейных машинок. Нельзя сказать, чтобы этот довольно пестрый набор и не слишком большой объем грузов существенно поддержал бедствующую страну, тем более таких размеров, как Россия, но пропагандистское значение этой акции было огромным. Мюнценберг изобрел совершенно новую технику массовой пропаганды, основанную на, казалось бы, очевидной идее: когда человек дает деньги на какое-то дело, он и эмоционально вкладывается в него, и его интерес к этому делу тем сильнее, чем больше пожертвование. Главное — найти действенный, задевающий за живое способ собирать взносы, и тут Вилли был неистощим. Он не просил милостыню, а, к примеру, предлагал рабочим внести однодневную зарплату в "знак солидарности с народом России". Не благотворительность, но солидарность стала лозунгом первой кампании, а затем и всей деятельности Межрабпома. Жертвователи получали из СССР почтовые марки, нагрудные значки, медали, фотографии, бюсты Маркса и Ленина — каждая лепта оборачивалась эмоциональной связью человека с делом...

Сперва "Трест" печатал листовки, поддерживая кампанию помощи голодающим, вскоре начал организовывать собственные издательства, книжные клубы, журналы и газеты, и к 1926 году Вилли принадлежали две немецкие ежедневные газеты с массовым тиражом — "Берлин ам морген" и "Вельт ам абенд"; еженедельник "Арбайтер иллюстрирте цайтунг" — коммунистический аналог "Лайф", насчитывавший миллион подписчиков, а также ряд других изданий, включая специальные журналы для фотографов, радиолюбителей и т. п., — все с ненавязчивым коммунистическим уклоном. Даже в далекой Японии "Трест" прямо или косвенно контролировал девятнадцать газет и журналов, а также, помимо всего прочего, он финансировал постановку авангардных коммунистических пьес, вошедших тогда в моду, и фильмы лучших российских режиссеров — Эйзенштейна и Пудовкина.

Партийная бюрократия ненавидела и самого Вилли, и всех его сотрудников, прозванных "мюнценбергцами". Давление извне сплачивало приближенных Вилли, превращая их в дружную компанию, своего рода партию внутри партии. В нашей среде, в среде "мюнценбергцев", сложилась странная атмосфера — смесь революционного товарищества и ревности придворных, толпящихся вкруг благосклонного деспота...

"Ближний круг" Вилли состоял в ту пору из его жены Бабетты Гросс, обер-адъютанта Отто Каца и "трех мушкетеров": секретаря Ханса, водителя Эмиля и телохранителя Юппа.

Бабетта была одной из двух сестер, появившихся на свет в аристократической потсдамской семье Тюринг. Высокая, прекрасно державшаяся, красивая вопреки возрасту, спокойная, вежливая, но умевшая добиваться своего. Трудно представить себе более несхожую пару, чем холодноватая патрицианка Бабетта и приземистый пролетарий Вилли, но в их отношениях царила ощутимая даже для посторонних гармония, и оба они, при всех внешних различиях, обладали высоким чувством собственного достоинства -- это был, несомненно, союз равных и близких по духу людей...

"По старшинству" после Бабетты в нашем кружке значился Отто Кац, ближайший помощник Вилли, прекрасно его дополнявший. Он обладал теми способностями, которых не хватало Вилли, и, в свою очередь, не имел его преимуществ. Вилли был закаленный и грубоватый лидер, Отто — тонкий и вкрадчивый исполнитель; Вилли выглядел как сапожник из тюрингской деревушки — так и виделось, как он сидит на низеньком стуле в кожаном фартуке и с размеренностью отбойного молотка заколачивает гвоздики в старый башмак; Отто, напротив, был темноволос, красив, обаятелен, но была в нем какая-то гнильца. Закуривая, он всегда прикрывал один глаз, и эта гримаса настолько вошла у него в привычку, что, обдумывая какую-то задачу, он часто жмурил левый глаз, даже если в этот момент и не курил. Вилли не знал ни слова ни на одном иностранном языке; Отто бегло говорил по-французски, по-английски, по-русски и по-чешски; Вилли не мог связно изложить свои мысли на бумаге, а Отто, плодовитый журналист, успел написать и издать несколько книг (все, за исключением одной, анонимно)...

В качестве посланца Вилли, скрывавшего свое лицо, Отто не раз отправлялся в Англию и в Голливуд, организовывал там антифашистские комитеты и собирал пожертвования. Повсюду он завязывал политические связи, пользовался популярностью у женщин, в особенности у политически активных, исполненных благих намерений дам среднего возраста — он умело использовал их расположение в своих целях.

Разумеется, в обязанности Отто входило также шпионить за Вилли по поручению "аппарата". Вилли догадывался об этом, но только плечами пожимал: Отто был полезным помощником, однако по-человечески Вилли откровенно презирал его. Однажды я спросил Вилли, как он познакомился с Отто, и он ответил с тюрингской растяжечкой: "Я выудил его из Ландвера". Довольно узкий берлинский канал Ландвер чрезвычайно подходил для тех, кому требовалось скрыть труп от полиции, а также — для самоубийц. По-видимому, в начале 20-х Отто остался на мели и просил у Вилли дать ему любую работу, угрожая в противном случае утопиться в этом самом канале. В 1938-м Вилли порвал с Коминтерном, и Отто тут же изменил ему — это не стало для нас неожиданностью. В 1952-м судьба настигла Отто — его повесили в Праге по вздорному обвинению как британского шпиона и сионистского заговорщика, и тогда уж никто из прежних друзей, сотрудников и союзников не вступился за него.

Несмотря на имевшуюся в нем червоточину, Отто покорял сердца. С великодушием разбойника он мог прийти на помощь, проявить теплое участие, повернуться неожиданной стороной — когда это не противоречило его интересам. Я испытывал к нему то отвращение, то глубокую симпатию. Когда я угодил в испанскую тюрьму, Отто, чтобы спасти меня, начал международную кампанию, масштабы которой совершенно не соответствовали моему положению в партии. После освобождения Отто ждал меня на Гар дю Нор с огромным букетом цветов. В тот раз, по крайней мере, мы обнялись искренне, по-братски...

Однако дружеские отношения между нами сложились не сразу. В окружавшей Вилли атмосфере придворных интриг, соперничества и фаворитизма Отто, естественно, воспринимал меня как конкурента: оба мы были полиглоты, оба — выходцы из буржуазии, сохранившие весьма полезные связи вне партии, оба — энергичные, активные, деятельные... Этим, однако, сходство между нами исчерпывалось, поскольку в Отто

бурлили политические амбиции, а я уже давно осознал собственную непригодность для партийной карьеры. В партии все мое честолюбие было направлено лишь на служение – я мечтал, в соответствии с нашим лозунгом, "быть полезным партии". Потребность в подчинении, в анонимной работе – оборотная сторона моего характера, более чем тщеславного и амбициозного в других областях, но Отто не подозревал о подобных изгибах моей души и не мог поверить в искренность моих побуждений...

Наверное, я бы сумел что-то противопоставить ревности Отто и сохранить не слишком заметное место в архиве Комитета, но у меня появились другие, более серьезные заботы: я начал превращаться в профессионального коммуниста, в партийного чиновника на жалованье. Да, официально я работал во Всемирном комитете, но в действительности мне платил Межрабпом, то есть партия... Мне это претило, я не желал становиться партработником, принадлежать к официальной структуре. Я испытывал отвращение ко всем видам политической бюрократии. Вероятно, этот комплекс я нажил еще в свой сионистский период, раз и навсегда возненавидев самодовольных, напыщенных функционеров, оседлавших движение. Это чувство усилилось, когда мне пришлось с близкого расстояния наблюдать политические махинации Коминтерна. Я хотел жить для партии, но не за счет партии, я хотел быть добровольцем, дилетантом, если угодно, а не становиться профессиональным партийцем...

Как всегда в критические моменты моей жизни, решение пришло само собой, без сознательного обдумывания всех доводов "за" и "против". В начале 1934-го я уволился с единственной платной партийной должности, какую когда-либо занимал, и временно расстался с Вилли и Отто Кацем, ничем не омрачив наши отношения. <...>

## *Учитель в* Мэзон-*Лафитт*

В числе организаций, опекаемых "Трестом", был приют для детей беженцев. Официально он предназначался для детей бедствующих немецких эмигрантов. Их классовая или партийная принадлежность якобы не имела значения, но на самом деле воспитанниками приюта были преимущественно сыновья и дочери партийных работников, убитых нацистами либо направленных на подпольную работу в Германию и на другие секретные задания, оторванных от своих семей. У приюта закончились деньги. Тридцать детей и подростков в возрасте от двух до шестнадцати лет жили на вилле с подходящим названием La Pouponniere ("Ясли") в Мэзон-Лафитт, близ Парижа – это помещение предоставил фонду какой-то филантроп-француз. Вилли вызвал меня и поручил провести там несколько дней, чтобы написать брошюру, которая помогла бы собрать недостающие средства:

– Скажите им: нельзя допустить, чтобы голодали дети, чьи отцы сражаются за свободу и так далее. Пять тысяч слов и несколько фотографий этой мелюзги – веселые, но отощавшие и тому подобное. – По обыкновению пристально глянув на меня, Вилли подчеркнул: – Задача неотложная.

Сколь неотложной она была, я понял на следующий день, очутившись на вилле, одиноко стоявшей в нескольких сотнях ярдов от леса и

от знаменитой гоночной трассы в Мэзон-Лафитт. Среди детей свирепствовала дифтерия, присматривавший за ними персонал не имел ни знаний, ни опыта, а запасы пищи сводились к рису, макаронам, какао, сахару и маргарину.



Коммунистическая партия предъявляет к своим писателям и прочим интеллектуалам вполне здравое требование "практики" — подразумевается, что нельзя писать о коммунистической стратегии, не поработав на заводе, в ячейке или в подпольной организации. Уже Маркс настаивал: "Без революционной практики нет революционной теории" — и посвящал гораздо больше времени созданию небольших союзов рабочих, нежели написанию "Капитала". Советский автор, собираясь писать о колхозе или об автомобильном заводе, должен несколько месяцев проработать там, ощутить тему изнутри. Вот почему, хотя я знал о детях меньше, чем о бушменах, мне казалось вполне естественным превратиться в учителя, сиделку и фельдшера одновременно.

Я провел в приюте не несколько дней, а два месяца, и из этого неожиданного опыта родился мой первый роман. Я начал писать его прямо там, как только закончил брошюру. Роман получил второе или третье место (точно не помню) на международном конкурсе социалистической книги швейцарского клуба "Бюхергильде Гуттенберг", однако так и не был напечатан. Он назывался "Приключения товарища Птахи и его друзей в эмиграции". Я назвал книгу в честь прелестного четырехлетнего мальчика, чьим главным словом было "товарищ", — он обращался так ко всем: ко взрослым, детям и животным. Однажды, ковыляя по саду, он воскликнул, указывая на нахохлившегося на ветке воробья: "Смотри, товарищ, там товарищ птаха" — отсюда его прозвище, ставшее конспиративной кличкой.

Все дети, а также персонал имели подобные прозвища, и это было не только игрой: они скрывали свои фамилии от внешнего мира и по возможности друг от друга. Поскольку родители некоторых детей проживали по подложным документам в Германии и в других странах, список детей из Мэзон-Лафитт мог пригодиться гестапо, чтобы установить личности функционеров, активно налаживавших подпольную работу, а то и выследить их. Однажды приют подвергся нападению взломщиков при весьма подозрительных обстоятельствах, хотя полной уверенности в том, что к этой акции причастно гестапо, не было. Во всяком случае, бумаги с подлинными именами детей на вилле не хранились, и самих воспитанников учили никогда не называть себя. Дети на удивление дисциплинированно подчинялись этому правилу — разумеется, их увлекала и сама романтика игры в казаки-разбойники.

Служащих приюта наградили причудливыми кличками — так, склонная к психоанализу товарищ, в чьи обязанности входило ставить малышам клизму, именовалась Клистерией... До меня в приюте работал Прыщик, супруг Клистерии, тишайший человечек, — он писал статьи по истории искусств с марксистских позиций и уволился оттого, что старшие дети стали чересчур часто поколачивать его. Повторяю, ни педагогического образования, ни профессиональных навыков ни у кого из этих людей не было.

Дисциплину в доме более или менее обеспечивал совет старших воспитанников ("Коллектив") — он заседал ежедневно, вершил суд и вообще брал на себя административные функции. В "Коллектив" входили все дети старше двенадцати лет, кроме Ульриха, единственного предста-

вителя крупной буржуазии, исключенного из совета за "антисоциальное поведение". Словом, приют представлял собой хорошо организованный сумасшедший дом и весьма напоминал советские школы первых послереволюционных лет...

В числе прочих обязанностей я вел занятия у малышей и укладывал их спать, редактировал еженедельную газету "Коллектива", мыл в свой черед полы и давал уроки русского языка двум лидерам "Коллектива" — Большому Питу и Бонзе Флориану. Питу, высокому, сильному, вдумчивому пареньку, было около шестнадцати лет, его отца, гамбургского кочегара, убили нацисты; Флориан, отпрыск члена Центрального Комитета партии (ныне его отец — член правительства Восточной Германии), уже к пятнадцати годам представлял собой вполне оформившийся тип коминтерновского бюрократа (как известно, "бонзами" на партийном жаргоне именовали важных шишек)...

Проведя два месяца в Мэзон-Лафитт, я возвратился в Париж и к концу весны 1934-го дописал роман. Я думал, что рукопись пропала, когда я спасался бегством от немцев, но она, в числе некоторых других, избежала когтей гестапо и сохранилась в старом сундуке в парижском подвале. Я перечитал ее спустя двадцать лет и этот текст показался мне чересчур неумелым и неровным, чтобы публиковать его даже в качестве "раннего произведения автора" <...>

## *Вниз с обрыва...*

Несмотря на документальный реализм и социалистическую направленность моего романа, партия осудила его за мелкобуржуазные и индивидуалистические тенденции. Такой приговор обернулся для меня катастрофой. Это типичная ситуация, в которой может оказаться писатель-коммунист, а потому стоит рассказать об этом подробнее.

В моем случае партию представляла коммунистическая ячейка внутри Ассоциации немецких писателей-эмигрантов... Ячейка собиралась раз в неделю. Из ее членов всемирную известность заслужила только Анна Зегерс, автор "Восстания рыбаков" и "Седьмого креста". Я восхищался ею и поныне преклоняюсь и как перед романистом, и как перед замечательной женщиной, но личные отношения у нас с ней не сложились. Немалую роль играл в этой организации также Эгон Эрвин Киш ("Эгонек"), один из наиболее популярных персонажей в пестрой многонациональной толпе коммунистов-интеллектуалов. В годы изгнания он отчасти заменял мне отца.

Киш вырос в Праге, в молодости получил известность как криминальный репортер и автор рассказов о ворах и проститутках. Первая его книга, "Неистовый репортер", стала классикой немецкой журналистики. За ней последовали сборники путевых очерков о Китае, Америке, Австралии и советской Азии. Все эти книги были написаны с коммунистических позиций и тем не менее искрились юмором, играли красками. В ту пору, о которой я рассказываю, Кишу было около пятидесяти; несмотря на его небольшой рост и наметившийся животик, женщины по-прежнему пленялись его смуглым, лукавым лицом и чарующими манерами. Киш питал слабость к молоденьким девушкам — он околдовывал их доведенным до совершенства искусством рассказывать анекдоты (иные из них длились по полчаса). А еще он демонстрировал фокусы и чудеса

телепатического чтения мыслей на пару с женой — верной, терпеливой Гизелью. Гизель, с лошадиным оскалом, с виду вылитая школьная учительница, работала на ГПУ.

К политике Киш относился с полным цинизмом. Он избегал всяких споров, повторяя с непроницаемым выражением лица штамп собственного изготовления: "Я ничего не думаю, за меня думает Сталин", — после чего наступало неловкое молчание и собеседник спешил сменить тему. Эгонек изобрел новую салонную игру: как обычно, участники бросали кости и перемещали по беговой дорожке фишки, только фишки изображали не лошадок, а партийных боссов, и они не налетали на препятствие и не падали в ров, а исключались из рядов партии за бухаринский уклон, подвергались чистке по обвинению в троцкизме и т. п. Не понимаю, как это сходило ему с рук, — отчасти, наверное, дело в том, что Киш был из тех необузданных проказников, кому прощается все, тем более что его популярность привлекала к германской компартии симпатии интеллектуалов (а кроме того, аппарат мог рассматривать диссидентство Эгонека как прекрасное прикрытие для шпионской деятельности Гизели).

Под маской ироничного циника жил усталый, разочарованный человек — он уже не питал иллюзий насчет партии, но еще меньше осталось у него иллюзий относительно мира за пределами партии. В любом случае, он чувствовал себя слишком старым, чтобы возвращаться к истокам и начинать заново. В одном из моих романов пожилой коммунист говорит: "Вложив весь свой капитал в предприятие, в нашем возрасте, после тридцати лет работы, невозможно забрать его обратно. Это было бы неприлично, уверяю вас, совершенно неприлично". Киш никогда не говорил мне подобных слов, однако я слышал его голос, когда писал эти строки. Он умер от инфаркта в своей Праге, при новом коммунистическом режиме, незадолго до того, как его соотечественник и близкий друг Отто Кац выслушал свой смертный приговор...

Первым на меня напустился Отто Абуш, он же Эрнст Райнхардт, бывший до эмиграции во Францию издателем "Роте фане", официального органа компартии. Отто участвовал в заседаниях ячейки в качестве делегата Центрального Комитета, он надзирал за нами и обладал беспрекословным авторитетом. Сухо и бесстрастно Райнхардт объявил, что я не сумел избавиться от своего буржуазного прошлого: вместо социалистического реализма я прибегаю к методам буржуазной индивидуалистической психологии и представляю проблемы подросткового периода как всеобщий феномен, хотя кризис полового созревания проявляется лишь в декадентской буржуазной среде и совершенно неизвестен здоровому юношеству Советского Союза; наконец, книга легкомысленно и критикански изображает ситуацию в учреждении, организованном солидарными усилиями мирового пролетариата и его союзников-антифашистов и контролируемом ответственными партийными товарищами.

Райнхардт задал тон дискуссии, два-три партийца последовали его примеру. Я резко и раздраженно огрызался, чем лишь усугубил положение. Никто из писателей не посмел открыто возразить представителю ЦК, только Киш заступился за меня и просил принять во внимание, что мне недостает идеологической подготовки. Итоги обсуждения подвел председатель ячейки, двадцатилетний Ханс Даммерт, — он также не был писателем, но с большим мужеством перенес нацистские пытки. Ханс мрачно предупредил: в романе обнаруживаются столь серьезные откло-

нения от партийной линии, что придется принять меры, выходящие за пределы компетенции писательской ячейки, и обратиться в "соответствующие органы".

Дисциплинарного взыскания, на которое намекал Даммерт, так и не последовало, но это слабое утешение... У меня больше не было друзей вне партии. Партия стала для меня семьей, гнездом, духовным прибежищем. Там, внутри, можно ссориться и ворчать, грустить и радоваться, но покинуть гнездо — пусть, как порой казалось, вонючее — уже немыслимо. Любая "закрытая система" постепенно отчуждает своих обитателей от внешнего мира. Я не любил многих партийцев, но они сделались мне близки; мне нравились многие люди вне партии, но я больше не находил с ними общего языка.

Если б роман отверг какой-нибудь литературный клуб, я бы с легкостью покинул его, лихо ответив оскорблением на оскорбление, но из этого круга я выйти не мог: хотя официально писатели-эмигранты собирались раз в неделю, все мы сталкивались друг с другом каждый день, и иной среды, кроме членов кружка, у меня не было...

Я вновь оказался в тупике, как восемью годами раньше, когда голодал в Палестине, но мне уже исполнилось двадцать девять лет и я чувствовал себя некогда подававшим надежды, но уже отнюдь не столь молодым "молодым человеком с большим будущим", да и большое будущее вроде бы осталось позади. Я питался подаянием, мои книги и пьесы были отвергнуты, я оказался не только изгнанником, но чужаком даже среди собственных товарищей. Я преисполнился глубочайшей жалости к себе. То был единственный затяжной период в моей жизни, когда я позволил себе предаться подобному пороку. Длилось это всего несколько недель, но, как потом оказалось, такое состояние хуже тюрьмы и концлагеря. В обычных обстоятельствах жалость к себе — это поблажка, но в пору кризиса она превращается в мощную разрушительную силу.

Несколько дней я не выходил из гостиничного номера и как-то ночью, заклеив скотчем щели в окнах и двери, открыл газовый кран и подтащил поближе к нему покрытый пятнами от клопов матрас, но как только я улегся, с полки мне на голову упала, чуть не сломав нос, какая-то книга. Я поднялся, выключил газ и отодрал скотч. Из всех неудач труднее всего рассказывать о несостоявшемся самоубийстве. Мне на голову упала вторая "Коричневая книга", "Димитров против Геринга", — отчет о судебном процессе. Трудно было бы придумать более выразительное указание на нелепость моей затеи. Либо я нечаянно толкнул полку, либо Диалектика способна подчас творить чудеса...

У этого кризиса есть один психологически занятный аспект: в нем "близко к тексту" воспроизведен сюжет того самого романа, который и довел меня до беды. Мой конфликт с ячейкой писателей стал почти точной копией конфликта между "Ульрихом Оппозиционером", одиноким подростком-интеллектуалом, и "Коллективом", вплоть до неудачной попытки самоубийства. Писатели часто преображают свой жизненный опыт в прозу, но мне довелось самому пережить вымышленную мной ситуацию — это уже не столь обычно и, пожалуй, даже жутковато. Разумеется, загадка объясняется тем, что я создал Ульриха по собственному подобию, я как бы спроецировал себя в пору отрочества <...>

Меня спасло неожиданное предложение: партия поручила мне работу, поглотившую все мое время, неоплачиваемую, но чрезвычайно интересную — на полгода или даже больше, месяцев на девять, я полностью погрузился в нее. Предполагалось создать центр для исследования структуры и функционирования фашистских режимов, учреждение более академическое по своей методике, нежели другие филиалы пропагандистского "Треста Мюнценберга". L'Institut pour l'Etude du Fascisme ("Институт изучения фашизма", сокращенно ИИФ) существовал как бы вне партийной иерархии. Партия (в лице Петера Мароса[1]) руководила его работой, но институт сам добывал средства и являлся одной из организаций Народного фронта...

Здесь собрались удивительно приятные и преданные делу люди, да и в целом ИИФ оказался самой удачной и достойной командой, какая мне встречалась в партии. Здесь сохранилось что-то от первоначального духа революционного движения — вероятно, именно поэтому спустя год партбюрократия раздавила институт...

За исключением Рене и Элен, все мы были "старые партийные клячи" — как я подозреваю, каждому довелось в свое время побывать в шестернях партийной машины и у каждого остались шрамы. Мы радовались жизни и работе в этом мирном оазисе, под благосклонным взглядом слегка выпученных глаз Петера. Никто не позволял себе открыто критиковать партию, но нас сближала внезапная пауза в разговоре, легкое пожатие плеч, общая память о тщетных усилиях и разочарованиях...

На меня возложили также обязанности коммерческого директора — главным образом мне приходилось посещать французов — членов попечительского совета института — и просить их о вспомоществовании. Именно так я познакомился со многими французскими интеллектуалами, в том числе с Андре Мальро[2]. Я явился к нему в кабинет в издательстве "Галлимар", мы спустились в маленький садик и там, гуляя, беседовали. Я пылко восхищался этим человеком и был ошеломлен первой встречей, но все же постарался напористо и бодро описать великое будущее института и еще более великую потребность в деньгах. Мальро слушал молча, порой издавая носом характерный, пугающий звук, весьма напоминавший крик раненого животного в джунглях, а затем нервно шлепал себя ладонью по носу. Поначалу это сбивало меня с толку, потом я привык. Когда я закончил, Мальро резко остановился, грозно надвинулся на меня, прижав меня к садовой решетке, и произнес:

— Да, да, mon cher[3], но что вы думаете насчет апокалипсиса?

С этими словами он протянул мне пятьсот франков и пожелал удачи...

Членами попечительского совета ИИФ состояли профессор Ланжевен, бородатый, обходительный, Фредерик Жолио-Кюри, молодой и полный энтузиазма, Луи Арагон, заряженный тщеславием и амбиция-

1. Петер Марос — "гуру", обративший Кёстлера в коммунизм. В одной из глав автобиографии Кёстлер описывает, как в случайном разговоре выяснилось, что этот человек, страдавший острой формой "конспиративита" и всех уверявший, будто живет по подложным документам, часто меняя паспорта, на самом деле оставался на легальном положении и в "подложном" паспорте стояло то самое подлинное имя, которое он доверил якобы одному лишь Кёстлеру, ставшему его свояком. "Петер Марос", разумеется, тоже псевдоним.
2. Андре Мальро (1901–1976), французский писатель, в последние годы жизни — государственный деятель-голлист.
3. Дорогой мой (*франц.*)

ми, — только он один всегда отделывался добрым советом и ни разу не дал ни сантима, — и профессор Люсьен Леви-Брюль[1], чьи работы о дологическом первобытном мышлении существенно повлияли на мое интеллектуальное развитие — я только что не обожествлял его...



Все они и многие другие французские интеллектуалы проявляли доброту и участие к безвестному "беженцу-антифашисту". Большинство из них не были членами партии, но они давали деньги институту, входили в совет попечителей и писали по моей просьбе рекомендательные письма к другим знаменитостям, однако в их участии было нечто отстраненное, безличное и холодное: испытывая благодарность за помощь, я все же страдал от того, что ни меня, ни других эмигрантов французы никогда не приглашали к себе в дом. Я знал, конечно, что подобная отчужденность присуща их культуре, и принимал ее как должное, когда был в Париже иностранным корреспондентом, но теперь бедность и изгнание обострили мою чувствительность. Больше всего беженец мечтает хоть ненадолго избавиться от ощущения бездомности, неустроенности. Так и солдаты на чужбине, в казармах, томятся по уюту и теплу семейного ужина. Британцы инстинктивно понимают эту потребность и, вопреки своей сдержанности, подбирают иностранца, словно приблудного пса, приводят к себе домой и помогают обосноваться, а французы легко сближаются с незнакомцем, горячо обнимают его и оставляют зябнуть на улице, обреченного на участь вечного туриста или вечного изгнанника — как доведется.

Вот почему основная масса эмигрантов во Франции не имела местных связей и жила словно в гетто, читая эмигрантские газеты, посещая эмигрантские клубы и кафе, с головой погрузившись в неизбежные распри и интриги эмигрантской общины. Все семь лет французского изгнания я провел в замкнутой среде таких же, как я, эмигрантов, продолжая и думать, и писать по-немецки, но как только в 1940-м обосновался в Англии, я начал писать по-английски, обзавелся друзьями-англичанами и перестал чувствовать себя чужаком. Кстати, довольно много писателей, чьим родным языком был отнюдь не английский, достигли высот в британской или американской литературе, но я не знаю ни одного подобного случая во Франции.

Как и положено беженцу, я оказался еще и бездомным в самом буквальном смысле слова: я не мог платить даже за дешевые номера в отеле "Бельвиль" и перебрался на бесплатный сеновал...

Хотя я все время недоедал, а по воскресеньям, не получая супа в ИИФ, просто умирал с голоду, чувствовал я себя совершенно здоровым и вполне довольным жизнью. Работа, пылкое чувство товарищества и принадлежности к коллективу выжгли во мне последнюю каплю жалости к себе. Я жил, как следует жить коммунисту, — в нищете, дисциплинированно и самоотверженно исполняя свой долг.

Мне шло к тридцати, эмоционально я все еще оставался неустойчивым, недостаточно взрослым человеком, но, несмотря на все внешние противоречия и путаницу, что-то во мне менялось и начинала структурироваться новая личность. Ранние годы я провел в неустанной погоне за небесной стрелой, в поисках утопии, прекрасной Елены, всеведущего

1. Поль Ланжевен (1872—1946) — французскнй физик, с 1944 г. — член компартии; Фредерик Жолио-Кюри (1900—1958) — французский физик, член КПФ; Луи Арагон (1897—1982) — французский писатель, член КПФ с 1927 г.; Люсьен Леви-Брюль (1857—1939) — французский этнограф.

шамана, непогрешимого лидера, теперь же, после многих разочарований, само служение делу стало для меня важнее, чем близость этого дела к идеалу. Путем проб и ошибок я убедился, что безусловная преданность делу составляет для меня физическую потребность, только она избавляет от гложущего чувства вины, укоренившегося во мне с раннего детства. Только трудясь во имя "дела" я мог избежать превращения в интеллектуала-невротика, запертого в своем личном аду, — весьма типичной для нашего века и скучной участи.



Я начал смиряться с тем, что я человек одержимый, я одарен (или наказан?) избытком нервной энергии, которая требует выхода, и если я не поглощен страстью к какому-то делу, моя одержимость превращается в манию... Я стал понимать, что счастлив бываю лишь гонясь за стрелой, какие бы обличия эта стрела ни принимала. Только в такой жизни я обретал душевный покой — не самодовольную добродетель пай-мальчика или бесстрастие монахини, но творческую радость, счастливую возможность строить, созидать, добавлять по кирпичику в здание более достойного будущего для всех людей — в него я верил по-прежнему...

Постепенно маниакальные всплески активности, сменявшиеся угрюмой депрессией, сгладились благодаря достаточно стабильной трудовой дисциплине, круглый год приковывающей меня к письменному столу на восемь-девять часов в день... Работа сделалась для меня лечением и наркотиком, компромиссом с "эго", подавленным комплексами и чувством вины, жертвоприношением духам прошлого. <...>

## *Путешествие в первый век до нашей эры*

На следующий день после того, как пришла к концу моя работа в Институте изучения фашизма, я любопытства ради пролистал в энциклопедии статью "Спартак". Коммунистическая партия Германии развилась из основанного в 1917-м Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург революционного "Союза Спартака", поэтому коммунисты то и дело поминали Спартака, но большинство, и я в том числе, весьма смутно представляли себе, кем же он был, — знали только, что в древности он возглавил какое-то восстание...

Лаконичная заметка в словаре Майера настолько овладела моим воображением, что я тут же решился добавить к четырем неопубликованным рукописям пятую и сочинить исторический роман...

Несколько недель подряд я просидел в Национальной библиотеке. Мое материальное положение в тот момент несколько улучшилось, с августа я жил уже не на сеновале в Валь-Флёри, а в маленькой гостинице на Иль-Сен-Луи вместе с Дороти, ставшей вскоре моей женой, — ей посвящается эта книга.

С Дороти я познакомился годом раньше, когда оба мы работали у Вилли Мюнценберга. Ей было тогда 25 лет, темные, взъерошенные волосы, большие карие глаза, приятный овал серьезного, застенчивого лица. Дороти не подпадала ни под одну из двух основных категорий, к которым принадлежало большинство женщин из КПГ: то были либо крепкие нагловатые девчата пролетарского происхождения, либо изнеженные неврозами золушки из среднего класса.

Отец Дороти был берлинским банкиром, ее брат, Эрни, выучился на врача, сестра Лизль вышла замуж за Петера Мароса. Еще в школе Эрни

и обе его сестры втянулись в юношеское социалистическое движение, а затем русское кино, авангардные пьесы и песенки Брехта и Эйслера[1] заманили их в Коммунистическую партию. Отец их умер, оставив все деньги вдове, моей будущей теще, эксцентричной и властной женщине, истерически страшившейся разорения. Она возненавидела дочерей-коммунисток, поселилась в Лондоне, в Шепердс-буш, в квартире с гостиничным обслуживанием и выделила Дороти месячное содержание в пять фунтов – смехотворная сумма даже по меркам 1934 года. Когда мы поженились, мать прислала Дороти шерстяные штанишки – то ли подарок, то ли приданое.

Словом, Дороти была бедна, как и я, однако после ухода из института я порой писал статьи для либерального еженедельника Леопольда Шварцшильда "Нойес тагебух", а Дороти работала, хотя и неполный день, так что мы как-то перебивались, готовили еду на газу в ванной и даже ходили в кино раз в неделю...

Поначалу меня привлекли красочность и романтизм гладиаторского восстания. Я пытался представить себе лагерь, расположившийся в кратере Везувия, армию рабов, готовых захватить Рим и тем самым изменить ход мировой истории, но вскоре интерес переключился с живописных внешних деталей на исторические и этические уроки первой пролетарской революции. Очевидны были параллели между состоянием нашего общества и последним дохристианским веком, столетием социальной нестабильности, неудавшихся революций, массовых движений и насилия. Знакомы были и причины этих восстаний: распад традиционных ценностей, быстрые изменения в экономике, массовая безработица, вызванная импортом рабов и дешевого зерна из колоний, разорение крестьянства и рост больших поместий, дурное управление и разложение правящего класса, падение рождаемости и стремительный рост разводов и абортов.

Почему же римские рабы не "взяли свою судьбу в свои руки", как призывает Коммунистический манифест? Почему и теперь, две тысячи лет спустя, германский и итальянский пролетариат не способен распознать свои классовые интересы и поддерживает новых неронов и калигул? Применима ли вообще концепция "классового сознания" для объяснения истории, не представляет ли собой психология масс гораздо более сложный феномен? Почему марксисты совершенно пренебрегают столь важной проблемой, почему "партия масс" игнорирует открытия Лебона, Фрэзера[2], Дюркгейма[3], Леви-Брюля, Фрейда и Юнга? Все они указывали на иррациональную, аффективную природу группового поведения, что и проявилось с поразительной отчетливостью в фашизме и родственных ему движениях. Имеет ли закрытая система, в которой я живу, какое-либо отношение к реальности?

Это не я задавал подобные вопросы – их задавал мне материал. Я робко и неуверенно нащупывал ответы, и они оказались весьма далеки от доктринерской однозначности исторического материализма. До тех пор я про себя критиковал советское руководство и коминтерновскую бюрократию, но только не учение, казавшееся мне исторически верным

1. Бертольт Брехт (1898–1956) – немецкий поэт, драматург, один из создателей немецкого социалистического искусства; Ханс Эйслер (1898–1962) – немецкий композитор, автор гимна ГДР.
2. Джеймс Фрэзер (Фрейзер) (1854–1941) – мифолог, исследователь религии.
3. Эмиль Дюркгейм (1858–1917) – французский социолог-позитивист.

и столь же самоочевидным, как аксиомы Евклида. Чем глубже я погружался в тему, тем более лишались надежности самые основания марксизма. В стене, окружавшей закрытую систему, проступали трещины, и в них врывался свежий воздух. Работа над романом стала для меня увлекательным путешествием, полным удивительных открытий, — что ни поворот, то новый ландшафт. Некоторые критики считают "Гладиаторов" лучшей из моих книг — вероятно, именно потому, что гнев и пристрастие, порождаемые во мне современными событиями, удалось спроецировать на отдаленный во времени и пространстве экран. Благодаря этому я избавился от шлака актуальности, которым обрастают все остальные мои сочинения...

Античные источники о восстании гладиаторов скудны, зато более чем достаточно сведений о социальных условиях и политических интригах той эпохи. Хотя о личности и характере руководителей восстания, об одушевлявших их идеях почти ничего не известно, чрезвычайно много информации можно собрать об их противниках, о консулах и сенаторах 73—71 годов до н. э.: Помпее, Крассе, Варинии, Геллии Публиколе, о друзьях и современниках этих выдающихся римлян. С одной стороны, это открывало более широкий простор для воображения, чем в случае с хорошо "задокументированным" историческим персонажем: мне приходилось выдумывать не только каким был сам Спартак и его сподвижники, но и детали военных кампаний гладиаторов и государственного устройства; с другой стороны, подробные сведения об этом периоде давали определенную схему, структуру, позволявшую мне о многом догадываться. Я заполнял пропуски, полагаясь на интуицию и на нечто вроде геометрических правил, словно складывал мозаику...

Допуская полную свободу вымысла применительно к неведомым персонажам, я тем более считал необходимым строго, даже педантично придерживаться исторически достоверного фона. Мне пришлось изучать столь далекие от основного сюжета проблемы, как особенности нижнего белья у римлян и сложные способы закреплять одежду с помощью пряжек, ремней и завязок. В результате обо всем этом я ни словом не упомянул в романе, да и о нарядах там почти ничего не говорится, но мне казалось невозможным описать какую-либо сцену, пока я наглядно не представлю себе, во что были одеты ее участники и каким образом держалась на них одежда...

Это было замечательное приключение, доставившее мне массу удовольствия, и все же примерно на полпути я дал себе слово никогда больше не браться за исторический роман. Наше воображение ограничено, инертно, оно не может полностью переселиться в иное пространство и время. Каждая культура представляет собой остров — да, она имеет сообщение с другими островами, но в конечном счете и трагедию, и юмор мы сполна переживаем только в своей родной среде. Привычки и весь образ мышления какого-нибудь рыцаря времен второго крестового похода столь чужды для нас, что трудно даже поверить в реальное существование такой личности. Мысли раба, прикованного к галере, пленного фракийца, специально подготовленного для гибели на арене, столь непонятны нам, что эти люди превращаются в тени — кроткие или кровавые тени на плохо освещенном экране. Автору остаются лишь два способа обращения с этими призраками истории: либо превратить их в остро очерченные силуэты, в типажи, столь же занимательные, как вечные персонажи детского театра теней, но лишенные того тепла, той глуби-

ны и яркости, которые необходимы для эмоционального отождествления с ними, либо прибегнуть к обману – оживить эти тени, сообщив им чувства и идеи, современные автору. Все исторические романы и пьесы следуют одним из этих путей или обоими сразу. В "Гладиаторах" я использовал "модернизацию" применительно к деятелям из высших слоев римского общества, чьи обычаи нам известны, – я превращал их как бы в несколько эксцентричных представителей нашего века, но землепашцы Кампани, луканские пастухи, фракийские гладиаторы, кельты с печально поникшими усами вынужденно оставались "силуэтами в профиль", в лучшем случае – раскрашенным барельефом...

Роман был впервые опубликован в Британии в 1939-м (его блистательно перевела Эдит Саймон). Вскоре разразилась война, я бежал из Франции, и немецкая рукопись пропала – немецкое послевоенное издание стало обратным переводом с английского. Та же участь постигла и второй роман, "Слепящая тьма". <...>

## *Военная хитрость*

Через две недели после начала войны в Испании я явился в Париж к Вилли Мюнценбергу и попросил помочь мне вступить в испанскую республиканскую армию (интербригад еще не было). На всякий случай я прихватил свой венгерский паспорт, в котором лежало корреспондентское удостоверение "Пестер Ллойд". Я не написал в Париже ни единой строчки для этой газеты, но ее редактор, добряк Веси, по старой дружбе снабдил меня этой бумажкой, облегчавшей мне отношения с полицией. Кроме того, благодаря удостоверению мне порой перепадали контрамарки в театр.

У Вилли мой план энтузиазма не вызвал. Он все оценивал с точки зрения пропаганды. Журналисту не стоило зря терять время в окопах. В задумчивости он вертел в руках мой паспорт и журналистское удостоверение от ультраконсервативной, близкой к правительственным кругам Венгрии газеты. И тут его осенило:

– Лучше бы вам отправиться в штаб-квартиру Франко корреспондентом от "Пестер Ллойд", – предложил он. – Венгрия – почти фашистская страна. Франко примет вас с распростертыми объятиями.

К его удивлению, я немедленно согласился, и мы принялись обсуждать технические детали. Несколько минут спустя Вилли вызвал Отто Каца и изложил ему свою идею. Отто по привычке зажмурил один глаз и склонил голову набок: в такой позе ему лучше думалось. Пару раз он глянул на меня, словно пытаясь что-то сообщить взглядом. Тогда я не понял и лишь потом догадался: Отто хотел предостеречь меня, хотел, чтобы я, пока не поздно, отказался от чересчур опасного предприятия.

Мне поручалось проникнуть во вражеский штаб и раздобыть факты, подтверждающие, что Германия и Италия участвуют в гражданской войне на стороне Франко. Мы не планировали, как это сделать. Вилли просто улыбнулся во весь рот и сказал: было бы неплохо, если б мне удалось попасть туда и "как следует осмотреться". После этого мы сразу перешли к организационным вопросам. Мятежники не допускали на свою территорию представителей левой прессы. "Пестер Ллойд" служила идеальным прикрытием, но возникали некоторые осложнения: во-первых, эта газета не станет направлять меня в Испанию, так что, если разведка

Франко проверит мою аккредитацию, я влипну. Мы понадеялись, впрочем, что в сумятице гражданской войны никто не удосужится связаться с Будапештом и выяснить, не самозванец ли корреспондент "Пестер Ллойд". Далее, другие иностранные журналисты могут удивиться, что маленькая венгерская газета посылает в Испанию собственного репортера, а не довольствуется сообщениями пресс-служб. Значит, чтобы моя командировка выглядела более правдоподобной, надо получить задание еще от одной газеты. Решить эту задачу было не так-то просто: левые газеты нам не годились, а любая консервативная французская отнеслась бы с подозрением к моему желанию поехать в штаб-квартиру Франко. Наконец, за неимением лучшего, Отто предложил лондонскую "Ньюс кроникл" – либеральную газету, придерживавшуюся антифранкистских взглядов. У Отто были друзья в редакции, и он мог безотлагательно устроить мне аккредитацию. Мы разработали легенду: я поеду в качестве корреспондента "Пестер Ллойд", а "Ньюс кроникл" буду упоминать только в случае необходимости, если кто-нибудь из коллег или чиновников, имеющих дело с прессой, окажется чересчур бдительным – тогда я с глазу на глаз признаюсь ему, что все мои симпатии на стороне богоспасаемой "Пестер Ллойд", и хотя по финансовым соображениям мне пришлось заключить контракт также и с лондонской газетой, редакторы которой, к сожалению, настроены против генерала Франко, однако мне предоставлено полное право объективно излагать факты, поэтому у меня есть возможность повлиять на либеральную британскую общественность в пользу Франко. Получилась довольно запутанная легенда, но вроде бы она годилась.

Наконец, существовала опасность, что кто-нибудь из немецких военных корреспондентов в Испании узнает меня, бывшего сотрудника Ульштайнов, и вспомнит, что я "красный". Тут мы ничего поделать не могли. Оставалось положиться на свою звезду и рискнуть. Задним числом стало ясно, как глупо это было – меня разоблачили на следующий же день по приезде в Севилью...

Я спросил Отто, оплатит ли "Кроникл" дорожные расходы. Отто посоветовал мне ни о чем не беспокоиться – все берет на себя Комитет... Вилли поинтересовался, сколько денег нужно на поездку.

– Немало, – отвечал Отто. – Прежде всего, раз Артуро становится фашистом, ему понадобится приличный костюм.

– Верно, – согласился Вилли. – Двухсот фунтов тебе хватит?

Я был ошарашен этой астрономической суммой и попытался что-то возразить. Вилли поморщился:

– Не важно, – сказал он, – когда возвратишься, можешь сдать остаток в кассу. Удачи – и смотри в оба.

22 августа я поднялся в Саутгемптоне на борт "Альманзоры", направлявшейся в Лисабон. Франко еще не завладел баскским побережьем, временная столица мятежников располагалась в Севилье, и попасть туда можно было только через Португалию.

Португальскую визу мне поставили заранее, но в Лисабоне пограничник обнаружил, что истек срок действия моего паспорта, о чем я совершенно забыл в предотъездной лихорадке. Этот промах, как ни странно, обернулся мне на пользу. Португальцы, поупрямившись малость, позволили мне сойти на берег с тем условием, что я тут же обращусь в венгерское консульство в Лисабоне и продлю паспорт. Меня это встре-

вожило, поскольку я не хотел привлекать внимание венгерских властей. Консул, однако, оказался милейшим человеком. То был почетный консул, вовсе даже не венгр, а здоровенный, жизнерадостный датский торговец. Он принял меня чрезвычайно радушно – до тех пор к нему обращались лишь загулявшие на берегу матросы да какие-то бродяги, нажившие неприятности с полицией. Консул на год продлил мой паспорт, оттиснув печать новехоньким резиновым штампом, когда же я спросил, как мне оформить пропуск в восставшую Испанию, консул пригласил меня заглянуть после ужина в казино "Эсториле" – там-де он все уладит. Вдобавок он посоветовал мне поселиться в гостинице "Авиз", превратившейся в штаб-квартиру португальских эмиссаров генерала Франко, и представил меня своей столь же очаровательной жене, знатной португальской даме, убежденной стороннице фашистов, близко знавшей всех франкистов в Лисабоне.

Вечером в казино консул и его жена познакомили меня с элитой этого общества, сплошь маркизами и герцогами. Спасибо Отто, выделившему мне деньги на новый костюм. Какие дивные, звучные имена были каллиграфически выведены на их визитках! Угощая (на деньги Коминтерна) выпивкой маркиза де Кинтанара и де ла Вега де Анзо, я так увлекся, что позабыл все свои тревоги. Чуть позже начали исподволь передавать из рук в руки подписной лист – собирали пожертвования на госпитали генерала Франко. Я внес свой вклад из тех же сумм.

Странный это был вечер. Голова кружилась от алкоголя, от блеска и шума казино, от двухсот фунтов дорожными чеками, согревавших мой карман после нескольких лет бедности. Фашисты показались мне приятными, даже милыми людьми, и я совершенно искренне запамятовал, что на самом деле я приехал шпионить за ними. Я словно бы перенесся в атмосферу тех дней, когда я еще не стал коммунистом, когда я был иностранным корреспондентом. В свое время в испанской прессе была опубликована серия моих репортажей о полярной экспедиции дирижабля "Граф Цеппелин". Кое-кто из присутствовавших на вечере похвалил эти статьи, то ли вправду их припомнив, то ли из любезности, и меня сочли ценным приобретением для франкистской пропаганды. Кто-то предложил тост за правителя Венгрии генерала Хорти, я ответил тостом за здоровье генерала Франко. Добрейший датчанин, почетный консул, сиял от удовольствия.

На следующий день братание продолжалось в гостинице "Авиз". Меня представили руководителям лисабонских франкистов: католическому вождю мятежа Хилю Роблесу и некоему Фернандесу д'Авиле – под этим именем скрывался Николас Франко, брат генерала. В тот же вечер, через тридцать шесть часов после прибытия в Лисабон, я отправился на территорию, контролировавшуюся мятежниками, имея при себе два бесценных документа: пропуск, подписанный Николасом Франко, – в нем я именовался верным другом Национальной революции – и личное рекомендательное письмо Хиля Роблеса, адресованное командующему севильским гарнизоном генералу Кепо де Льяно.

## *Возвращение страха*

Съежившись на палубе, я следил, как на темной поверхности моря расплываются огни Лисабона. Эйфория таяла, нарастала тревога, отчасти

оправданная ожидавшими меня опасностями, отчасти иррациональная. Тревога становилась все сильнее, меня трясло, хотя ночной воздух был благоуханным и теплым. Это состояние усугублялось чувством вины за бесстыдство, с каким я провел любезного и приветливого консула (да, конечно, я совершил это в интересах Дела, но...). К угрызениям совести примешивалось опасение, что консул выяснит истину и предупредит испанцев. А что, если он уже все знает и я сам лезу в капкан? Могут ли меня расстрелять? Юридически они не имеют права, но на гражданской войне кто даст гарантию! Предъявят ли мне обвинение в шпионаже? Сложный вопрос. Как-никак я был платным агентом и пересек границу отнюдь не с той целью, о которой заявлял вслух; с другой стороны, я работал не на армию, а всего лишь на отдел пропаганды — правда, на отдел пропаганды Коминтерна.



Но был ли я шпионом в юридическом смысле или нет, я чувствовал себя шпионом и никем иным. Должно быть, подобные мучения испытывал и юный фон Э. в те далекие берлинские дни, когда он грозился покончить с собой. Однако на этот раз мне вряд ли удастся вывернуться, уйти безнаказанным. Прошло почти пять лет с тех пор, как я вступил в партию, — пять лет сумеречной жизни среди двойников и обмана. Иностранные легионеры и мавры Франко действовали еще беспощаднее, чем гитлеровские коричневорубашечники; в Бадахосе, на арене для корриды, уже происходили массовые расстрелы, затмившие в ту пору все преступления нацистов. С какой же стати я должен упрекать себя за то, что обманул добродушного, нелепого датчанина? Я с самого начала шел на риск — откуда же эта подспудная тревога, изматывавшая хуже любого реального страха?..

Четыре бурных года, вплоть до бегства в Англию в ноябре 1940-го, мне предстояло жить в состоянии невроза навязчивой тревожности (я сознательно употребляю медицинский термин). Острые приступы, как правило совершенно не мотивированные внешней угрозой, сменялись периодами относительного спокойствия, но и тогда я ощущал присутствие легкого облака тревоги с примесью вины — оно висело надо мной, как утренний туман над озером...

Как ни парадоксально, от этих ощущений я избавлялся только в тюрьме — вероятно, потому, что там вина находила искупление и сбывалось затаившееся ожидание неотвратимой кары.

Последующие события следует рассматривать на этом фоне. Он так и останется фоном — было бы нудно и утомительно все время рассуждать о своем душевном состоянии.

Хотя эта экспедиция в логово мятежников оборвалась в самом начале, в целом ее можно назвать успешной. Уже в Лисабоне я раздобыл достаточно доказательств того, что португальские власти покровительствуют инсургентам. В Севилье стоило выйти на улицу, как присутствие гитлеровцев просто бросалось в глаза: немецкие летчики разгуливали в белых комбинезонах испанского воздушного флота, но на груди между крылышками у них была вышита маленькая свастика. Мне удалось выяснить имена нескольких немецких пилотов, а молодой англичанин, завербовавшийся в авиацию Франко, но быстро пресытившийся этой авантюрой, выложил мне все данные о моделях и приблизительном количестве немецких самолетов, переданных Франко, а также об их опознавательных знаках. Благодаря рекомендации Хиля Роблеса генерал Кепо де Лья-

но дал мне эксклюзивное интервью. Кепо де Льяно часто выступал с радиообращениями и потому из всех сподвижников Франко пользовался наибольшей популярностью. Полагая, что я на его стороне, генерал не слишком-то осторожно разоткровенничался насчет помощи из-за рубежа. Шел второй месяц гражданской войны, и иностранное вмешательство все еще держали в строжайшей тайне: Гитлер якобы не посылал Франко никакой помощи, Франко якобы ничего не получал. В этой ситуации собранные мной данные оправдывали риск...

Портье в гостинице сообщил мне, что немецкие офицеры живут в отеле "Кристина". Он советовал не ходить туда, поскольку, добавил он с улыбкой, любого чужака, который переступит порог этого заведения, примут за шпиона. В нашей гостинице той ночью был арестован французский журналист... Атмосфера в Севилье складывалась неблагоприятная для газетчиков — даже для настоящих.

Тем не менее я решил пойти в отель "Кристина" и присмотреться к нацистским летчикам. С пропуском, подписанным Николасом Франко, в кармане, я мог рассчитывать, что в худшем случае мне просто вежливо укажут на дверь.

Я вошел в почти пустой бар отеля. За столиком сидело четверо немецких офицеров в форме военно-воздушного флота и с ними пятый, в штатском. Я сел чуть поодаль и заказал херес. Вскоре штатский прошел мимо моего столика, и мы сразу же узнали друг друга: это был Стриндберг (между прочим, сын знаменитого Августа Стриндберга[1]), он работал вместе со мной у Ульштайнов. Он мог оказаться здесь только как военный корреспондент концерна Ульштайнов, принадлежавшего теперь нацистам. Стриндберг, разумеется, прекрасно знал, что я — член партии.

Он притворился, будто не заметил меня, и я последовал его примеру. Стриндберг вернулся к столику, где ждали его немецкие летчики. С минуту я пребывал в тупом оцепенении, и только инстинкт требовал как можно скорее очнуться. Тем временем Стриндберг принялся прогуливаться по холлу с одним из немецких пилотов, другой летчик направился к стойке портье и куда-то позвонил. Немного оправившись, я заказал еще хересу и скорее инстинктивно, чем обдуманно, решил перехватить инициативу и разыграть благородное негодование. Проглотив херес, я поднялся на ноги и, стараясь держаться как можно естественнее, заорал по-немецки (нас разделяло два столика):

— Привет, вы же Стриндберг?!

Стриндберг и его спутник резко остановились, Стриндберг растерянно промямлил:

— Извините, я беседую с этим господином.

Я подошел к ним вплотную и, по-прежнему повинуясь интуиции (если сейчас отступить, все пропало), громко и нагло спросил Стриндберга, какого черта он не подает мне руки. Именно так должен был бы вести себя ни в чем не замешанный человек, к тому же я и впрямь начинал злиться. Тут счел своим долгом вмешаться собеседник господина Стриндберга. Слегка поклонившись, он назвался: "Фон Бернхардт" — и потребовал, чтобы я предъявил документы. Я рассердился еще больше и поинтересовался, на каком основании он требует у меня документы; фон Бернхардт возразил, что, будучи офицером испанской армии, он

1. Август Стриндберг (1849–1912) — шведский писатель и драматург.

вправе проверить любого подозрительного субъекта, – прелестное заявление, если учесть, что он говорил по-немецки и на груди у него красовалась свастика. Я возмущенно запротестовал против эпитета "подозрительный", ссылаясь на свой статус военного корреспондента лондонской "Ньюс кроникл". Я получил аккредитацию у капитана Болина, главы отдела по сношениям с прессой! Это неслыханно (unerhört!)! Пусть меня соединят с Болином, и я подам официальную жалобу!



Я назвал "Ньюс кроникл", а не "Пестер Ллойд", понимая, что английская газета, пусть даже левая, произведет больший эффект – как бы не вызвать дипломатических осложнений. Так оно и вышло – хотя перебранка продолжалась, Бернхардт держался уже не столь уверенно, а я все настаивал, чтобы мы вместе позвонили Болину. Я предупреждал Болина о своем двойном статусе корреспондента венгерской и английской газеты и рассчитывал, что по телефону он подтвердит мою легенду и я сумею выбраться из "Кристины". О дальнейшем я пока не думал, главное – выйти из отеля. Я часто подмечал, что в минуты крайней опасности рациональное планирование прекращается и я обдумываю только самые неотложные меры.

В этот самый момент – deus ex machina! – Болин самолично вошел в холл гостиницы. То был высокий потомок скандинавов со слабовольным лицом и склонностью к жестокости. Он успел прославиться грубостью по отношению к иностранным корреспондентам: это он арестовал французских журналистов и тыкал одному из них в лицо своим револьвером. Однако Болин видел рекомендательные письма от Хиля Роблеса и Николаса Франко и организовал для меня интервью с Кепо де Льяно, так что он не мог с ходу поверить, будто я шпион. Мне нужно было напустить побольше туману, превратить аргументированный спор в скандал. Я бросился навстречу Болину, возбужденно жалуясь на обидчиков, требуя немедленных извинений от Стриндберга и фон Бернхардта. Болин сперва растерялся, потом впал в бешенство и отказался разбираться в этой идиотской истории – идет война, а к нему лезут с личными счетами два журналиста, черт знает с какой стати не желающие пожать друг другу руку. Грубость Болина спасла меня. Он послал нас всех к черту, и я, продолжая громко возмущаться, покинул гостиницу. Меня никто не остановил. Я столько раз в жизни впадал в неистовство во время ссоры и гордо удалялся, что сыграл эту сцену вполне убедительно...

Я пересек границу с Гибралтаром за час до того, как в Севилье был издан приказ о моем аресте. Об этом мне позднее сообщили коллеги; они также предупредили меня, что капитан Болин был вне себя от ярости и поклялся "пристрелить К. как собаку, если он попадет ему в руки".

Пять месяцев спустя, когда мятежники заняли Малагу, арестовать меня явился капитан Болин.

## *Битва в тумане*

Россия вошла в Лигу Наций и стремилась заключить военный союз с Францией и Чехословакией, а потому коммунисты на Западе должны были сменить вывеску и сделаться безукоризненно законопослушными. Теперь они защищали "буржуазную демократию" и поддерживали национальное единство против общего врага; все революционные лозунги и разговоры о классовой борьбе спрятали подальше. Коммунисты забыва-

ли само слово "коммунист" — теперь они назывались антифашистами и защитниками мира. Коммунистические партии Запада украшали новый фасад своего дома горшочками с геранью и широко открывали дверь в этот дом всем людям доброй воли...



Память о тех днях для нас омрачена, ибо теперь мы знаем, сколько цинизма и лжи скрывалось за этим фасадом, однако в лучшие свои дни Народный фронт обладал и безусловной эмоциональной притягательностью, и мистическим энтузиазмом подлинного массового движения.

Так же двоятся и воспоминания об испанской войне. Теперь мы знаем, что Россия отказала в убежище немногим уцелевшим из интернациональных бригад, мы знаем, как были уничтожены и русские, и испанцы, игравшие сколько-нибудь заметную роль в гражданской войне и слишком хорошо осведомленные о том, что происходило за кулисами. Мы знаем, что Россия затягивала агонию, посылая в Испанию ровно столько припасов, сколько нужно было для продолжения войны, покуда не заключила соглашения с нацистской Германией; мы знаем, что Испания превратилась в полигон для убийц, уничтожавших анархистов, троцкистов и прочие нежелательные элементы...

Теперь мы знаем об этом, но тогда мы этого не знали, теперь мы знаем, что истина наша была лишь полуправдой, мы сражались в тумане, и те, кто страдал и погибал в этих сражениях, были всего-навсего пешками в игре двух претендентов на мировое господство. Но когда интербригадовцы 8 ноября 1936 года спасли Мадрид, мы все видели в них новых защитников Фермопил; когда первые русские истребители появились в воздухе над измученным Мадридом, все мы, сопереживавшие гибели беззащитного города, признали в них спасителей цивилизации...

По сравнению с Германией, Испания была маленькой провинциальной страной, но мятеж генерала Франко вызвал у всех куда более страстное негодование, чем на первых порах гитлеровский режим. Нацисты по крайней мере скрывали свои преступления за стенами тюрем и концлагерей, но резня в Бадахосе, бомбардировка Мадрида, убитые дети Хетафе, уничтожение Герники — все становилось общественным событием, и общество реагировало непроизвольной судорогой ужаса...

Испания — последние конвульсии умирающей совести Европы.

Эти конвульсии нашли выражение в международной пропаганде, превратившейся в смесь подлинной ярости и фарса.

В Испанию хлынула вся левая богема Запада; обитатели Блумсбери и Гринич-виллидж затеяли революционный пикник...

Отто Кац, взявший к тому времени псевдоним "Андре Симон", возил делегацию британского парламента по своего рода "потемкинским деревням" Каталонии, предъявляя им сожженные церкви, якобы уничтоженные воздушными налетами (в тех местах бомбардировок вообще не было). Луи Арагон чуть было не отказался от участия в испанской войне, узнав, что его сопернику Густаву Реглеру поручили сеять культуру в массы с оборудованного громкоговорителем грузовика, но утешился, когда Реглер вступил в интербригады и получил пулю в живот. Джона Джеггера, члена парламента от лейбористов, задержали на английской таможне с бомбой в чемодане — он подобрал в Мадриде бомбу, упавшую с немецкого самолета, и хотел доставить ее в качестве улики в наш Комитет. Бомба могла взорваться в любой момент. "Кажется, мы виделись в Мадриде" — этим паролем теперь обменивались на коктейлях у "ле-

вых". Любимым поэтом Европы стал Лорка; любимым блюдом интеллигенции — жареный осьминог.

С другой стороны, такие люди, как Ральф Фокс, Джулиан Белл, Кристофер Кодуэлл, Джон Корнфорд[1], сразу же вступили в интербригады и погибли; Джордж Оруэлл, Густав Реглер, Альфред Канторович, Хамфри Слейтер, Том Уинтрингэм и многие другие писатели честно сражались, подвергая себя гораздо большей опасности и получая куда меньшее вознаграждение, чем на обычной войне. И Андре Мальро — он организовал эскадрилью добровольцев, вошедшую в состав воздушного флота Республики, написал свой шедевр "Надежда" и сделал по этой книге великий фильм. Словно по волшебству, Мальро ухитрился соединить в себе обычно несовместимые таланты общественного деятеля, художника и пропагандиста.

Как и все войны, Испанская война была смесью самодовольства и самопожертвования, величия и нелепости, только в ней все это доходило до крайности, ибо идеологические войны почему-то оказываются более искусственными, абсурдными, сбивающими с толку, чем старомодные войны между народами...

В конце 1936 года мы с Отто писали пропагандистские брошюры о событиях в Испании. Предполагалось, что наши тексты дополнят друг друга. Издательство Вилли, "Эдисьон де Каррефур", опубликовало их по-французски и по-немецки, а Виктор Голланц[2] издал их в Лондоне по рекомендации "Клуба левой книги". Текст Отто был полностью посвящен той роли, которую сыграла в подготовке и раздувании мятежа Франко нацистская Германия; я сперва рассказал, как мне удалось проникнуть в штаб-квартиру мятежников, а затем описал предысторию и первые месяцы войны. Первым вышло мое немецкое издание, Отто предложил для него название "Неслыханные человеческие жертвы"[3]. Я в свою очередь придумал немецкий заголовок для его книги: "Шпионы и заговорщики в Испании".

Вилли не терпелось как можно скорее выпустить наши брошюры. Он врывался ко мне в квартиру — прежде он ничего подобного себе не позволял — посмотреть, как продвигается моя работа. Он был одержим Испанской войной, впрочем, как и все мы. Схватив со стола несколько страниц рукописи, Вилли быстро пробегал их глазами и орал: "Чересчур слабо! Чересчур объективно! Врежь им! Врежь покрепче! Скажи всем, что они давят пленных танками, что они обливают их бензином и сжигают заживо. Пусть мир задохнется от ужаса. Вбей им это в голову! Пусть они проснутся!" Вилли выкрикивал все это, молотя кулаками по столу. Никогда раньше я не видел его таким.

Нагромождение ужасов Вилли считал лучшей пропагандой. Первая "Коричневая книга" сделалась сенсацией именно благодаря содержавшимся в ней страшным разоблачениям, и теперь Вилли хотел, чтобы я следовал тому же рецепту. Я спорил, указывал, что в случае с Гитлером речь шла о насилии, применявшемся только одной сторо-

1. Ральф Фокс (1900–1937) — английский писатель, член КП; Джон Корнфорд (1915–1936) — английский поэт; Джулиан Белл (1903–1937) — английский поэт и критик; Кристофер Кодуэлл (1908–1937) — английский критик и философ, член КП.
2. Виктор Голланц (1893–1967) — английский издатель.
3. "Здесь падет жертва, не вол, не бык, а неслыханная человеческая жертва" (Гёте. Ифигения в Тавриде).

ной, а на войне злодейства противников вполне уравновешивают друг друга, однако что толку препираться с Вилли! Он непременно хотел снабдить книгу специальным приложением — фотографиями жертв на глянцевой бумаге. Маленькие изувеченные тела, оставшиеся на земле после налета на детский дом в Хетафе, — каждый снимок на отдельной странице. Обгоревшие тела заключенных, якобы сожженных заживо; расчлененный труп попавшего в плен пилота-республиканца — франкисты выбросили этот обрубок с самолета за нашей линией фронта в виде аккуратного свертка, надписав на упаковке имя летчика. Другие фотографии показывали, как ведут на казнь гражданских заключенных, цепочку людей, связанных одной веревкой, показывали и сам расстрел. Несколько недель спустя, когда я попал в плен, эти сцены неотступно преследовали меня.

Я не мог не включить эти фотографии в книгу, но в самом тексте я свел главу о зверствах к дюжине страниц. Главным образом этот рассказ основывался на отчете о преступлениях Франко в первые дни мятежа, подготовленном юридическим факультетом Мадрида и опубликованном деканом этого факультета Ортега-и-Гассетом, однако у нас были и менее надежные сведения из сомнительных или даже анонимных источников, которые Вилли получал через посредство "аппарата". Вилли отмахивался от любых возражений: поскольку-де мы знаем, что в целом эти обвинения справедливы, подробности не так уж важны, их можно даже "интерполировать" (я отчетливо запомнил это слово, так как обычно Вилли не прибегал к научным терминам). Всякая щепетильность, еще сохранившаяся у меня, была сметена бесстыдством фашистской пропаганды. Перед общественностью Англии и Франции Франко оправдывал себя с помощью старой как мир лжи: мятеж якобы оставался единственным средством предотвратить коммунистический переворот. В Германии и вовсе утверждали, будто гражданскую войну начало испанское правительство, ни с того ни с сего обстрелявшее армейские казармы в Мадриде. По сравнению с этой вопиющей ложью наша пропаганда в начале войны казалась почти честной.

Меня изумляла не только подлость франкистской пропаганды, но и ее бесконечная тупость и невежество. Геббельс был грозным и умным противником, зато материалы, исходившие из Бургоса, похоже, готовили недоучки. Я с удовольствием разоблачал противоречия и нелепости вражеской информации, полагая, что это гораздо полезнее, нежели нагромождение ужасов, но Вилли придерживался противоположного мнения, и, разумеется, с точки зрения законов массовой пропаганды он был прав. "Не спорьте с ними, — твердил он. — Сделайте так, чтобы они смердели прямо в нос всему миру. Пусть люди проклинают их, пусть ненавидят, пусть содрогаются от отвращения". Как-то раз он протянул мне вырезку из нацистской "Берлинер нахтаусгабе" с сообщением из Мадрида от 4 ноября: "Красные выпустили ваучеры ценой в одну песету. Каждый ваучер действителен на одно изнасилование. Вдова высокопоставленного чиновника была найдена мертвой в своем доме. Возле ее постели лежало шестьдесят четыре ваучера".

— Вот это пропаганда, Артуро! — наставлял он меня.

Больше всего нас злило, что Франко, как до того Гитлер, утверждал, будто его выступлением лишь в последний момент было предотвращено наше восстание. Мы открыто призывали к мировой революции, а потому не имели никаких оснований негодовать, если не считать одной ме-

лочи: мы не планировали совершить государственный переворот в данной конкретной стране в данный конкретный момент. Полагаю, даже профессиональный взломщик обидится, если его обвинят в преступлении, к которому он вовсе не причастен. И какое унижение – вопреки собственным намерениям выступать в роли повивальной бабки при появлении на свет одной фашистской диктатуры за другой!

Немецкое издание вышло в начале января, французский перевод ("Испания в крови") находился в печати, а я получил приказ вновь, в третий и последний раз, отправиться в Испанию.

Законному правительству Испании удалось наконец создать международное пресс-агентство. Это следовало сделать на несколько месяцев раньше, но, как всегда, задержка произошла из-за постоянной грызни между различными политическими партиями. В Англии эта организация называлась "Spanish News Agency"[1], во Франции – "Agence Espagne"[2]. Европейская штаб-квартира находилась в Париже, и ее возглавлял Отто, лондонским филиалом руководил Джефри Бинг. Первыми двумя корреспондентами от "Ажанс Эспань" стали Вилли Форрест (прежде он работал в "Дейли экспресс", но к тому моменту перешел в "Ньюс кроникл") и я. Форрест собирался вести из Мадрида репортаж о событиях на Центральном фронте; мне досталась Малага и Южный фронт.

Я познакомился с Форрестом, когда во второй раз ездил в Мадрид[3]. Из всех иностранных журналистов Вилли особенно пришелся мне по душе. Кажется, тогда я впервые повстречался с шотландцем, и на меня произвели впечатление выговор с раскатистым "р", суховатый юмор, выправка, которая пристала скорее военному, нежели газетному писаке, щедрость, с какой Вилли, вопреки известным анекдотам про шотландцев, ставил всем выпивку, и в особенности то обстоятельство, что, работая на контрреволюционного монстра лорда Бивербрука, Форрест состоял в британской коммунистической партии и не ханжил по этому поводу. Кроме того, Вилли не употреблял слов вроде "диалектический", "конкретный", "механистический", предпочитая им выражения: "достоинство", "честность", "это непорядочно" и тому подобные. Для меня это было нечто совершенно непривычное: коммунист-пуританин, пуританин-выпивоха, выпивоха, никогда не напивающийся вдрызг. Подозреваю, что в глубине души он верил в Бога. Странные ребята эти английские товарищи!

Перед отъездом из Парижа я тоже подписал соглашение с "Ньюс кроникл", так что мы с Вилли Форрестом оба работали на "Ажанс Эспань" и на одну и ту же газету, оба состояли в партии, но во всех остальных отношениях составляли полную противоположность друг другу – потому-то нам было так славно вместе. Мы расстались в Валенсии, я отправился, можно сказать, прямиком в тюрьму; через пятнадцать лет мы встретились в Париже и так капитально отпраздновали встречу, что я подбил глаз полицейскому и тут же угодил в кутузку. Надеюсь, теперь очередь за Вилли.

1. Испанское агентство новостей (*англ.*).
2. Испанское агентство (*франц.*).
3. По поручению испанского правительства, чтобы вывезти его архив.

# *Арест*

Мы с Форрестом провели несколько дней в Валенсии, улаживая с различными правительственными комитетами дела Испанского агентства новостей. Все гостиницы в битком набитом городе давно были заполнены, но корреспондент "Правды" Михаил Кольцов с поистине русским гостеприимством приютил нас, и первую ночь мы с Вилли ночевали на полу в его номере. Мы выключили свет и почти уснули, но тут в темноте прозвучал голос Кольцова — каким-то странным, невыразительным тоном он произнес несколько слов:

— Attenzione[1], "Ажанс Эспань"! Завтра в Москве начинается процесс Пятакова, Радека, Сокольникова, Муралова и их сообщников. Нам всем следует сообщить о реакции рабочего класса Испании, — и умолк.

Это короткое сообщение жутковато прозвучало в темной комнате. Мы оба, Вилли и я, до сих пор помним эту сцену. Это было 22 января 1937 года.

Через три дня, вечером, накануне моего отъезда в Малагу, в отеле "Виктория" собралась небольшая, но весьма диковинная космополитическая компания: Михаил Кольцов, Уистен Оден[2], Бэзил Меррей, хромой румынский пилот из эскадрильи Мальро, норвежская журналистка Герда Грепп и я. Я запомнил эту вечеринку, ибо тогда я вновь испытал острый приступ тревожности и мучительное предчувствие, которое полностью сбылось. Из всех присутствовавших только Оден не пострадал, и только он да я остались в живых. Румынского пилота через несколько дней сбили в бою; еще через пару дней умер от передозировки наркотиков Бэзил Меррей. Через две недели я уже находился в Севилье в камере смертников. Кольцова вскоре отозвали в Россию и расстреляли. Герда Грепп, ставшая, как и я, свидетельницей гибели Малаги, заразилась туберкулезом и не дожила до конца войны. Мы с Оденом встретились лишь спустя двенадцать лет, и он тоже заговорил о той вечеринке, о ее томительной, гнетущей атмосфере. Этот тон первым задал румынский пилот — как только мы выпили, он принялся твердить о скорой своей гибели, захромал нервно вокруг стола, и в конце концов нам пришлось отнести его в постель.

Здесь у автора автобиографии возникают серьезные трудности, и он просит читателя проявить терпение. Следующие шесть месяцев составили важнейший период моей жизни: я пережил духовный кризис и во многом стал другим человеком, однако я уже описывал подробно этот переломный этап в "Диалоге со смертью", и теперь мне остается лишь адресовать читателя к этой книге. Здесь же мне придется ограничиться кратким изложением событий, но зато я смогу тщательнее проработать те стороны внутреннего опыта, о которых не мог говорить ранее[3].

1. Внимание! (*итал.*)
2. Уистен Оден (1907–1973) — английский поэт.
3. Во всех иностранных изданиях, в том числе в американском, "Диалог со смертью" публиковался в качестве отдельной книги, но в первом английском издании ("Gollancz and Left Book Club", 1937) "Диалог" составлял приложение к "Испанскому свидетельству" — пропагандисткой брошюре, написанной по заданию Мюнценберга. "Испанское свидетельство" больше не переиздается (и слава богу), а "Диалог со смертью" был вновь опубликован в Англии уже под этим названием и в своей первоначальной форме. (*Прим. автора.*)

# *Часы, проведенные у окна*

Я был арестован 9 февраля, четыре дня провел в качестве *incomunicado*[1] в Малаге, а 13 февраля был переведен в Центральную тюрьму Севильи. Я находился в одиночном заключении три месяца, из них 26 дней держал голодовку. Первые 64 дня я считался *incomunicado*, и меня не выводили на прогулку, потом, хотя я по-прежнему оставался в одиночке, мне разрешили ежедневную двухчасовую прогулку вместе с тремя другими заключенными. 14 мая, после 95 дней тюремного заключения, меня обменяли на заложника, попавшего в руки валенсийского правительства.



Меня не били и не подвергали пыткам, но у меня на глазах избивали и уводили на казнь моих товарищей по заключению, и вплоть до последних двух суток я полагал, что такая же судьба уготована и мне.

О вынесенном мне смертном приговоре официально меня не уведомляли. Правительство Франко делало туманные и противоречивые заявления, явно желая запутать следы. Всю информацию я получил уже выйдя на волю, из отчета, опубликованного доктором Марселем Жюно, делегатом Международного комитета "Красного Креста". Жюно вел переговоры, пытаясь обменять меня на заложника, и в какой-то момент власти его известили, что генерал Франко вынес мне смертный приговор. С другой стороны, британский консул в Севилье, навестивший меня в тюрьме за несколько дней до того, как обмен был окончательно согласован, сообщил, что Форин офис запросил у генерала Франко гарантий, что жизнь мне будет сохранена, но генерал отказался давать какие-либо обещания под тем предлогом, что мое дело все еще находится sub judice[2]. Допрашивали меня только однажды, накануне освобождения, предъявив уголовное обвинение в "соучастии в вооруженном мятеже", но это уже была чистая формальность.

Кое-какие сведения об ожидавшей меня участи я получил в тюрьме, на одиннадцатый день после ареста. 19 февраля в камеру явились трое офицеров-фалангистов, в их числе молодая женщина. Они назвались представителями франкистского Министерства печати и пропаганды и информировали меня, что я был (или буду, они играли на неопределенности) приговорен к казни за шпионаж, но, возможно, генерал Франко из милосердия заменит расстрел на пожизненное заключение. Вслед за этим они предложили мне сделать заявление и выразить признательность генералу Франко. Поддавшись минутной слабости, я отвечал: я, мол, считаю генерала Франко гуманным человеком и могу вполне довериться ему, однако когда мне предложили подписаться под своими словами, я уже достаточно оправился, зачеркнул эту фразу и вместо нее продиктовал другую, примерно такого содержания: если генерал Франко помилует меня, он поступит так, руководствуясь политическими соображениями, я же сохраняю веру в социалистическое будущее человечества. По другой версии, которую предложил Бургос (то ли для "Ньюс кроникл", то ли членам делегации британского парламента, не знаю точно), смертный приговор за шпионаж был утвержден военным судом Малаги еще до того, как меня перевели в Севилью.

Я излагаю эти противоречивые сведения подряд, но мне они в ту пору были недоступны. Если б я знал все эти подробности, они бы только

1. Здесь: в строгой изоляции (*исп.*).
2. На рассмотрении суда (*лат.*).

укрепили мою уверенность в том, что, если не в эту ночь, так в следующую меня выведут из камеры и поставят к бетонной стенке. В первые дни после падения Малаги заключенных чуть ли не каждый час выводили большими группами на расстрел, позднее, в Севилье, установилась более единообразная рутина: казни происходили три-четыре раза в неделю по ночам, от полуночи до двух часов ночи. В течение марта в нашей тюрьме расстреляли 45 человек, первые тринадцать дней апреля никого не трогали, но за следующие шесть ночей, со вторника 13-го до понедельника 19-го, было казнено 50 человек. Самое большое число казненных в одну ночь пришлось на 13 апреля — 17 человек. После этого я сбился со счета и научился спать в самые страшные часы.

Вся процедура проходила быстро и гладко. Жертв никто не предупреждал заранее, большинству из них либо гордость, либо полная растерянность мешала поднимать шум, когда надзиратели в сопровождении священника уводили их к поджидавшему грузовику. Редко кто начинал петь, кто-то плакал, часто раздавались подавленные крики: "Madre", "socorro"[1]. Иногда через глазок в двери я видел, как мимо быстро проходит вся процессия: священник, охрана, обреченный, — чаще я лишь слышал их, приложив ухо к двери камеры...

В севильской тюрьме во время моего там пребывания никого не били — этим занимались лишь в полицейских управлениях и в казармах фалангистов. Охрана была вполне гуманной, пища приемлемой, все, кроме нас, *incomunicados*, большую часть дня проводили во внутреннем дворе, занимаясь гимнастикой и спортивными играми.

Вот и все, что следует повторить относительно внешнего хода событий в период, описанный мной в "Диалоге со смертью", а теперь я должен рассказать о внутренних изменениях, которых я не касался в той книге.

Во-первых, на весь период одиночного заключения в Севилье (на четыре дня в тюрьме Малаги это не распространяется) меня оставил невроз тревожности и сопутствовавшее ему чувство вины. Разумеется, я часто испытывал страх и дурные предчувствия, но то был разумный, здоровый страх, а не навязчивая, болезненная его форма. Я хорошо спал, за исключением тех часов, когда прислушивался, как моих товарищей уводят на расстрел, и даже после этого засыпал на остаток ночи. Мне постоянно снились приятные сны, греческие ландшафты, красивые, но не возбуждающие женщины — а ведь обычно мои сны либо неприятны, либо граничат с кошмаром. Порой я впадал в отчаяние, но эти приступы длились считанные часы, а между ними — дни, полные неведомого прежде покоя и счастья.

Я мог бы объяснить этот парадокс тем, что потребность в наказании была наконец удовлетворена... Меня постигло конкретное, понятное возмездие за столь же конкретный и понятный проступок. Все прояснилось. Считать ли меня шпионом или виновным в ином правонарушении, предусмотренном законом, вопрос чисто формальный: в любом случае, я, слукавив, проник во вражеский лагерь и сделал все, что в моих силах, дабы навредить противнику. Положение, в котором я оказался, стало логическим следствием сознательного риска. Ситуация в целом была адекватной, разумной, "чистой".

1. "Мама", "помогите" (*исп.*).

Два года спустя меня на шесть месяцев интернировали во французский концлагерь, потом я провел несколько недель в английской тюрьме. Там моя жизнь не подвергалась опасности, условия пребывания и права заключенных выгодно отличались от Севильи, но тогда я знал, что невиновен, что арестовавшие меня поступили нелепо и несправедливо, и именно эта мысль превращала вроде бы вполне комфортабельную отсидку в непереносимое, а с точки зрения духовного развития — бесплодное состояние... В камере № 40 я был гораздо счастливее, я был в ладу и с миром, и с собой. Я подчеркиваю этот контраст: по-видимому, он подтверждает, что потребность в справедливости выходит за рамки рациональных построений, она коренится в недоступных слоях психики, прагматической или гедонистической психологии.

Расхаживая взад-вперед по камере, я размышлял: нельзя ведь даже пожаловаться, будто наказание несоразмерно преступлению. На гражданской войне, как и во время революции, действуют более строгие законы, нежели международное право. В Лисабоне я прибег к на редкость бесчестной уловке, в "Испании в крови" приписал противной стороне конкретные преступления на основании документов, в подлинности которых отнюдь не был уверен, — и поделом, если я на собственной шкуре восполню недостававшее свидетельство. Не чернила, а яд тек с моего пера, когда я рисовал портрет генерала Кепо де Льяно, у которого хитростью выманил интервью, — теперь это интервью вошло в досье, лежавшее на столе Кепо де Льяно, и этому генералу предстоит решать мою судьбу. Во всем прослеживался точный, симметричный план. Оговорюсь: план, разумеется, не доказывает существование создавшей его личности. Симметрия кристаллов порождена электрохимическими процессами. Природа любит симметрию, она органически склонна к ней. Справедливость — это симметрия в области этики, и потому она столь же естественна, как кристалл.

В моих построениях справедливость обретала двойное значение: это биологическая потребность и вместе с тем этический императив, вытекающий из законов симметрии. Я отошел от философии утилитаризма, но не подпал под власть теологии. "Божественная справедливость", морковка перед носом и занесенный кнут — вечный источник бессознательного страха, — казалась мне жалкой пародией на эту стройную концепцию. Я порадовался избавлению от тревожности, приписав свое состояние только что открытой мной теории справедливости как еще одного измерения, скрытого в пространственно-временном континууме. Одни люди хотят умереть в начищенных ботинках, другие — очистив свой рассудок; я не собирался напоследок пятнать отлакированную поверхность своего разума мутными потоками мистики... Меня совершенно не соблазнял пример Достоевского, внезапно обратившегося к Богу под дулами расстрельной команды. Разумеется, я частенько припоминал этот классический эпизод, считая его трусливой капитуляцией разума не перед Божьей благодатью, а перед зябким ознобом плоти, и сопоставлял с ним свою реакцию. В "Диалог со смертью" я включил не совсем шуточную молитву из своего тюремного дневника:

"Даруй мне, Господи, право оставаться неудовлетворенным, проклинать свой труд, не отвечать на письма и действовать на нервы друзьям. Должен ли я поклясться, что сделаюсь лучше, если чаша сия минует меня? Мы оба знаем, Господи, что никто не исполняет обеты, вырванные

у него силой. Не шантажируй меня, Господи Боже, и не пытайся превратить меня в святого. Аминь".

До сих пор речь шла о рациональных рассуждениях, но они составляют лишь часть того, что мне предстоит обсудить, лишь самый поверхностный слой. По мере того как мы продвигаемся вглубь, становится все труднее передать внутренний опыт словами, более того, может показаться, что мои утверждения противоречат друг другу, ибо мы достигаем тех пластов души, которые скрепляются единственно парадоксом...



С этим опытом я впервые столкнулся через день или два после того, как меня перевели в Севилью. Вытащив из пружинного матраса кусок проволоки и подойдя к окну, утопленному в нише камеры № 40, я начал выводить на стене математические формулы. В юности я увлекался математикой, в особенности аналитической геометрией, но потом на много лет ее забросил. Попытался вывести формулу гиперболы и зашел в тупик; принялся за эллипс и параболу и, добившись успеха, испытал величайший восторг. Потом я стал припоминать доказательство Евклида, согласно которому ряд простых чисел бесконечен... С тех самых пор, когда я узнал Евклидово доказательство в школе, оно доставляло мне скорее эстетическое, нежели интеллектуальное наслаждение. Теперь, припомнив метод и нацарапав знаки на стене, я подпал под те же чары.

И тут я впервые понял, что́ так притягивало меня: символы на стене представляли тот редкий случай, когда точным, конечным вычислением удается прийти к осмысленному и последовательному суждению о бесконечности. Бесконечность — мистическое нечто, скрытое дымкой тумана, и все же оказывается возможным извлечь какое-то знание о ней, не погружаясь в трясину двусмысленностей. Эта мысль нахлынула на меня, словно волна, волна начиналась с прозрения, имевшего словесное выражение, но слова тут же испарились, оставив лишенную слов сущность, аромат вечности, дрожание пронзившей воздух стрелы. Я простоял так несколько минут, погрузившись в транс, сознавая лишь, что это — совершенно, совершенно, и не имея для этого слов. Потом я заметил, что, так сказать, на заднем плане меня что-то беспокоит, какая-то мелочь нарушает это совершенство. Я припомнил, о чем идет речь: я же в тюрьме, меня могут расстрелять — и в ответ услышал то, что на словесном уровне можно было бы передать примерно так: "Так что же? И в этом все дело? И это все, что тебя тревожит?" — этот ответ прозвучал непроизвольно, легко, иронично, словно я огорчался из-за потери запонки. И вновь меня понесла река блаженства, я плыл на спине под мостами молчания. Река текла ниоткуда в никуда. Реки не было, и не было меня. "Я" перестало существовать.

Как все-таки трудно писать фразы типа "'Я' перестало существовать" после того, как изучал "Значение значения" Огдена и Ричардса[1] и записывался в приверженцы логического позитивизма. Ведь я стремлюсь к точности в выражениях и не люблю расплывчатых излияний. "Мистический" опыт — придется, за неимением лучшего, назвать его так — нисколько не туманен и не смутен, он становится таким лишь в нашей скудной речи. Что делать — дабы передать нечто, по природе своей невы-

1. Чарльз Огден (1889—1957) — английский лингвист, создатель "Basic English"; Айвор Ричардс (1893—1979) — английский поэт, критик, теоретик и практик преподавания языка, основоположник "Нового критицизма", стоял у истоков теории многозначности (ambiguity) текста. В книге "The Meaning of Meaning" ("Значение значения", 1923) рассматривались все значения слова "meaning".

разимое, приходится как-то облекать его в слова, и мы попадаем в порочный круг. Фраза "'Я' перестало существовать" означает некое конкретное переживание, столь же не передаваемое словами, как и впечатление от фортепьянного концерта, и столь же реальное, нет, гораздо более реальное. Главной особенностью этого состояния является именно ощущение, что этот опыт намного превосходит своей реальностью все, что довелось испытать прежде, — впервые срывается завеса, и ты видишь лицом к лицу "подлинную реальность", внутренний порядок вещей...



От эмоционального переживания музыки, прекрасного пейзажа, любви этот опыт отличает интеллектуальное, точнее — ноуменальное начало. Он вполне содержателен, хотя и не имеет словесного выражения. Словами его ближе всего можно передать примерно так: единство и взаимопроникновение всего сущего, похожее на взаимодействие гравитационных полей или сообщающихся сосудов. "Я" перестает существовать в результате духовного осмоса, соприкоснувшись с мировым океаном и растворившись в нем. Этот процесс растворения и безграничного расширения я назвал "океаническим чувством": полностью снимается внутреннее напряжение, наступает абсолютный катарсис, покой, превосходящий все, внятное логике...

В камере смертников, как и на смертном одре, трудно устоять перед искушением обратиться к Богу, причем это искушение двоякого рода: с одной стороны, действует безобразный страх и надежда спастись ценой отказа от собственной способности к суждению, поддавшись архаическому идолопоклонству; другой соблазн гораздо изощреннее — перед лицом абсолютного Ничто разум становится восприимчив к мистическим переживаниям и склонен считать их "реальными", то есть воспринимать их как субъективный знак объективной реальности, *очевидно* недоступной пониманию...

Я вел войну на два фронта — во-первых, против узкого, рационалистического, материалистического мышления, превратившегося за тридцать два года умственной гигиены в привычку, подобную потребности в физической чистоте, и, во-вторых, против соблазна сдаться, заползти обратно в теплое, укрывающее от всего мира чрево веры. Когда каждую ночь слышишь приглушенные "madre" и "socorro", спрятаться туда столь же естественно, как инстинктивно уклониться от направленного на тебя ружья.

"Часы, проведенные у окна", начавшиеся с вполне рационального размышления, согласно которому конечное высказывание о бесконечности оказалось вполне возможным (на самом деле в этом примере воплощен целый ряд иррациональных размышлений подобного рода), внушили мне безусловную уверенность в существовании более высокого уровня реальности, наполняющего смыслом нашу вселенную. Позднее я назвал этот уровень "реальностью третьего порядка". К первому уровню принадлежит скудный мир чувственного восприятия; мир ощущений окружает сфера умственно постигаемого мира, которая включает явления, недоступные непосредственно органам чувств, такие, как гравитация, электромагнитные поля, искривление пространства. Реальность второго порядка заполняет разрывы и придает смысл нелепому хаосу чувственного мира.

Точно так же и третий уровень реальности окружает вторую реальность, проникает в нее, наполняет ее содержанием. Сюда относятся "оккультные" феномены, не воспринимаемые или не получающие истолкования на чувственном или рациональном уровне, — они лишь мелькают

порой в этих мирах, как духовные метеоры, пронзающие медное небо дикаря. Рациональные построения опровергли иллюзии и искажения чувственного восприятия, а с точки зрения более высокого уровня оптическим обманом оказываются время, пространство и причинно-следственные связи, отделенность и изолированность человеческого "Я" и его пространственно-временные ограничения. Если бы мы принимали за истину иллюзии первого уровня, солнце каждый вечер тонуло бы в океане, а мошка, попавшая в глаз, затмевала бы Луну; если мы принимаем рациональный мир за абсолютную и последнюю истину, мир превращается в повесть, рассказанную идиотом или идиотскими электронами, допускающими, чтобы маленькие дети попадали под машину, а неграмотных андалусских крестьян расстреливали, всаживая пули им в сердце, глаза и рот, — повесть без склада и смысла. Мы не можем кожей ощутить воздействие магнита и передать в привычных словах высшую реальность. Это текст, написанный невидимыми чернилами. Нам не дано его прочесть, но само сознание, что текст существует, может полностью изменить строй нашей жизни, потому что мы стремимся согласовать свои поступки с этим текстом...

После двух месяцев и трех дней, проведенных в одиночной камере, мне впервые разрешили выйти в тюремный двор. Я познакомился с тремя другими заключенными: в патио гуляли Гарсия Аттадель[1], кубинец, служивший прежде у него секретарем, и молодой андалусский крестьянин по имени Николас, низенький, тощий, с заросшим лицом и кроткими глазами. Он не знал грамоты, обращался к нам застенчиво и почтительно, говорил, что мечтал научиться читать и писать, когда кончится война. Николас вступил в анархистское ополчение и попал в плен возле Альмерии. На следующий день я уже не застал Николаса в патио — ночью его расстреляли.

С тех пор я постоянно с ужасом ожидал исчезновения Гарсии и кубинца. Гарсия был сухопарый, с резким, свирепым лицом уроженца Кастилии, а кубинец — юркий, круглоглазый, с небрежной походкой денди. Нас выводили на прогулку с часа до трех, когда остальных арестантов запирали на время сиесты. По мере того как время шло к полудню, во мне нарастала тревога. Я готов был молиться за своих друзей, но это означало бы моральное поражение — и все же, совершенно иррационально, я был убежден, что их судьба отчасти зависит от меня, и если я соглашусь на некую жертву, это каким-то образом защитит их.

Я стал испытывать себя, спрашивать, на какую именно жертву я мог бы пойти. Получалось чересчур громоздко: выяснилось, что я готов был бы отдать за каждого из них руку или ногу, но только с условием, чтобы за двоих одну руку и одну ногу, а не обе ноги или обе руки; я понял также, что под пыткой я тут же сломаюсь и отрекусь от них; я соглашался обменять свою жизнь на их жизни, но только на обе вместе, а не на одного из них. Еще в Малаге я был подвержен такого рода странным движениям души. В Малаге заключенных выводили на казнь чуть ли не каждый час. Когда я слышал, как ставший знакомым маслянистый голос зачитывает очередной список, я испытывал настойчивую, необоримую потребность мысленно разделить участь тех, кого в этот момент уводили, прожить вместе с ними все подробности казни. Я чувствовал полную

1. Гарсия Аттадель занимал высокий пост при республиканском правительстве.

уверенность в том, что подобный акт солидарности, слиянности облегчает им смертный путь.

Несомненно, во мне говорил и лукавый, наивный эгоизм: должно быть, подсознательно я надеялся, что подобная самоотверженность и душевное благородство не останутся незамеченными и не вознагражденными некоей высшей силой, но это объяснение лишь отчасти соответствует истине, поскольку в том самоиспытании и языческих обрядах присутствовало и нечто подлинное. Наступил день, когда я ощутил готовность отдать жизнь за Гарсию или за кубинца — за любого из них, а не за обоих вместе, без условий, без торговли. Более того: теперь я видел в этом не подвиг и не жертву, а совершенно естественный, простой поступок, все равно что разделить на всех последнюю сигарету. Я уже не понимал, как я мог прежде думать или чувствовать по-другому. Я осознал как самоочевидную аксиому, как дважды два, что мы все ответственны друг за друга — не только в силу общественных связей (они как раз не так важны), но потому, что мы все таинственно причастны единой субстанции, мы — сиамские близнецы, сообщающиеся сосуды. Я вижу, как неуклюжи и неточны все сравнения, но это не подрывает истинности самого переживания. Николас не благодарил меня, когда я разломил последнюю сигарету и отдал половину ему, — он втягивал в себя дым, а я разделял с ним его наслаждение. Давать и брать — одно и то же, ибо все мы соединены одной и той же пуповиной, все мы лежим в пульсирующей матке и ждем мига перехода. Будь каждый человек островом, какое ему было бы дело до этого мира?..

Товарищи по партии сказали бы, что вопрос о том, следует ли А пожертвовать жизнью ради В, нужно решать исходя из относительной социальной ценности А или В. Если товарищ Артуро приносит бóльшую пользу в борьбе против фашизма, чем маленький Николас, то в данной конкретной ситуации Николас должен жертвовать жизнью ради Артуро, а не наоборот. Более того, если бы Артуро, повинуясь "мистической сентиментальности", отдал свою жизнь за Николаса, он повредил бы этим Делу и совершил бы объективно антисоциальный, вредительский поступок. Отсюда следует, что не только один Николас, но и тысячи, сотни тысяч могут быть — и будут — принесены в жертву, если Дело того потребует, ибо в этой системе Николас — всего лишь социальная абстракция, математическая мнимость, полученная в результате деления десяти тысяч ополченцев на десять тысяч.

Но это уравнение не сходится...

Боюсь, у меня вышло чересчур аккуратное, логическое описание духовного кризиса, имеющего подъемы и падения, знающего прогресс и отступление, колеблющегося между новым знанием и привычным сомнением. Внезапные откровения сменяются длительным периодом тьмы, внутренней пустоты, мельтешения мыслей, страха. В камере № 40 я в силу обстоятельств пребывал на "трагическом плане бытия" и каждый день мог обернуться Судным днем. Когда я вышел на волю, процесс продолжался. Он начался на бессознательном уровне, и потребовалось немало лет, прежде чем структура моего сознания изменилась полностью.

Я не верю в духовное перерождение за одну ночь, во все эти легенды о мгновенном обращении — разве что речь идет об очень примитивном человеке. Я готов поверить, что человек внезапно "узрел свет" и с этого началась перемена, преобразившая его жизнь, однако подобного рода изменения начинаются в духовном ядре личности, и требуется не-

мало времени, пока они достигнут периферии, пока они овладеют всей личностью, всеми мыслями и сознательными поступками. Самая элементарная интеллектуальная честность не позволяет человеку довольствоваться первым подлинным кризисом, а затем без лишних хлопот попросту приобрести готовый "пакет убеждений", вытеснить один набор догм другим...

Отвергнуть этику утилитаризма не так сложно, как подыскать ей замену. Не даст ли нам решение вывернутая наизнанку формула Бентама: "Как можно меньше страдания как можно меньшего числа людей"? До какого-то пункта этот путь казался привлекательным, но дальше начинается квиетизм, застой, отказ от действия. Другой соблазн — сменить линию Ленина на линию Ганди, но и это скачок из одной крайности в другую. Быть может, нужно искать новый синтез существующих типов святого и революционера, активной и созерцательной жизни, а может быть, мы переживаем переходную эпоху, сопоставимую с последними веками Римской империи, когда готовых решений не было и быть не могло.

В последующие годы я написал несколько книг, пытаясь передать опыт, приобретенный в камере № 40. Раньше я не обращался в своих книгах к этическим проблемам, теперь же они стали для меня самыми насущными. В "Гладиаторах" (две трети книги я написал уже после освобождения) и в "Слепящей тьме" я пытался найти рациональное выражение для интуитивных открытий, сделанных в "часы у окна". Оба романа посвящены одной и той же теме: цель и средства, столкновение вечной морали и политических соображений. Потом я написал "Приезд и отъезд", чтобы разоблачить этический нейтралитет науки, — там "точное знание" представляет психиатр, сводящий отвагу, преданность и самопожертвование к проявлениям невроза. Лежа на кушетке в кабинете психоаналитика, герой признает, что вера "в большие слова и маленькие флаги" была иллюзией, отвага — тщеславием, самопожертвование — результатом подавленного чувства вины, и вроде бы исцеляется от всех своих иррациональных склонностей; однако, пройдя курс лечения, он вновь добровольно вызывается на опасное, самоубийственное задание. Этого требует самая суть его личности, недоступная логике, а тем более построениям психиатров. Наконец, в работе "Йог и комиссар" я в очередной раз, уже в форме эссе, попытался воспроизвести диалог с самим собой в камере № 40. Эта книга, опубликованная в 1943-м, стала подведением итогов — на полное осмысление "часов у окна" понадобилось пять лет...

Вскоре после того, как я вышел на свободу и избавился от конкретных причин для страха, чувство вины и тревога вновь настигли меня. Больше всего я упрекал себя за три вещи. Мои самообвинения могли бы заинтересовать психолога: с рациональной точки зрения, говорить было почти не о чем, но эти три воспоминания долгое время преследовали меня, пробуждая острое чувство стыда.

Во-первых, я произнес недопустимые слова — одну-единственную фразу, но она все еще звучит у меня в ушах. Однажды после раздачи вечернего супа расположенный ко мне надзиратель дон Рамон задержался у двери камеры и с удивлением спросил, как это я, образованный человек, связался с красными. Я ответил: "Я больше не красный". Я сказал правду, хотя собрался солгать. Да, в глубине души я перестал быть ком-

мунистом, однако этот разрыв не был еще осознанным, окончательным, а сказал я это, рассчитывая, что дон Рамон доложит начальству.

В случае допроса мне пришлось бы отрицать, что я вообще когда-либо состоял в коммунистической партии. Признать себя коммунистом перед военным трибуналом Франко означало не только самоубийство, но и предательство по отношению ко всем моим "соучастникам": Вилли, Отто, редакции "Ньюс кроникл" и так далее. Я имел моральное право, разыгрывая взятую на себя роль, сказать дону Рамону: "Я никогда *не был* красным", но у меня вырвалось: "Я больше не красный". Нелепая оговорка подводила меня под смертный приговор, но не в этом суть, и дон Рамон не стал доносить, — с моей стороны это была низость, бессознательная попытка задобрить врага, договориться с палачами. Я и сейчас вижу смущенное, растерянное лицо дона Рамона. Этот тюремщик отличался гордым кастильским чувством чести, и он уловил нюанс. Не сказав ни слова, дон Рамон отвернулся и захлопнул дверь камеры.

Эта постыдная история преследовала меня годами, еще один призрак рядом с одинокой фигурой Надежды на причале в Баку. Я все уговаривал себя — это был лишь неудачный оборот речи, эти слова вырвались у меня случайно, когда дон Рамон застал меня врасплох, я искупил свой проступок, отказавшись подписать заявление, чтобы умилостивить Франко. Но это адвокатские уловки, они не могут поколебать внутреннюю убежденность. До недавних пор меня терзал повторяющийся кошмар: я один, в пустом доме, осажденном шайкой разбойников. Какое-то время я без особого усердия отстреливаюсь, а затем, убедившись в безнадежности своего положения, выхожу навстречу врагам и не слишком дорогой ценой завожу с ними дружбу, становлюсь членом банды, утешая себя мыслью, что не так уж они и плохи. В этот момент я каждый раз просыпался, испытывая ужас и стыд, но только теперь, когда я писал эту главу, я обнаружил очевидную связь страшного сна с той фразой "Я больше не красный". И тогда ощущение вины за этот конкретный поступок утратило остроту, я смог посмотреть на него как бы со стороны. Все это показывает, до какой степени угрызения совести бывают порой несоразмерными с породившим их поступком, и все же навязчивое чувство вины обнаруживает некий скрытый в человеке изъян — в моем случае речь идет о бессознательной готовности к предательству, едва сдерживаемой сознательным усилием воли.

Мотив "потенциального предательства", не состоявшегося и известного лишь самому человеку, проник в два моих романа. В "Слепящей тьме" Глеткин рассказывает, как враги, схватив его, привязали к его бритой голове горящий фитиль, чтобы под пыткой добыть нужные им сведения. Через несколько часов товарищи отбили позиции и подобрали Глеткина в бессознательном состоянии — фитиль сгорел дотла, а герой так и не заговорил. "Чушь все это, — заявляет он, — я не сдался только потому, что потерял сознание. Если б я оставался в сознании еще минуту, я бы заговорил... Когда я пришел в себя, то был уверен, что проговорился, но другие пленные свидетельствовали в мою пользу, и мне дали орден". В "Приезде и отъезде" происходит похожий случай, но тогда я не понимал ни истоков своего сна о разбойниках, ни происхождения этих двух вымышленных эпизодов.

Возникает вопрос, следует ли нам вообще отмахиваться от чувства вины, сколь бы непропорциональным действительности оно ни казалось, и считать его "невротическим симптомом". Полагаю, что теория,

видящая источник субъективного чувства вины в чересчур суровом сверх-Я, сложившемся в раннем детстве, отчасти верна, но она не принимает во внимание этическую сторону вины и ее творческий аспект. Я лично убежден, что сознание собственной вины, должным образом направленное, может сделаться мощной и конструктивной движущей силой, и тогда сопутствующая ему душевная мука станет для нас налогом на творческий процесс, выплачиваемым в виде эмоций.



Второй случай произошел в последние дни моего тюремного заключения, тут и говорить-то почти не о чем.

Британский консул в Севилье получил наконец разрешение посетить меня. Это был тихий, сдержанный человек, со мной он держался несколько отстраненно – естественно, дело венгерского корреспондента английской газеты, обвиненного в шпионаже в пользу испанских республиканцев, казалось ему несколько сомнительным. Я по долгу службы разыгрывал добропорядочного корреспондента "Ньюс кроникл", брошенного в тюрьму лишь за то, что выражал в печати симпатии законному правительству. Мы заговорили о книге "Испания в крови", и консул, помявшись, спросил, располагаю ли я доказательствами всех злодеяний, о которых шла речь в книге. Словно дантист коснулся бором обнаженного нерва – самонадеянность вмиг слетела с меня, и я кротко отвечал, что достоверность некоторых разоблачительных материалов вызывала у меня сомнения. Судя по выражению лица консула, выглядел я в тот момент, должно быть, донельзя жалко. Консул ничего к этому не добавил и поспешил распрощаться, пробормотав какие-то слова ободрения и неловко пожав мне руку...

В-третьих, я корил себя за то, что не сумел исполнить обет, данный самому себе в камере № 40: если я выберусь отсюда живым, я напишу автобиографию и, не щадя себя, открою всю истину. Это будет столь искренний и безжалостный к себе автопортрет в рентгеновских лучах, что по сравнению с ним "Исповедь" Руссо покажется олеографией. Пятнадцать лет я все откладывал это предприятие, когда же приступил к делу, увидел, что не сумею осуществить свой замысел...

Пытаясь сдержать данное слово, я обнаружил, как легко откровенность вырождается в эксгибиционизм. Разумеется, ни литература, ни искусство не могут обойтись без толики эксгибиционизма в качестве катализатора, но мемуары скатываются к опасному краю, когда автор начинает смаковать болезненные и постыдные события. Как только я подмечал у себя подобные симптомы, я догадывался, что дело плохо; перечитывая такие страницы, я обнаруживал сплошные преувеличения, навязчивые идеи, скрежет душевный, и эти листы приходилось выбрасывать.

И вообще, сама идея "автопортрета в рентгеновских лучах" неверна, не только потому, что объект совпадает с наблюдателем и уже это препятствует фотографической точности, но и потому, что в области психологии не существует безусловной, осязаемой "правды", а есть лишь почти неисчерпаемое множество различных граней истины. Описывая побудительные мотивы какого-либо поступка, мы не передаем точный факт, а достигаем какого-то уровня приближения. Тенденция и уровень этого приближения, разумеется, зависят от весьма субъективного выбора автора. "Диалог со смертью" – это автобиографический очерк, написанный в возрасте тридцати двух лет; в данной главе я интерпретирую те же события, но мне уже сорок семь. Интересно, какие очертания, ка-

кие оттенки примут эти "факты", если я решусь написать о них в третий раз, спустя еще пятнадцать лет? И все же в каждой версии я стремился передать истину, основанную на непосредственном знании события и близком знакомстве с их героем...



## *Возвращение к банальному плану бытия*

Я могу, не проявляя нескромности, рассказывать о кампании, организованной в мою защиту, поскольку тут вовсе ни при чем моя персона или особые заслуги. Большинство людей и организаций, направивших Франко телеграммы и письма протеста, не только не были лично со мной знакомы, но и впервые слышали мое имя. За меня заступались пятьдесят восемь членов парламента (около половины составляли консерваторы), союзы писателей и журналистов, епископы и священники, политические и культурные организации всех оттенков и ориентаций. Вмешалось даже венгерское правительство.

"Испания в крови" к тому времени вышла только по-французски и по-немецки; никто из моих защитников эту книгу не читал, многим она пришлась бы совсем не по вкусу, если б они ее прочли. В Англии, ставшей центром кампании в мою защиту, к тому времени не было издано ни одной моей книги и никто не слыхал моего имени. Министр иностранных дел Иден на парламентский запрос ответил, что правительство Его Величества вмешалось в дело Кёстлера, "невзирая на то обстоятельство, что он является гражданином Чехословакии". Англичан интересовало только одно: какому-то из многих тысяч журналистов, корреспонденту либеральной газеты, только что установившийся диктаторский режим угрожает смертью. До тех пор ни Гитлер, ни Муссолини не осмеливались казнить представителей иностранной прессы, в худшем случае они их выдворяли, а потому действия Франко воспринимались как очередной шаг к уничтожению духовных свобод и окончательной гибели Европы. Дело никому не известного корреспондента "Ньюс кроникл" приобретало символическое значение.

Разумеется, общественность понятия не имела, что невинная жертва на самом деле является законспирированным коммунистом. Подобная ситуация типична для эпохи Народного фронта: коммунисты становились закулисной движущей силой в большинстве такого рода кампаний. Во всем мире либералы подписывали требования освободить арестованного Гитлером вождя коммунистов Тельмана, но никого не волновало, что Сталин бросает в тюрьму и расстреливает руководителей своей партии. В ту пору в России свирепствовала Большая Чистка, современная форма Черной Смерти, — уничтожив вначале вождей революции и увенчавшись ликвидацией ликвидаторов, она унесла более десяти процентов населения, убитых сразу или обреченных на медленную смерть в лагерях принудительного труда.

Я не хотел бы показаться циничным или неблагодарным, но я должен указать на парадокс в сознании либеральной общественности, которому я обязан жизнью. В ту пору люди доброй воли стойко и бдительно противостояли одной тоталитарной силе, угрожавшей нашей цивилизации, и были слепы или равнодушны к другой. По-видимому, такой односторонности избежать невозможно: как мобилизовать эмоции людей для идеологической войны сразу на два фронта? Но когда я узнал, какая

суета поднялась вокруг меня, и подумал о безвестной гибели моих русских друзей (к тому времени почти все они были арестованы), я ощутил, сколь тяжкий, сокрушительный долг возложен на меня, и попытался хоть как-то его вернуть. Вскоре я начал писать "Слепящую тьму" — то был мой первый взнос.



Другой, более личный долг я вернуть так и не смог: оказалось, что организатором всей кампании стала Дороти. За два года до того мы расстались, но официально она оставалась моей женой. В тот же день, когда во французских газетах появилось сообщение о моем аресте, Дороти попросила партию направить ее в Лондон: она надеялась организовать в Англии кампанию общественного протеста. Партия отнеслась к ее инициативе скептически: полагали, что лучше поменьше обращать внимания на эту историю, а то как бы не просочились наружу неблагоприятные для меня и для Коминтерна факты. Поддержал Дороти только Отто Кац.

Положение Вилли Мюнценберга успело заметно пошатнуться. Его вызывали в Москву "для консультации"; Вилли, понимавший истинное значение этих слов, под различными предлогами оттягивал отъезд, но Отто, все эти годы доносивший на Вилли "аппарату", понемногу прибирал к рукам его функции. Он предал своего начальника, своего благодетеля — все мы, включая Вилли, заранее знали, что, когда пробьет урочный час, Отто так и поступит. Разве Отто мог сделать иной выбор, следуя основному положению коммунистической этики, которая верность партии ставит гораздо выше личных обязательств? Он не мог поступить иначе, но его отношение к Дороти свидетельствует, что даже в бесчеловечной борьбе за выживание Отто сохранил в себе нечто человеческое. Он обошел правила партийной бюрократии и от имени "Треста Мюнценберга" санкционировал поездку Дороти в Лондон, оплатив все расходы из подведомственных ему фондов испанской пропаганды...

Я был лично знаком только с редактором Норманом Клиффом и Вилли Форрестом, ни разу не встречался с издателем и успел опубликовать в "Ньюс кроникл" не более полудюжины своих корреспонденций. Как бы сотрудники газеты ни старались помочь Дороти, эти обстоятельства, естественно, мешали им. Однако Дороти, прежде застенчивая, даже зажатая, внезапно превратилась в отважную амазонку. Неутомимая, изобретательная, тактичная, упорная — по шестнадцать часов в день она собирала подписи политиков и литераторов, добивалась встречи с парламентариями, герцогами и архиепископами, готовила все новые петиции и письма протеста. В Англии ее сдержанность производила большее впечатление, чем любое красноречие, ее искренность сразу же покоряла. Простой факт — жена пытается выручить из тюрьмы мужа — действовал сильнее всех политических доводов. Многие помогли мне, но спасла меня Дороти.

Примерно в то же время, когда меня арестовали в Испании, в России был арестован Эрни, брат Дороти. Дороти, конечно, хотела бы сделать все для его спасения, как она сделала это ради меня, но советская власть не обращала ни малейшего внимания на общественное мнение и дипломатическое влияние, которые еще кое-что значили в фашистских странах. Меня вытащили, хотя я был противником Франко, виновным по фашистским законам, а Эрни, ничем не провинившегося, верного сторонника Советского Союза, расстреляли.

Поднимая волну протеста, Дороти, естественно, не упоминала, что наш брак уже распался, и ради соблюдения приличий нам следовало по-

сле моего освобождения хотя бы какое-то время прожить вместе. Все, что нам с Дороти пришлось пережить, могло бы накрепко соединить нас, мы получили редкую возможность начать все заново. Некоторое время мы пользовались гостеприимством лорда (тогда еще сэра) Лейтона и его супруги в доме на Патни-хилл (Лейтон возглавлял совет директоров "Ньюс кроникл"), остаток лета провели в маленьком доме в Шеппертоне-на-Темзе, и там я за два месяца написал "Диалог со смертью" — вернее, продиктовал его Дороти прямо на пишущую машинку. Все складывалось в нашу пользу, но моя невротическая неспособность соединить жизнь раз и навсегда с одной спутницей пересилила и привязанность, и благодарность. Я уже затрагивал эту болезненную тему и не хочу к ней возвращаться. Мы остались друзьями, но несколько месяцев спустя наши пути вновь разошлись.



Требовалось соблюсти приличия и в иной сфере: после столь широкой кампании протеста против акта произвола, ареста либерального журналиста, было бы крайне неудобно признаться, что на самом деле этот человек является членом коммунистической партии. Я подвел бы не только "Ньюс кроникл", я бы выставил идиотами всех, кто защищал меня просто по доброте человеческой, и притом сыграл бы на руку франкистской пропаганде, и без того называвшей всех демократических оппонентов режима "красными". Итак, логика ситуации заставляла меня сохранять маску, а потому и серия репортажей о моем тюремном опыте, опубликованная в "Ньюс кроникл" и вошедшая затем в "Диалог со смертью", написана от лица "либерального журналиста". Обман, раз возникнув, катится, словно горная лавина.

Однако теперь, когда я впервые надолго обосновался в Англии и общался с самыми разными и по складу характера, и по социальному положению людьми, мой способ существования, подразумевавший постоянную ложь, сделался невыносимо омерзительным. На континенте дело обстояло по-другому: все конспиративные ухищрения и тайные махинации вполне соответствовали политической атмосфере, нагнетаемой Гитлером, Муссолини, Франко и Метаксасом[1]. Но Англия, по контрасту, казалась островом невинности, где заговоры уместны лишь в воспоминаниях о Гае Фоксе да в викторианской мелодраме и где даже члены до смешного малочисленной и провинциальной компартии верили в "честную игру". "Законспирированный коммунист" в Шеппертоне, графство Мидлсекс, живущий по соседству с отставным моряком, чьи дочери приходили к нам на чай или поиграть в теннис, — я казался себе такой же гротескной нелепостью, как янки при дворе короля Артура.

К счастью, меня ни разу (за одним исключением) не спросили ни публично, ни в частном разговоре, коммунист ли я, — просто поразительная деликатность. Исключением оказалась герцогиня Атолл. Издатель "Испанского свидетельства" Виктор Голланц попросил ее написать предисловие. Кэтрин Атолл возглавляла Комитет помощи Испании и горячо поддерживала законное правительство — здесь она, убежденный член консервативной партии, выступала на одной платформе с социалисткой Эллен Уилкинсон и коммунисткой Изабел Браун. Герцогине было за пятьдесят, она много сделала по части благотворительности, за ее внешностью тихого библиотекаря скрывалась неиссякаемая энергия. При первой же встрече герцогиня спросила меня, состою ли я в комму-

1. Иоаннис Метаксас (1871—1941) в 1936-м осуществил фашистский переворот в Греции.

нистической партии, — спросила между прочим, точно интересовалась, люблю ли я играть в теннис. Я с трудом выговорил: "Нет", и она сказала: "Мне достаточно вашего слова". Хотя такая ложь входит в элементарные обязанности члена партии и превращается в нечто вроде условного рефлекса, я чувствовал себя не революционером-конспиратором, а залгавшимся мальчишкой. Но это уже почти в последний раз...

"Испанское свидетельство", состоявшее из "Диалога со смертью" и нескольких глав "Испании в крови", вышло в начале 1938 года. "Клуб левой книги" отметил эту книгу, ее перевели на несколько языков, и кое-какой успех она имела. Так в тридцать три года я наконец начал карьеру писателя. <...>

## *"Что ты сделал со мной?"*

В начале 1938 года, после поездки в Палестину, я получил от пользовавшегося в то время большой популярностью "Клуба левой книги" приглашение провести четырехнедельный лекционный тур по Англии...

Почти на каждом собрании наступал критический момент: кто-либо из присутствовавших задавал вопрос об ОРМП.

Как свойственно всем диссидентским сектам, маленькая левацкая группировка гордо именовала себя Объединенной рабочей марксистской партией. Троцкистский уклон превратил ОРМП во врага коммунизма номер один, члены этой партии стали законной добычей действовавшего на территории Испании ГПУ. На ОРМП свалили вину за анархистское восстание в Барселоне. Вождя организации Андреса Нина, бывшего министра юстиции в правительстве Кабальеро[1], объявили агентом Франко и арестовали вместе с группой соратников... Однажды ночью "неизвестные лица" вывели из тюрьмы Нина вместе с другими руководителями ОРМП, увезли по направлению к Мадриду и расстреляли без суда и следствия. Их тела были найдены лишь тогда, когда группа британских парламентариев отправилась в Испанию расследовать обстоятельства исчезновения Нина.

Когда меня пригласили провести лекционный тур, Нин и его товарищи уже сидели в тюрьме, но с ними еще не расправились. ОРМП отважно и самоотверженно билась в Арагоне (Джордж Оруэлл был ранен, сражаясь в ее рядах); я прекрасно понимал, сколь нелепо и подло выдвинутое против этих людей обвинение, но член партии, высказавший подобное мнение публично, подвергся бы остракизму как троцкистский агент Франко или гестапо. Именно по этой причине вопросы об ОРМП ставили меня в трудное положение.

В первый раз этот вопрос застал меня врасплох. В среде французских или немецких коммунистов никому бы и в голову не пришло заговорить об ОРМП. На мгновение я совершенно растерялся... Почти бессознательно я переступил черту и высказал свое истинное мнение: я сказал, что по ряду причин, которые я также готов обсудить, политика ОРМП меня не устраивает, однако я убежден, что Нин и его товарищи всегда сохраняли верность делу и называть их предателями глупо, а по отношению к погибшим — кощунственно. Говоря это, я с удивлением, будто со стороны, прислушивался к звуку собственного голоса...

1. Республиканское правительство Валенсии.

В марте 1938 года в Москве начался процесс "антисоветского право-троцкистского блока". Безумный абсурд, чудовищность этого судилища превосходили все, что было раньше. Среди обвиняемых — Николай Бухарин, которого Ленин называл "любимцем партии", сменивший на посту председателя Коминтерна Зиновьева, расстрелянного двумя годами ранее; Христиан Раковский, бывший президент советской Украины[1], бывший посол России в Британии и Франции; Николай Крестинский, предшественник Сталина на посту генерального секретаря коммунистической партии Советского Союза, бывший министр финансов и посол в Германии; Алексей Рыков, ставший после Ленина председателем Совнаркома, и, наконец, Ягода, организовавший предыдущую чистку, — народный комиссар внутренних дел и глава ГПУ, преемник Менжинского, которого он якобы отравил, как и писателя Максима Горького[2].

Предел абсурда: предыдущая чистка и политические процессы оказались, выходит, делом рук "дегенерата-отравителя"; а ведь всех изменников назначал на ключевые посты в государстве мудрый и проницательный Сталин; да и Коммунистическим Интернационалом в первые пятнадцать лет его существования руководили агенты германской и британской разведки...

Вскоре в Лондон приехала Ева Вайсберг. Ее выдворили из России после полуторалетнего заключения на Лубянке. Из первых рук я получил информацию о методах, с помощью которых ГПУ выбивало признания.

Как вы помните, Ева была художником по керамике. Ее арестовали в апреле 1936-го и обвинили в том, что она включила свастику в узор, предназначенный для большой партии чашек, и что у себя под кроватью она хранила два пистолета, намереваясь убить на ближайшем съезде товарища Сталина. Полтора года ее держали в Лубянской тюрьме, готовя к роли кающейся грешницы на предстоявшем процессе Бухарина. Ева пыталась покончить с собой, вскрыла вены, но ее успели спасти. Наконец Еву выпустили из тюрьмы, а потом и из страны благодаря неустанным хлопотам австрийского консула. Подробности ее рассказа послужили фоном для "Слепящей тьмы".

Мы с Евой дружили с пяти лет. Мы ходили в один и тот же детский сад и потом оставались близкими друзьями, где бы нам ни довелось встретиться — в Париже, Берлине, Харькове. Теперь ее выручили из коммунистической, а меня — из фашистской тюрьмы. Мы в одно и то же время с одинаковой скоростью, четыре мили в час, мерили шагами камеру — она в Москве, я в Севилье. Мы могли обменяться впечатлениями о современном паломничестве.

Ева спаслась; ее мужа Алекса арестовали на несколько месяцев раньше, и он все еще оставался в тюрьме...

Весной 1938 года я выступал в Париже перед Ассоциацией немецких писателей-эмигрантов с докладом об испанских событиях... Представитель партии заранее попросил меня вставить в эту речь абзац, разоблачающий членов ОРМП — агентов Франко. Я отказался. Аппаратчик по-

1. То есть председатель Совнаркома УССР.
2. В 1939 году был ликвидирован преемник Ягоды Ежов — за саботаж и подрыв системы советского правосудия; Берия, сменивший Ежова, был расстрелян в 1953 году как "дегенерат", тоже подрывавший систему советского правосудия. Итак, все руководители советской государственной полиции на протяжении последних 25 лет оказались шпионами, отравителями и изменниками. (*Прим. автора.*)

жал плечами и вежливо попросил показать ему текст речи, чтобы обсудить его "в неформальной обстановке". Я снова отказался...

Я впервые выступал в Париже после возвращения из Испании и предчувствовал, что на этом и завершится моя партийная карьера. Я не мог нападать на партию, пока в Испании шла гражданская война, а публично предъявить обвинение России казалось и вовсе кощунственным, однако я должен был определить свою позицию, а не оставаться пассивным соучастником тех, кто убивал моих друзей. Обычно я читал лекции экспромтом, но на этот раз я вновь и вновь переписывал концовку речи, подыскивая точные слова. Я выбрал в итоге три простые фразы, в сущности трюизмы, но в устах сталиниста они звучали ересью. Первая: "Не существует непогрешимых движений, партий и людей"; вторая: "Глупо искать компромисса с врагом, но еще глупее преследовать друга, стремящегося к той же цели, пусть и иным путем", а в качестве третьей я привел цитату из Томаса Манна: "В конечном счете вредная истина лучше полезной лжи".

Это прозвучало примерно так, как если бы нацистской аудитории преподнесли сенсационную весть, что все люди от природы равны. Я завершил доклад; слушатели, не состоявшие в партии, зааплодировали; коммунисты сидели в мрачном молчании, многие демонстративно сложили руки на груди.

Домой я возвращался без спутников. Пока я ждал поезда на станции Сен-Жермен-де-Пре, по эскалатору спустилась компания коммунистов, возвращавшихся с того же собрания. Они проследовали в другой конец станции, не замечая меня, словно я превратился в невидимку.

Так началось одиночество, продлившееся много месяцев и даже лет, — одиночество особого рода, поскольку после разрыва с партией у меня появилось больше друзей, чем прежде, но личные отношения не компенсировали утраченное ощущение принадлежности к всемирному братству, не заменяли согревающего чувства единства и солидарности, которое превращало огромную аморфную массу людей в тесную дружную семью.

Через несколько дней я сидел вечером дома один и вдруг сообразил, что могу положить конец мучительному ожиданию, взяв на себя инициативу и добровольно выйдя из партии. Я уже давно шел к разрыву, но это решение казалось отнюдь не логическим выводом, а дерзостным, небывалым шагом. Коммунист, исключенный из партии, — нечто вроде блудного сына, но человек, сознательно отвергающий членство в партии, едва ли вообще достоин звания человека. Однако эта идея пробудила во мне тот неистовый восторг, какой я всегда испытывал, сжигая мосты, — например, той ночью в Вене, когда задумал бросить Политехникум, и в другой раз, через семь лет, когда отказался от карьеры буржуазного журналиста и вступил в партию.

Всю ночь я писал "прошение об отставке". Жаль, не оставил себе копию — по-моему, письмо удалось, хотя и оно было лишь "частичным самоубийством": я отважился только на полумеры, я простился с немецкой КП, с Коминтерном, с режимом Сталина, но послание завершалось изъявлением верности Советскому Союзу. Я восставал против системы, против раковой опухоли бюрократии, против террора и попрания гражданских прав, но по-прежнему исповедовал веру в незыблемые основы государства рабочих и крестьян; национализация производства, как мне казалось, гарантировала, что в свое время СССР вернется на

путь социализма и, всему вопреки, Советский Союз воплощал "единственную, последнюю надежду планеты, устремившейся к собственной гибели".

Я еще полтора года цеплялся за эти рудименты веры, пока пакт Сталина–Гитлера не лишил меня даже тени былых иллюзий. Вера рождается мгновенно, сама собой, словно бабочка, покидающая кокон, но смерть веры происходит медленно, постепенно – вроде бы уже оттрепетали усталые крылья, но долго еще пробегает по телу предсмертная дрожь, последняя слабая судорога...



Колебания перед разрывом с партией и непосредственно после свидетельствуют о цепкости наших иллюзий, но в дальнейшем мне пришлось столкнуться и с другим проявлением тех же иррациональных сил. Пока я числился коммунистом, все прогрессивно мыслящие люди, не принимавшие коммунизм, относились ко мне с симпатией, когда же я вышел из партии, эти люди отказали мне в своем уважении. Поношения, которыми осыпали меня бывшие товарищи, укладывались в определенный шаблон, однако за сдержанной недоброжелательностью тех, кто никогда не был коммунистом, я угадывал иного рода невысказанный упрек: экс-коммунисты раздражают не только своими горестными пророчествами – такими отвергнутыми кассандрами оказались и беженцы из нацистской Германии; бывшие коммунисты, эти падшие ангелы, бестактно утверждают, будто рай не слишком-то хорош. Мир с пиететом относится и к католикам, и к коммунистам, но сторонится расстриг любого толка. Пытаясь обосновать эту неприязнь логически, говорят о подлости ренегатов и при этом забывают, что всякий новообращенный заведомо изменил своей прежней вере или неверию и преследует тех, кто упорно держится старой системы представлений, – такую измену охотно прощают, ведь неофит "принял" веру, а экс-коммунист или сбросивший рясу монах ее "утратил" и тем самым поставил под угрозу общие иллюзии, приблизил к нам жуткую, пугающую пустоту.

В качестве печального примера упомяну о разрыве с сэром Питером Чалмерсом-Митчеллом[1], которого я всегда уважал и любил. Мы продолжали общаться вплоть до 1941 года. Вскоре после публикации "Слепящей тьмы" мы обедали в Сохо вместе с нашим общим другом Дафной Харди, переводившей этот роман на английский язык. Пообедав, мы вместе поехали на метро в Кенсингтон. Мы выпили, были в приподнятом настроении, и вдруг сэр Питер, перегнувшись через сидевшую между нами Дафну, заявил: "Мне, правду сказать, совсем не нравится ваша книга. Как жаль, что вы продались за тридцать сребреников". Сперва я подумал, будто он шутит, но сэр Питер отнюдь не шутил – в подпитии он откровенно высказал свое мнение. Мы перекрикивались под грохот поезда через голову буквально оцепеневшей Дафны. Я взмолился: "Возьмите свои слова обратно, или нам придется раззнакомиться", но сэр Питер стоял на своем. Наконец мы с Дафной вышли из поезда, и больше я с Питером Чалмерсом не встречался. В 1945 году он попал под автобус. Этот человек всегда относился ко мне по-дружески тепло и великодуш-

1. Сэру Питеру Чалмерсу-Митчеллу посвящено много страниц "Диалога со смертью". Известный журналист, объехавший весь мир, он на старости лет обосновался в Малаге и не пожелал покинуть город перед приходом фашистов, надеясь, что присутствие иностранного наблюдателя хоть отчасти сдержит террор. Сэр Питер спас Кёстлера от немедленной расправы при аресте и сообщил в Англию о его судьбе, тем самым положив начало кампании за его освобождение.

но, он никогда не был коммунистом и не одобрял пакт Сталина с Гитлером, однако еще больше он не любил людей, покидающих свой клуб.

Мне было 26 лет, когда я вступил в коммунистическую партию, 33 — когда я вышел из нее. То была важная пора моей жизни, годы формирования, посвященные единой цели. Никогда, ни прежде, ни после, моя жизнь не была столь значимой, столь осмысленной, как в эти семь лет. О да, прекрасный самообман предпочтительней убогой истины.



Семь лет Иаков пас овец Лавана, чтобы получить в жены его дочь Рахиль. "И они показались ему за один день, ибо он любил ее". Но наступило утро после брачной ночи в сумраке шатра, и Иаков убедился, что целовал на ложе не красавицу Рахиль, а косоглазую Лию. И сказал Лавану: "Что ты сделал со мной? Зачем ты меня обманул?"

Казалось бы, ему уже не оправиться от потрясения: он любил, он обнимал мираж. Но нет, Иаков отдает еще семь лет своего труда за настоящую невесту. И вновь семь лет показались ему за один день, ибо человек — слава ему! — не сдается.

## *"Слепящая тьма"*

После разрыва, когда бывший революционер оказывается отверженным партией отверженных, он погружается в отчаяние, которое мистики называли ночью души, и готов удариться в противоположную политическую крайность или уверовать в Бога. Среди моих друзей лучше всего выдержали это испытание и сумели сохранить душевное равновесие и ясность ума те люди, кто был занят творческим делом: писатели, художники, ученые. У них была своя цель в жизни, свой центр тяжести.

Вернувшись в Париж в начале 1938 года, я привез с собой важный документ: договор с лондонским издательством Джонатана Кейпа, взявшимся опубликовать "Гладиаторов", первое мое художественное произведение, которому суждено было увидеть свет. Кейп выдал мне аванс — что-то около 125 фунтов, из этих денег я должен был расплатиться с переводчиком и еще оставалось на полгода спартанского существования. Теперь я мог завершить труд, от которого меня то и дело отвлекали политические события, а порой и необходимость зарабатывать на жизнь. Я дописал книгу в июле 1938-го, через четыре года после того, как приступил к работе.

После каждого, подчас довольно драматического перерыва я с облегчением возвращался в I век до н.э. В последние месяцы перед разрывом с партией и сразу после него эта работа сделалась для меня своего рода трудотерапией. Работа поддерживала ощущение непрерывности жизни и помогала преодолеть окружавшее меня одиночество и внутреннюю пустоту. До выхода из партии я был слугой Дела и писательская работа была лишь инструментом борьбы, теперь же я счел себя профессиональным писателем и творчество стало для меня самоцелью. Едва завершив "Гладиаторов", я принялся за "Слепящую тьму".

Я послал Кейпу краткую заявку: роман об узниках тоталитарного государства — четверо или пятеро заключенных в ожидании смертного приговора перемещаются с обыденного уровня бытия на трагичес-

кий, переоценивают свою жизнь, и каждый признает себя виновным, однако отнюдь не в тех преступлениях, за которые осужден. Их общая вина заключается в том, что они поставили интересы человечества выше отдельного человека, подчинили мораль соображениям политической выгоды и целью оправдывали средства. Теперь Делу понадобились их жизни, и они обречены умереть от рук людей, исповедующих общие с ними принципы. Я собирался назвать эту книгу "Порочный круг".



Я принялся за книгу, не обдумав сюжет до конца. Мне отчетливо представлялся главный герой, член старой гвардии большевиков, мыслящий на манер Николая Бухарина, а внешностью и личными качествами напоминающий Льва Троцкого и Карла Радека. Он являлся мне с отчетливостью галлюцинации: приземистый, коренастый, с остренькой бородкой. Вот он протирает пенсне о рукав, расхаживая взад-вперед по камере. Нужно было подобрать ему имя. Порывшись в кладовых памяти, я наткнулся на фамилию Рубашов. Откуда она взялась, я не сообразил. Мне понравилось ее звучание, напоминавшее "рубашку" — русскую блузу с высоким расшитым воротником. Мой герой иногда надевал ее по воскресеньям. Вообще-то Николаем Залмановичем Рубашовым звали редактора ежедневной газеты лейбористской партии Палестины "Давар", но об этом я позабыл. Я никогда не встречался с г-ном Рубашовым, но, конечно же, много слышал о нем, пока жил в Палестине. Между прочим, отчество "Залманович" ("Сын Соломона") превращало моего героя в еврея, но ни я сам, ни читатели не обратили на это внимания.

Первая сцена была мне известна заранее. "Свои" являются арестовать Рубашова в тот момент, когда он спит и ему снится последний арест во вражеской стране. Спросонок он не разберет, кто из двух враждующих диктаторов на этот раз добрался до него, чей портрет висит у него над кроватью. Так на художественном уровне я утверждал тождество двух тоталитарных систем и повторил этот лейтмотив в заключительной главе, но на сознательном уровне я в то время продолжал симпатизировать Советскому Союзу. До подписания сталинско-гитлеровского пакта оставался еще год, и я бы с негодованием отверг любую попытку приравнять советский режим к нацистскому.

Вступительный эпизод лег на бумагу, и мне уже не приходилось ломать голову над сюжетом или отдельными его поворотами: события хранились семь лет в тайниках памяти и там, взаперти, подвергались процессу брожения — стоило поднять крышку, и воспоминания хлынули наружу, обретая истинный смысл, запах и цвет. Надежда, маленький Вернер, "начальники" в Баку — масса эпизодов, фраз, жестов, которым в течение всех этих лет внутренний цензор не позволял занять свое подлинное место, — теперь сами выстраивались в ряд. Я не задумывался, что произойдет дальше, я ждал развития событий со страхом и нетерпением. Так, я знал, что в итоге Рубашов сломается и сознается во всех "преступлениях", но у меня было лишь смутное представление о причинах, побудивших его к признанию, — эти причины прояснялись постепенно, в ходе многодневного допроса, учиненного Рубашову двумя офицерами, Глеткиным и Ивановым. Вопросы и ответы этого диалога определялись духовной атмосферой закрытого общества, я не изобретал их, а выводил, можно сказать, математически, исследуя бессознательную подоплеку той жесткой логической схемы, которая не

выпускала из своих объятий обвинителя и обвиняемого, жертву и палача. Правила игры были заданы; эти люди не могли думать и говорить иначе.



Западу, незнакомому с этой системой и ее законами, признания обвиняемых казались величайшей загадкой нашего времени: старые большевики, вожди и герои революции, столько раз игравшие со смертью, сами именовавшие себя "покойниками на каникулах", твердили нелепую, возмутительную ложь. Сбросим со счетов тех, кто, как Радек, пытался спасти свою шкуру, и тех, чья психика была сломлена, как это произошло с Зиновьевым, и тех, кто надеялся защитить близких, — говорят, Каменев очень любил сына, — и все же остаются "стальные люди", подобные Бухарину, Пятакову, Мрачковскому, Смирнову, и еще десятки людей с тридцатилетним, сорокалетним революционным стажем, ветераны, прошедшие царскую тюрьму и сибирскую ссылку. Почему они с готовностью, даже с каким-то восторгом топтали свое прошлое? Рубашов был одним из "стальных людей".

Решение, к которому я пришел в романе, получило в прессе название "теория Рубашова" и стало предметом долгой дискуссии. Я не принимал участия в этих дебатах, но теперь, пятнадцать лет спустя, мне кажется уместным сказать в автобиографии несколько слов в защиту исторической достоверности моей книги.

Три ретроспективных эпизода романа — судьбы Рихарда, маленького Леви, Арловой — основаны на подлинных рассказах. Техника допроса в ГПУ, в частности лишение подозреваемого сна с помощью "конвейера", принуждение стоять неподвижно в течение нескольких дней, слепящий свет в глаза, угроза расстрелять без суда, если обвиняемый откажется от сотрудничества, чередование "хорошего" и "плохого" обращения, — все эти подробности подтверждены позднейшими свидетельствами. Что же касается "яблока раздора" — возможно ли, чтобы "стальные люди" пришли к логической необходимости принять абсурдные обвинения, — я позволю себе подвергнуть испытанию терпение читателя и привести две длинные цитаты. Первая — ключевой момент романа, вторая — фактографическое описание допроса одного из главных обвиняемых на первом московском процессе. Этот материал был опубликован позднее.

Я хочу процитировать самый конец допроса Рубашова. Рубашов утверждает: пусть он и противился политике Вождя, но действовал отнюдь не из контрреволюционных побуждений и не в качестве агента иностранной державы, а по велению совести. Следователь Глеткин ссылается в ответ на слова самого Рубашова: "Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто не прав, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан. Таковы наши законы"[1]. Разворачивается интеллектуальная дуэль. Все аргументы Глеткина основаны на статьях и речах Рубашова, и против них Рубашов бессилен. Следователь цитирует выдержку из дневника Рубашова: "Каждую мысль необходимо вбивать в сознание масс, упрощая и многократно повторяя ее. Правота должна сиять как золото, враги должны быть чернее дегтя". Рубашов сломлен физически и духовно, и Глеткин добивает его последним ударом:

1. Перев. А. Кистяковского.

*– Партии необходимо крепить сплоченность своих рядов. Она должна стать единым монолитом, который спаян железной дисциплиной и беззаветной преданностью Руководству. Вы и ваши приспешники, гражданин Рубашов, попытались расколоть партийное единство. Если вы действительно раскаялись, то поможете нам устранить возникшую трещину. Это, как я уже говорил, последнее партийное поручение.*

*– Ваша задача проста. Фактически, вы сами ее сформулировали: необходимо всемерно высветлить для масс то, что правильно, зримо зачернить то, что неправильно. Поэтому вам надлежит пригвоздить оппозицию к позорному столбу истории и показать объективную преступность антипартийных лидеров. Такой язык будет понятен народу. А если вы начнете говорить о сложных мотивах, которыми вы руководствовались в своих действиях, это внесет только путаницу в сознание масс. Кроме того, массы не должны испытывать к вам ни жалости, ни симпатии – это тоже входит в вашу задачу. Симпатия или жалость к оппозиции со стороны широких масс чреваты опасностями для страны в целом...*

*– Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия.*

*Впервые Глеткин назвал Рубашова "товарищем". Рубашов резко выпрямился на табуретке и поднял голову. Его охватило волнение, с которым он не в силах был справиться. Надевая пенсне, он заметил, что его рука чуть заметно дрожит.*

*– Понимаю, – сказал он негромко...*

*Глеткин поднял голову и посмотрел Рубашову в глаза.*

*– Вы были не правы, и вас ожидает расплата, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно – после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того Процесса – или того балагана, как вы его называете, – в котором вы участвовали по велению Истории*[1].

Материалы секретных архивов, единственное утешение, предложенное Глеткиным, до сих пор не опубликованы, однако кое-что со временем неизбежно просачивается наружу. Я сошлюсь лишь на одно свидетельство — на рассказ генерала Кривицкого о том, как вынуждали к признанию Мрачковского, одного из обвиняемых на первом процессе.

Генерал Вальтер Кривицкий возглавлял советскую военную разведку (четвертое бюро Красной армии) в Западной Европе. В 1937-м он порвал с режимом. Это был первый случай, когда высокопоставленный офицер советской разведки перешел на сторону противника. ГПУ дважды подсылало к нему убийц во Франции, третье покушение, уже в США, увенчалось успехом. Смерть Кривицкого была обставлена как самоубийство: генерал был найден в номере маленького отеля в Вашингтоне, где он никогда прежде не останавливался, с пулей в голове, якобы выпущенной из его собственного пистолета. Он много раз предупреждал родных и близких: в случае его смерти не верить в самоубийство. В ГПУ давно бытует пословица: "Всякий дурак может совершить убийство, но только профессионал может подстроить естественную смерть".

Я не был знаком с генералом Кривицким. Те из моих друзей, кто знал Кривицкого, отмечали его мужество и честность. Книга "Я был

1. Перев. А. Кистяковского.

агентом Сталина" вышла в декабре 1939 года; к тому времени я уже завершал "Слепящую тьму", оставалась лишь заключительная глава "Грамматическая фикция", размышление после допроса. Книгу Кривицкого я прочел спустя несколько лет, поскольку после "Слепящей тьмы" у меня развилась устойчивая аллергия к этой теме. Книга Кривицкого распродана и вряд ли будет в ближайшее время переиздана, поэтому я должен привести большую цитату из той главы, которая посвящена проблеме признаний ("Почему они сознавались?"):

*Как добывались признания?.. Мир в полной растерянности следил, как основатели советской власти бичевали себя за преступления, которых они, безусловно, не могли совершить, подтверждая обвинения, которые были потом разоблачены как дикая ложь. Тайна этих признаний с тех пор озадачивала Запад, но они отнюдь не составляли тайны для тех из нас, кто действовал изнутри сталинской машины.*

*Хотя к признанию этих людей подводил целый ряд факторов, они оговаривали себя в конце концов с искренним убеждением, что оказывают последнюю услугу партии и революции. Они жертвовали и честью, и жизнью, защищая ненавистный режим Сталина, ибо только он сохранял последнюю слабую искру надежды на лучшее мироустройство, борьбе за которое они посвятили себя с ранней юности.*

Далее Кривицкий уточняет, что это объяснение относится лишь к определенному типу обвиняемых – к тем, кого я назвал "твердым ядром" или "стальными людьми", – и подробно описывает, как был подведен к признанию Мрачковский:

*Мрачковский состоял в большевистской партии с 1905 г. Его отец был революционером, побывал в Сибири. Самого Мрачковского многократно арестовывала царская охранка. После Октябрьской революции, в пору Гражданской войны, Мрачковский организовал на Урале добровольческий корпус, явивший чудеса отваги в борьбе с контрреволюционной армией адмирала Колчака. При Ленине и Троцком он, можно сказать, был героической легендой.*

*В июне 1935 года подготовка к первому показательному процессу практически завершилась. Четырнадцать обвиняемых согласились дать показания. Ведущие персонажи, Зиновьев и Каменев, усвоили свои роли и отрепетировали свои реплики, но среди обреченных оставалось двое все еще не желавших подписать показания. Первым был Мрачковский, вторым – его коллега Иван Смирнов, один из основателей большевистской партии, командовавший в Гражданскую войну Пятой армией.*

*Сталин не хотел проводить процесс без этих двоих. Их обрабатывали несколько месяцев, их подвергали всем видам физического воздействия, применявшимся ОГПУ при допросе третьей степени, и все же они отказывались подписать. Внезапно начальник ОГПУ вызвал моего коллегу Слуцкого и поручил ему завершить работу с Мрачковским, "сломать" этого человека. Слуцкий, как выяснилось, всегда питал глубокое уважение к Мрачковскому. Мы плакали вместе, когда Слуцкий рассказывал мне о своем опыте инквизитора.*

*– Я приступил к допросу, чисто побрившись, – сказал он мне, – когда я закончил, у меня отросла борода.*

*– Когда Мрачковский вошел в кабинет, я заметил, что он сильно хромает, – последствие ранения, полученного в Гражданскую войну...*

*Слуцкий принялся описывать внутреннее и международное положение советского правительства, внутреннюю и внешнюю угрозу; он говорил о врагах в*

*партии, подрывающих советскую власть, о необходимости любой ценой уберечь партию, единственную спасительницу революции.*

*– Я сказал ему, – продолжал Слуцкий, – что лично я вполне убежден: Мрачковский отнюдь не контрреволюционер. Я вынул из стола признания других заключенных и показал ему, как низко пали его товарищи, пытавшиеся создать оппозицию советской системе.*

*Мы спорили трое суток напролет. Все это время Мрачковский не спал вовсе. Я же сумел подремать часа три-четыре.*

*Так несколько дней и ночей они продолжали спорить, пока Мрачковский не пришел к выводу, что руководить большевистской партией может только Сталин – больше некому. Мрачковский твердо верил в однопартийную систему и вынужден был согласиться, что не существует группы большевиков, достаточно сильной для того, чтобы реформировать партию изнутри или свергнуть власть Сталина. Да, в стране имелось множество недовольных, но если через голову большевистской партии обратиться к ним, это погубит диктатуру пролетариата, на верность которой присягал Мрачковский.*

*И следователь, и заключенный признавали, что большевики обязаны подчинять свою волю и свои идеалы идеям и воле партии. Они признавали, что большевик должен хранить верность партии, должен принять бесчестие и смерть и даже позорную смерть, если это понадобится для укрепления советской власти. Если партия пожелает, она выразит жертвам благодарность за этот акт самопожертвования.*

*– Я довел его до слез, – рассказывал Слуцкий, – и плакал вместе с ним. Мы поняли, что все потеряно, ничего не уцелело от прежней веры и надежды, и нам остается лишь предпринять последнее отчаянное усилие, попытаться предотвратить тщетную борьбу разочарованных масс. Для этого правительству понадобились признания вождей оппозиции...*

*К концу четвертого дня он подписал показания, которые повторил затем на публичном процессе.*

*Я пошел домой. С неделю потом я не мог работать. Я не мог жить.*

Я прочел это спустя годы после написания "Слепящей тьмы" и испытал доходящее до головокружения чувство déjà vu. Сходство с обстановкой и содержанием первого допроса Рубашова, проведенного Ивановым, было и впрямь поразительным. Сходство в аргументации Иванова и Слуцкого объяснить легко, ведь роман основывался на той же системе идей, что и реальные события, однако столь полное совпадение нюансов и подробностей выходит за пределы естественного: в обеих ситуациях в начале допроса обвиняемый и следователь предаются сентиментальным воспоминаниям о Гражданской войне, во время которой обвинитель был подчиненным обвиняемого; в каждой паре антагонистов один из героев хромает в результате полученного на Гражданской войне ранения; в обоих случаях ликвидатора впоследствии также ликвидируют. Я перечитывал эти страницы с жутким ощущением, будто наткнулся на двойников Рубашова и Иванова, на призраков, на сгустившуюся, превратившуюся в реальность эктоплазму моего воображения.

Кривицкий не читал "Слепящую тьму", он был уже мертв, когда моя рукопись вышла в свет. Мы с ним заканчивали свои сочинения примерно в одно и то же время. Издатель Кривицкого, Исаак Дон Левин, свидетельствует, что генерал писал свою книгу в 1938 году. Предисловие датировано октябрем 1939-го.

Я приступил к написанию "Слепящей тьмы" в пору Мюнхенского сговора и закончил книгу в апреле 1940-го, за месяц до вторжения немцев, повлекшего за собой капитуляцию Франции. Как и во время работы над "Гладиаторами", мне приходилось несколько раз надолго отвлекаться. Работа над книгой превратилась в бег наперегонки со временем и судьбой: после Мюнхена я был уверен, что от нападения немцев до краха Франции пройдет лишь несколько недель...

3 сентября 1939 года началась война, а 2 октября меня арестовала французская полиция.

С этого момента началась череда событий в духе Кафки, описанных мной в книге "Подонки земли". Четыре месяца я провел в лагере для иностранцев в Пиренеях. В январе 1940-го меня выпустили, но полиция продолжала меня преследовать. Я закончил книгу за три месяца, в промежутках между обысками и допросами, постоянно опасаясь, что меня вновь арестуют и конфискуют рукопись.

Но добрые силы, похоже, ворожили этой книге. Однажды, в марте 1940-го, когда полицейские обыскивали мою квартиру, они вынесли почти все мои папки и рукописи, но пропустили распечатку "Слепящей тьмы". Первый экземпляр я оставил на столе, последовав теории Эдгара По, будто лежащий на виду предмет не вызывает подозрений; отдавая дань противоположной точке зрения, копию я сунул на шкаф. В итоге меня повторно арестовали, и немецкий оригинал книги пропал, однако к тому времени был завершен английский перевод. Он был отправлен в Лондон за десять дней до германского вторжения, и таким образом роман уцелел.

Мне понадобилось полгода, чтобы добраться до Англии. Книга тем временем потихоньку проходила все этапы подготовки к печати. По прибытии в Англию (без визы) я угодил в тюрьму Пентонвилл, и верстку мне доставили туда. Вообще-то передавать заключенным книги с воли не разрешалось, но, убедившись, что данная книга написана самим заключенным, комендант дал разрешение. В Пентонвилле я впервые услышал английский вариант названия "Мрак в полдень", подсказанный переводчику строкой Мильтона: "О, темный, темный мрак сияющего полдня". Дафна Харди была не профессиональным переводчиком, а скульптором. В "Подонках земли" я обозначил ее буквой Г. Она выбралась из Франции раньше меня и другим путем, мы встретились в тюремной комнате для свиданий, говорили через решетку в присутствии надзирателя. Препровождая меня обратно в камеру, надзиратель поинтересовался, что за книгу мы столь подробно обсуждали. Я сказал: это моя книга, роман о заключенном в одиночной камере.

– Да вы пророк, – усмехнулся он, захлопывая за мной дверь.

Я все еще находился в Пентонвилле, когда роман вышел в свет.

В Англии "Слепящая тьма" обсуждалась в левых кругах, но в целом она вызвала так мало интереса, что после продажи первой тысячи экземпляров издательство на несколько месяцев отсрочило второй тираж. К концу первого года было распродано не более четырех тысяч экземпляров.

Во Франции перевод вышел после войны и разошелся тиражом, превышавшим 400 тысяч экземпляров. Писателю не пристало заниматься подобными подсчетами, но здесь это оправданно: во-первых, я хочу проиллюстрировать различие интересов читающей публики этих двух

стран, а во-вторых, эти цифры свидетельствуют также об определенном историческом процессе.

Роман, получивший на французском название "Ноль и бесконечность"[1], побил все рекорды предвоенных бестселлеров не благодаря своим художественным достоинствам, а по политическим причинам. После ужасов германской оккупации во Франции началась вторая волна террора. Его история до сих пор не написана. В пору хаоса, когда рушилась оккупационная власть и еще не было восстановлено законное правительство, по всей Франции прокатилась волна насилия и беззакония, творился произвол и суд Линча. Коммунисты, наиболее организованная сила в движении Сопротивления, использовали этот период точно так же, как гражданскую войну в Испании, — для сведения счетов с оппонентами, которых они обвиняли в коллаборационизме. Закон маки, в изначальном, то есть сугубо беззаконном смысле этого слова, изживался не вдруг — в скрытой форме он действовал еще несколько лет, а некоторые события до сих пор держатся в тайне в силу молчаливого соглашения. В 1946 году коммунисты были сильнейшей партией Франции; они заседали в правительстве и парламенте, напрямую руководили профсоюзами, с помощью шантажа и запугивания навязывали свою волю суду, газетам и книжным издательствам, литераторам и кинопродюсерам.



В этой гнетущей атмосфере роман о русских чистках, пусть и посвященный событиям десятилетней давности, неожиданно обрел актуальность: обнаруживавшиеся в нем аллюзии оказывали большее психологическое воздействие, нежели любые специальные исследования. Он стал первым этическим приговором сталинизму, опубликованным в послевоенной Франции, а поскольку героем книги был старый большевик и в языке ее персонажей угадывался подлинный жаргон партии, трудно было с порога отвергнуть ее как "реакционное" и "буржуазное" сочинение. Коммунисты попытались запугать издателей; не преуспев в этом, они принялись скупать и уничтожать тома, попадавшие в пригородные и провинциальные магазины. В результате между повторными тиражами спекулянты втрое, а то и впятеро взвинчивали цену на роман. Когда тираж превысил четверть миллиона, коммунистические ораторы начали поносить на митингах и книгу, и автора. Политика запугивания привела к тому, что французский переводчик укрылся за псевдонимом, а в позднейших изданиях снял с обложки и псевдоним.

Противостояние достигло кульминации в судьбоносные недели перед референдумом, определившим основы французской конституции. Если бы коммунистам удалось отстоять свою формулировку, они как самая сильная партия полностью овладели бы государством. Когда борьба завершилась, одна из ведущих газет, подводя в редакционной статье итоги этой кампании, заявила: "Наиболее мощным фактором, обеспечившим поражение коммунистов, стал роман "Ноль и бесконечность". Я уже упоминал, что в часы депрессии и самоуничижения меня утешает мысль о двух моих достойных делах: первое — это роман "Воры в ночи"[2], второе я только что описал.

Коммунисты продолжали свои нападки. В послевоенные годы на меня обрушивалась то академическая полемика, то угрозы физической

1. Намек на то место в книге, где утверждается, что в социальном смысле ценность индивидуума равна и нолю, и бесконечности.
2. Роман "Воры в ночи" повлиял на благоприятный исход голосования в ООН по вопросу о создании на территории Палестины еврейского государства.

расправы. Вот пример академической аргументации: профессор Мерло-Понти, преемник Анри Бергсона в Коллеж де Франс, опубликовал примечательную книгу, в которой доказывал правоту Глеткина[1]. На более низком уровне присяжные писаки французской КП шли самым простым и привычным путем: так, месье Жан Канапа в книге "Предатель и пролетарий, или Дело Кёстлера и К°"[2] (еще один парафраз "Йога и комиссара") открыл всему свету страшную тайну: во франкистской тюрьме в Севилье я, дескать, был завербован британской разведкой. Примером еще более низкого уровня пропаганды может служить передовица коммунистического еженедельника "Аксьон", сообщившая, что небольшая вилла в Фонтен-ле-Пор, где я жил в то время, является "штабом холодной войны" и что там я готовлю "террористические группы фашистских убийц"[3]. Воскресный выпуск партийной газеты "Юманите диманш" дополнил эти сведения картой района, любезно указав на схеме стрелкой местоположение моей виллы. Родственники нашей кухарки перестали навещать ее по воскресеньям, опасаясь, что дом может в любую минуту взлететь на воздух.

В ноябре 1952 года судьба настигла последнего из моих друзей по партии, Отто Каца (он же Андре Симон).

Годы войны Отто провел в Мексике, а затем вернулся на родину, в Чехословакию. После коммунистического переворота 1948 года он был назначен редактором социал-демократической газеты "Право люду", затем стал руководителем пресс-службы МИДа. В 1952 году чистка в странах восточного блока покончила в числе прочих и с ним. Он проходил по делу Сланского-Клементиса как английский шпион, саботажник и агент сионизма. Отто признался во всем и был повешен.

Читая жуткий отчет о выступлении Отто на суде, я испытывал более сильное потрясение, чем когда-либо ранее в подобных ситуациях: в своем последнем слове Отто процитировал по памяти так близко к тексту, как мог, речь Рубашова на суде. Вот его последние слова:

*– Я заслуживаю виселицы. Последняя служба, которую я могу еще сослужить, – это стать предостерегающим примером для всех, кто в силу своего происхождения или склонностей подвергается опасности вступить на ту же дорогу в ад. Чем суровее наказание... (далее речь неразборчива)*[4].

Речь Рубашова, с акцентом на "последней услуге" и готовности "стать предостерегающим примером", была основана на выступлении Бухарина на московском процессе 1938 года. Отто знал об этом. Выражения, которые Отто Кац употребил в последнем слове, были зашифрованным посланием: его тоже вынудили признаться в преступлениях, вымышленных, как и вина Бухарина и Рубашова. Быть может, Отто надеялся, что я сумею сделать для него то, что он сделал для меня в по-

1. "Humanisme et Terreur" (Париж, 1947), первая публикация в журнале Сартра "Les Temps Modernes" под заголовком "Le Yogi et le Prolletaire" (полемический парафраз названия моего сборника "Йог и комиссар"). Это сочинение объясняет каждую меру советского режима, включая пакт Сталина–Гитлера, как историческую необходимость, осуждает "империалистическую агрессию" англо-американской политики, а любую критику Советского Союза рассматривает как подстрекательство к войне. Это классический пример контролируемой шизофрении, развивающейся у высоколобых представителей французской марксистско-экзистенциалистской школы. (*Прим. автора.*)
2. Париж, 1950 г. (*Прим. автора.*)
3. От 6 августа 1950 г. (*Прим. автора.*)
4. Репортаж Би-би-си о выступлении Отто Каца на процессе Сланского-Клементиса 23 ноября 1952 г. (*Прим. автора.*)

хожих, но не столь безнадежных обстоятельствах, быть может, он рассчитывал на заступничество прежних влиятельных знакомых в Лондоне, Париже и Голливуде, которые когда-то превозносили, буквально носили на руках автора "Коричневых книг", пропагандиста республиканской Испании. Когда человека ждет виселица, ему может показаться, что мир чрезвычайно интересуется состоянием его дыхательных путей. Но ни один голос в его защиту не раздался из среды издателей, журналистов, завсегдатаев левых политических салонов, кинозвезд, толпившихся вокруг Отто в розовые романтические дни Народного фронта. Его SOS не достиг цели, словно неразборчивая записка, втиснутая в бутылку и выброшенная волной на берег вместе с остальным плавучим мусором.

Мицуёси Нумано

# Граница японской литературы и ее сдвиги в мировом контексте

## Между двумя нобелевскими лекциями

За прошедшие более чем полвека после Второй мировой войны японская литература изменилась значительным образом. Или, лучше сказать, изменился мировой контекст, в котором существует и японская литература. Раньше, лет двадцать-тридцать назад, среднему японцу иностранцы, которые владели японским языком, казались "редкостными существами" и могли стать звездами телевидения только по одной простой причине – они говорили по-японски. И естественно, японские писатели, создавая свои произведения на родном языке, не предполагали возможности, что некоторые иностранцы будут читать их в оригинале, не пользуясь услугами переводчиков.

Но теперь картина совсем другая. Японцы уже привыкли к тому, что часто встречаются такие иностранные японисты, которые знают и понимают японскую культуру лучше их самих. И даже появились такие иностранные писатели, которые пишут по-японски, и такие японские писатели, которые пишут не только по-японски, но и на других языках. Так что, на мой взгляд, можно смело сказать: граница, четко отделявшая японскую литературу от неяпонской, сегодня неопределенна и размыта. Это обстоятельство подводит, как мне кажется, к новой точке зрения: японскую литературу можно рассматривать не столько как нечто экзотичное и инородное, стоящее особняком от остального мира, сколько как органичную часть мировой литературы и равноправную участницу современного процесса.

Одним из доказательств таких сдвигов может служить яркий контраст между нобелевскими лекциями Ясунари Кавабаты и Кэндзабуро Оэ. Разрешите напомнить, что Кавабата и Оэ – единственные японские нобелевские лауреаты в области литературы. Первый получил премию в 1968 году, а второй – более четверти века спустя, в 1994-м.

Мы еще помним странное название нобелевской лекции Кэндзабуро Оэ: "Аймай-на Нихон-но ватаси", или "Я из двусмысленной (неопределенной, неоднозначной – *М. Н.*) Японии"[1]. Это название, буквально переведенное на русский, звучит довольно странно, но и в японском оригинале оно звучит тоже странно. Это объясняется частично тем, что здесь кроется ироничная и даже немного провокационная пародия на нобелевскую речь другого японского писателя: "Уцукусий Нихон-но ватаси" ("Красотой Японии рожденный").

Оглядываясь в прошлое, можно предположить, что тридцать лет назад Кавабату удостоили почетной премии за своеобразную японскую эстетику, которую этот писатель представлял в глазах европейцев. Для все-

1. В русском переводе Н. Старосельской лекция была опубликована под названием "Многосмысленностью Японии рожденный" ("ИЛ", 1995, № 5).

© Мицуёси Нумано, 2002

го остального мира, и особенно для Запада, были характерны ожидания, что литература Страны восходящего солнца должна коренным образом отличаться от прочих литератур. И они выбрали Кавабату как писателя, идеально отвечающего этим ожиданиям. Здесь я не говорю о его личной позиции; речь скорее идет о той исторической позиции, которую ему пришлось занять в описанном контексте и которую сегодня некоторые критики упрекнули бы в ориентализме (по терминологии Эдварда Саида).

С другой стороны, награда Оэ символизирует то качественно новое обстоятельство, что теперь в мире начинают воспринимать японскую литературу как просто литературу, иными словами, как нормальную разновидность современной мировой литературы. Тут уже нет места ярлыку "своеобразие японской эстетики" и тому подобным. Кавабате еще нужна была предпосылка, что Японию возможно определить однозначно – каким-нибудь конкретным прилагательным (будь то "красивая" или "изящная"), и это логично привело его к отделению самого себя и своей литературы от окружающего мира, который подобным четким и однозначным определениям не поддается. В отличие от Кавабаты, Оэ утверждает, что уже нет никакой "красивой" Японии, с которой писатель может себя идентифицировать, есть только "двусмысленная" Япония. Такое самосознание приводит писателя к позиции, более открытой по отношению к остальному миру, так как "двусмысленность" уже не позволяет провести между страной и миром четкую границу.

Но "открытость" не обязательно означает создание некоей наднациональной литературы, легко воспринимаемой мировой публикой и ориентированной на коммерческий успех в разных странах. В другой лекции Оэ, обсуждая творчество французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры, замечает, что его роман "Шутка", написанный в молодости на чешском языке, еще на родине, можно оценить как "универсальное, по-настоящему мировое произведение", в то время как, например, "Бессмертие", роман, который Кундера опубликовал сначала на французском, в эмиграции, производит впечатление продукта французского языка – всего лишь одного из европейских языков. Я присоединяюсь к такой оценке Оэ, и я уже высказывал – даже раньше Оэ – подобное мнение в своей рецензии. Думаю, тут проявляется особый парадокс, свойственный языку и литературе: писатель может добиться универсальности только через свою "местность" и национальную специфичность. В случае Оэ, хотя он большой знаток западной литературы и свободно читает по-английски и по-французски, его произведения почти всегда основываются на опыте сугубо приватной жизни (прежде всего на опыте жизни с больным сыном), а действие их обычно происходит в маленькой глухой деревне в долине на острове Сикоку.

## *За рамками японской культуры – феномен Абэ*

Наряду с Оэ еще одним значительным современным писателем Японии являлся Кобо Абэ. Я не стану распространяться о творчестве Абэ, потому что вы хорошо знаете этого уникального японского писателя, который ушел слишком рано и так и не был удостоен Нобелевской премии. На самом деле, судя по огромным тиражам русских переводов Абэ, которые выходили в советское время и до сих пор еще выходят, можно сказать, что Абэ читали и читают в России больше, чем на родине. Русский японист, переводчик и писатель Григорий Чхартишвили как-то заметил, что Кобо Абэ уже стал классиком советской литературы, и я думаю, что это остроумное замечание вполне справедливо.

Хочется обратить внимание на то, почему Кобо Абэ приобрел такое широкое признание за пределами своей родины. Его популярность часто объясняют тем, что его литературная логика не столько национальна, сколько универсальна и что писатель не привязан только к традициям японской культуры и эстетики. Но это общее место, и тут существует се-

рьезная опасность упрощения сложного вопроса. Несмотря на то, что язык Абэ, на первый взгляд, выглядит довольно прозрачным и логичным, он не так легко дается переводчикам. Такие крупные японисты, как Дональд Кин из США и Хенрик Липшиц из Польши, в один голос утверждают, что индивидуальный стиль Абэ полон японских реалий и деталей, отражающих своеобразное мышление писателя, поэтому перевод его на европейские языки чрезвычайно труден.

По-моему, здесь важно отметить, что у писателя Абэ всегда было стремление выйти за узкие рамки японской традиционной культуры, в то же время опираясь на японскую действительность. Как известно, писатель провел детство в Маньчжурии, климат и культура которой резко отличаются от японских. Это повлияло на формирование Абэ, который не примыкал ни к одной группе и критически относился к самой действительности Японии, проживая в этой стране как в эмиграции. Чем и объясняется сложное сочетание и сосуществование в его творчестве таких противоположных черт, как национальная специфика и интернациональность, личностное начало и универсальность.

Эти качества становятся еще более актуальными сегодня, когда граница между японской и неяпонской литературами не может быть прежней, а потому надо сделать попытку переосмыслить мировой контекст, в который японская культура включается. Нет ничего удивительного в том, что появились японоязычные писатели в Европе и Америке, и на их творчестве сказалось влияние Абэ. Назовем американца Хидэо Леви и швейцарца Давида Зоппети.

## *Новые явления в современной японской литературе: Леви, Мидзумура и Тавада*

Хидэо Леви родился в 1950 году в семье дипломата. Как показывает фамилия Леви, он американец еврейского происхождения, и у него нет кровной связи с Японией. Он провел детство на Тайване и в Токио, где работал его отец. Позже Леви изучал японский язык и литературу в Принстонском университете и стал многообещающим японистом. Преподавал в Стэнфорде и даже перевел на английский "Манъёсю". Потом, бросив успешную академическую карьеру, Леви стал писателем; живет он в Японии и пишет только по-японски. Его перу принадлежит в числе прочего сборник эссе под названием "Победа японского языка" — победа эта, по мнению Леви, заключается не столько в том, что сейчас все больше и больше иностранцев занимается этим трудным языком, сколько в том, что появились наконец-то люди, рожденные неяпонцами, которые начинают выражать свои мысли и художественное вúдение по-японски. Как говорит Леви, этим обстоятельством разрушается миф о Японии, где традиционно в единое целое соединялись раса, культура и язык. Иными словами, японский язык сверг иго, которое называется "идеология японцев как однородной нации".

И в среде этнических японских писателей появляются новые таланты. Так, например, Минаэ Мидзумура написала уникальный двуязычный роман под названием "Частный роман from left to right" (1995). Книга состоит по преимуществу из длинных телефонных разговоров между двумя сестрами-японками, живущими в Америке. Они провели там двадцать лет, поэтому, естественно, большая часть их разговоров ведется по-английски, и автор дает английский текст без перевода на японский. Получился роман, в котором героини свободно переходят с одного языка на другой. Английское выражение в названии "слева направо" указывает на то, что буквы в этой книге пишутся горизонтально, а не сверху вниз. Напомним, что по-японски традиционно пишут вертикально и в литературных произведениях никогда не используется горизонтальное написание. Поэтому прием Мидзумуры — серьезное нарушение традиционной манеры японского письма.

Еще одним характерным примером может послужить очень талантливая писательница Ёко Тавада[1] (1960 года рождения), которая живет в Германии и пишет и по-японски, и по-немецки. В биографии этой уникальной двуязычной писательницы нет ничего необыкновенного: она выросла в Японии, училась в токийском университете Васэда на отделении русской литературы. Но, к сожалению, училась, по-видимому, не особенно хорошо. После окончания университета она поехала работать в Германию, за несколько лет освоила немецкий, совсем забыв русский, и начала писать по-немецки. Если бы она приехала в Россию, она бы стала первым японским писателем, пишущим по-русски. Жаль, что мы упустили такую возможность.

То, о чем я до сих пор рассказывал, конечно, не исчерпывает всего происходящего в современной японской литературе. Каждый день в Японии выпускается много книг. Кстати, кроме России, Япония — одна из немногих стран мира, где еще существуют литературные ежемесячники типа русского "толстого" журнала. Но писатели, о которых речь шла выше, — очень интересный и важный феномен сегодняшней культуры. Тенденция взаимопроникновения культур — явление мирового масштаба, характерное для литературного процесса в целом. XX век знает немало писателей, переступавших языковые границы и писавших на двух или даже трех языках: Сэмюэл Беккет, Владимир Набоков, Элиас Канетти, Милан Кундера, Салман Рушди, Иосиф Бродский. В этом ряду есть места и для японоязычных авторов: Леви, Зоппети, Мидзумуры и Тавады. Переходя через границу, которая заключает японцев и японскую культуру в замкнутую однородную среду, они несут освобождение и ищут новый мост, который свяжет японскую литературу с мировой. А иностранные читатели, знакомясь с авторами подобного рода, в свою очередь освободятся от стереотипного представления о Японии как о таинственной восточной стране — красивой и экзотической. В конце концов, Япония — это ведь не только самурай и гейша.

## *Слияние художественной и массовой литературы*

Вторая тема, которую я намерен рассмотреть, тоже связана с проблемой "границы". Но граница на этот раз проходит не между японским и неяпонским, а между двумя видами литературы. Я имею в виду границу и дистанцию между серьезной, утонченной — или "высокой" — литературой и так называемой бульварной, "низкой", массовой. Мне кажется, что сегодня в России, при сильных позициях пост-постмодернизма, граница эта размывается или же смещается, благодаря появлению новых писателей, которые заполняют "пробел", незанятое "между", разделяющее литературы. Назовем, например, Виктора Пелевина, Михаила Веллера и Бориса Акунина, творчество которых красноречиво свидетельствует, что традиционные критерии разделения уровней литературной иерархии изменились.

Следует признать, что выражение "две литературы" само по себе довольно неудачно, поскольку нет четких терминов для обозначения каждой из них. Та, что "повыше", по-немецки называется Schöne Literatur, по-русски — "художественная литература", однако в английском языке, по-видимому, подходящего термина нет. С другой стороны, хорошее выражение есть в японском языке — "дзюнбунгаку", что дословно означает "чистая литература"; и японская читательская аудитория традиционно воспринимает деление литературы на "чистую" и "не чистую" (массовую) как само собой разумеющееся. (Отмечу, что, когда я говорю о двух видах литературы, это относится главным образом к прозе, но не к поэзии.)

Чтобы сравнение не выглядело голословным, рассмотрю литературную ситуацию в Японии более де-

1. Повесть Ёко Тавады "Собачья невеста" была опубликована в "ИЛ", 1996, № 9. (*Прим. ред.*)

тально. Сейчас наиболее престижными литературными премиями здесь являются премия Акутагавы и премия Наоки. Первая присуждается за произведения "чистой" литературы, представителем которой был Акутагава, в то время как вторая названа по имени романиста Наоки, пользовавшегося огромной популярностью у массового читателя. Важен тот факт, что в общественном сознании эти две премии неразрывно связаны: они были учреждены одновременно (в 1935 г.) и финансировались одним издательским домом; они не исключают друг друга, а скорее дополняют. Два независимых жюри объявляют результаты отбора одновременно; и журналисты, пишущие на литературные темы, поздравляют лауреатов обеих премий как участников единого действа.

Такое мирное сосуществование премий показывает, что и сосуществование, или даже симбиоз, двух литератур долгое время воспринималось в Японии как должное. Однако годы после Второй мировой войны, и особенно два последних десятилетия, привнесли заметные изменения как в работу писателей, так и в читательское сознание, и различие между этими двумя премиями становится все более неясным. Случается даже, что автор, который в глазах общественности однозначно относится к числу приверженцев "чистой" литературы, получает премию Наоки, присуждаемую за "не чистую" литературу, и наоборот. Однажды историк японской литературы Дзино-ити Конисси написал, что "в XXI веке нами будет утрачена способность делить литературу на массовую и "чистую", и мы будем читать просто романы". Пока неизвестно, сбудется ли его предсказание, но, по крайней мере, можно согласиться, что в целом японская литература движется именно в этом направлении.

Для нас же особый интерес представляет сравнение такой ситуации в Японии с тем, что происходит в сегодняшней России. Здесь процесс разделения единой литературы на две или даже более начался совсем недавно, и общество пока не может привыкнуть к тому, что коммерческая, безвкусная литература подавляет художественную своим количеством. Приверженцы "художественного" направления до сих пор полагают, что огромный коммерческий успех массовой литературы является для них оскорблением и прямой угрозой.

Перед лицом подобной "многоукладности" русская литература, в советское время считавшаяся единой, еще не успела приспособиться к новой ситуации и переживает кардинальные преобразования. В ходе этих преобразований отмечаются попытки заполнить пробел между двумя литературами. Подобного рода попытки хорошо известны в Японии, и для них был даже изобретен специальный термин "тюкан сёсэцу", что означает "промежуточная литература". Иногда и мастера "чистой" литературы, такие как, например, Юкио Мисима, обращались к жанру развлекательных романов, которые скорее относились к сфере массовой литературы (так, эти писатели намеренно подбирали стили и жанры для достижения определенных целей). Хотя термин "промежуточная литература" сейчас уже считается устаревшим и нигде не используется, само по себе явление продолжает существовать и даже приобретает все более важное значение.

Например, произведения наиболее популярных, "самых читаемых" писателей современной Японии Харуки Мураками и Банана Ёсимото очень трудно отнести к какому-либо жанру. Читателей же вообще не интересует, относятся ли они к "чистой" литературе или нет — они выбирают то, что им нравится. И действительно, легкий для восприятия стиль, занимательный сюжет и, главное, огромные тиражи изданий указывают на близость этих произведений к массовой литературе (критики часто отмечают возможное влияние комиксов на прозу Банана Ёсимото; роман Харуки Мураками "Норвежский лес" стал невиданным доселе бестселлером и разошелся тиражом более чем в 4 миллиона экземпляров). С другой стороны, несмотря на все это, они недостаточно хорошо укла-

дываются в рамки традиционных понятий о массовой литературе. Ни Мураками, ни Ёсимото не используют темы секса и убийства, как в бульварных романах или детективах, их произведения гораздо более интеллектуальны.

Эти рассуждения применимы не только к Мураками и Ёсимото. Тенденция, которую можно было бы назвать взаимопроникновением различных жанров, получила сейчас широкое распространение; писатели, которых принято относить к "чистой" литературе, часто заимствуют технические приемы из детективов, фантастики, кинофильмов и комиксов, а произведения писателей, ранее считавшихся массовыми, появляются в журналах, соответствующих "толстым" литературным журналам в России. Кстати сказать, насколько мне известно, в сегодняшнем мире только в России и Японии "толстые" ежемесячники пользуются высоким авторитетом у читателей и служат мерилом художественной ценности произведения. В Японии публикация автора в каком-либо из этих журналов означает, что он принят в общество мастеров "чистой" литературы. Почти то же самое можно сказать и о российских журналах: невозможно представить, чтобы произведения Александры Марининой появились в "Знамени" или "Новом мире", в то время как Пелевин и Акунин удостоились такой чести (отметим, что, поскольку "Чайка" Акунина была опубликована в "Новом мире", он уже не просто детективщик). По-видимому, в России пока еще две литературы занимают разные ниши литературного рынка и никак не взаимодействуют друг с другом, как если бы они стояли на разных ступенях в некоторой иерархии. (То же относится и к сосуществованию традиционных "толстых" и недавно появившихся "глянцевых" журналов.)

Но если рассмотреть литературную ситуацию в России подробнее, мы увидим, что и здесь начинает происходить нечто похожее на процессы, чуть ранее возникшие в Японии. Особенно подходят для сопоставления Виктор Пелевин и Харуки Мураками, и мне кажется, что это не натянутое сравнение: недавно переведенный на русский язык роман Харуки Мураками "Охота на овец" стал культовым произведением у российской молодежи, и можно предположить, что читательские аудитории Пелевина и Мураками в значительной степени совпадают.

В случае Пелевина мы видим формирование писателя редкого таланта, который в состоянии перейти границу, разделяющую две литературы. Грубо говоря, место, занимаемое Пелевиным в современной русской прозе, сопоставимо с тем, которое принадлежит Мураками в прозе сегодняшней Японии. Оба они являются посредниками, перекидывающими мостик через пропасть между серьезной и массовой литературой; их популярность огромна; они сотрудничают с "толстыми" журналами, но сфера их деятельности гораздо обширнее скромного мира этих журналов.

Перед тем как подвести итоги, мне хотелось бы подчеркнуть, что предмет нашего рассмотрения, по сути, сводится к проблеме литературных жанров и их развития. Нет нужды доказывать, что любой литературный процесс неизбежно предполагает конфликты и чередование старых и новых жанров; и каноны, по которым живет основное направление литературы, могут измениться спустя некоторое время. Как отмечают американские ученые Уоррен и Уэллек, литературный жанр является "институтом".

Хотя литературные направления, о которых идет речь, — серьезная литература и массовая, — слишком неопределенны, чтобы их можно было называть "жанрами" в строгом смысле этого слова, все же они являются "институтами", основанными на особенностях литературного процесса в определенное время и на определенном витке читательских интересов.

Вспомним, что писал Юрий Тынянов именно на тему чередования литературных жанров в статье "Литературный факт" (1928): "В эпоху разложения какого-либо жанра — он из центра перемещается на перифе-

рию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин выплывает в центр новое явление (это и есть явление "канонизации младших жанров", о котором говорит Виктор Шкловский). Так стал бульварным авантюрный роман, так становится сейчас бульварною психологическая повесть".

При обсуждении вопроса о художественной и массовой литературе важно не ограничиваться оценкой только с эстетических позиций, но также попытаться осмыслить литературный процесс с точки зрения динамики изменения жанров и их взаимосвязи. Как правило, именно в период общественных потрясений размываются границы между жанрами, усиливается их взаимопроникновение и предпринимаются попытки реформировать старые жанры и создавать новые, чтобы придать свежее дыхание культуре в целом. Учитывая это, мы можем заключить, хотя бы в порядке предположения, что появление писателей, заполняющих пробел между закрепленными традицией сферами литературы, весьма характерно для посткоммунистического мира, где больше нет Берлинской стены, этой искусственной границы, препятствовавшей взаимообогащению разных культур.

# Татьяна Григорьева
# *Путь японской культуры*



## *Неизменное в изменчивом*

Почему вопрос о сущностных признаках культуры так важен в наше время? Потому что вне культурного поля ничего состояться не может, кроме нескончаемых распрей, "войны всех против всех", по меткому наблюдению Гоббса. Какова культура, таков и человек, каков человек, такова и культура, или: какова культура, такова и жизнь. Если культура не отвечает своему назначению — просвещать, облагораживать человека, то это не культура, а антикультура. Во всем существует подлинное и мнимое, созидательное и разрушительное. Важно, чтобы второе не превзошло первое и люди не привыкли к перевернутому состоянию мира, приняв ложь за истину.

А истина в том, что каждая культура и едина с другими, и единична, неповторима. У каждой свое назначение, своя душа, о чем хорошо сказал Рабиндранат Тагор: "Долг каждой нации проявить перед миром свою национальную сущность. Если же нации нечего дать миру, это равносильно национальному преступлению, это хуже смерти и не прощается человеческой историей. Нация обязана поделиться лучшим из того, что есть у нее. Благородная душа и есть богатство нации, а ее достояние — умение, преодолевая свои узкие интересы, отправить всему миру приглашение принять участие в празднестве ее духовной культуры". Особенность Японии индийский мудрец увидел в том, что она "дала жизнь совершенной по форме культуре и развила в людях такое свойство зрения, когда правду видят в красоте, а красоту — в правде", — эти слова Тагора вспоминает Кавабата Ясунари[1].

Кавабата не мог сказать прямо: "Красота спасет мир", японцы привыкли выражать свои мысли иносказательно, намеком, ибо прямо высказанная мысль менее трогает душу, чем мысль недосказанная, которую другой может додумать, пережить, внести в нее что-то свое. В этом одно из достоинств японской культуры, она ничего не навязывает, оставляет простор воображению, располагает каждого к свободному участию. Естественно, если сам мастер говорит как бы не от себя, "следует кисти" (*дзуйхицу*), как это делала в X веке Сэй Сёнагон в "Записках у изголовья", а в XX веке делает Кавабата Ясунари, назвавший свою нобелевскую речь 1968 года "Красотой Японии рожденный": "Я, как писатель, потому и существую, что существует красота Японии". Это уходит в глубину веков — вера в мир неявленный, но истинно-сущий, мир божественных предков-*ками*, которые пребывают в самой природе, небесной и земной, и участвуют в жизни человека. И сам человек когда-то станет божеством-*ками*, если не будет брать на себя лишнее, не соответствующее его Пути.

Отсюда язык иносказаний, культура подтекста, ее интонационный характер. Ощущение красоты небытия (*му-но би*), полноты непроявленного мира, где все уже существует, праобразы всех вещей, и привело к особой авторской позиции: как бы неучастия в том, что делаешь, ибо человеку не дано исчерпать божественный замысел. Потому и не стареет их искусство, что заглядывает в вечное, непреходящее, и традиционные

1. Кавабата Ясунари. Существование и открытие красоты. Токио, 1969, с. 34.

© Т. Григорьева, 2002

формы, возникшие в древности, почти в неизменном виде сохранились до наших дней. Это и поэзия: танка (31 слог) и хайку (17 слогов), и театр Но, Кабуки, Дзёрури.

Во все времена японская культура претворяла "неизменное в изменчивом" (*фуэки-рюко*): "Без неизменного нет основы. Без изменчивого нет обновления", – говорил прославленный поэт Мацуо Басё (1644–1694). Значит, неизменное и есть вечная основа, утрата которой грозит культуре гибелью, а нации вырождением. Форма должна меняться, чтобы не утратить связь с жизнью, но меняться ровно настолько, чтобы не исчезло ощущение неизменного в изменчивом. Говоря словами Дайсэцу Судзуки (1870–1966), сделавшего дзэн достоянием Запада: "Здесь есть великое Над – в одиноком вороне, застывшем на ветке. Все вещи появляются из неведомой бездны, и через каждую можно в бездну заглянуть". Он имеет в виду хайку Басё:

| | |
|---|---|
| Карэ-эда-ни | На голой ветке |
| Карасу-но томарикэри | Сидит ворон. |
| Аки-но курэ. | Осенний вечер! |

И продолжает: "Не нужно сочинять поэму из сотен строк, чтобы дать выход чувству, которое появляется, когда заглядываешь в бездну. Когда чувство достигает высшей точки, мы замолкаем, потому что нет слов выразить это. Дзэнские мастера, следуя Пути, выражают свои чувства минимумом слов или мазков кисти. Когда они выражают их слишком полно, не остается места для намека. В намеке же вся тайна японского искусства! Одним мазком кисти, одним пятном можно изобразить что угодно: птицу, холм, человека"[1].

Вот и Кавабата говорит на закате жизни, что если исчезнет у японцев чувство таинственно-прекрасного, то они утратят дар, не выполнят своего назначения, а это не прощается человеческой историей, ибо никакая культура не принадлежит только себе. Потому и достойна внимания, что обращена ко всем, причастна общему делу – обновления человеческой души. Кавабата посвятил этому и нобелевскую речь, и прощальные лекции о "Существовании и открытии красоты". Это чувство единого унаследовано им от предков: "Если у Вселенной одно сердце, значит, каждое сердце – Вселенная", – вспоминает Кавабата изречение старца Сёо, проповедника "Учения о сердце" (Сингаку, XVIII в.), и претворяет в своих повестях дзэнский принцип: "Одно во всем и всё в одном". Отсюда непротивопоставление одного другому: настоящего прошлому, человека природе, разума чувству, Востока Западу.

Японская культура есть культура Пути. Не случайно до сих пор разные виды искусства обозначаются словом "Путь" (*до/мити*): Путь поэзии – *кадо*, Путь каллиграфии – *сёдо*, Путь чая – *тядо* и т. д. Следовать Пути – значит следовать вселенскому закону, как его ни назови: Путем, Логосом или Божьим Промыслом. Есть извечный Путь – все уже существует до времени (то, что японцы называют Истиной – *макото*), и есть Путь, явленный во времени – в форме, слове, звуке, цвете, в делах человеческих. Все едино в своей основе, двуедино в своем проявлении. Явленный, земной путь то удаляется от извечного, небесного, то приближается к нему, но не может отпасть от него, как не может земля отпасть от неба на свою погибель. Такой взгляд на сущее и позволил избежать раздвоения, отчуждения от мира.

Подобное понимание мира не могло не сказаться на законах японского искусства. "Совершенная композиция предполагает такую согласованность, – говорит писатель Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965) в "Заметках об искусстве", – такую связь внутри произведения, что, когда тянешь за собой одну нить, мгновенно находишь отклик в целом... Когда я говорю "композиция", возможно, возникает мысль о статичном состоянии, о неподвижной форме. Но это не форма, а **сила**, вернее, равновесие сил, напряженных до предела".

Японское слово *"мусуби"* означает связывать одно с другим – завязь,

1. D. T. Suzuki. Zen Buddhism. Selected Writings. N.Y., 1959.

зародыш. Все по воле богов соединяется между собой гибким типом связи — резонансом, сердечным откликом (нет того, что не имело бы своей души, сердца — *кокоро*). Закон уравновешенности (*ва*, что переводится как "гармония", но это живое, подвижное равновесие) у японцев стал всеобщим правилом искусства и жизни. В древности страну называли Ямато, записывали иероглифами — Великая Гармония. Закон уравновешенности позволяет соединить единое и единичное через чувство восторга перед неповторимостью каждого мига, еле заметного движения души. Соединить мгновение с вечностью, новое чувство с правилом следования "изначальной песне" (*хонка-дори*), с верностью канону. Всё, пройдя свой цикл, возвращается к истоку. Но если мировоззрение привержено Пути, **повтор** невозможен в принципе, именно потому, что всё в пути. Каждая вещь в следующий момент уже не та, каждая встреча неповторима.

Истина, или красота (что для японцев одно и то же), постигается глубинами души, сверхразвитым чувством (*ёдзё*) или чувством удивления, восторга (*аварэ*), что позволяет говорить не столько об этическом и даже не об эстетическом духе японского искусства, сколько об **эвристическом**, призванном расширить не столько ум, сколько чувство, интуицию и через полноту чувства достичь просветления. Вызвать восторг может лишь то, что является неожиданно — как вспышка молнии озаряет душу, — то, что японцы назвали словом *мэдзурасий* (нечто необычное, диковинное, исходящее от богов). Неудивительно, что Мурасаки Сикибу (ок. 970 — ок. 1014), написавшая знаменитую "Повесть о Гэндзи" ("Г*эндзи-моногатари*"), считала, что в звуках флейты не меньше мудрости, чем в древних книгах: "Человек, слишком глубоко проникший в суть явлений этого мира, познавший их взаимосвязь, становится прозорливым, но одновременно утрачивает душевную тонкость и изящество ума". В последнем издании толкового словаря Кодзиэн (1973) сказано: отличие "японской души" (*вакон*) от "китайских знаний" (*кансай*) в том, что японская душа — это знание сердца, не почерпнутое из книг, а непосредственно пережитое, навеянное самой жизнью.

Отсюда и склонность к *ёдзё*, недосказанности. Стоит вникнуть в одно это слово, как проявится остальное. Его переводили у нас по-разному: "эмоциональный отклик", "послечувствование", "суггестивность", "намек", но все это не передает всей полноты смысла. *Ёдзё* — это чувство в его целостности или беспредельное чувство. Состоит *ёдзё* из двух иероглифов: *ё/амари* — "слишком", "превосходящее"; и *дзё/насакэ* — "чувство", "сочувствие", — то самое чувство, которое питает ум. То есть разум и чувство вместе, одного нет без другого. Всеобъемлющий разум Будды (*буссин*) обозначается тем же иероглифом "сердце" (сердце Будды); разум Будды и есть вселенское сострадание (*махакаруна*). Уже в X веке *ёдзё* понимали как созвучие души и слова, и современные японские эстетики находят в этом особенность японской поэзии: "С давних пор в мире японской танка радели о согласии души (*кокоро*) и слова. Предпочитали те танка, где больше души и меньше слов... Полнота чувства при минимуме слов и называется *ёдзё*. Лишь то стихотворение истинно, где присутствует *ёдзё*. Таково традиционное отношение японцев к поэзии. В европейской же поэзии, напротив, душа — в содержании стиха, слова же — форма или средство выражения души. И нам это кажется странным. Как можно выразить невыразимое?"[1]

*Ёдзё* обусловило и поэтику театра Но — выводя его за рамки времени, осуществляя закон "одно во всем и всё в одном" или свободную композицию, когда одно не ущемляет другое, а соединяется с ним по типу эха, резонанса, гибкого равновесия (*ва*). Это основной структурообразующий принцип японского искусства, позволяющий уравновешивать движение-покой, светлое-темное или "слабое пение" — "сильным голосом". "Если

1. Ямадзаки Масакадзу. Красота человеческих отношений. В сб.: Эстетическое сознание японцев. Токио, 1974.

войдешь в состояние не-я (*муга*), скроешь свое сердце, то в тебе проснется чувство такой силы, которое соединит все в единое сердце (*исин*)", – говорит мастер Но Сэами (1363–1443).

Это и привлекло европейских режиссеров и драматургов к театру Но. Эзра Паунд писал с восторгом, что в лучших представлениях Но вся пьеса стянута к одному центру, одному образу, что и приводит к единству. Он называл Но одним из величайших и одним из самых загадочных искусств мира. Артур Уэйли в 1921 году издал книгу "Японские пьесы Но", придя к заключению, что "Но будет существовать вечно, что бы ни случилось с самим театром". Тогда же Уильям Йейтс пишет пьесы в стиле Но, а Павел Гудман называет Но "драмой мудрости". Не уменьшается интерес к искусству Но в современной Японии и за ее пределами. Зритель входит в замедленный ритм движений, молча переживает сокровенную красоту (*югэн*), приобщается к невидимому миру: "Красота, – говорит Сэами, – это цвет Истины".

Ван Гог восхищался умением японцев видеть в одном всё. Одна травинка дает японцу "возможность рисовать любые растения, времена года, ландшафты, животных и, наконец, человеческие фигуры. Так проходит его жизнь, и она еще слишком коротка, чтобы успеть сделать все. Разве то, чему учат нас японцы, простые, как цветы, растущие на лоне природы, не является религией почти в полном смысле слова?"[1]

Это чувство доступно всем, присуще человеческой природе, только у одних оно культивировалось веками, у других проявлялось неожиданно, в прорыве гения к свободе (что нередко кончалось для него трагически). Автор книги "Бусидо. Душа Японии" Нитобэ Инадзо говорит о том же: "Душа Ямато – это не искусственное, нежное растение, но дикорастущее, в том смысле, что само по себе выросло на нашей почве... Не только его родословная притягивает нас. Утонченность и простота его красоты трогает наше эстетическое чувство, как никакой другой цветок. Мы не можем понять восторга европейцев перед розами, которые лишены простоты нашего цветка. К тому же за нежностью розы скрываются шипы, и та настойчивость, с какой она цепляется за жизнь, будто не хочет, боится умереть, предпочитая увянуть на корню, чем раньше времени опасть. Их яркая окраска и дурманящий запах – все это так не похоже на наш цветок, за красотой которого не скрываются ни колючки, ни дурман. Он готов в любую минуту расстаться с жизнью – по зову природы. Его окраска не бросается в глаза, а легкий аромат еле уловим"[1].

Да, в этом, пожалуй, главное свойство японского искусства: оно выводит не только за пределы времени, но и за пределы человеческого эго, учит видеть в другом не себя, а другое, в его неповторимости. Как говорил дзэнский мастер XIII века Догэн: "Узнать Путь Будды – значит узнать себя. Узнать себя – значит забыть себя. Забыть себя – значит достичь единства со всем". Иначе говоря, комментирует японский автор, "подлинное "я" возможно при достижении свободы от себя или "не-я". Но когда в одном соединяются многие, каждый становится центром Вселенной"[2].

Естественно, такое самоощущение не могло не сказаться на законах искусства, и Дайсэцу Судзуки не раз говорил: "Ощущение своего "я" является главным препятствием в творческом процессе. Когда оно преодолено, возникают высшие достижения в искусстве". Не нужно мудрствовать, нужно передавать "как есть" (*коно мама*). Тогда и откроется истина. Судзуки приводит стихи одной японской монахини:

*Коно-мама*, и от радости я склоняю
голову.
Хорошее или плохое – *коно-мама*!

1. В. Ван Гог. Письма. Л.-М., 1966.

1. Inazo Nitobe. Bushido. The Soul of Japan. Rutland–Tokyo. 1973.
2. Ueda Yoshifumi. Individual in Mahayana Buddhist Philosophy. The Japanese Mind. Honolulu, 1981.

Правильное или неправильное — *коно-мама*!
Истинное или ложное — *коно-мама*!
"Есть" или "нет" — *коно-мама*!
Плач или смех — коно-мама![1]

## Ностальгия ("Хризантема и меч")

Понять японскую душу и характер невозможно, не принимая во внимание национальный символ — "хризантему и меч". Этот символ предполагает уравновешенность начал: жесткой воли и мягкосердечия, непримиримости и сострадания к малому, правильное отношение хризантемы-инь и меча-ян. Таково японское понимание Пути. Души богов бывают благостными, умиротворенными (*ниги-митама*), а бывают свирепыми, буйными (*ара-митама*). Но в сознании преобладает светлое начало, нежность души; суровость, переходящая порой в беспощадность к себе и другим, это как бы ее защита[2].

Роль хризантемы и меча нельзя понять, не принимая во внимание непротиворечивый тип связи, недуальную модель мира. Соединение того и другого образует новое качество: не только мужество и не только мягкосердечие, но то и другое в одном (инь-ян взаимопроницаемы); та самая уравновешенность-*ва*, без которой хризантема и меч обречены на гибель, — таков закон высшей справедливости, или Пути: когда одно начинает существовать за счет другого, погибает то и другое — саморазрушается, как всякая односторонность.

Бывали времена, когда в Японии преобладала то хризантема, как в эпоху Хэйан (794—1185), то меч, как в эпоху Камакура (1185—1333), но они неминуемо уравновешивались, что приводило к расцвету культуры. В эпоху Муромати (1333—1573) — театр Но, поэзия рэнга; в эпоху Момояма (1573—1614) — расцвет живописи и дзэнских искусств: хайку, чайная церемония, икебана. Наконец, в эпоху Эдо (1614—1868) — театр Кабуки, гравюра укиё-э, покорившая Европу.

По логике вещей, следуя Пути, Япония должна была справиться и с издержками "вестернизации", начавшейся после "открытия дверей" в эпоху Мэйдзи (1868—1912). Но здесь Японию подстерегало нетрадиционное испытание. Не было иммунитета против "мамонизма", потребительского духа, который идет по пятам механической цивилизации, обслуживая то самое эго, которое японская традиция отвергала как иллюзорное "я", мешающее человеку найти себя. Многие писатели трагически воспринимали этот разлад, утрату Срединного Пути. "Но то, что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным, — сокрушался Акутагава Рюноскэ (1892—1927), — этого я вынести не мог... Я вдруг вспомнил слова "Юноши из Шоулина"... Этот юноша из рассказа Хань Фэй-цзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой". И все же Акутагава не утратил исконно японское чувство, напоминая, что хотя и позаимствовали они у китайцев письменность, но "ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы". И так во всем, потому что защита японцев — божественная природа: "Мы живем в деревьях, мы живем в мелких речушках. Мы живем в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма" ("Усмешка богов").

Но, соблазнившись материальными успехами Запада, в стремлении самоутвердиться, не дать закабалить себя, Япония отступила от Пути (по крайней мере, ее активный слой). Голову вскружил девиз: "Сильная армия — богатое государство", нарушивший равновесие начал. В ре-

1. Д. Т. Судзуки. Мистицизм христианский и буддистский. Киев, 1986.
2. О нежности японской души говорили и Мотоори Норинага, ученый XVIII века, и Кавабата в нобелевской речи, вспоминая поэта Мёэ: "Я потому люблю записывать его стихи, что они преисполнены доброты, теплого, проникновенного чувства к природе и человеку, воплощая глубокую нежность японской души". И, может быть, не случайно они ставят хризантему на первое место, тогда как наше предубежденное сознание меняет их местами: "меч и хризантема".

зультате пришли к тому, к чему пришли, продемонстрировав, чем кончается удвоенная воля, утратившая опору в чувстве. После трагического исхода войны нация долго не могла опомниться, очиститься от воинственного духа. Потеряв равновесие, на какое-то время вовсе отшатнулась от меча, утратила волю к действию. Это посеяло тревогу у писателей, верных традиции. Свою тревогу они выражали по-разному: Кавабата более уповал на хризантему — извечную красоту; Мисима Юкио (1925—1970) — на меч, дух бусидо. Но обоих объединяла ностальгия по прошлому. Мисима Юкио у нас не повезло: его замалчивали долгие годы или представляли каким-то маньяком. Но именно он выступил в защиту культуры, без которой погибает нация, и призывал не только к возрождению мужественности, но и к почитанию сокровенной красоты (*югэн*), которая одухотворяла японское искусство во все времена. Если европейская культура более материальна, воплощена в камне, то японская — в дереве, бумаге: не сосредоточена на себе, не стремится продлить свою жизнь. И потому приобщает к чувству запредельной, извечной красоты, которая жертвует собой в земной жизни, чтобы приобщать к вечности. Отсюда и идеал непривязанности, "красоты непостоянства" (*мудзё-но би*), которую олицетворяет, с его точки зрения, синтоистское святилище Исэ дзингу, обновляющееся каждые двадцать лет.

Когда же распадается единство хризантемы и меча, культура погибает, а вместе с ней и народ. Так произошло во время войны, когда меч решил, что может обойтись без хризантемы. Тогда, уверен Мисима, возобладала ложь, псевдодобродетели. Теперь же, напротив, обуянные страхом после поражения в войне, японцы отшатнулись от меча и утратили волю. Нарушилось то самое равновесие, которое помогало выстоять в самых трудных ситуациях. Не уравновешенная волей, поблекла и хризантема: культура впала в "эмоциональную распущенность". Естественно, жертвой стал человек: "Искусство потеряло человека, — убежден Мисима, — от искусства остались осколки, и оно бессильно с помощью этих осколков выразить подлинную драму целого человека. Лишь возродив равновесие хризантемы и меча, можно возродить культуру нации".

Об этом — переведенный у нас роман "Золотой Храм"[1] (1956): нынешний мир недостоин нетленной красоты, и потому храм должен исчезнуть в огне, чтобы не унижала его толпа любителей красоты посредственной. Так и было на самом деле: храм поджег молодой послушник, и в этом сказалась неприемлемость для японской души даже невольного осквернения красоты; но сказалась и вера в то, что красота, являющая Истину, не исчезает, а лишь уходит на время от людей, ее не достойных. Те же японцы не могли смириться с потерей любимого детища, и на собранные деньги храм был вскоре восстановлен в прежнем виде.

Нужно исчезнуть, чтобы сохраниться, умереть, чтобы жить. Такое мироощущение, непривязанность к миру вещей, таит в себе символ "хризантемы и меча". По мнению Мисимы, эта традиция унаследована японцами от древних, она продолжается от "Гэндзи-моногатари" до современных повестей, от поэзии антологии "Манъёсю", составленной в VIII веке, до авангардных танка наших дней.

У японцев традиционно слово не расходится с делом. Мисима совершил ритуальное харакири, надеясь вернуть доверие к мечу, доказать, что цветок, воплощающий дух Японии, не цепляется за жизнь. Готовность ставить принцип выше жизни — эта идея уходит в глубину веков. "Не отступайте от Пути даже под угрозой смерти", — говорил Конфуций (Луньюй, VIII, 13). Говорил и Мэн-цзы (ок. 372—289 до н. э.): "Я ценю жизнь, но еще больше ценю справедливость. Если я не могу иметь то и другое, то я предпочту справедливость".

Неудивительно, что самые известные писатели послевоенной Японии болезненно переживали угрозу

1. См. "ИЛ", 1989, № 5.

утраты основы, "оторванность от корней". Отсюда мотив раздвоения психики, потери памяти, анемии чувств — утраты национальной и личной идентичности. В 70-е годы вспыхнул "бум японизма" — потребность вспомнить себя, увидеть причину кризиса духа. Об этом свидетельствуют книги известных писателей: Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро. Стремлением к высшей искренности, без которой невозможно достойное существование, определена поэтика их произведений.

Если попытаться обобщить то, что более всего волнует японских писателей, то это — паралич чувства, которое составляло сущность их литературы. "Паралич сердца, или способности к чувству, анемия чувств", — говорит герой Абэ "человек-ящик"[1]. У Оэ в романе "Объяли меня воды до души моей..."[2] подростки взбунтовались против разлагающегося общества в надежде на "новое чувство и новую мысль". "Мы вступили в союз ради 'нового чувства' и, утвердившись в нем, придем к 'новой мысли'". Инстинкт им подсказывал, что чувство первичнее мысли и что без обновленного чувства не обновится душа.

Человек-маска, человек-робот, жизнь, напоминающая театр абсурда, — вот что беспокоит японских писателей. Об этом роман Абэ "Тайное свидание" (1977, рус. перев. 1985) . Клиника оборудована по последнему слову техники — приборы, аппаратура, четкая организация труда, но здесь не лечат, здесь следят друг за другом. Это антимир, все чужие друг другу: не могут чувствовать, со-чувствовать, не знают угрызений совести. Куда только ни пытаются скрыться антигерои Абэ: за стену, в яму, готовы жить в ящике — все напрасно. От себя не уйдешь. Жизнь непредсказуема, как стихия песка, который не имеет "своей собственной формы, кроме среднего диаметра в одну восьмую миллиметра... Но ничто не может противостоять этой сокрушительной силе, лишенной формы" ("Женщина в песках"). Человек выпал из мира естественных связей и попал в антимир, где все происходит не по-человечески, по каким-то другим законам, обрекая человека на отчаяние и одиночество. Он потерял ориентацию, очутился в лабиринте, из которого нет выхода, потому что лабиринт и вовне, и внутри человека — вот расплата за измену себе. Образуется мертвая зона, сжимается пространство, время идет вспять. Это ощущение преследует и Абэ, и Оэ. Человек выпал из бытия и оттого начал сокращаться, пока вовсе не сколлапсирует, как Короткий из романа Оэ "Объяли меня воды до души моей...": "Я первый оповещу мир о том, что человечество начало движение вспять и в теле каждого человека появились гены, направляющие его развитие и рост в обратную сторону".

Человек, утративший себя, способность видеть другого, распадается на части: "Я сознаю, что опускаюсь физически и духовно, и уклон, по которому я качусь вниз, явно ведет меня туда, где обитает нечто еще более ужасное, чем дух смерти", — но человек бессилен что-либо предпринять. "Ты, видимо, умерев, сможешь снова соединить себя, разрывающегося на части, в единое целое" (Оэ, "Футбол 1860 года"). Если не одумается, не опомнится человек, то лучше ему совсем исчезнуть, чтобы не губить, не отравлять эту землю, — такова тема Оэ: "Я жаждал обличать людей в жестокостях, причиняемых деревьям и китам... Сопротивляясь, я прибегну к насилию, и мое тело и душа, принадлежащие последнему человеку на земле, взорвутся и, оставив все без ответа, превратятся в ничто. Вот тогда-то, киты, обращаясь к своим неизменным друзьям — деревьям, вы пошлете сигнал: ВСЕ ХОРОШО! Каждый листочек, каждая травинка присоединит свой голос к могучему

1. В "ИЛ" печатались романы Абэ Кобо: "Женщина в песках" (1966, № 5), "Чужое лицо" (1967, № 12), "Сожженная карта" (1969, № 8), "Вошедшие в ковчег" (1986, № 10–12). Здесь и далее романы Абэ Кобо цитируются в переводе В. Гривнина.
2. В "ИЛ" печатались романы Оэ Кэндзабуро: "Футбол 1860 года" (1972, № 1–2), "Объяли меня воды до души моей..." (1978, № 3–4), "Записки пинчраннера" (1981, № 11–12). Далее его романы цитируются в переводе В. Гривнина.

хору: ВСЕ ХОРОШО!" ("Объяли меня воды до души моей..."). Разрушая природу, человек разрушает себя, ибо природа во всем, в нем самом, дана ему во спасение.

Почему так важно это понять? Потому что речь идет о жизни и смерти человеческого рода, сделавшего все возможное, чтобы земля отвергла его. Теряя со-чувствие, теряют основу, ибо чувство соединяет одно с другим. Потому и страшен распад, "эмоциональная распущенность": падшее чувство поворачивает человеческое развитие вспять. Все связано между собой. Безумные оргии заглушают голоса природы. От металлического рока сохнут цветы — что уж говорить о человеческой душе! От глупости, вульгарности, пошлости исходит отрицательная энергия, одной своей окраской серо-бурого цвета разрушающая живые клетки.

Мысль, утратившая опору в чувстве, не способна к благим переменам. "Усеченное сознание", "одномерный человек" не чувствует боль другого, не со-страдает, не терзается муками совести. Одномерный человек признает что-то одно: или индивидуальную свободу (от всего святого), или всеобщую свободу — глобализацию, не видя особенного; и лишь загоняет болезнь внутрь. Если нет ничего святого, то все дозволено. Поэтому и глобализация, выросшая из прекрасных ростков всеединства, вызывает столь сильное отторжение.

В Японии, унаследовавшей совсем другую традицию, возникли те же проблемы. Поэтому Оэ Кэндзабуро и назвал свою нобелевскую речь 1994 года "Многосмысленностью Японии рожденный"[1]. Как ни стремится Оэ привнести в японскую литературу лучшее из того, что он находит в европейской, все же делает он это чисто по-японски: недоговаривая, намекая, подводит к мысли о высшей ценности личности. Но личности именно "достойной", "человечной" — то, что французы называют "humaniste", — "ведь оба эти слова включают в себя такие понятия, как толерантность и гуманизм". Он вспоминает профессора Кадзуо Ватанабэ, который, по слову Оэ, "в атмосфере до безумия накаленных патриотических чувств, в годы Второй мировой войны, оставаясь одиночкой, лелеял мечту соединить гуманистический взгляд на человека с традиционным японским восприятием красоты и природы, которое, к счастью, не было до конца истреблено". То есть японская традиция выдержала испытание той цивилизацией, которая скорее ассоциируется с "огнем и мечом", чем с "мечом и хризантемой".

Естественно, и Оэ не избежал чувства ностальгии: "Спустя сто двадцать лет после открытия страны и начала модернизации, сегодняшняя Япония находится как бы между двумя полюсами многосмысленности. И я как писатель живу, чувствуя, что эти полюса отпечатались во мне, словно глубокие рубцы". Он заканчивает свою речь словами об "изъянах и пороках" XX столетия, появившихся в результате "чудовищного развития техники и коммуникации" — в ущерб человеческим качествам, и мечтает "что-нибудь сделать для излечения и примирения человечества". Для этого и пишет свои романы. В интервью критику Ватанабэ Хироси Оэ говорит о том, что побудило его написать роман "Объяли меня воды до души моей...": потоп, означающий конец мира, подступил уже к самой груди, или к душе человека, и вот-вот покроет его с головой, если люди не опомнятся, не перестанут разрушать дом бытия. Он признает неизбежность встречного потока культур, говоря словами поэта-романтика Китамура Тококу (1868—1894): "Поток стремится с Востока на Запад и с Запада на Восток. Страны света являют собой лишь разные стороны единого мира идей". Причастное Истине не исчезает, но что-то мешает их встрече.

Кавабата видел путь спасения в приобщении к красоте, преобразующей душу: "Созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви, и слово "человек" начинает звучать как слово "друг".

1. См. "ИЛ", 1995, № 5. Далее цитируется в переводе Н. Старосельской.

"Снег", "луна","цветы" – красота сменяющих друг друга четырех времен года – по японской традиции олицетворяют красоту всеобщую: гор, рек, трав, деревьев, бесконечных явлений природы и красоту человеческих чувств".

В одном из последних своих эссе "Нетленная красота" Кавабата уверяет: будущее страны зависит не от мощи государства, не от материального богатства, а от духовной красоты народа. То есть от того самого "чистого, светлого, правдивого сердца", вера в которое возникла в древности и уже не может исчезнуть, пока жива Япония.

По прозрению Достоевского, "красота спасет мир", потому что она присуща ему, она есть целое, или истина. Эта мысль выражена, например, и в буддийской сутре "Вималакирти", где сказано: "Если сердце чисто, то и все чисто; если сердце нечисто, то и все нечисто". А на языке Конфуция она звучит так: "Благородный человек (*цзюньцзы*) идет вверх; мелкий человек (*сяожэнь*) идет вниз" (Лунь юй, XIV, 23). Это значит, что энергия благородного все более утончается, одухотворяется по мере приближения к небу, позволяя осуществить назначенное человеку: быть Срединным между небом и землей, Триединым, осуществить небесный замысел.

И на Востоке и на Западе рождаются одни и те же идеи, исходя из одного истока. Буддисты называют его "единым сердцем-сознанием", христианские философы – "вселенским сознанием" (Е. Трубецкой). "Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности: стать Богом, – пишет Гессе, – это значит так расширить свою душу, чтобы она могла объять вселенную... Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек". Тогда и осуществится "человек гуманный", к которому направлен "человек разумный" в силу единой нравственной природы сущего.

P. S. Наверное, покажется странным некоторое несоответствие между тем, что написано мною о Пути японской культуры, и тем, что говорит в этом же номере "ИЛ" японский автор Нумано Мицуёси о японской литературе последних десятилетий. Но ничего странного тут нет: я пишу о "неизменном" (*фуэки*), японский автор – об "изменчивом" (*рюко*). Но то и другое – правда, только разного порядка. "Изменчивое", естественно, меняется, чтобы сохранилась Основа, без которой – всё прах. Теперь "изменчивое" таково, что стираются грани, идет процесс взаимопроникновения всего со всем. Собственно, и современные японские классики – Кавабата, Танидзаки – начинали с отрицания своей традиции, но вовремя остановились. Это характерно для японских писателей: с годами возвращаться к истокам. Да и молодые писатели долго ли продержатся в этой невесомости, когда "все на свете проносится мимо, – по ощущению Мураками Харуки, – вот и нас несет неведомо куда".

Что ни говори, это непривычно для японцев, прошедших школу самурайской самодисциплины, самообладания, без которой вряд ли возможны были бы нынешние успехи страны. И сколько ни дерзает и ни дерзит молодежь, обновившись, она вернется к тому, за что любят Японию и в чем нуждается если не потерянное, то явно растерянное человечество.

Нумано Мицуёси свое вступление к двухтомнику "Новая японская проза", вышедшему в издательстве "Иностранка" (М., 2001), озаглавил "Не только самураи". Тоже вызов? Поверх барьеров? И да, и нет: для японца быть поверх – значит оставаться самим собой.

# “Самоирония – способ защиты от внешнего мира”

## Беседа с итальянским писателем Джузеппе Куликкьей

Итальянская литература выходит из кризиса. Итальянская литература вновь приковывает к себе внимание. И в нашей стране тоже стали чаще печататься книги новых или заново открытых современных итальянских авторов. Некоторые из них впервые появились по-русски именно в “Иностранной литературе”: достаточно назвать романтического архаиста Алессандро Барикко или скандалиста Альдо Нове, чья “Супервубинда” в конце прошлого года вызвала большой переполох.

Наша читающая публика была бы менее шокирована жестокостью и откровенностью Нове, если бы знала, что он — только “крайний левый” в литературном течении “молодых каннибалов”, взорвавших, по мнению итальянских критиков, ту тихую провинциальную заводь, в которую понемногу превратилась итальянская словесность.

Спектр “молодых каннибалов” достаточно широк. Объединяет их то, что все они выросли в больших городах и начали публиковаться задолго до своего тридцатилетия. Они изъясняются фразами английских песенок и рекламными слоганами и не боятся запретных слов и тем. Но главное, что их объединяет, — поразительная смесь цинизма и нежности, сарказма и незащищенности. “Молодые каннибалы” — это голоса молодых европейцев эпохи “конца истории”.

Теперь российские читатели имеют возможность познакомиться с другим полюсом “каннибализма”. В издательстве “Панглосс” вышел роман туринца Джузеппе Куликкьи “Все равно тебе водить”.

Это история взросления молодого человека, которого осаждают хорошо знакомые многим его ровесникам проблемы. Как попасть на альтернативную службу, если не хочешь служить в армии? Как найти общий язык с родителями? Как зарабатывать на жизнь, не становясь рабом работы? Как, наконец, найти любовь, если тебе подсовывают только секс?

Эта немудреная, на первый взгляд, история, написанная сухим языком и обильно сдобренная злой самоиронией, имела в Италии оглушительный успех.

Опубликованная в 1993 году книга получила премию "Монблан", не раз переиздавалась, вскоре после выхода по ней сняли фильм, ее перевели практически на все европейские языки, а продавец книжного магазина, вольнослушатель философского факультета Джузеппе Куликкья был объявлен у себя на родине одним из самых перспективных молодых авторов.



В марте нынешнего года Джузеппе Куликкья побывал в Москве. Посетил он и редакцию "ИЛ", где состоялась публикуемая ниже беседа.

**"Иностранная литература".** В России ваш роман "Все равно тебе водить" вышел совсем недавно, так что наше знакомство только начинается. Скажите, вы соотносите свое творчество с какими-то направлениями, движениями в молодой итальянской литературе, или вам кажется, что вы существуете сами по себе?

**Джузеппе Куликкья.** На такой вопрос сложно ответить. Это критики определяют и относят тебя к какому-то движению. А писатель — он пишет. Литературная ситуация в сегодняшней Италии очень отличается от той, что была в 60-70-е годы. Тогда существовали четко обозначенные литературные течения, выпускались манифесты и декларации.

Сейчас же картина очень раздробленная. Так же, впрочем, как и во всех областях жизни, не только в литературе. Все общество раздроблено. Когда я выпустил свои первые романы, одни критики записали меня в "палп-фикшн", в "молодые каннибалы", другие же решительно отказывались причислять меня к этому течению. Сам я считаю, что не принадлежу к "каннибалам". У "каннибалов" в романах постоянно льется кровь и присутствуют "сильные" сцены — то есть отражаются стереотипы в первую очередь американского кино и американской же литературы второго ряда. А я стараюсь говорить о своей стране.

Таков роман "Все равно тебе водить", где речь идет о двадцатилетнем пареньке. Это не "история поколения", я не пытаюсь рассказать о молодом поколении Италии. Все молодые — разные. Но мне было важно показать современный мир, увиденный глазами молодого человека. Критика назвала эту книгу чисто "молодежной". Я лично думаю, что это не так. Книги читают, принимая во внимание не возраст героя или автора, а то, о чем и какова эта книга. Один из самых молодых писателей Италии — Альберто Арбазино, которому семьдесят один год. У него такой интерес к жизни, какого нет у многих двадцатилетних авторов.

**"ИЛ".** Но критики все-таки пользуются этим определением — "палп-фикшн" — применительно к вашим книгам... Чувствуете ли вы какое-то родство, скажем, с Тарантино?

**Д. К.** Скорее, пожалуй, с Эллисом. Потому что в книгах Эллиса — живая кровь. А в фильмах Тарантино не очень. Эллис описывает определенное общество. У него сильна критика современного американского общества. Он умело использует такой инструмент, как диалог, а также комические сцены. И эти сцены перемежаются трагическими, очень тяжелыми. У Тарантино тоже ужасные сцены соседствуют со сценами, полными юмора. В моем романе "Все равно тебе водить" юмор, ирония — это основа.

**"ИЛ".** Ирония или самоирония?

**Д. К.** И то, и другое. Для героя моего романа самоирония — способ защиты от внешнего мира.

**"ИЛ".** А в какой степени в книге отражен личный опыт автора? Где проходит граница между Вальтером и его создателем Джузеппе?

**Д. К.** Всегда очень сложно держать персонаж под контролем. Потому что у него свой голос, свои слова. Если герой говорит чужими словами, то читатель понимает: это персонаж не живой, придуманный.

Когда я начинал писать, я писал рассказы, в которых было много автобиографического. Но они никого не интересовали. У меня жизнь не такая яркая, как у Хемингуэя, и через полстранички мои рассказы становились ужасно скучными. Я понял, что надо обращать больше внимания на то, что происходит в действительности — прямо перед глазами и автора, и читателя, — и отбирать материал. Надо показывать реальную историю, какой ее видят персонажи.

Так, университет, в котором учится Вальтер, — это университет, где учился и я. С героем происходят вещи, которые в той или иной степени происходили со мной. Но только потому, что автобиографический материал выпукло отображает жизнь итальянской университетской среды. И мой опыт в этом плане типичен. Другие же сюжетные элементы — плод воображения. Например, семья Вальтера, его отец-рабочий.

Дело в том, что книга вышла в очень странный период жизни Италии. Действие романа происходит в 1989 году (год падения Берлинской стены), напечатан он в 1993-м. Тогда бóльшая часть рабочих голосовали за Берлускони. Рабочие, такие как отец Вальтера, верили всему, что показывают по телевизору, и думали, что для того, чтобы разбогатеть, достаточно выиграть в телелотерею. Это была фальшивая Италия с голыми танцовщицами на экранах и с миллиардами лир, сыплющимися из телевизора. Именно эта Италия притягивала иммигрантов из Югославии и Албании... Отец Вальтера принадлежит к поколению, которое испытало огромное разочарование после всего случившегося в 70-е годы (хотя оно в большой степени в той эпохе и осталось), он больше ни на что не надеется.

**"ИЛ".** Интересно отметить: действие вашего романа происходит в 1989 году, но тогда все описанное было абсолютно невозможно в России, зато реалии книги точно совпадают с реалиями Москвы второй половины 90-х.

**Д. К.** Мне это приятно и печально.

**"ИЛ".** Почему печально?

**Д. К.** Ну, ведь бедняга Вальтер растерян, он не знает, куда ему идти.

**"ИЛ".** Вы сказали, что ирония, самоирония — это защита от мира. Что стоит за такой позицией? По-русски "защита от мира" звучит очень веско, очень внушительно.

**Д. К.** Мне нравится, что это звучит веско. История Вальтера — классическая история перехода из отрочества во взрослую жизнь. Но в классическом романе воспитания герой растет, зреет и наконец находит свое место в мире. Вальтер же никакого места в мире не находит. Вальтер всегда не на месте. И поэтому ему нужно защищаться от мира, ведь у него совсем не осталось "зацепок". Он не верит в политику, не верит в религию, не интересуется карьерой, он сам не знает, чего хочет.

**"ИЛ".** Но из романа видно, что он верит в вечную любовь.

**Д. К.** Верит, но тоже с большой долей самоиронии — называя себя "месье Бовари", "молодой Вертер".

**"ИЛ".** Вы говорите об иронии и самоиронии как о форме защиты от мира, а причисляете ли вы себя к игровой литературе, где такое отношение очень распространено, или считаете себя скорее социальным писателем?

**Д. К.** Я думаю, что литература всегда социальна. Даже американские любовные романы, даже Дэниэла Стил.

**"ИЛ".** Но ведь самые знаменитые итальянские писатели — Умберто Эко, Итало Кальвино — это же игровая литература, по существу — интеллектуальная игра?

**Д. К.** Меня не слишком интересуют интеллектуальные игры — развлечение для высоколобых, демонстрация своих возможностей, упражнения в стиле Раймона Кено. Право каждого заниматься подобными вещами, но мне лично это не интересно. Хотя, например, Умберто Эко, играя в такие игры, добился огромной популярности.

**"ИЛ".** Ваша позиция — отказ от интеллектуальной игры, социальная конкретика — характерна для писателей вашего поколения?

**Д. К.** Все наше поколение — Амманити, Нове, — мы пишем так, чтобы максимально приблизиться к "правде жизни". Это не высокий литературный слог, это язык обыденности. Возможно, мы научились этому прежде всего у Пьеро Витторио Тонделли, который тоже был усердным читателем североамериканской литературы.

**"ИЛ".** То есть происходит возвращение к неореализму? На новом витке?

**Д. К.** Нет. Приемы неореализма использовать больше невозможно. Если я сейчас напишу неореалистический рассказ, это вызовет смех, это просто немыслимо.

**"ИЛ".** А если применить термин "гиперреализм"?

**Д. К.** Гиперреализм — это да. Именно с помощью гиперреализма можно рассказать о такой "гиперреальной" стране, как Италия. Например, хозяйка книжного магазина, в котором работает Вальтер, держит ручного броненосца, потому что она хочет выделиться, быть "исключительной".

**"ИЛ".** Кроме Амманити и Нове, кого бы из современных писателей, писателей своего поколения, вы отметили?

**Д. К.** Я уже назвал Арбазино. В его книгах всегда есть характеры, настоящие итальянские типы. К счастью, он оставил в прошлом формальные эксперименты Группы 63, которые сейчас уже не так актуальны, и два-три года назад выпустил книгу "Итальянские пейзажи с зомби", очень верно отражающую действительность.

**"ИЛ".** Вы часто встречаетесь с читателями?

**Д. К.** Да, часто.

**"ИЛ".** Тем не менее, высказывалось мнение, что имена Куликкьи, Амманити, Нове ничего не говорят даже студентам-филологам итальянских университетов... Почему молодые читатели не знают молодых авторов, не знают книг, которые отражают жизнь молодежи?

**Д. К.** Мой первый роман "Все равно тебе водить" вышел в Италии суммарным тиражом в 250 тысяч экземпляров. В этом году появилось десятое издание — девять тысяч экземпляров. Так что какая-то молодежь меня, вероятно, читает.

Если говорить серьезно, проблема в том, что в школе приходится читать много книг "по программе". С ними бы справиться! Только после школы молодежь начинает читать "для себя". Хотя меня приглашали в сотню школ — на обсуждение моей книги, для меня это каждый раз было сюрпризом. Преподаватели даже задавали ученикам читать роман "Все равно тебе водить". (Я им сочувствую.) И для них это оказалось интересно, они не ожидали, что в школе могут "задать" такую книгу.

Да, там встречаются нецензурные выражения. Молодежь это удивляло (видно, в школе они никогда не читали, например, Рабле). И мне всегда приходилось объяснять, что я использую ненормативную лексику только потому, что это необходимо в той истории, которую я рассказываю. Иначе такой персонаж, как Вальтер, окажется просто неправдоподобным. Хотя сам он никогда не матерится вслух, а только про себя.



**"ИЛ".** А преподаватели не протестовали?

**Д. К.** Некоторые протестовали. И такие учителя не давали своим ученикам задания прочесть книгу. Но у других взгляды оказались более широкими, и они признавали, что здесь использование ненормативной лексики не вульгарно. Теленовости куда вульгарнее. Потому что новостные передачи сейчас стали настоящей порнографией – порнографией духа.

**"ИЛ".** А в издательствах вы не сталкиваетесь с трудностями, когда печатаете тексты с такой лексикой?

**Д. К.** Нет, здесь нет проблемы. Хотя, конечно, это зависит от издателя. Весь вопрос в том, употреблена ли ненормативная лексика потому, что она нужна, или же нарочито, демонстративно.

**"ИЛ".** К какой современной литературе итальянские читатели проявляют больший интерес – к своей или чужой, американской, французской и т. д.?

**Д. К.** Я бы сказал, что читающая публика выбирает современных итальянских писателей. Например, когда умер Альберто Моравиа, тут же были изданы "Неопубликованные произведения" Моравиа. А ведь при жизни он сам напечатал огромное количество книг!

Конечно, всегда интереснее читать книги, которые рассказывают тебе о том, что происходит вокруг. И где герой – не интеллектуал, не литератор, который мучается и пытается писать книгу. Разумеется, я говорю о тонком слое "настоящих" читателей, потому что большинство читает бульварные романы или газеты.

**"ИЛ".** Вы знакомы с современной русской литературой?

**Д. К.** Я купил, но пока еще не читал, книги Виктора Пелевина... Не знаю, насколько они хороши по сравнению с Булгаковым. И кроме того, перед приездом в Россию читал книгу русского автора... простите, я забыл имя... он настоящий шофер грузовика...[1]

**"ИЛ".** Какие писатели – итальянские и неитальянские – повлияли на вас как на художника?

**Д.К.** Прежде всего – Хемингуэй. Его диалоги. В них веришь. И кроме того, это первый писатель XX века, который старался использовать поменьше слов. У него этому научился Реймонд Карвер. И еще – Эллис, Джей Макинерни, Буковски.

Можно заметить, что у тех американских авторов, которых я назвал, очень мало американского. У них нет того, что характерно для американского сознания. Буковски очень антиамериканский. Я это не потому говорю, что я сейчас в России.

**"ИЛ".** То есть для вас очень много значила современная американская литература?

**Д.К.** Интереснее учиться у тех, кто дальше. Потому что они не принадлежат к потоку, который тебе навязан со школы, к той литературе, которую ты обязан читать и изучать.



1. Дмитрий Бакин. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

А из итальянских писателей, кроме Тонделли, я хотел бы назвать автора, который, может быть, не очень известен — Паоло Вольпони.

**"ИЛ".** Ваши предпочтения в области современной итальянской поэзии?

**Д. К.** Я очень мало читаю поэзию. Можно сказать, практически не читаю. Последние стихи, которые я читал, это был Аллен Гинзберг.



**"ИЛ".** По-итальянски или по-английски?

**Д. К.** В двуязычном издании.

**"ИЛ".** Гинзберг тоже сидел в этом кабинете, в этом самом кресле.

**Д. К.** Мне теперь, наверно, надо встать...

**"ИЛ".** Следующему гостю редакции, скажем, итальянскому писателю, мы непременно сообщим, что в этом кресле сидел Куликкья.

**Д. К.** Может, он тогда не захочет в нем сидеть!

Возвращаясь к нашей теме, хочу сказать, что я читаю не только американцев. Несколько лет назад я открыл для себя Томаса Бернхарда. Это интересно, потому что у него очень своеобразная смесь жестокости с комизмом.

**"ИЛ".** Вы сейчас что-нибудь пишете?

**Д. К.** Да, я сейчас много пишу — и по двум причинам. Во-первых, вот уже пять лет как я живу на то, что пишу. Поэтому я постоянно что-то творю. Два года назад я приобрел компьютер, и теперь работаю на нем, а до этого писал от руки или печатал на машинке. На компьютере все получается быстрее. Сейчас у меня много идей, потому что три года я не писал ничего большого. И сейчас я занят книгой об Италии 70-х годов, это забытый период нашей истории. Есть молодежь, которая просто ничего не знает о том, что происходило двадцать пять лет назад... Вот в чем проблема! Ведь мы ничего не поймем в сегодняшней жизни, если не будем знать, что именно происходило тогда. Это первая моя книга, действие которой происходит не в то время, в которое она пишется. Здесь дистанция в двадцать лет.

**"ИЛ".** Вы начали с рассказов и больше не возвращались к этому жанру?

**Д. К.** В 2000 году я выпустил книгу "Амбарабб", которая "сконструирована" из двадцати одной истории, и там соответственно двадцать один персонаж. Поэтому она и составлена из двадцати одного рассказа. Но поскольку критики, как правило, обращают меньше внимания на рассказы, чем на романы, я сделал так, чтобы эти рассказы, собранные вместе, казались романом, в надежде, что критики и читатели мне поверят.

**"ИЛ".** А допустимо ли публиковать рассказы из этой книги по отдельности?

**Д. К.** И да, и нет. Действие книги происходит "в нигде". То есть на станции метро. Я думал выбрать универмаг, но это место уже было использовано. На платформе стоит двадцать один человек в ожидании поезда. И я постарался использовать эти пять минут до прихода поезда, чтобы описать, что думает каждый из них, и рассказать историю каждого.

**"ИЛ".** Приходится ли вам как-то приспосабливаться к требованиям и условиям книжного рынка, чтобы жить литературой? Может быть, в какой-то степени ломать себя?

**Д. К.** Ну, я еще пишу для газеты. Это дает мне деньги и позволяет не переступать через себя, когда пишу художественные произведения.

**"ИЛ".** Ваш последний роман "Прогулки с Ансельмом" вырос именно из этих колонок в "Стампе"?

**Д. К.** Некоторые главы действительно очень похожи на мои газетные публикации. Но они не сразу стали книгой, а только после того, как я начал получать множество писем от читателей газеты, которые хотели познакомиться с Ансельмом. Потому что Ансельм — это муравьед, и он имеет диплом философа, играет на бас-гитаре, а потом становится панком. Этим и интересен. Так, например, Ансельм собирается протестовать против деятельности Всемирной торговой организации. И это было до известных событий в Генуе, я писал за два года до них.

**"ИЛ".** Так вы пророк, каким был Леонардо Шаша, который предсказал убийство Альдо Моро!

**Д. К.** Ну, не до такой степени... Кстати, убийство Моро... Для нынешних двадцатилетних упоминание о нем — почти что пустой звук.

**"ИЛ".** Какое значение вы придаете занимательности сюжета? То есть каким-то внешним аспектам?

**Д. К.** Я не очень верю, что в нынешних условиях возможно разрабатывать сюжеты. Наша жизнь — не цельный сюжет. Она очень фрагментарна, разбита на эпизоды. Мы не движемся из пункта А в пункт Б. И поэтому в моих книгах тоже нет больше единого сюжета. Читатель движется от эпизода к эпизоду. Примерно как в жизни. Хотя, конечно, я бы хотел однажды — в виде эксперимента — попробовать написать классический роман, с сюжетом, с эффектными сценами, как у Толстого.

**"ИЛ".** Представьте себя в кресле главного редактора нашего журнала. Кого из современных итальянских авторов, по вашему мнению, надо немедленно печатать?

**Д. К.** Тициано Скарпу, детективщика Карло Лукарелли. Но самый великий современный итальянский писатель, которого надо публиковать в первую очередь, — это Альтан[1]. Он делает подписи к собственным карикатурам, и эти подписи — необыкновенный экстракт. В нормальном журнале это заняло бы страниц десять. В нынешнем году он получил премию как лучший итальянский журналист. Хотя он просто рисует и делает подписи. Он публикуется в "Републике", и множество его книжек выпустило издательство "Бомпиани".

**"ИЛ".** И по-вашему, это крупнейший современный итальянский писатель?

**Д. К.** Совершенно точно.

**"ИЛ".** Как вы относитесь к тому факту, что книги все чаще и чаще воспринимаются как сырье для кинематографа и успех их определяется успехом у киношников? Например, роман "Все равно тебе водить" был сразу экранизирован, и значит — это хорошая книга.

**Д. К.** Я не думаю, что это была подходящая книга для кино. Во всяком случае, экранизация требовала большой работы сценариста. Вообще киношники обращаются к литературе потому, что у сценаристов не хватает оригинальных идеей. В итальянском кино появилось несколько новых режиссеров, но был довольно длительный период упадка. А все почему? Потому что все смотрят американское кино.

Для тех, кто не ходит в книжные магазины, действительно важно, чтобы книга была экранизирована. Это люди, покупающие одну-две кни-

1. Туллио Франческо Альтан (р. 1942). Создал в 1975 году рисованный персонаж по имени Пимпа — сначала для детей, но уже через два года Пимпа стал сатирически откликаться и на события взрослой жизни. Кроме карикатур, Альтан выпускает также и романы, занимается театральной и кинематографической сценографией. Неоднократно получал премии как карикатурист и журналист, выставки его рисунков проходят по всей Европе.

ги в год и, может быть, именно те книги, по которым были сняты известные им фильмы. Только имейте в виду, что Италия — страна, где вообще очень мало читают. В Италии продается меньше книг, чем в любой европейской стране, за исключением Греции. Если считать по количеству экземпляров. Например, в Голландии, которая вся размером с Ломбардию, продается больше книг, чем в целой Италии. Здесь, в Москве, я вижу повсюду множество людей, которые читают.



**"ИЛ".** Донцову, Маринину...

**Д. К.** Пускай детективы, главное, что читают! Человек, начав с детективов, может пойти и дальше. Зайти в книжный магазин за Стивеном Кингом и заинтересоваться, например, Куликкьей. В Италии мы этого не увидим.

*Запись беседы* Михаила Визеля

# Vade mecum[1]

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI. *Najkrótszy przewodnik po sobie samym.* Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000

ГУСТАВ ХЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ. *Кратчайший путеводитель по себе самому.* Краков, Выдавництво Литерацке, 2000

Быть может, потому, что автобиография, по словам польского ученого М. Залеского, "однажды начатая, навсегда останется лишь одной из незавершенных версий, требующих пересмотра и дополнений", ее автор нередко испытывает потребность в подчинении такого рода повествования – хаотического по своей психологической природе – неким жестким формальным критериям. Достаточно плодотворным, например, оказалось "алфавитное решение": в 90-е годы за "Азбукой Киселя" (1990) Ст. Киселевского – наследницей "Алфавита воспоминаний" (1975) А. Слонимского – последовали сразу два "алфавита" Ч. Милоша ("Азбука Милоша", 1997, и "Другая азбука", 1998). Вспоминается и пример из русской прозы – "Телефонная книжка" (1997) Е. Шварца. Однако "автопутеводителей" литература, кажется, еще не знала...

В контексте творчества самого Густава Херлинга-Грудзинского "Кратчайший путеводитель по самому себе" – книга одновременно и нетипичная, и необыкновенно органичная.

Нетипичная, поскольку – несмотря на несомненную и порой подчеркнутую автобиографичность большинства произведений Грудзинского, в первую очередь публиковавшегося с 1971 г. до самой его смерти "Дневника, писавшегося ночью", – писатель был достаточно сдержан в разговорах "о самом себе".

Основой "Кратчайшего путеводителя..." послужили беседы писателя с польским литературоведом Вл. Болецким для телевидения. Напомним, что в польской прозе существует богатая традиция жанра "интервью-реки" (термин, возникший по аналогии с "романом-рекой"). Именно такие обширные повествования – порой на грани художественного и документального – были в 70–80-е гг. бестселлерами "самиздата", а порой получали и мировую известность (беседы с В. Гомбровичем, А. Ватом, Т. Конвицким, Ст. Лемом, Ч. Милошем и др.). "Романность" подобных интервью заключалась в том, что они стремились к возможно более полному охвату некоего ряда проблем, принимая форму свободной беседы, саги, более или менее упорядоченного потока воспоминаний.

Однако у "Кратчайшего путеводителя..." другая задача. Это и в самом деле именно "частный вademекум", своеобразная "шпаргалка" или конспект – достаточно тем не менее подробный, чтобы разглядеть сквозь него и благодаря ему облик писателя. Книга начинается главой "Детство" и заканчивается "Верой". А между ними "располагается" судьба: со множеством встреч ("Учителя", "Дружбы", "Семья"), прочитанных книг ("Юношеское чтение", "Писатели"), драматических и трагических событий, неожиданных поворотов. Львов, захваченный СССР, арест весной 1940-го, лагерь – в главе "Города"; армия Андерса – в "Ближнем Востоке"; участие в битве под Монте-Кассино и награждение орденом Вирту-

1. Иди за мной (*лат.*).

ти Милитари — в "Битве", "Страхе-мужестве-воображении", "Отчаянии и мужестве"; эмиграция, тесное сотрудничество и дружба с создателем знаменитой парижской "Культуры" Ежи Гедройцем — в "Журналах" и пр.

Подобно тому как в художественной прозе Грудзинского до самого финала каждого произведения присутствует "интерес продолжения", а прочтение оставляет привкус тайны, на незамкнутости смысла построена и эта книга. Порой Грудзинский сам дает "ссылку" на то или иное свое произведение, порой такие аллюзии напрашиваются сами. Так, глава "Смертная казнь" напоминает о рассказе "Тетрадь Уильяма Моулдинга, пенсионера", повествующем об убийстве бывшего английского "штатного" палача и реконструирующем его психологию. Мысли же из раздела "Зло" отсылают сразу ко многим новеллам Грудзинского, за которым неслучайно закрепилась двусмысленная репутация "писателя зла" ("И в самом деле, это главная тема многих моих произведений", — признает автор).

Такого рода переплетения, представляющие собой самостоятельный и чрезвычайно увлекательный сюжет, многочисленны, сложны и разнообразны — в сущности, из них и состоит ткань книги.

Рассказы Грудзинского польская критика определяет как "метафизические детективы": это почти всегда попытка повествователя-писателя "расследовать", понять и дать язык событию, полускрытому временем, легендой, историей. Нечто подобное происходит и в данном случае, только материалом оказывается уже собственная судьба. И как в новеллистике Грудзинского истории героев переплетаются с великолепными путевыми заметками, интереснейшими рефлексиями о писательском сознании и его возможностях, так и здесь биографические воспоминания неразрывно связаны с размышлениями об универсальных ценностях — дружбе, мудрости, справедливости или вере. Развивается и основной "детективный" сюжет художественной прозы Грудзинского — сама возможность или невозможность "накрыть словом" человеческий опыт.

В "Кратчайшем путеводителе...", как и в новеллистике Грудзинского, одним из центральных мотивов — в том числе с точки зрения формы — является своего рода "роман" писателя с пространством. Подобно тому как в художественную прозу писателя "вмонтированы" блестящие, буквально завораживающие пейзажные зарисовки (в первую очередь итальянские), эта книга пронизана отсылками к ним, постоянным ощущением, что именно пространство в конечном счете оказывается выражением человеческого самоощущения и эмоционального опыта.

К моменту создания книги писатель провел в Италии более сорока лет. Процесс окончательного врастания в эту страну — возвращения в нее навсегда после нескольких лет, проведенных в Лондоне и Мюнхене, — был долгим и чрезвычайно сложным. "Я быстро убедился, что это город закрытый, в котором мне не было места. В первые годы я чувствовал себя в Неаполе очень плохо. В то время интеллектуальную жизнь все еще определяли итальянские коммунисты, не дававшие таким, как я, права голоса. <...> Якобы я рассказывал какие-то небылицы о коммунизме в СССР". Как известно, одна из коммунистических итальянских газет даже требовала выдворения Грудзинского из страны. До 1989 г. писатель, по сути, жил в Италии в изоляции, и лишь потом Неаполь им, по его собственному выражению, "заинтересовался". В то же время писатель говорит, что "с первых мгновений был заворожен Неаполем-городом", словно бы "физически прильнул к этому месту".

Самым счастливым городом остается для Грудзинского Рим. "Рим меня завораживал — меня охватывало необычайное, почти эйфорическое ощущение свободы. После проведенных в лагере и в армии лет удивительно было так шататься по улицам, купаться в Тибре (тогда это еще было возможно!), сидеть в кафе, болтать с людьми... Я ходил по галереям, бродил по музеям, восхищался архитектурой. Благодаря Кристине, устроившей себе в нашей мансарде на берегу Тибра мастерскую, я начал учиться понимать живопись. Моей любви к Кристине сопутствовала только что родившаяся любовь к искусству. Мы много ездили по Италии — в Венецию, во Флоренцию и так далее. Рим — это была Кристина, живопись, архитектура, ощущение свободы и Литературный институт, основанный Гедройцем".

В прозе Грудзинского счастливое и органичное приятие Италии нередко противопоставлено горькому лондонскому опыту. И слова из "Путеводителя": "Лондон красивый город, но пребывание в нем я вспоминаю как кошмар" — тут же воскрешают в памяти читателя страницы "Венецианского портрета" и "Тетради Уильяма Моулдинга, пенсионера": "Я помню, что Лондон оттолкнул меня сразу, как только я здесь поселился — а тогда ведь я был свободен от какого бы то ни было связанного с этим городом опыта, моя лондонская жизнь еще была белой страницей. <...> "Этот город последует за мной", — говорил Кавафис об Александрии. Нечто подобное я мог сказать о нескольких городах моей жизни — больших и маленьких. Не о Лондоне. Этот город, тяжелый и болезненно разросшийся, никогда не последует за мной".

"Кратчайший путеводитель..." дает читателю Грудзинского поистине удивительную возможность еще раз, вместе с ним пережить и словно бы пропустить через себя — с помощью аллюзий и отсылок к художественной и документальной прозе — особенности мышления, опыта, повествования этого замечательного польского прозаика XX столетия.

Поэтому вряд ли можно назвать эту книгу точнее, чем путеводитель, другими словами — VADE MECUM.

Ирина Адельгейм

# Два Шекспира Энтони Бёрджесса

Энтони Бёрджесс. *Влюбленный Шекспир.* Перевод с английского А. И. Коршунова. М., Центрполиграф, 2001
Энтони Бёрджесс. *Уильям Шекспир. Гений и его эпоха.* Перевод с английского Г. В. Бажановой. М.: Центрполиграф, 2001

Русскому читателю Энтони Бёрджесс, один из самых плодовитых и разноплановых английских писателей второй половины XX века, до недавнего времени был известен прежде всего как автор "Заводного апельсина" — и то скорее по нашумевшему в свое время одноименному фильму Стенли Кубрика. Тем не менее Бёрджесс, являющийся не только романистом, но и драматургом, критиком, переводчиком и даже музыкантом, в своем творчестве не раз обращался и к шекспировской теме. Его перу принадлежат несколько лекций и статей о Шекспире, написанных для литературоведческих изданий, а также романы "МФ" ("MF", 1971), "Смуглая леди Эндерби" ("Enderby's Dark Lady", 1984), "Мертвец в Детфорде" ("Dead Man in Deptford", 1993), действующие лица и сюжетная интрига которых непосредственно связаны с елизаветинской эпо-

хой и ее главным героем, "великим английским бардом". Времена Кристофера Марло и Бена Джонсона, театров "Роза" и "Глобус" во многих произведениях Бёрджесса не только исторический фон или броская декорация; воссоздание атмосферы, в которой живут и действуют его персонажи, — одна из важнейших творческих задач для писателя.

Литература о Шекспире поистине огромна: новые и новые исследования о "стратфордском лебеде" и его эпохе постоянно пополняют бесконечную шекспириану на многих языках мира. Роман Бёрджесса "Влюбленный Шекспир" ("Nothing Like the Sun. A Story of Shakespeare's Love-Life", 1964), заглавие которого было бы корректнее перевести на русский как "На солнце не похожи. История любовной жизни Шекспира", и его монография "Шекспир" ("Shakespeare", 1970), получившая при переводе отсутствующий в оригинале подзаголовок "Гений и его эпоха", — еще одно высказывание на эту открытую для дискуссии и неисчерпаемую тему.

Роман "Влюбленный Шекспир" — попытка реконструировать биографию великого поэта. Эпиграф, представляющий собой начало знаменитого 130-го шекспировского сонета "My mistress' eyes are nothing like the sun" (и почему-то отсутствующий в русском издании), объясняет название романа. В переводе С. Я. Маршака эта строка звучит как "Ее глаза на звезды не похожи". Русская же версия издательства "Центрполиграф" следует при переводе — вероятнее всего, в чисто коммерческих целях — за вышедшим несколько лет назад популярным фильмом "Влюбленный Шекспир".

В таком названии есть доля логики: главный герой романа действительно Шекспир влюбленный — страдающий от несбыточных грез и эротических видений, от предательства жены, вероломства любовницы и измены любовника. Перед нами хроника частной, а точнее — любовной жизни поэта, построенная на множестве подробностей. Стоит отметить, что в эпоху "царствования" (или же заката) постмодернизма желание создать собственную, абсолютно субъективную версию жизнеописания канонизированного и уже давно мифологизированного читательским сознанием персонажа воспринимается естественно. Для английской литературы второй половины XX века тенденция развенчивать устоявшиеся социальные, культурные и литературные мифы, реконструируя или переосмысляя их, является во многом магистральной. Викторианская Англия в "Женщине французского лейтенанта" Джона Фаулза, Чаттертон и Мередит ("Чаттертон"), Мильтон ("Мильтон в Америке") Питера Акройда или, например, Священное Писание в "Истории мира в 10½ главах" Джулиана Барнса — лишь наиболее известные и удачные из множества экспериментов в этой области.

Помимо того что в русском издании "Влюбленного Шекспира" отсутствует эпиграф, в нем также опущено и очень важное авторское вступление, сразу же вводящее читателей в атмосферу игры, без которой невозможно представить ни одно произведение Бёрджесса, известного всевозможными розыгрышами (как в жизни, так и в литературе) и строившего свою литературную биографию по канонам "жизнетворчества". "Прощальная лекция мистера Бёрджесса своим *особым* студентам, <...> которые сетуют на то, что Шекспир ничего не дал Востоку", — эти нарочито провокационные слова открывают роман. Таким образом, перед нами еще одна версия жизни Шекспира, предложенная неким "мистером Бёрджессом", который не только спешит закончить беседу ("прощальная лекция"), но и сопровождает ее обильными возлияниями: "Спасибо за три бутылки

samsu. Попробуем... О, восхитительный вкус..."

Начав свою книгу как застольную лекцию-беседу, Бёрджесс вскоре озадачивает нас, заставляя разбираться в том, чей голос мы слышим и чья позиция раскрывается перед нами: повествователя (исследователя, наблюдателя), "мистера Бёрджесса" или же самого героя книги — Уилла Шекспира. В романе звучит сразу несколько голосов; повествование ведется то от третьего лица, то от первого — от лица главного героя, — то строится как гневная речь лондонского проповедника об упадке современных нравов, то оказывается монологом (диалогом) актеров или их сценических персонажей. Вспоминая, что Бёрджесс — не только писатель, но еще и композитор, невольно приходишь к мысли, что в какой-то момент роман перестает быть просто романом и начинает звучать подобно полифоническому музыкальному произведению. Сопряжение нескольких голосов, сложным образом взаимодействующих друг с другом: мелодий старинных песенок, звуков зажигательной джиги, криков лондонской толпы, боя Биг-Бена, плеска воды в реке — все это выстраивается в единую историю любовных похождений и страданий Шекспира.

Придерживаясь общей хронологии событий, "мистер Бёрджесс" знакомит нас сначала с молодым Шекспиром — честолюбивым мечтателем, "юным Уиллом — подростком в поношенном тесном камзоле, залатанном плаще, зато в новых, с иголочки, перчатках", затем со зрелым Шекспиром, обретшим и деньги, и славу ("усталое лицо с потухшими глазами"), и, наконец, с Шекспиром постаревшим, разочарованным и больным ("гнилые зубы, жиденькая бороденка, в которой уже появилась седина, и дряблая кожа"). "Великий мастер Шекспир" предстает перед нами не как загадочный и далекий небожитель литературного Олимпа, а как вполне обычный, земной человек — и при этом страстный и любвеобильный.

Литературная гениальность Шекспира на страницах романа не акцентируется, его произведения попадают в поле нашего зрения лишь в той степени, в какой их создание связано с теми или иными любовными переживаниями. Тема творчества на протяжении всего романа, особенно усиливаясь к финалу, сопрягается с темой болезни, душевного и физического проклятия. Шекспира постоянно преследуют видения — пророческие, кошмарные, — вызванные опьянением, бессонными и страстными ночами или тяжелой болезнью (по версии Бёрджесса — сифилисом, которым поэта заразила Смуглая Леди сонетов). Роман открывается фразой о том, что "во всем была виновата богиня — неуловимая, опасная и вместе с тем очень желанная"; и трагический мотив постоянных поисков героем своей темнокожей богини (а автор настаивает на том, что Смуглая Леди действительно темнокожа) проходит через весь роман. Кульминацией становится долгожданная встреча Шекспира с Фатимой, загадочной восточной красавицей, и с этого момента рассказ ведет сам Шекспир — текст романа строится в виде дневниковых записей. Фатима для Шекспира — не только исполнение всех желаний, счастье и источник вдохновения, но и трагедия, рок, мука и в конечном счете — смерть. История Темнокожей Богини (вернее, жизнь этого образа в сознании Шекспира) развивается параллельно основной сюжетной линии. И так же, как юный Уилл превращается к финалу в больного и дряхлого старика, прекрасная Фатима предстает в финале уродливой старухой.

"Влюбленный Шекспир" — история не только любовной жизни поэта; это история страдания и одиночества, дружбы и преда-

тельства, бесплодных мечтаний, успехов и неудач. Подчеркнуто антигероический образ Шекспира способствует разрушению укоренившихся в массовом сознании стереотипов: "потрясатель сцены", классик английской литературы нередко выглядит вполне заурядным человеком, все помыслы которого сводятся к тому, чтобы продвигаться по социальной лестнице (получить дворянский титул и фамильный герб), сделать успешную карьеру, иметь хороший заработок и завести страстную любовницу. Драматургия, поэзия для него — лишь ремесло, способ существования: "Он снова зарабатывал деньги, лицемерно произнося проникновенную речь и беспомощно осознавая, что слова созданы для того, чтобы скрывать истину". Бёрджесс рисует Шекспира подавленным, загнанным в угол жизненными обстоятельствами и собственным малодушием.

На протяжении всей книги играя с читателем, в эпилоге автор делает последний ход, окончательно сбивая нас с толку. Финал — это не только агония и бред умирающего поэта, но и завершающий аккорд лекции, принципиальный для игровой природы романа вопрос: "У вас есть вопросы? Вам хочется знать, кто все это говорит?.. Никакого самозванства..." Так кто же, в конце концов, к нам обращается — "мистер Бёрджесс"? Шекспир? Автор?

Опубликовав роман "Влюбленный Шекспир", Бёрджесс в 1968 году начал работать над сценарием мюзикла, условно названного "Will! or The Bawdy Bard" ("Уилл! или Певец непристойности"). Работа шла медленно и тяжело, и в результате проект был закрыт. Анализируя некоторые эпизоды этого сценария, можно заметить, что биографические детали и подробности жизни Шекспира и здесь — лишь повод для очередной фантазии, лишь внешний стимул для игры неуемного авторского воображения. Созданная два года спустя монография "Шекспир" еще раз подтверждает этот факт.

В ней автор использует разнообразнейшие источники: исторические и литературоведческие исследования, биографические и чисто литературные сочинения о Шекспире, подлинные документы той эпохи, редкие свидетельства церковно-приходских книг и архивов, воспоминания современников и пиратские фолио шекспировских произведений. И тем не менее один из исследователей творчества Бёрджесса определяет книгу позаимствованным у Джойса словом "фактификация" (factification), образованным от смешения двух английских слов — "факт" (fact) и "фальсификация" (falsification). Действительно, если искать наиболее подходящее жанровое определение, то "фактификация" очень подойдет: это все же не биография в классическом понимании термина, а еще одна, как и "Влюбленный Шекспир", версия некоторых сторон жизни и творчества английского поэта и драматурга.

В отличие от "Влюбленного Шекспира", здесь сам Шекспир не занимает центрального положения. Экономическая, политическая и социальная ситуация в Англии времен правления Елизаветы, жизнь Лондона и других английских городов, фонетические и лексические особенности староанглийского языка, история становления английского театра и английской драмы, народные праздники и церковные обряды — вот далеко не полный перечень того, о чем очень подробно рассказывает эта книга. Поэтому вполне уместен подзаголовок, появившийся в русском издании, — "Гений и его эпоха" (хотя, конечно же, в какой-то мере это является нарушением авторской воли). Кроме самого Шекспира, перед нами проходит вереница других, не менее популярных и значительных литературных, театральных и политических фигур того

времени — Филипп Хенслоу и Ричард Бёрбедж, Кристофер Марло и Роберт Грин, Томас Кид и Бен Джонсон, граф Саутгемптон и лорд Эссекс. "Шекспира" Бёрджесса можно с полным правом назвать "энциклопедией" елизаветинской эпохи.

По сравнению с "Влюбленным Шекспиром", эта монография содержит гораздо больше авторских комментариев — лингвистических, текстологических, культурологических. Здесь мы найдем указания на возможные прототипы героев шекспировских произведений, анализ его пьес, сопоставление их с сочинениями современников. Однако интересно, что автор начинает свое предисловие таким заявлением: "Эта книга не о драматургии и не о поэзии Шекспира. Это еще одна из многочисленных попыток собрать воедино все факты, на почве которых произросли его стихи". Бёрджесс настаивает на том, что на первый план хочет вынести не творчество, а частную жизнь героя.

В "Шекспире" Бёрджесс предлагает еще одну версию смерти поэта ("...съел слишком много маринованной селедки и выпил слишком много рейнского вина. Он вспотел, его продуло, и он умер"), размышляет о том, кем могла быть Смуглая Леди — безвестной темнокожей красавицей, белокожей королевской фрейлиной или еще кем-либо? Ключевые для первого романа эпизоды частной жизни Шекспира: сложные любовные и дружеские отношения с Генри Ризли, смерть сына Гамнета и связь с загадочной "богиней" — в этой книге упомянуты как бы вскользь, на них не концентрируется авторское внимание.

Повествователь в "Шекспире" постоянно меняет маски: перед нами то бесстрастный исследователь — биограф и историк, то скрупулезный комментатор-литературовед, то просто поклонник творчества Шекспира и его внимательный читатель. Бёрджесс призывает нас к сотворчеству, отказываясь от какой бы то ни было авторской претензии на истину, окончательность: "Я провозглашаю здесь право каждого из многочисленных поклонников Шекспира создать собственный портрет этого человека... Естественно, каждый хотел бы раз и навсегда покончить с ложным, недостоверным образом". Однако вопреки декларируемому желанию до конца разрешить все загадки, связанные с фигурой Шекспира, их становится только больше, и в этом, очевидно, суть авторского замысла.

Модальность любого авторского высказывания о Шекспире — предположение: "нам кажется", "похоже", "вероятно", "мне представляется" и т. д. "Все это фантазия", — говорит Бёрджесс, апеллируя к силе воображения читателя. Нет никакой объективной, "исчерпывающей" правды о Шекспире; он таков, каким представляется каждому из нас. Набросать штрихи к портрету, которые позволят читателю самостоятельно воссоздать облик гения, — такова основная и вполне постмодернистская идея Бёрджесса.

Что касается оформления рецензируемых изданий, нельзя не отметить странное решение выпустить две книги одного автора на одну и ту же тему в совершенно разном виде, без малейшего намека на их "родство".

Мария Горбачева

# Общественный договор о насилии

РЕНЕ ЖИРАР. *Насилие и священное.* Перевод с французского Г. Дашевского. М., Новое литературное обозрение, 2000

Книга "Насилие и священное" принесла в 1972 году мировую славу ее автору Рене Жирару, французскому литературоведу, философу и антропологу, проживающему в США. Его исследование сразу же стало бестселлером и неоднократно переиздавалось для широкого круга читателей, интересующихся культурой. Найденные Жираром "схемы" развития общества оказались настолько универсальны, что в научном и журналистском обиходе появилось даже такое понятие — "жирардизм".

Причина успеха книги Жирара во Франции (где она была издана впервые) обусловлена ясностью ее основополагающих идей, а также атмосферой разочарования в чрезмерной идеологической радикальности предшествующего десятилетия и жаждой глубокого научного осмысления того круга понятий и явлений, которые привели к студенческой революции 1968 года. В заглавие книги автор ставит слово "насилие", выражающее одну из наиболее важных проблем культуры шестидесятников. Напомним, к примеру, что в 1971 году французский философ Морис де Гандийяк выпускает двухтомное собрание сочинений Вальтера Беньямина, один из томов которого он называет далеко не нейтрально — "Миф и жестокость". Но авангардистский пафос "насилия" уравновешивается в жираровском названии понятием "священное", причем заметим, что в русском переводе это противопоставление оказалось еще сильнее, чем на языке оригинала: из наиболее очевидных вариантов переводчик Г. Дашевский должен был выбирать между новомодным "сакральное" и более традиционным "священное" и принял последнее.

Книга Жирара может, хотя и очень отдаленно, напомнить нашему читателю труды Е. М. Мелетинского. Не только потому, что ее материал — мифы и ритуалы, но и по ярко выраженному этическому настрою: оба автора видят в древности некие архетипы современных общественных коллизий... Эту близость к Мелетинскому тонко подметил переводчик, который временами ссылается на его книги в подстрочных комментариях.

Виртуозный создатель социологических "схем", Жирар занимается поисками истоков человеческого общества, которые он называет "учредительным событием". Таким "учредительным событием" оказывается для Жирара заместительная "жертва отпущения", или то, что в иудеохристианской традиции именовалось "козлом отпущения" — так Жирар и назовет в 1982-м другую свою не менее знаменитую книгу.

В "Насилии и священном" происходит окончательное складывание системы "жирардизма". Жестокость и гонения являются, согласно Жирару, изначальным структурным принципом всякого общественного порядка. Уже в одной из ранних литературоведческих книг "Романтическая ложь и романная истина" (1961) Жирар, анализируя творчество Стендаля, Пруста, Достоевского, Сервантеса и других, выдвигает свою первую глобальную гипотезу о "миметическом желании": желание некоего субъекта по отношению к некоему объекту возникает не само по себе, но всегда исходит от кого-то "третьего", который одновременно задает модель желания и играет роль соперника. В результате образуется "адский треу-

гольник" — мы желаем то, что желает другой, а отсюда возникают неизбежные конкуренция и вражда между людьми. На основе "миметического желания" и строится человеческое общество, а жестокость в нем "заразна", подобно неуловимой священной субстанции "мана", которую изучал один из основателей современной антропологии Герберт Мосс.

"Насилие и священное" начинается как раз с рассуждений о неразрывной связи между стабильностью общественного устройства и необходимостью жертвоприношения. Но при этом важно четко ощущать разницу между "жертвенным" и "нежертвенным" насилием, ибо, каким бы последнее ни было, оно порождает новое насилие. Определенным образом выстроенный ритуал "жертвы отпущения" предусматривает дальнейшие "очистительные" ритуалы. Но жестокость может обратиться "не туда", и в этом случае она приводит к непредсказуемым и катастрофическим последствиям, как это, например, произошло с мифическим Гераклом, который в припадке безумия принимает своих детей за врагов и, по трагической ошибке, убивает их.

Когда стирается различие между "жертвенным" и "нежертвенным" насилием, общество оказывается вовлечено в неконтролируемый круг насилия, и начинается его распад. В книге "Насилие и священное" такое состояние Жирар называет "жертвенным кризисом", из которого необходимо найти выход. Решение проблемы "жертвенного кризиса" автор видит в древнегреческих мифах и трагедиях, но это решение — абстрактный механизм, "схема", никогда "не-явленные", всегда отличные от каждого конкретного сюжета: чтобы преодолеть состояние "жертвенного кризиса", обществу необходимо забыть о вендетте и выбрать особую и случайную по сути своей "жертву отпущения".

Именно случайность — главная черта "жертвы отпущения". Хотя нередко "мифы и ритуалы пытаются привлечь наше внимание к фактору случайности в выборе жертвы, но мы не понимаем их языка". Случайность же "обладает всеми характеристиками священного: она то творит над людьми насилие, то проливает на них свои блага".

Таким образом, Жирар создает новый способ толкования мифов, отличный от З. Фрейда и К. Леви-Строса, с интерпретациями которых он активно полемизирует. Необходимо, говорит Жирар, перечитать трагедию Эдипа в свете миметических отношений, и тогда станет ясно, что настоящим преступлением Эдипа было не убийство отца, но попытка стереть различие между собой и другими, смешаться с другими в некоей "чудовищной неразличимости". Вместе с тем, Жирар отмечает, что, вне прямой зависимости от преступления Эдипа, Фивы были охвачены чумой (Жирар приводит в качестве примера сюжет трагедии Софокла "Эдип-царь"), и, как провозглашал Оракул, во имя выздоровления города Эдип должен быть изгнан. Причем сам Эдип изначально маргинален — и внутренне, и даже внешне: на нем есть "знак жертвы" — он хром, к тому же с ним связана типично жертвенная мифологема брошенного дитя.

Таким образом, миф об Эдипе — это не миф инцеста, но миф жестокого преследования. В мифе об Эдипе воплощается закон существования человеческих обществ: они достигают постоянства только за счет регулирования взаимного насилия посредством некоего локального жертвоприношения. Для устойчивости общество должно строиться на жертвоприношении, на институте "основополагающего насилия", которое могло бы заменить собой всю прочую неконтролируемую жестокость.

Иными словами, "жертва отпущения" является как бы меньшим злом — во избежание большего кровопролития. Но на этом невеселом выводе Жирар не останавливается. Автор задает вопрос, как же все-таки выйти из этой замкнутой схемы жертвоприношения, и отвечает на него в уже упоминавшейся работе, в название которой поставил как раз то выражение, которого так стремился избежать в "Насилии и священном", — "Козел отпущения" . Именно с "Козла отпущения" в творчестве Жирара начался новый, так сказать, "оптимистический период". Исследователь, кажется, находит культуру, являющуюся исключением из установленного им правила, — это иудео-христианский мир, ибо, по мнению Жирара, он признает невинность мучимых жертв, а не делает вид, что верит в общий порядок или общее благо... Не всепрощение, а жертвоприношение "козла отпущения" открывает новую надежду избежать фатальности какого бы то ни было насилия.

Книгу "Насилие и священное", как и большинство крупных трудов Жирара, невозможно отнести к какой-либо конкретной дисциплине: это и не литература, и не литературоведение, и не этнология, и не антропология (хотя в библиотеках книга классифицируется именно по разделу антропологии), и не психоанализ. Разумеется, Жирар не был изобретателем подобного "внедисциплинарного", или "междисциплинарного", или даже "мульти-дисциплинарного" подхода — среди его предшественников можно назвать хотя бы Роже Кайуа и Жоржа Батая, упомянутых в его библиографии. В рассуждениях Жирара нетрудно найти много общего с идеями, что разрабатывались в 1937—1939 годах в маргинальном "Коллеже социологии" (который был по сути своей "Коллежем сакральной социологии") и в тайном обществе "Ацефал"[1] Правда, мы можем лишь догадываться о том, что конкретно знал Жирар об этой авангардной философии, ибо в эпоху написания его книги было опубликовано еще мало документальных материалов, из которых он мог бы получить точное представление о деятельности "Коллежа" и тем более "Ацефала".

И все же, сходство с философией "Ацефала" кажется совершенно поразительным. Ведь мысль о том, что жертвоприношение может служить для остановки насилия, в какой-то мере уже разрабатывалась в "Ацефале", организованном Жоржем Батаем в 1937—1939 годах. Напомним, что участники "Ацефала" изобретали самые разнообразные ритуалы, среди которых было и жертвоприношение.

С другой стороны, система жирардизма часто используется в современных антропологии и литературоведении как раз для анализа упомянутых маргинальных явлений во французской философии второй половины 30-х годов и, в особенности, творчества Жоржа Батая. Но Жирар принципиально противоположен Батаю, потому что создает свою собственную рациональную интерпретацию. В отличие от "безбожного мистика и проповедника" Батая, он учит, дает советы, приводя в качестве положительного примера исключительную, по его мнению, христианскую религию...

Разумеется, жираровское обоснование общественного миропорядка на "жертве отпущения" можно справедливо упрекнуть в некотором редукционизме. Но вникая во все нюансы текста "Насилия и священного", невозможно не восхищаться авторскими виртуозными интерпретациями самых различных феноменов культуры — от античности до на-

1. См. М. Сюриа. Жорж Батай, или Работа смерти. "ИЛ", 2000, № 4.

ших дней. Поэтому, хотя с момента первой публикации этого труда прошло уже тридцать лет, он вовсе не кажется устаревшим.

В заключение хочется сказать о высокой культуре издания книги Жирара на русском языке. Здесь не только целиком воспроизведен, но и существенно дополнен научный аппарат — в расчете на российского читателя. А в самом языке перевода ощущается большой пиетет перед французским автором: Г. Дашевский бережно и даже с некоторой избыточностью переводит тончайшие нюансы смыслов, присущих как рассуждениям французского философа, так и подробно анализируемым им произведениям античных авторов.

Елена Гальцова

## Если бы Свифт писал после холокоста...

Claude Rawson. *God, Gulliver, and Genocide. Barbarism and European Imagination, 1492–1945.* Oxford University Press, 2001

Клод Росон. *Бог, Гулливер и геноцид. Варварство и европейское воображение, 1492–1945.* Изд-во Оксфордского ун-та, 2001

Совсем непросто решить, к какой области гуманитарного знания относится эта книга. Может быть, к истории литературы? Тем более что автор, профессор Йельского университета Клод Росон, — авторитетнейший специалист по английской литературе эпохи Просвещения, знаток творчества писателей "века Августа" в британской культуре. Эрудиция и научная основательность исследователя и здесь дают о себе знать: достаточно обратиться к обширному комментарию, занимающему чуть ли не четверть объема книги и содержащему сведения, интересные отнюдь не только для специалистов.

При всем том труд заметно отличается от привычных филологических исследований. Даже по своему названию, хотя броские заголовки с уклоном в публицистичность не редкость в англо-американском литературоведении. Кроме того, на титульный лист вынесен и подзаголовок, который, думается, с большей определенностью вводит читателя в круг авторских рассуждений.

*Варварство* — слово многозначное. В книге Росона оно поначалу подразумевает традиционный взгляд европейца на человека иной расы как на *варвара*, но чаще употребляется как синоним *жестокости, бесчеловечности*, все оттенки которой нашли, по мысли автора, свое отражение в мировой словесности, начиная с первой книги Пятикнижия и вплоть до современной литературы; особо выделен почти пятивековой период от открытия Америки до окончания Второй мировой войны.

"Когда говорится (в книгах. — *М. С.*), что те или иные люди *подлежат уничтожению* или должны быть *стерты с лица земли*... — читаем в предисловии, — как правило, это фигура речи..." Но, по мысли автора монографии, с такими *фигурами* следует обращаться сверхосторожно, поскольку эхо подобной фразеологии слышится в многовековом существовании человечества. Росон приводит немало примеров "варварской агрессивности", результата воплощения в жизнь подобных *фигур речи* в 1492—1945 годах. Выделены несколько стадий: трагедия индейцев в завоеванной европейцами Америке и шире — европейская политика по отношению к народам других ареалов; восприятие "бедняков" как низшей расы во внутригосударственных границах; подавление Англией Ирландии и наконец холокост — катаст-

рофа мирового еврейства в 1930–1940 годах.

Привлекаемый богатейший литературный материал (от Ветхого Завета до "Молчания ягнят" Томаса Харриса) дает пищу для раздумий о природе и многообразии варварства. Уже из названия ясно, что в материале, на котором построена книга, центральное место принадлежит Джонатану Свифту – автору "горчайшей и злейшей из всех сатир", как определил "Путешествия Гулливера" Генрих Бёлль в своих "Франкфуртских лекциях". Клод Росон не без иронии пишет о "диссертационной эре" изучения Свифта, когда преобладали общие фразы о "демократизме, антиколониализме, антивоенном духе, отрицании рабства" и о других (бесспорных, впрочем!) достоинствах свифтовских произведений. Как бы поддразнивая сторонников такого подхода, автор обнаруживает у создателя "Путешествий Гулливера" и "Скромного предложения" темы и мотивы, трудно совместимые с хрестоматийно-глянцевым Свифтом и поневоле вызывающие ассоциации не с самыми светлыми страницами человеческой истории. С точки зрения Клода Росона, творения британского сатирика (быть может, помимо воли писателя) стали своего рода "местом встречи для нескольких самых тревожных нравственных ужасов последних пятисот лет".

Разумеется, Росон как проницательный литературовед точно прочитывает иносказательный ход, использованный писателем в памфлете, где предложено употреблять в пищу тушки ирландских младенцев. Да и в отношении Свифта к йеху не усматривает он прямой проповеди жестокости, вспоминая признание сатирика в том, что его задача – "смягчить мир, а не направить на другой путь". И все же "каннибальская" метафора в памфлете рискует быть воспринятой, например, как своего рода оценка ирландского общества тех времен, а йеху могли ассоциироваться исключительно с "дикарями" в том раннеколониальном смысле, который придавался тогда этому слову в Англии. Росон отмечает, что в четвертой части романа йеху противопоставлены гуингнмам даже "не как альтернативная раса, а как какой-то иной биологический вид, вроде крыс..." и наказываются не столько за то, что́ они *делают*, сколько за то, что они *существуют*.

Впрочем, варварство для Свифта не ограничивалось миром "дикарей" в привычном этногеографическом смысле. Ведь еще Монтень, о котором Росон не без оснований пишет как о предшественнике Свифта в отношении к варварству, будучи современником Варфоломеевской ночи, склонялся к мысли, что европейцы способны быть варварами не в меньшей мере, чем собственно дикари.

Финал четвертой книги Гулливера с торжеством нетерпимости *добродетельных* гуингнмов по отношению к *отвратительным* йеху приводит исследователя к вопросу о том, насколько правомерна в принципе нетерпимость к определенной группе людей (социальной, расовой, национальной). Склонная к радикальным мерам *ассамблея* гуингнмов сравнивается здесь с печально известной Ваннзейской конференцией января 1942 года, где высшие чины СС по указке нацистского руководства Германии вынесли вердикт "окончательного решения еврейского вопроса". Правда, поиск аналогичных "хирургических" мер в отношении целых народов обнаруживается автором даже в самых древних и великих творениях, – например, в Библии. "Истребление с лица земли" – решение, которое можно встретить в Бытии (потоп, разрушение Содома и Гоморры), в Книге пророка Амоса.

Проекты радикальных решений, порожденные нетерпимостью, находит Росон и у писателей

более поздних времен, испытавших в той или иной мере влияние свифтовского "Скромного предложения", — к примеру, у Оскара Уайльда и Бернарда Шоу. Уайльд в "Душе человека при социализме", а Шоу в предисловии к пьесе "Майор Барбара" столь же решительно предлагали "искоренять" бедность. У обоих писателей, при всей несхожести их идеологических позиций, автор книги находит проповедь "эстетического идеала устранения нищеты путем устранения бедных, поскольку нищета уродлива либо стесняет гения". На взгляд Росона, в своих атаках против бедности и бедных Шоу зачастую был далек от умеренности фабианского социализма, а создатель "Портрета Дориана Грея", как отметил еще "левый" британский литературовед Терри Иглтон, подчас оказывался ближе к марксистскому радикализму, чем марксист Уильям Моррис. Оговорки касательно того, что многое в творениях Уайльда и Шоу шло от их *raisons de parler*[1], еще раз напоминают нам о недюжинном литературном чутье исследователя, не испытывающего, однако, сомнений в правомерности постановки двух остроумнейших писателей в выстроенный им ряд.

Правда, читатель не найдет примитивного обвинения Уайльда и Шоу в античеловечности. Были, конечно, и примеры другого толка, о которых Росон также вспоминает: восторженное отношение Селина, Арто, Жене к фигуре Гитлера или антисемитские выступления Эзры Паунда. У писателей, творчество которых обсуждается в книге главным образом, — и масштаб иной, и политическое мышление посложнее. Историк литературы не забывает, что и Шоу и Уайльд в конкретных случаях выступали противниками карательных акций против бедноты (пусть не из симпатии к бедноте, но из-за неприятия карательных мер как таковых), а Монтень и Свифт были принципиальными противниками колониального ограбления и резни, и живи они в XX веке, наверняка не приняли бы нацизма.

Несомненное влияние на подход Росона к проблеме оказали цитируемые им рассуждения Джорджа Оруэлла, который первым сравнил положение свифтовских йеху с дискриминацией и преследованием евреев в гитлеровской Германии. Некоторую хромоту этого сравнения, думается, способен разглядеть всякий, кто внимательно читал "Путешествия Гулливера", а к тому же знает хоть что-то о *нюрнбергских законах* и их методичном исполнении. Вот и суждение о том, что свифтовская сатира бывала "направлена не против угнетателя, но против жертв", вызывает немалые возражения. Уйдя — не без усилия над собою — от чисто литературоведческого разговора и балансируя между художественным миром аллегорий и трагическими фактами реальной истории человечества, автор подчас допускает явный крен в сторону последней. Он справедливо опасается того, что иные свифтовские пассажи могут затронуть не самые благозвучные струны в душе так называемого *массового читателя*, но явно забывает на некоторое время, что понимание художественного мира, созданного сатириком, требует даже от аудитории тинейджеров некоторой эстетической подготовки.

Время, минувшее после 1945 года, включая начало нового века и тысячелетия, оказалось во многом сложнее, а отношения между различными человеческими группами и народами — запутаннее и обостреннее, чем в период, обозначенный в подзаголовке монографии. Необходимость взаимопонимания и толерантности становится еще более насущной, чем когда-либо прежде. С другой стороны, деятель-

1. Манера выражаться (*франц.*). (*Прим. ред.*)

ность некоторых современных организаций экстремистского толка вполне подпадает под определение "варварская", а их лидеры и деятели представляют собою такую модификацию свифтовских йеху, что тотальная толерантность, проповедуемая по преимуществу в университетских кампусах сословием прекраснодушных либералов, может, пожалуй, привести к тому, что лет через двадцать рассуждать о проблемах этой самой толерантности будет просто некому...

Широко известно высказывание Теодора Адорно о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. Время показало, что все-таки можно, хотя само сомнение философа оказалось продуктивным для испытания поэзии мерками нравственности. Появились ли бы на свет обсуждаемые в книге эпизоды и высказывания Свифта, если бы писатель творил "после холокоста"? Этим вопросом задается Клод Росон, приглашая к раздумьям и читателя. Вопрос, если понимать его не буквально, куда как сложен: конфликтность и жестокость в современном мире вполне могут отразиться и на художественном арсенале сатирика. Об этом, как и обо всей многокомпонентной системе отношений между литературой и гуманистической нравственностью, заставляет задуматься в чем-то дискуссионная, но, безусловно, глубокая и интересная книга литературоведа, выступившего на сей раз в несколько новом для себя амплуа.

Марк Соколянский

Великобритания

## Неразгаданные тайны Моны Лизы

О знаменитом шедевре Леонардо да Винчи, пятисотлетний юбилей которого Лувр готовится торжественно отметить в будущем году, с одной стороны, известно все, а с другой — практически ничего. Например, по сей день с достоверностью не установлено, когда полотно было написано и кто на нем запечатлен. В полной мере осознать этот феномен помогает обширное историко-культуроведческое исследование Дональда Сэссуна "Мона Лиза: история самой знаменитой в мире картины", выпущенное британским издательством "Харпер Коллинз".

Итак, согласно "Жизнеописанию наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Вазари, Леонардо начинает писать портрет в начале XVI века по возвращении во Флоренцию из Милана и работает над ним на протяжении четырех лет — с 1503-го по 1507 год. Сведения Вазари, однако, вступают в противоречие с рядом свидетельств, указывающих на то, что полотно было заказано Леонардо третьим сыном Лоренцо Великолепного Джулиано Медичи, с которым тот поддерживал отношения с 1513-го по 1515 год. Учитывая манеру да Винчи по нескольку раз возвращаться к одной и той же теме, можно допустить, что портрет был начат в 1503 году, а закончен спустя более чем десятилетие. Как он выглядел изначально — неясно. Привычная теперь размытость и нечеткость линий, а также желтоватый оттенок холста — следствие многократного покрытия лаком. Еще в 1625 году анонимный автор жаловался, что "из-за лака картину невозможно как следует разглядеть".

Интересно, что название "Мона Лиза" закрепилось за полотном лишь в XIX веке. Повод дал тот же Вазари, который весьма уверенно утверждал, что оно писалось с некоей Монны Лизы дель Джокондо.

Мона Лиза, которую имел в виду Вазари, была реальным лицом. Звали ее Лиза ди Антонио Мария Джерардини. Она родилась во Флоренции 15 июня 1479 года, в 16 лет вышла замуж за вдовца по имени Франческо ди Бартоломео дель Джокондо. К 1503 году Лиза родила двух сыновей и дочь, которая умерла в младенчестве. Действительно ли в Лувре выставлен портрет зрелой по средневековым понятиям женщины? Некоторые документы не согласуются с этой версией.

Например, Антонио де Беатис, секретарь кардинала Луиджи д'Арагона, который, будучи во Франции в августе 1517 года, посетил мастерскую Леонардо, оставляет в своем дневнике запись о том, что он видел там три картины, в том числе портрет "некоей особы из Флоренции, сделанный по пожеланию покойного Джулиано Медичи". Именно эта запись приводит к путанице в датах и появлению новых гипотез.

По одной из них, на картине изображен мужчина, возможно, сам Леонардо. По другой, "Джоконда" не имеет реальных прототипов, воплощая собой идеал красоты. Что до названия, то оно может иметь и чисто описательный смысл: прилагательное "джокондо" по-итальянски означает "жизнерадостный", а "мона" или "монна" (сокращенная форма "мадонны" ) в средневековой Италии служит обращением к даме.

Другая любопытная тема, к которой обращается Сэссун в своем исследовании, — это превращение Моны Лизы в культурный фетиш. По его мнению, невероятный успех полотна был обусловлен тем, что в начале XVI века оно попало во Францию, а затем в Лувр, меж тем как другие женские портреты Леонардо оказались в частных коллекциях.

Миф о "Моне Лизе" родился в Европе в XIX веке — на пике увлечения итальянским Ренессансом вообще и творчеством Леонардо да Винчи, в частности. Свою роль здесь сыграли и модные тогда романтические фантазии на тему роковой женщины — притягательной, экзотичной и беспощадной. Вокруг "Джоконды" складывается мистический ореол — не без активного участия писателя, искусствоведа и любителя гашиша Теофиля Готье, посвятившего немало строк этому "сфинксу красоты" с взглядом, "полным божественной иронии", который вызывает "необыкновенное ощуще-

ние", "как будто за ним скрывается непостижимая тайна". К почитателям "Джоконды" относились также автор хрестоматийной истории Франции Жюль Мишле и братья Гонкур.

Однако со временем общая тональность резко меняется. Оскар Уайльд в эссе "Критик как художник" (1891) замечает, что "картина кажется нам лучше, чем есть на самом деле". Явный скепсис присутствует и в рассказе Моэма "Рождественские каникулы", где в одном из эпизодов четверка любителей искусства "с почтением взирает на безжизненную улыбку этой чопорной и похотливой девушки". Т. С. Элиот сравнивает с "Моной Лизой" постановки "Гамлета", имея в виду, что произведение утратило суть, превратилось в объект для всякого рода интерпретаций и второразрядных теорий.

Еще одним поворотным моментом в истории "Моны Лизы" стала ее кража из музея 21 августа 1911 года. Похититель, 30-летний художник-декоратор Винченцо Перуджа, беспрепятственно проникает в Лувр и выносит бесценный холст под рабочей робой. Что примечательно, в число подозреваемых попадают Пикассо и Аполинер, последний даже несколько дней проводит в тюрьме, о чем пишет стихотворение. На протяжении двух лет Перуджа прячет картину в собственной квартире под кухонной плитой. Затем пишет письмо флорентийскому торговцу живописью, предлагая вернуть полотно Италии в обмен на вознаграждение в 500 тысяч лир. В декабре 1913 года вместе с шедевром, спрятанным в двойном дне чемодана, он прибывает во Флоренцию. На следующий день его арестовывает полиция.

Именно похищение "Моны Лизы", а затем ее счастливое обретение, по мнению Сэссуна, обеспечили ей мировую славу. Оба события вызвали бум, отголоски которого слышатся и в наше время: в честь "Джоконды" слагаются стихи и баллады, ей посвящаются памятные открытки и песни, на многочисленных изображениях, тиражируемых по всему свету, она предстает в самых разных обличьях, по большей части карикатурных. Так, благодаря причудливым поворотам судьбы, обладательница таинственной улыбки превращается в один из символов современной поп-культуры.

## Германия

### Нить Ариадны длиною в семь военных лет

В жизни Генриха Бёлля 1939 год был дважды переломным. В марте двадцатидвухлетний уроженец Кёльна оставляет работу и поступает в местный университет, чтобы изучать философию и литературу. Тогда же он пробует сочинять стихи и рассказы. Однако на четвертый день войны ему приходит повестка; Генрих попадает в учебную часть, где готовят пополнение для фронта. Цинизм и грубость армейской жизни тяготят юношу. Он ищет отдушину и находит ее в религии и, естественно, в книгах.

Круг его чтения составляют в основном авторы философско-религиозного толка: Леон Блуа, Гилберт Честертон, Гертруда фон Лефорт. Он восхищается Сереном Кьеркегором, Эрнстом Юнгером и Фомой Аквинским, но выше всех ставит Достоевского. Стоит ли удивляться, что в свои планы немецкий пехотинец включает изучение русского языка.

Изнурительные строевые упражнения практически не оставляют времени и сил на умственные занятия. Тем не менее Генрих умудряется читать и писать по ночам, во время передышек или дежурств. В письмах родителям, братьям и жене он мысленно возвращается ко всему самому дорогому, высказывает наболевшее...

Впрочем, высказывается он осторожно, обиняками, ибо за "разглашение военной тайны" или "клевету на вермахт" можно поплатиться головой. Следует также сказать, что письма Генриха изобилуют противоречивыми оценками и суждениями, разобраться в которых непросто даже близким.

Вот, например, что он пишет жене по поводу гибели своего брата: "Ты знаешь, что я ненавижу войну. Да, именно ненавижу — лучшего слова не найти... Но говорю тебе совершенно четко, без всяких эмоций... нет выше и благороднее смерти, чем смерть солдата от руки врага..." Что же касается его собственной участи, то Генрих убежден: с ним ничего не случится, ибо его оберегает Бог.

Он размышляет о потенциальном переделе мира и возникновении новой колониальной системы. Такие мысли он высказывает, в частности, в письме от 28 июля 1941 года, когда успешный исход операции "Барбаросса" мало у кого вызывает сомнения. Тогда его тяготит другое: "Я думаю о будущем со

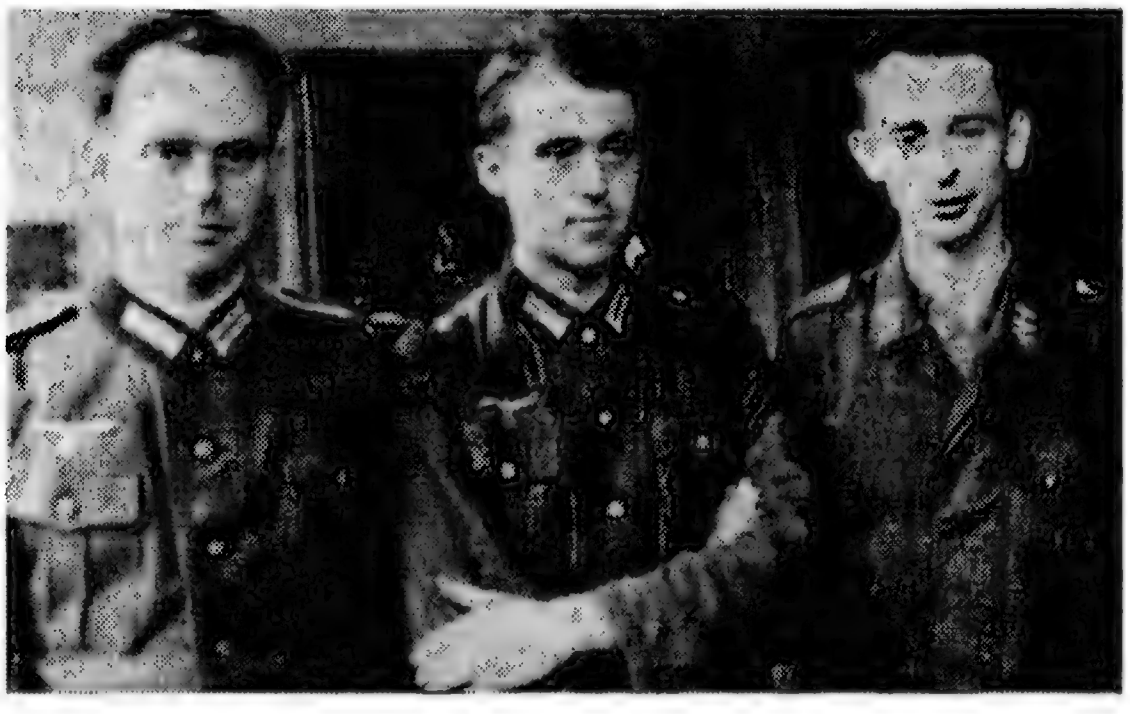
страстным волнением, нередко с горьким чувством собственной несостоятельности".

В зоне боевых действий Бёлль проводит всего три недели и два дня. Надо сказать, что он (как и большинство новобранцев) рвется в бой — подальше от нудной и однообразной тыловой службы, — но из-за болезни попадает лишь во второй эшелон.

Боевое крещение Бёлль принимает среди подсолнухов, в поле, где держит оборону во время танковой атаки. Доводится ему участвовать и в других операциях; один эпизод — когда в блиндаже на его глазах от ранения в голову погибает лейтенант — служит сюжетом для рассказа "В конце аллеи". Генрих также был ранен в голову; после госпиталя его направляют в наскоро сформированную часть, которой немецкое командование пытается укрепить румынский фронт. Здесь Генрих снова ранен — правда, на сей раз он самостоятельно добирается до лазарета. Теперь он рвется не на фронт, а домой и, симулируя симптомы неизвестной болезни, добивается отпуска.

Мысли о превращении немецкой армии в скопище "швейков" и ощущение, что "Левиафан испускает дух", постоянно преследуют молодого Бёлля, несет ли он караульную службу в кёльнском лагере для иностранных рабочих или наблюдает за бойкой торговлей на одесском привозе, коротает ли время в прокуренном венгерском баре или любуется красотами Франции. Война — это "грязный кабак, набитый фельдфебелями и солдатней...", "соотечественники", за исключением разве что жителей Кёльна и Рейнской области, — "мерзкий и убогий сброд", голландцы — "пресыщены и апатичны", французы — "развратны и безнравственны". Впрочем, он понимает разницу между "светлым, благообразным ликом парижской бедноты и мерзкой рожей богатого отребья". Но в целом современники — это "толпа грешников".

Как же ему удается духовно выжить в этой толпе? Его спасает переписка с родными, считают составители эпистолярного двухтомника "Генрих Бёлль. Письма с войны 1939—1945 годов", который вышел в издательстве "Кипенхойер унд Вич" под редакцией Йохена Шуберта. Материалы — 750 писем, то есть три четверти всех сохранившихся, — любезно предоставили родственники писателя, а его вдова помогла разобраться в трудночитаемых отрывках. Эти письма стали для Генриха Бёлля нитью Ариадны, которая вывела его из мрачного лабиринта войны.



*Братья Бёлль: Генрих Бёлль – в центре*

## Италия

### О чем вздыхали дамы XVII века

"Вздохи и трепетание" (издательство "Мариетти") Джулианы Морандини — это искусное соединение антологии и литературоведческого эссе. Автор воссоздает опыт женщин, и не просто женщин, а влюбленных итальянок XVII столетия, которые доверили свои чувства перу и бумаге. Решиться на это им было далеко не просто, о чем косвенно говорит парадоксальное название вступительного очерка, "Умолчу обо всем...", являющееся цитатой из сочинения некоей монахини, сестры Орсолы Вероники. В кого же влюблены эти дамы? Варианты самые разные: в мужчину, в другую женщину, в мужчину и женщину попеременно и, наконец, в Бога.

Чтобы выразить поэзию любви, литературные дамы XVII века обращаются к самым разным жанрам: от эпической поэмы до автобиографических заметок, от личных писем до сонетов. Не менее разнообразен и состав авторов: тут и сестры Манчини, племянницы кардинала Мазарини, и прекрасная Кристина Дадли, и римская куртизанка Маргерита Коста, дающая, например, такой совет современницам: "Красавица, будь благоразумна и не люби единственной любовью всякий раз".

Надо отметить, что Джулиана Морандини

отобрала для своей антологии произведения, которые прежде отвергались критикой и до недавних пор незаслуженно оставались в тени. Можно надеяться, что вздохи и трепетание, звучащие удивительно современно, вызовут отклик у сегодняшних читателей.

## Франция

### Изобразительное искусство: стоп-кадр

Под таким названием в Люксембурге открылась экспозиция работ самых популярных французских художников и скульпторов конца XIX — начала XX веков: около 80 полотен, рисунков, гравюр и скульптур из музеев Люксембурга, Франции, Бельгии, Германии и Голландии. По мнению организаторов выставки, самое интересное в ней то, что представленные мастера — Ипполит Деларош, Эрнест Мейсонье, Вильям Бугеро, Франсуа Гране и другие — практически не знакомы современной публике. Между тем во времена Наполеона III и президента Эмиля Лубе эти художники-академисты считались мэтрами французского искусства. В их роскошные мастерские наведывались "солидные" коллекционеры, чтобы полюбоваться нимфами, кентаврами, романтическими заговорщиками и прекрасными итальянками и приобрести для своего собрания очередное полотно — Жанну д'Арк перед судьями или сцену из детства знаменитого инквизитора.

Стиль, которого придерживались эти художники, не настолько резко расходился с традициями, чтобы, как импрессионизм, навлечь на себя гнев Французской академии. Его основой была эклектика, разброс эстетических ориентиров — от средневековой живописи до романтизма — не вступал в конфликт с официальными представлениями о "правильном" искусстве. Поэтому творчество Делароша, Мейсонье, Бугеро и их последователей почти полвека имело успех, и не только у любителей искусств, но и у высокопоставленных чиновников: картины "академистов" украшали музеи, министерства, мэрии и даже вокзалы. Но, как и все "модное", популярность оказалась преходящей. В начале XX века в прессе замелькали прохладные отзывы: недавних кумиров упрекали в манерности, чрезмерном увлечении техникой в ущерб содержанию и излишней "корректности". Не прошло и десятилетия, как целый пласт в истории французской живописи был благополучно забыт.

Работы, занимающие девять залов, сгруппированы тематически: это подражания Рубенсу и Рафаэлю, галантные сцены, античные мотивы, частная жизнь высокопоставленных особ, жанровые зарисовки в духе Давида Тенье, стилизации средневековья, примитивизм и всевозможные вариации на тему утраченной любви.

Организаторы выставки не только не стремятся преподнести художников в наиболее выгодном свете, а напротив, насколько возможно, подчеркивают их "устарелость", но не в историческом, а в эстетическом плане. Их замысел — представить собранные работы как срез эпохи, определенную временную координату. Огромная, хотя и кратковременная, популярность такого рода искусства — тоже примета времени. Она свидетельствует о непритязательности общественных вкусов, а также о незаурядной коммерческой хватке "официальных" живописцев прошлого столетия — умении наладить сбыт, ориентируясь на потребителя, которым как сейчас, так и век назад выступает владелец галереи и торговец картинами.

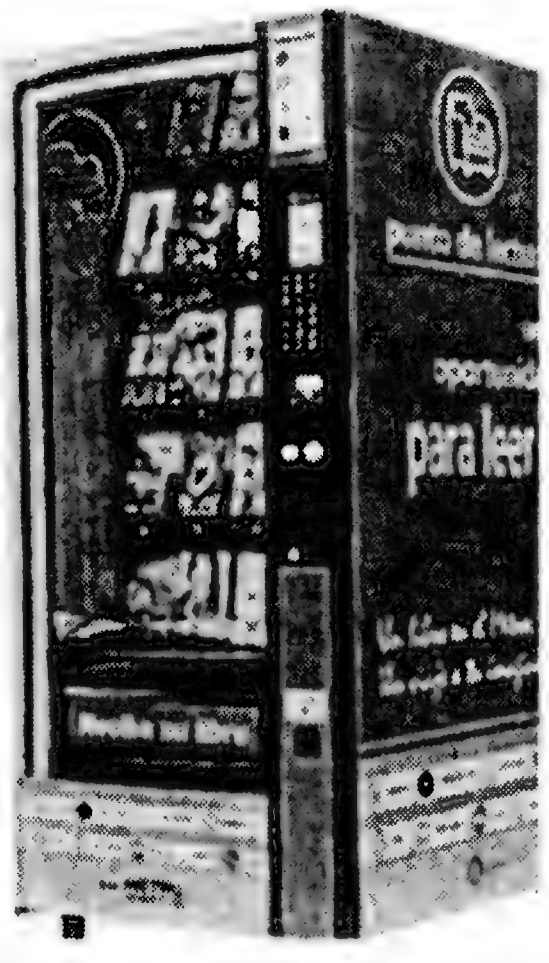
Итак, выставка преподает своеобразный урок: учит критиков быть более сдержанными в оценках, а торговцев картинами — более осторожными. "Sic transit gloria".

## Чили

### Книги предлагает автомат

Недавно в метро города Сантьяго был проведен интересный эксперимент: здесь на одной из центральных станций были поставлены первые в Латинской Америке автоматы по продаже книг.

Инициатива принадлежит двум чилийским



*Автомат для продажи книг*

издательствам: "Сантильяна" и "Эдисьонес Б", выпустившим в свет сочинения Марио Варгаса Льосы, Марселы Серрано, Росы Монтеро, Хулио Кортасара, Жозе Сарамаго и других.

Автомат предлагает 24 наименования книг, причем ассортимент меняется еженедельно; за покупку можно платить как банкнотами, так и монетами, а цена книг колеблется от 750 до 1100 песет, что на 10 % меньше, чем в книжных магазинах — скидка примерно равна стоимости проезда в метро.

Пока это начинание носит пробный характер. В том случае, если оно окажется перспективным, то есть через автомат удастся продавать более 240 книг в месяц, аналогичные машины будут установлены на десяти самых оживленных станциях. В дальнейшем издатели планируют включить в свой проект супермаркеты, аптеки, аэропорты и т. п.

Книжный автомат рассчитан на продажу книг карманного формата, объем которых не превышает 300 страниц. Автор идеи, генеральный директор издательства "Эдисьонес Б" Пабло Диттборн, утверждает, что подобные автоматы помогут бороться с пиратством, поскольку предлагают читателям популярные книги по доступной цене. "Наша книга идет навстречу публике", — говорит Карлос Эдуардо Осса, директор издательства "Сантильяна". Благодаря такому оригинальному методу сбыта можно знакомить читателей с издательскими новинками и расширять аудиторию, не создавая при этом конкуренции книжным магазинам.

По материалам газет "Цайтлитератур" [Германия], "Паис" [Испания], "Стампа-Туттолибри" [Италия], "Монд" [Франция], еженедельника "Лондон ревью оф букс" [Великобритания].

## *ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?*

*Романы, занимающие первые места в списке бестселлеров Amazon.com от 11 июля 2002 г.*

1. Alice Sebold.
   *The Lovely Bones*

2. Shawn Phillips, Bill Phillips (Foreword).
   *ABSolution*

3. James Patterson, Peter De Jonge.
   *The Beach House*

4. Ann H. Coulter.
   *Slander*

5. Tom Clancy.
   *Red Rabbit*

6. Emma McLaughlin, Nicola Kraus.
   *The Nanny Diaries*

7. Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins.
   *The Remnant*

8. James C. Collins, Jim Collins.
   *Good to Great*

**Ахмаду Курума**
**Ahmadu Kourouma**
[р. 1927]. Писатель из Кот-д'Ивуара, лауреат многих международных литературных премий, в т. ч. французских и бельгийских.

Автор романов *Солнца независимостей* [*Les Soleils des indépendances*, 1976], *Якуба, африканский охотник* [*Yakouba, le chasseur africain*, 1998], пьесы *Говорящий правду* [*Le Diseur de vérité*, 1998] и др.
Перевод романа выполнен по изданию *Allah n'est pas obligé* [Paris, Éditions du Seuil, 2000].

**Форуг Фаррохзад**
[1936–1967]. Иранская поэтесса, переводчица, эссеист, кинорежиссер.

Автор сборников стихов *Пленница* [*Асир*, 1955], *Стена* [*Девор, 1956*], *Бунт* [*Исьён*, 1958], *Новое рождение* [*Тавалуди дигар*, 1963], *Поверим в наступленье холодов и другие крупные произведения Форруг Фаррохзад* [*Имон биоварим ба огози фасли сард ва дигар шеъри бузург Форуг Фаррохзад*, 1973]. На русском языке ее стихи публиковались в сборнике *Весь свет* [1988], в журналах *Памир* [1990, № 3], *Всемирная литература* [1998, № 6] и др.

**Луис Сепульведа**
**Luis Sepúlveda**
[р. 1949]. Чилийский писатель.

Автор романов *Старик, который читал любовные романы* [*Un viejo que leía novelas de amor*, 1992], *Имя торero* [*Nombre de torero*, 1994], *История чайки и кота, который учил ее летать* [*Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar*, 1996], многочисленных рассказов.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Невстречи* [*Desencuentros*], изданного в Испании в 1970 году [Barcelona, Tusquets Editores].

**Ричард А. У. Хьюз**
**Richard A. W. Hughes**
[1900–1976]. Английский прозаик, поэт, драматург.

Автор романов *Крепкий ветер на Ямайке* [*A High Wind in Jamaica*, 1929], *Лиса на чердаке* [*The Fox in the Attic*, 1961], *Деревянная пастушка* [*The Wooden Shepherdess*, 1973]; рассказов, сборников стихов, радиопьес.
Роман *В опасности* публикуется по изданию *In Hazard* [Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1939].

**Джузеппе Джоакино Белли**
**Giuseppe Gioachino Belli**
[1791–1863]. Итальянский поэт.

Автор знаменитых *Римских сонетов* на римском диалекте – поэтического свидетельства жизни Рима тридцатых–сороковых годов XIX в.
Публикуемые переводы выполнены по трехтомному изданию: *Giuseppe Gioachino Belli. Sonetti* [Milano, Mondadori, 1952].

**Мицуёси Нумано**
[р. 1957]. Профессор-славист Токийского университета, литературный критик.

Автор книг *Сновидение* [1990], *Славянский вакуум* [1993], *Путешествие в Москву и Петербург* [1995], *Юрий Олеша* [1997] и др.

**Татьяна Петровна Григорьева**
Доктор филологических наук, востоковед.

Автор книг *Японская художественная традиция* [1976], *Японская литература XX века* [1983], *Дао и логос: встречи культур* [1992] и др. работ.

## Переводчики

**Нина Федоровна Кулиш**
Переводчица с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. С. Колетт, Дж. Бонавири, Л. Шаши, Дж. Конте, П. Клоделя, Ж-М. Леклезио, Ж. Рубо, А. Роб-Грийе, и др. Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

**Виктор Васильевич Полещук**
[р. 1957]. Поэт, переводчик с фарси, дари и таджикского.

В его переводе публиковались средневековые таджикско-персидские поэты Хафиз, Омар Хайям, Фахритдин Ираки, современные иранские поэты С. Сипехри, А. Шамлу, Н. Надерпур, Ф. Тавваллали, С. Кесрае, Р. Барахани, современные афганские поэты Р. Хусейни, А. Ноэби, А. Саид, Р. Руен и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Элла Владимировна Брагинская**
Переводчик с испанского.

Автор статей о латиноамериканской литературе. В ее переводе напечатаны повести *Похороны великой Мамы* Г. Гарсиа Маркеса, *Право на политическое убежище* А. Карпентьера, *Чур, морская "змеюка"* К. Фуэнтеса, книга мемуаров Пабло Неруды *Признаюсь, я жил*; в переводе с каталанского в *ИЛ* напечатан роман *Площадь Диамант* Мерсе Родореды [1981, № 11].

**Маргарита Исааковна Жердиновская**
Литературовед, переводчик испанской и латиноамериканской литературы.

В ее переводе публиковались романы *Хуан Кинкин* Самуэля Фейхоо [1968], *В большом и чуждом мире* Сиро Алегрии [1976], *Концерт барокко* Алехо Карпентьера [1978], *Грустная и невероятная история невинной Эрендиры* Г. Гарсиа Маркеса [1980] и др. Составитель украинско-испанского и испанско-украинского словарей.

**Виктор Петрович Голышев**
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], премии *ИЛлюминатор* [1997] и *Малого Букера* [2001] за перевод.

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюэна. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6-8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11]; повести *Большой налет* и *106 тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8] и др.

**Евгений Михайлович Солонович**
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *ИЛлюминатор* [2001].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, XVII, XVIII, XIX и XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

живопись скульптура графика

# линия-арт

**галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41**

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

---

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

**М**ихаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
**В**алерий и **А**лександр **В**олковы,
**А**натолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
**С**ергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
**И**рина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
**Г**иви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
**Е**вгений **В**ерешагин —

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

**С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства**

---

**Наш телефон/факс: (095) 953 36 24**
**E mail: liniya-art@yandex.ru**
**Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1**

**Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи**

rinet

*Быстрый доступ*
*Надежная связь*
*Качественный сервис*
*Rinet*

Internet servis provider **www.rinet.ru**

**Услуги подключения к сети INTERNET**

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

**Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00**
**Телефоны:** (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
**Адрес:** Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
**E-mail:** info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины сенегальского художника Алексиса Ногома *Преследуемый* [1993].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" — 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" — ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге — в магазине издательства "Азбука" — ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 16.7.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 201.
Тираж 9150 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

# ANGLIA
# British Bookshop

Лучший выбор книг из Британии в России

www.anglophile.ru

**Москва:**

Хлебный пер., 2/3
Тел: (095) 203 5802,
202 4066

**Санкт-Петербург:**

наб. Фонтанки, 40
Тел: (812) 279 8284,
279 8007

**Самара:**

ул. Куйбышева, 131
Тел: (8462) 78 4223

**Высылаем книги по почте**
*
Информация по
размещению заказов

Тел: (095) 202 4066,
Факс: (095) 203 0673
www.anglophile.ru

Многокомпонентные и
многоуровневые учебники
английского для школ, вузов и
самостоятельного изучения

*Словари, энциклопедии,*
*история, лингвистика*

Искусство, дизайн, архитектура

*Художественная литература*
*– от классики до новейших бестселлеров*

Бизнес и экономика
Менеджмент и маркетинг

*Путеводители, атласы*



[ 9 ] 2002


*ШВЕЙЦАРСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК*

РОМАН АДОЛЬФА МУШГА "СЧАСТЬЕ ЗУТТЕРА" / ПОВЕСТЬ СИЛЬВИАНЫ ШАТЛЕН "ИНОСТРАНКА" / "САМОСЕВ" ФИЛИППА ЖАКОТЕ / ПЕРЕПИСКА ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА С МАКСОМ ФРИШЕМ / СТИХИ СОВРЕМЕННЫХ ШВЕЙЦАРСКИХ ПОЭТОВ / ИНТЕРВЬЮ С ЖАНОМ СТАРОБИНСКИМ И ХУГО ЛЁЧЕРОМ

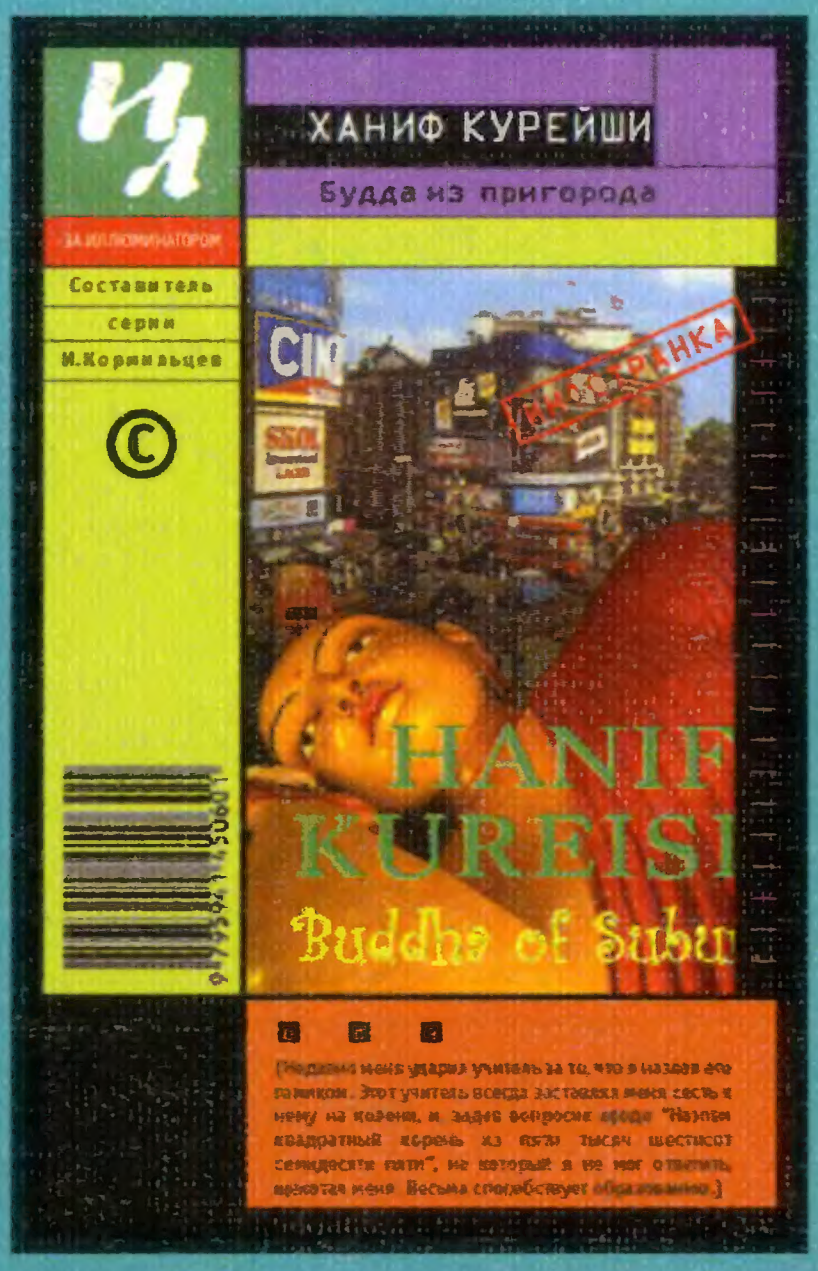
ИНДЕКС 70394

Новая серия издательства "Иностранка"

# "За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

## "ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №8, 1-288